

Мухтар Ауэзов

ПУТЬ АБАЯ





МУХТАР АУЭЗОВ

ПУТЬ АБАЯ

РОМАН-ЭПОПЕЯ

КНИГА ТРЕТЬЯ

ПЕРЕВОД АНАТОЛИЯ КИМА

**АЛМАТЫ
ИД «ЖИБЕК ЖОЛЫ»
2012**

УДК 821.512.122-03-161.1

ББК 84 (Каз – Рус) 7-44

А 93

*Выпущено по программе
«Издание социально важных видов литературы»
Комитета информации и архивов Министерства культуры
и информации Республики Казахстан*

Фонд Мухтара Ауэзова

Ауэзов М.

А 93 **Путь Абая / Пер. А. Кима. – Алматы: ИД «Жибек жолы», 2012.**

Кн. 3. – 504 с.

ISBN 978-601-294-110-4

УДК 821.512.122-03-161.1

ББК 84 (Каз – Рус) 7-44

ISBN 978-601-294-110-4 (Кн. 3)

ISBN 978-601-294-107-4 (общ.)

© Фонд Мухтара Ауэзова, 2012

© ИД «Жибек жолы», 2012

ПУТЬ АБАЯ

АБАЙ-АГА

1

Осенняя дремлющая степь еще темна, низкое небо пасмурно, воздух насыщен липкой холодной изморосью. Утренний ветер несет воздушную влагу, и все в степи отсырело, озябло – каждый куст, каждая травинка. Густорастущий жухлый степной тростник – чий, пропитавшись дождевой водой, тяжело качается на ветру; облетевшие кусты таволги сквозят и выглядят сиро, растерянно помахивают оголенными ветками. Поблекшие узколистые перистые ковыли и отжившая полынь – травы степные набухли от избыточных осенних вод и, отяжелев, покорно гнутся под ветром, низко припадая к земле. Только диковатые шары перекаати-поля вдруг срываются с места и несутся по открытой степи, перегоняя один другого.

Рассвело совсем недавно. По степи едут конники. Обильная роса холодной ночи, до блеска омыв копыта лошадей, омочила их ноги повыше бабок, мокрые щетки на них слиплись.

Всадники, выдвинувшиеся на холмистые просторы урочища Ералы, были небольшой частью кочующего каравана. Они намного опередили его, тронувшись в путь раньше, – это была группа акынов и молодых певцов во главе с самим Абаем. Впереди ехали он и акыны Кокпай и Шубар. Вслед за ними, немного отстав, продвигалась четверка самых молодых: сыновья Абая – Акылбай и Магаш, их друзья Какитай, Дармен. Позади всех следовали Ербол и Баймагамбет, о чем-то увлеченно разговаривая. Несмотря на то что выехали очень рано, затемно, мало поспав ночью, и невзирая на неудобную хо-



лодную погоду, молодежь была шумна, весела, высказанная кем-нибудь шутка прерывалась громким заливистым смехом. Вскоре затеяли излюбленную поэтическую игру, и громче стали их голоса, смех зазвучал еще задорней. Молодые акыны, в домашнем уединении сочинявшие стихи, теперь оказались среди известных певцов, салов и сэре, которые уже давно принародно исполняли свои сочинения, сопровождая пение игрой на домбре. Не терпелось молодым показать себя, и они начали поэтическую игру – импровизацию, когда кто-нибудь выкрикнул только что сочиненный стих, а другой должен был в рифму продолжать его. На эту игру в кругу Абая их подзадоривал старший акын Кокпай, и теперь, находясь в пути, молодые акыны вступили в поэтическое состязание.

Недавно, на днях, Акылбай предложил состязание в такой импровизации с участием сразу четырех акынов – с перекрестным рифмованием стихов. Таким соревнованием и были увлечены сейчас молодые поэты, отсюда и шум, и гам, и громкий смех, и беспрерывные шуточки и колкости сверстников друг над другом. И вот Магаш, ехавший молча, ссутулившись в седле, вдруг встрепенулся, оглянулся на Какитая, потом на брата Акылбая – и неожиданно для всех произнес первую строчку будущего четверостишия:

Застыл весь я! Дует со всех сторон...¹

После отзвучавших слов вся четверка молодых джигитов-акынов погрузилась в молчание, настороженно и ревниво поглядывая друг на друга. Первым оказался все же честолубивый Акылбай. Он произнес через несколько мгновений:

Замерз и я! Осень взяла нас в полон...

¹ Стихи здесь и далее, если не оговорено иное, даны в переводе из первого издания эпопеи «Путь Абая» на русском языке. По кн.: М. Ауэзов. Путь Абая. М.: Худ. лит., 1971. – Прим. ред.



Следующую строку приготовился произнести Дармен – самый быстрый импровизатор среди юных. Он улыбнулся многозначительно, готовясь выдать экспромт, но тут Магаш, ехавший рядом, перехватил под уздцы его коня и с лукавой улыбкой остановил друга.

– Стой, Дармен, придержи-ка свое вдохновение! Дай и другим показать себя! До сих пор наш батыр Какитай ничем не проявил себя, молчит, словно и дальше собирается оставаться в долгу перед нами. Эй, Каке! Начинай, давай! Сочини поскорее что-нибудь!

Сощуриw сверкающие от смеха глаза, Магаш смотрел на своего сверстника Какитая, на котором он постоянно оттачивал свое остроумие, беспощадно вышучивая его. Несмотря на неожиданное обращение к нему Магаша, Какитай ничуть не был обескуражен и, как будто давно ожидавший наскока сверстника, в ту же минуту отозвался двустишием с перекрестными рифмами:

*Ну что ж, друзья! Замерзнешь ты, и застынет он, –
Останусь я! Заменит обоих Какитай-шон!*

Акылбай с высокомерным видом, свойственным ему, обернулся в сторону Какитая и спросил насмешливо:

– «Шон»... Это что еще за рифма такая? Откуда ты такое словечко выдернул – шон?

Магаш и Дармен, мгновенно отзываясь на ядовитое замечание Акылбая, сначала звонко расхохотались, покачиваясь в седлах, затем принялись издеваться над Какитаем.

– Е! Это он от растерянности такое словечко приплел! Каке, это ты с горя, да? – сочувственно вопрошал Дармен.

– Бедняга Какитай! Хотел быстро на рифму выскочить, а ее не оказалось на месте, – пришлось свалиться в яму... «Шон»... Надо же? Да такого слова и нет на нашем языке! – смеялся Магаш.



Расплывшись в широкой улыбке, Дармен присоединился к Магашу:

– Нет такого слова в нашем добром казахском языке!

Дав приятелям время вволю посмеяться, – даже заразившись их безудержным весельем и похохотав вместе с ними, Какитай, однако, вскоре принялся уверенно защищать свою правоту.

– Эй вы, акыны! Разве в стихах должны быть только те слова, которые без конца повторяют в своих стихах Магаш и Дармен, наши самые великие поэты? Уа! Мне кажется, что не мешало бы прийти откуда-нибудь издалека какому-нибудь новому, яркому слову и удивить всех! И унылому стихотворению, что вы начали сочинять, может придать вид поэзии только та рифма, которую нашел я!

Но тут уже все трое, во главе с Акылбаем, дружно надели на Какитай. Услышав большой шум и громкий смех молодых акынов, Ербол с Баймагамбетом подстегнули коней и вскоре присоединились к четверке. Магаш намеревался привлечь старших на свою сторону, против упрямого Какитай.

Каждый повторил свою строку «быстрого стиха». Дошли и до конечной строки Какитай с рифмой на «шон». И тут призвали самого старшего по возрасту, Ербола, чтобы он рассудил: может ли такое безвестное словечко войти в казахский стих...

Сам Какитай давно уже готов был прекратить спор с друзьями – в виду его бесполезности, но с приходом старших ему захотелось все же, чтобы истина восторжествовала, и он обратился к Ерболу, придав своему лицу обиженное выражение:

– Ербол-ага! Пусть сейчас же прекратят они свои неуместные шутки! Скажите этим невеждам, что в казахском языке есть такое слово – «шон»! Рассудите нас!

Поскольку Ербол был призван судьей, он сначала потребовал, чтобы все четверостишие вновь было ему прочита-



но. Выслушав его, он с удрученным видом покачал головой и, подняв голову, посмотрел на Какитая, ехавшего рядом. И все поняли значение его взгляда и снова разразились смехом. Ербол смотрел на Какитая с сочувствием, показывая, что всей душой хотел бы поддержать его, но не может сделать этого. Он пожал плечами и сказал:

– Какитай, айналайын! Судя по твоему жалобному голосу, ты считаешь, что тебя хотят погубить, невинного. Но я, сынок, в делах, касающихся поэзии, всегда старался быть справедливым судьей и стоял на стороне истины. Даже в давнем айтысе Абая с Куандыком, когда надо было определить победителя, я сбросил на землю Абая перед Куандыком. Потому что так было справедливо. И вот ты, айналайын, жалуешься тонким голосом, как обиженный ребенок, что тебя одолевают эти обидчики... А я вот что скажу тебе, без всяких... – нет слова «шон» у казахов! Не было в прошлом, нет и поныне...

Оставалось теперь Какитаю только цепляться за Баймагамбета, сказителя, повествователя-пересказчика, и молодой акын тем же «тонким голосом» обратился к нему:

– Ойбай-ау, хоть вы заступитесь, Баке! Почему они – сами не знают этого слова, а твердят, что нет такого! Вы помните столько разных историй и повестей, Баке, нет слова казахского, какого бы вы не знали! Так скажите этим невеждам, что есть такое слово – «шон»!

Баймагамбет ответил не сразу. Он долго ехал, нахлобучив тымак на глаза и бормоча себе под нос: «Шон... Шон...» Затем, с присущей ему прямоотой и честностью, ответил спокойно:

– Какитай, ты не прав. Ни в одной из сказок или в повестях-хикая не встречается такого слова... Не помню этого слова ни в одном из стихотворений, которые я знаю.

Молодые джигиты издали дружный вопль торжества, полагая, что теперь-то они допекли самолюбивого Какитая, и он или сдастся, или вспылит и невольно выкинет что-нибудь такое, над чем честная компания может веселиться дальше. Однако Какитай не вспылит, но и не подумал сдаваться.



– О, Тенгри всемогущий, ты знаешь истину! – вскрикнул он. – Какитай добьется, чтобы вы все тоже ее узнали! Всевышний поможет мне, а я не успокоюсь, пока не докажу вам! Спрошу у Абая-ага!

Резко пришпорив коня, он пустил его с места в карьер и полетел догонять видневшихся далеко впереди двух всадников, Абая и Кокпая. Вся остальная ватага молодых погнала лошадей быстрой рысью и вскоре достигла головной группы. Там разгоряченный Какитай разъяснял своим возбужденным «тонким голосом» Абаю причину спора. Услышав, что перепалка началась из-за слова «шон», акын Кокпай засмеялся. Казалось, он знал правду в этом споре. Какитай с надеждой посмотрел на него.

Когда подтянулись догонявшие без спешки Ербол с Баймагамбетом, Абай повернулся в седле в их сторону и спросил:

– Ей, это правда, что вы оба помогли Магашу уложить Какитай на лопатки?

Ербол с веселым задором отвечал:

– Когда дело касалось справедливого решения, я не то, что Какитай – и тебя не раз укладывал на землю, Абай. Разве не так?

– Чтобы уложить спиной на землю – ума большого не надо. Но ты лучше истину сначала докажи! Что ты скажешь, если Какитай окажется прав? – услышав такое от Абая, сказанное им со спокойной уверенностью, все оторопели.

Некоторые из всадников даже придержали коней и остановились. Глядя на них, приостановились и остальные, невольно поставив коней полукругом перед Абаем. Он стал говорить:

– У казахов есть имя – Шон. Человек с таким именем и его брат Торайгыр известны были в народе своим редким красноречием. Эти люди из племени Суюндика выделялись среди остальных, как два верблюжьих горба. Никто не мог сравниться с ними в остроумии, их изречения были широко известны по всему Среднему жузу... Но слово это не казахских истоков.



Слово «шон» встречается в старинных песнях акынов Старшего жуза, рода Уйсун. Означает оно – толстый, увалень, крупный. Я полагаю, что поначалу это слово бытовало у киргизов. Но как бы там ни было, – Какитай-батыр одерживает, один над всеми вами, блистательную победу, а вы, стало быть, потерпели от него сокрушительное поражение. Именно его концовка с рифмой на редком слове «шон» делает стихи творением акына, а не ваши обиходные словечки «озяб», «замерз», «побледнело лицо»... – так с улыбкою закончил свою речь Абай.

Отправились дальше. Все были довольны: и победивший в споре Какитай, и побежденные, – довольны новым уроком Абая, преподнесенным им в шутовском, непринужденном разговоре.

Проехали довольно много по выгоревшей за долгое лето долине Ералы. Державшийся чуть впереди, Абай вдруг свернул с дороги и направился к небольшому одинокому холму. Когда всадники въехали вслед за ним на вершину холма, они увидели там две невысокие могильные насыпи, возле которых и остановил Абай своего коня. Могилы почти сровнялись с землей, были едва заметны.

Молодые джигиты вопрошающе посматривали на Абая, который привел их к этим старинным захоронениям. Им было неизвестно, в память каких людей насыпаны эти земляные холмики. Подъехавший к ним первым, Абай молча стоял перед могилами, задумавшись.

В его ровно подстриженной негустой бороде уже пробивалась первая седина. По углам прищуренных печальных глаз темными лучиками залегли морщины. Порой он совсем закрывал глаза, словно пытался вспомнить что-то из событий давно минувших дней.

Два серых ястреба на руках Шубара и Дармена, сидевшие без колпаков, вдруг оба закивали продолговатыми головами, будто ожидали увидеть какую-нибудь затаившуюся дичь. Их



золотистые глаза, словно загоревшись огнем вдохновения, уставились в некую точку пространства – ловчие птицы ждали взмаха руки и мощного броска охотника...

Простояв довольно долго у могил, Абай вдруг выпрямился в седле и, не оборачиваясь, поднял над головою правую руку, развернул ее ладонью назад и призывно помахал ею. Он подал знак джигитам, чтобы они приблизились. Когда те подъехали и перестук копыт по сухой земле и по камням утих, Абай заговорил – мягким, глуховатым, взволнованным голосом:

– С тех пор как появились две могилы на этой безлюдной вершине, уже сто раз сменялись, наверное, жаркие летние суховеи на сырые осенние ветра. С далеких тех времен эти могилы безмолвно следят за проходящей внизу людской жизнью. Сменяется поколение за поколением... Могилы эти хранят печальную и жуткую тайну. Когда мне случается бывать здесь, мои родные, я всегда ощущаю чувство неизбывной вины. Дети мои, товарищи мои, мы все в неоплатном долгу перед теми двоими, что лежат в этих могилах... А покоятся здесь девушка и джигит, ее возлюбленный. Звали джигита Кебек, а девушку – Енлик.

Так говорил Абай, и речь его была строгой, голос звучал печально.

– Они оба были жестоко убиты своими же соплеменниками, их убили за молодую любовь друг к другу. Они полюбили свободно, и стали жить вместе, нарушив старинные законы степи, которые были суровыми и связывали путами тех, кто хотел любить вопреки этим законам. Они и тогда были, и сегодня остаются – такими же строгими и жестокими. Виновных привязывали к хвостам лошадей и обрекали умирать мучительной смертью...

Абай замолчал, ссутулившись на коне, словно прислушиваясь к шелесту трепещущих низкорослых ковылей, растущих на вершине, и к шуму порывистого холодного ветра осени в пространстве степи. И этот осенний ветер, и типчак-трава,



и мятущиеся ковыли – все эти извечные сущности древней Арки словно пели печальную балладу о старинном человеческом горе.

– Уходя от погони, словно загнанные звери, они укрылись в этих горах Орды. Здесь они насладились недолгим счастьем любви. Их ребенок, плод свободных чувств, был отнят у Енлик и Кебека, когда их выследили и схватили. Младенца, завернутого в пеленки, отнесли в горы и, жалобно плачущего, оставили там, на одной из безлюдных высот Акшоки. Рассказывали, ребенок плакал истошным голосом весь день, потом навечно умолк. Он умер вдали от жестокосердых людей, среди горного безмолвия, – закончил свой рассказ Абай.

Молодежь слушала, потупив взоры, глядя на гривы своих коней, с ужасом и скорбью в глазах. Все молчали довольно долго. Первым нарушил молчание Дармен.

– Абай-ага, чье было указание поступить с ними так? – спросил он дрогнувшим голосом.

– Кто убивал их? Кто приказал казнить? – стали спрашивать остальные: Магаш, Какитай...

– Убить повелел Кенгирбай. Да, он самый – предок многих из нас, сидящих здесь на конях. Святой наш аруах, Кенгирбай... В те дни он властвовал в нашем роду, – ответил Абай и пристальным взглядом обвел лица окружавших его молодых джигитов.

Шубар казался сильно подавленным от всего услышанного. Остальные тоже пребывали в молчаливой растерянности. И снова Дармен первым нарушил тишину, гневно вопросив:

– Выходит, святой аруах наш был убийцей молодых?

Абай посмотрел на него сочувственным взглядом. Но слова Дармена сильно возмутили Шубара.

– Ту-у! Знай, что говоришь! – осадил он Дармена.

– Говорю правду! Разве с тех пор ослабела цепь, которой душили наших девушек? Их и сейчас душат! – выкрикнул Дармен, сверкая глазами.



Абай отметил про себя, что в горячности молодого Дармена проявился прежде всего поэт... Горящий взгляд его и глаза удивительно были схожи с глазами ястреба, которого он держал на руке. И как ловчая птица устремлялась к броску и полету, так и душа молодого акына порывалась к высокой мысли.

– Абай-ага! Хочу еще сказать... Позвольте!

– Говори, Дарменжан!

– Оу, сколько раз за сто лет проходившие мимо путники сворачивали сюда к могилам, чтобы постоять возле них и почитать молитвы... Каждый молился, как он мог, как душа его велела... Пусть молитвы их будут благословенны Всевышним! И я сегодня хочу прочесть молитву, но это будет не молитва из Корана... Моя молитва – в память любящим сердцам Енлик и Кебека. Дайте соизволение сотворить ее, мой ага!

– Читай, сынок, – ответил Абай, ласково глядя на юношу.

– Пусть молитвой за души Енлик и Кебека будет песня! – сказав это, Дармен красивым, высоким голосом затянул протяжную песню.

Акыны Кокпай и Шубар, почувствовав некоторое стеснение за выходку молодого Дармена, нарушившего скорбную тишину могил своим пением, вскинулись с двух сторон, порываясь остановить юношу, но Абай властным взмахом руки удержал их. Безмолвно призвал не мешать певцу и слушать его. И все окружение Абая, вняв его повелению, слушало пение с завороженным вниманием.

Дармен пел известную песню Абая «Ты – зрачок глаз моих». В обыденной аульной жизни звучала эта песня в праздничной обстановке, пели ее для душевного увеселения, восславляя человеческую любовь. Но над могилами Енлик и Кебека молодой джигит пел те же слова, – но в такой окрашенности мелодии и голоса, что песня звучала не празднично и весело, а с глубокой скорбью по загубленной любви двух чистых, юных душ.



Магаш и Какитай сразу вняли словам и желанию Дармена и теперь смотрели на своего друга восторженными, любящими глазами. Дармен спел не всю песню, а выборочно те места, где звучали нежные заверения в любви, тоска разлуки или радость встречи ликующих сердец. Но здесь, у могил убитых влюбленных, эти места песни звучали и воспринимались с невероятной по силе скорбью.

Певец умолк, завершив песнь любви как плач по любви. Абай молча, не сказав ни слова, тронул коня, завернул назад и тихо поехал с вершины холма. Все остальные так же молча последовали за ним. Серый, со звездочкой на лбу, упитанный конь Абая ступал неторопливо, плавно, изредка подергивая головой и звеня удилами. Конь словно чувствовал настрой души всадника. Вся группа верховых ехала кучно, теснясь друг к другу. Два серых сокола, сидевших на руках у хозяев без колпачков, вдруг оба разом встрепенулись, подняли и опустили крылья и затем горящими, неистовыми глазами уставились вперед.

На ходу, все еще увлекаемый прежней мыслью, Абай продолжил ее вслух, обращаясь к молодежи:

– Как вы полагаете – горе и муки, испытанные Енлик, так и ушли в небытие, исчезнув вместе с нею, задушенной арканом? Кто сможет рассказать о последних душевных страданиях несчастных? Никто, кроме акынов. Вы сможете поведать об этом в своих песнях! Разве не настало время для этого? Сегодня, в этот пасмурный осенний день, считайте, – к вам прилетел из другого времени печальный, разрывающий душу кюй, и настиг вас у могил Енлик и Кебека. И запомните мои слова: акыну вдохновение надо искать не только на пиру жизни, в радости и веселье, но и в страдании и печалях народа, в тоске и мучениях отдельного человека. Если песнь ваша породнится с правдой жизни, то она далеко разольется по стране, словно вода родника, пробившего путь себе из скалы высоко в горах. И для начала, дорогие мои, почему



бы кому-нибудь из вас не выразить в новой песне все, что он пережил сегодня у этих печальных могил? Есть ли среди вас кто-нибудь, кто захочет это сделать? – закончил он свое обращение вопросом ко всем.

Сразу уловив мысль Абая и соглашаясь с нею, Дармен хотел высказать вслух свое решение, но его опередил Шубар.

– Абай-ага, я напишу эту песню! – поспешно воскликнул он.

Не смутившись тем, что его опередили, Дармен с такой же молодой пылкостью возвестил:

– Абай-ага, из уст Шубара прозвучали мои слова! Я тоже напишу песню об этом!

Шубар остался недоволен, лицо его стало напряженным, и молодой акын, язвительно улыбнувшись, молвил:

– Знаешь, друг, слова из моих уст – это все же не твои слова, а мои. И это мое решение. И я напишу песню по собственному желанию, а не по твоему разрешению. Как ты посмотришь на это?

– Пусть решат другие, кто из нас прав! – воскликнул Дармен. – Только учти, – все слышали, что я первым сказал о том, что песней надо помянуть убитых влюбленных. Значит, мне первому и сочинять песню о Енлик и Кебеке!

– Ты говоришь так уверенно, словно акын, победивший в состязании. А между прочим, если говорить начистоту, – разве ты стал петь свою песню? Нет, ты спел песню Абая-ага. И я что-то не слышал, чтобы ты сказал, что хочешь написать свою песню про Енлик и Кебека. Об этом сказал первым я! Мне и писать песню!

– Первым вслух произнес ты, но сердцем-то первым высказался я! – настаивал Дармен. – О, Тенгри! Неужели мы не акыны? Надо ли нам цепляться за всякие суетные слова, когда для истины достаточно молчания или просто – тонкого намека?



Ербол ехал между спорящими, посмеиваясь, посматривая на одного, на другого, затем вглядываясь прищуренными глазами куда-то вдаль, в сторону видневшейся впереди синеватой гористой местности. Вдруг он вмешался, не переставая, однако, всматриваться вперед из-под руки, прикрывая глаза от солнца:

– Уай, джигиты! Мне нравится, что вы спорите, кому первому написать стихотворение! Дети мои, это добрый спор! Я вот что вам скажу... если хотите послушать меня, подскажу, как решить его.

Оба джигита воскликнули одновременно:

– Хотим! Подскажите!

– Тогда слушайте меня! Вон там, на гусином лугу, в густой траве на зеленом пригорке сидит стая дроф. У обоих у вас на руках ястребы. Ваши птицы уже давно заметили их. Мы сейчас от них далековато, но ничего, у вас хорошие ловчие птицы, живо достанут их. Только выпускайте одновременно! И у кого из вас ястреб сработает лучше, тому наградой будет вдохновение для написания песни! Идет, джигиты?

– Барекелде! Отлично! – похвалил Абай решение Ербола. – Пусть ястребы состязаются! Но тише! Дрофы отлично слышат на далеком расстоянии!

Джигиты замолкли, и Ербол тоже заговорил тихо, сдерживая голос:

– Чья птица первой сразит дрофу, тот и напишет песню о Енлик и Кебеке! Есть уговор?

Всадники сгрудились кучно, голова к голове стояли их лошади. Шубар и Дармен тотчас дали согласие.

– Пусть так и будет!

– Добро!

– Ну, отпускайте!

Два джигита, выехав рядом, бок о бок вперед, одновременно размахнулись и с силой бросили в воздух своих птиц.



Шубар, проследив за полетом своего ястреба, обернулся к Абаю.

– Значит, ага, на том и порешили?

– Е! Ты только глянь, как птицы рванулись вперед! Вот будет им сейчас потеха! – С этими словами Кокпай взбодрил коня, дернув за поводья, и хотел пуститься вскачь, однако товарищи остановили его с возбужденными возгласами «придержи», «не торопись», «не спугни».

Лишь один Абай, на удивление всем, остался невозмутим и спокоен в эту минуту. Улыбнувшись, он молвил:

– Ербол решил правильно. У меня, однако, есть что добавить. Пока состязаются ястребы, кто первым схватит дрофу, пусть и хозяева птиц состязаются! Каждый из вас на скаку должен сочинить хотя бы несколько строк нового стиха, а мы потом послушаем. Идет?

– Пойдет! Иншалла! – воскликнули дружно акыны, и кони их с места рванули в карьер.

Шубар и Дармен притирались с обеих сторон к Абаю. Шубар возбужденно вскричал:

– Ага! Стих должен быть про ястреба?

Абай на всем скаку обернулся к Шубару.

– Нет, не про ястреба! Ставлю условие: стих не про охоту. Уйти от этого как можно дальше! Стих про старенькую бабушку! В зимнюю ночь, под вой вьюги, убаюкивает маленького внука! Вот тема! Начинайте! – И Абай, довольный, рассмеялся.

Шубар в ошеломлении уставился на Абая.

– Абай-ага, это не состязание, это истязание! – вскричал он.

Но в ту же минуту Дармен, скакавший по другую сторону от Абая, без всякого предварения, вдруг начал громко читать... У молодого степного поэта мгновенно пробудилось вдохновение импровизатора. Его полет был стремительнее полета ловчего ястреба. Все товарищи, забыв про охоту, устремили взоры и слух на Дармена. Сам Абай, сняв с головы тымак и




держа его в руке, склонился к нему на скаку и слушал с застывшей на лице улыбкой одобрения.

*Есть много на свете акынов таких,
Кто быстро слагает заданный стих,
Но много быстрее полет мыслей моих –
Ястреба крылья нынче у них!
Следите, друзья, как стих мой летит
В зимнюю ночь, где вьюга свистит,
Где лютый мороз за стеною трещит,
Где старая бабушка с внучком сидит,
Где тихая песнь над ребенком звучит:*

*Спи, ягненок, мой, спи,
Вьюга рыщет там, в степи,
Не залезет к нам в окно,
Не найдет нас все равно...
Баю-баюшки, бай-бай,
Спать нам, вьюга, не мешай,
Зря ты внучка не пугай,
Не возьмешь нас, так и знай!
Уходи ты в степь – гуляй,
На просторе поиграй,
Никого ведь нет в степи!
Спи, ягненок мой, спи,*

*Ребенок под песенку эту уснет,
А бабушка тихо поет и поет, –
Найду ей слова на сто лет вперед,
Покуда мой ястреб окончит полет...*

Продекламировав эти стихи на всем скаку, Дармен вдруг широко повел рукой перед собою и продолжил читать дальше:



*Но ястреб мой в когти зажал врага!..
Победа! Стих кончен, Абай-ага!*

Выкрикнув последнюю строку, Дармен хлестнул камчой коня и унесся вперед, не оглядываясь.

Абай восторженно посмотрел ему вслед и, качнув головой, молвил:

– Басе! Славно! Друзья, перед нами явился истинный акын!

И он мысленно благословил тот день и час, когда жатак Даркембай привел к нему подростка Дармена с просьбой взять его «в ученики и в товарищи».

Весь кружок акынов дружно последовал вслед за умчавшимся Дарменом. Обогнав его на своем резвом коне, к тому месту, где охотничий ястреб упал на дрофу, первым подскочил Магаш. Стащив с головы тымак и размахивая шапкой, он закричал:

– Дармен! Дарменжан! С тебя суюнши! Твоя птица взяла! Тебе писать про Енлик и Кебека!

Все подскочили к нему, встали кругом у бугорка, на котором ястреб, накрыв крупную, размером с козленка дрофу, терзал его и вырывал сверкающие бронзой перья.

На полном скаку Дармен подлетел к месту схватки птиц и кубарем скатился с седла. Хищно метнулся на помощь своему ястребу. Магаш, подскакавший Акылбай и расторопный Баймагамбет крутились на своих конях возле завершающегося боя благородных птиц.

Массивную птицу приторочили к седлу подъехавшего Ербола-аги, и круг всадников двинулся в ту сторону, где в одиночестве Шубар как-то суетливо, странным образом возился со своим ловчим ястребом.

Добычи что-то было не видать. Когда подобралась ближе, первым все понял и громогласно расхохотался Кокпай, указывая рукой на Шубара.



– Маскара! Ужас какой! Вместо того, чтобы взять дрофу, Шубарова птица сама стала жертвой! – вскричал Кокпай.

Шубар, с обреченным видом, взял на руки свою ловчую птицу. И перед всеми явилось, что она была вся мокра, измазана чем-то жидким, имела вид довольно плачевный, взъерошенный. И Кокпай, следуя своему обыкновению беспощадно язвить, вышучивая друга и сверстника, заорал срывающимся от восторга голосом:

– Смотрите же, смотрите! Апырмай! Да ведь дрофа обгадила ястреба с головы до ног! Точно в голову попал выстрел! Е, Шубар! Желая вступить в благородное состязание, ты заполучил через свою негодную птицу дурную примету, а?

Не нашелся, что сказать в ответ, Шубар, лишь молча отвернулся от насмешника и, меча по сторонам презрительные, холодные взгляды, направился к своему коню.

Абаю хотелось как-нибудь утешить Шубара, и тогда Кокпаю было сделано внушение:

– Ты, Кокпай, не смей порочить ловчую птицу! Смотри, сколько ярости и достоинства в ее глазах! Так и пылают гневом! Какая бы неудача ни пала на ее голову, она готова достойно справиться с этим!

Но, обернувшись к остальным акынам, Абай все же уточнил:

– Е, право на песню про Енлик и Кебека за Дарменом! Дармен, достойно воспользуйся этим правом. Сочини хорошую песню!

На радостях Дармен, еще совсем юный и ребячливый, не смог сдержать своих чувств и, не найдя им другого выхода, крепко натянул поводья своей белой горячей молодой кобылицы и одновременно дал ей шенкелей, отчего лошадь взвилась на дыбы и стала перебирать в воздухе передними ногами, словно разделяя радость своего хозяина. Любо-дорого было посмотреть на такую красивую картину: юный джигит на белом коне, с ловчей птицей на руке, весь словно устремлен-



ный к быстрому полету, навстречу солнцу, – осиянный светом своей молодой радости жизни!

Еще не развеялось светлое настроение Абая, только что с улыбкой на устах любовавшегося этой чудесной картиной, как вдруг он услышал тревожный, частый топот конских копыт, обернулся в седле и увидел приближавшегося к ним во весь опор верхового. Подскочив почти вплотную к стоявшей группе, тот осадил своего мелковатого гнедого конька, сплошь залитого темным потом. Джигит с коротко подрезанными торчащими усами, с маленькими острыми темными глазами оказался Абди из рода Жигитек.

Он еще издали, не обращая на остальных внимания, поздоровался с Абаем, напрямик подъехал к нему:

– Ассалаумалейкум, Абай-ага!

По голосу, по запыленному серому лицу с красными воспаленными глазами Абай сразу понял, что джигит сильно возбужден и весь клоочет от гнева.

– Уагалекумассалам, джигит! Е, что за спешка, куда летишь, сломя голову?

Тут Абди, вспомнив о приличиях, обернулся в сторону старших, в первую очередь к Ерболу, и коротко отдал салем. Потом, вновь обратив взор на одного лишь Абая, низким голосом прогудел:

– Уай, Абай-ага, с жалобой к вам, меня народ послал! Дело срочное, а я на своей кляче еле смог догнать. Только на вас и надеемся!

– Что за дело? Говори! – Абай с беспокойством вглядывался в джигита.

– Семь аулов пострадали. Меня отправляли к вам всем миром. Мы жигитеки из урочищ Азберген и Шуйгинсу.

– Знаю ваши аулы. И что у вас?

– Все семь аулов терпят унижение и насилие, и насильник – Азимбай!

При этом имени Абай сразу помрачнел. Азимбай был изверг в молве народной, упрямый и злобный человек, но он



приходился племянником Абая и, по обычаю, назывался его младшим братом. Оттого и пала тень уныния на его лицо, из груди вырвался невольный вздох. Всмотриваясь в Абая, прискакавший джигит Абди почувствовал, что в нем он найдет понимание. Это придало ему смелости, и он заговорил увереннее:

– Захватили у нас половину сенокосных угодий, начали косить. И в прошлые годы насильно занимали наши луга и выкашивали их, и нынче, уже третий раз, считай, послали своих косарей! Нет житья от насильников! Но раньше они объедали аулы по отдельности, выманивали корма у них обманом и лестью, под лживые обещания. Своего скота у нас не было, и мы брали у соседних богатых аулов истощенный скот, на зимний откорм, для чего и заготовливали сено на своих угодьях. Тем и жили кое-как до следующего лета... А тут приходят и насильно забирают все сено! Как же нам быть? Собрались люди из семи аулов и хотели высказать Азимбаю свое недовольство, так он нас и слушать не стал, прогнал прочь! Теперь противостояем, как накануне схватки, – косари Азимбая и наши джигиты. Кончено, мы унижений больше терпеть не желаем! Рассуди нас по справедливости, Абай-ага, ведь не только они, но и мы – твои родичи, твой народ. Слезно молим тебя, – помоги нам! А то ведь хуже врага лютого – свои же родственники, свои властители! Куда нам деваться? Совсем задавили нас притеснения и злодеяния, света белого не видим! Придет ли конец всему этому?

Высказав это, Абди сразу поник, плечи его обвисли и вздрогнули, в глазах сверкнули слезы.

Шубар отозвался первым – ткнул в бок кнутовищем камчи сидящего рядом на коне Кокбая и с насмешкой сказал:

– Ты смотри! Как жалобно поет!

Надменно поглядывая на потного жигитека, Шубар брезгливо морщился. Абай метнул на него недовольный взгляд. Он-то воспринял слова Абди совсем по-другому. На минуту



тяжело задумался. Потом вскинул голову и произнес резким, жестким голосом:

– Эй, люди! Вы что, не слышите? Совершается произвол, народ безжалостно грабят. Допустимо ли это?

Ему ответил первым опять-таки Шубар:

– Они соседи Такежана. Между соседями чего только ни бывает. Ссорятся, потом мирятся. Пусть и разбираются между собой по-соседски. Не к вам надо им обращаться с жалобой, а к мирзе Такежану, отцу Азимбая.

Абай тяжелым взглядом оглядел Шубара.

– К Такежану, говоришь? К тому, от которого исходит обида? Плохие твои слова, – ведь бедняки обращаются к нам, чтобы мы помогли им и защитили от обид сильного бая.

– Такежан нам тоже родственник, и он тоже может обидеться... А вам зачем это нужно, Абай-ага? Зачем тяжбы, хлопоты, ссоры? Вы лишитесь покоя, не сможете работать над стихами. Боюсь, все это нанесет урон вашим занятиям.

– Апырай! Да пропади они пропадом и стихи, и творчество, если рядом люди проливают слезы! Они будут плакать от горя и страданий, а я – потихоньку писать свои стихи? Что за глупости, Шубар?! – Абай сердито уставился на него. – Ты что, только на это и способен при виде того, как обирают людей и по-злодейски обходятся с ними?

– Воля ваша, поступайте, как знаете! – с недовольным видом буркнул Шубар.

Абай решительно обернулся в седле к Магашу и Дармену.

– Немедленно поезжайте вместе с Абди, – распорядился Абай. – Передайте от меня Азимбаю: пусть прекратит косьбу. Не стоит людей доводить до отчаяния!

Магаш и Дармен тотчас поскакали вместе с Абди, в обратную сторону. Абай с остальными отправились дальше...

Когда Магаш со спутниками подъехал к месту происшествия, восемь косарей Азимбая уже всю размахивали косами, подчищая участок семи бедняцких аулов. Покос в этом



году сильно запоздал, трава стояла рослая, густая, но перезревшая – уже пожелтевшая, жесткая. Проезжая краем обширного покоса, Дармен заметил:

– Чего же они не скосили раньше? Ведь трава перестояла.

– Мимо наших зимовок проходило на осенние джайлау много караванов. Мы стерегли свои покосы от потравы, днем и ночью сторожили их, не косили, а то ведь сено скошенное могли и унести. Оставили покос на более позднее время, – видишь, что получилось! Так и налетели! Косят всюю! А ведь сказано было им: подождите, посредников позовем, рассудят нас по справедливости! Но есть ли для Азимбая суд? Он сам для себя суд и расправа!

Маленькой толпой, человек в десять, стояли жигитеки из бедных аулов и молча наблюдали, как лихо работают восемь пришлых косарей. Среди жигитеков, кроме двух-трех караскалов среднего возраста, с побуревшими бородами, остальной народ был весь молодой – крепкие джигиты, такие, как Сержан, Аскар. Их лица ничего хорошего не обещали. На покосе присутствовал и сам Азимбай – он единственный был верхом на лошади. Кони косарей были, видимо, отогнаны подальше.

Молодой еще бай, отпустив поводья, вольготно распахнув чапан на животе, шагом ехал по краю поля, давая коню время от времени похватать траву на ходу. Приблизившись путникам Азимбай вначале был виден со спины, широченный распахнутый чапан его надувало ветром, и сзади тучный Азимбай выглядел поперек себя шире. Такого жирного бая ничем не прошибешь, жалости от него не жди, – думалось каждому, кто глядел на него.

Трое путников сравнялись с косарями одновременно с Азимбаем. Тотчас подошли и жигитеки семи аулов. Все тепло поздоровались с Магашем, с Дарменом, косари сдержанно смотрели на жигитека Абди. Жигитеки догадывались, что молодой Абаев сын послан отцом для улаживания их раздора с иргизбаями, с Азимбаем, и потому заметно приободрились.



Магаш начал без предварения, прямо и открыто:

– Что же ты, Азеке, позволяешь себе? Зачем вступил в тяжбу с бедными родичами, притесняешь их? Разве это дело?

– Ничего особенного тут не случилось! Подобрал то, что они сами бросили. Не нужен был им покос, вот я взял да и начал здесь косить! Какие дела, Магаш?

Беднота жигитекская так и взвилась, заполошилась:

– Е! Е! Кому это не нужен?

– Как это – бросили?

– Разве мы вам сказали: не будем косить, давайте косите вы? С чего взяли! И не договаривались ни о чем! – Сержан, Аскар и Абди грудью пошли на Азимбая. Его конь попятился. Широколицый Азимбай уставил свои глазки, в красных узелках распухших вывернутых век, на джигитов, переводя взгляд с одного на другого. Не отвечая жигитекам, Азимбай заговорил с Магашем:

– Ту-у! Да они тут наплетут тебе всякой чепухи! Только тогда, когда я начал косить, они и запричитали: «это наше добро», «не отдадим», «заплатите» – словно последний кусок у них изо рта вырывают. Эти хитрецы хотят продать то, что само выросло в степи. А ведь смотрите, – до сих пор и не думали косить траву, вон, она вся побурела! До осенних холодов трава оставалась стоять некошеной!

– И ты решил сам косить на нашем урочище? Взять чужое? А ведь отлично знаешь, мырза, в чем дело! Знаешь, что мы сберегли траву от проходящих караванов. Для нас, которые без скотины, нет спешки, чтобы скорее заготовливать сено, – и это ты тоже знаешь, мырза! Останови своих косарей! Давай разбираться! – напирал со своей стороны Сержан.

Азимбай начал клопочущим от злости голосом грозить:

– Е! Ты собираешься мне указывать? Шире раскрой глаза: кто перед тобой?

– Стой! Прекращай косить! – протяжно крикнул Абди, миглом спрыгнул с коня. – Не давайте косить! А вы, косари, остановитесь!



– Не останавливаться! Не слушать его! А я посмотрю, что они будут делать! – заорал Азимбай, выпрямившись в седле, угрожающе поднял камчу, крепко сжимая ее в руке.

В эту же секунду Аскар, Сержан и Абди бросились вперед и встали перед косарями.

– Трава выросла на нашей земле, что волосы на нашем теле! Хочешь косить траву, коси наши тела! – крикнул чернорусый Абди и, сбросив с себя чапан, предстал перед крайним косарем нагим по пояс, во всей ладной красе своего крепкого молодого тела.

Этим крайним косарем оказался джигит огромного роста, ширококостный, жилистый – сын вдовы Ийс из аула Такежана, имя джигита было – Иса. Он перестал косить, поднял косу, поставил ее концом косовища на землю.

– Не останавливайся! Коси! – рявкнул Азимбай, оскалившись, привставая на стременах, с поднятой камчой в руке...

Высокорослый Иса не послушался приказа бая. Два других косаря, оказавшиеся перед преградившими им путь Аскаром и Сержаном, тоже остались стоять. Продолжал махать косою, испуганно поглядывая на Азимбая, лишь один чернорослый приземистый его табунщик. Все остальные стояли. Азимбай налетел на них, с поднятой камчой, вначале на высокого, широкоплечего Ису. Грязно выматерил его:

– Почему не слушаешь меня? Отца твоего... тещу!

– Эй, мырза, я что, человека должен убивать? Он такой же бедняк, как я! – отвечал Иса, и тогда бай с налету два раза, наперекрест, хлестнул его по плечам камчой.

Глаза Исы словно метнули искры в сторону Азимбая, схватив за косовище, он далеко отбросил косу.

– Не буду косить! Сам убивай человека, кровопийца! – взбунтовался работник и решительными шагами ушел в сторону с покоса.

Бай на его место поставил чернорослого табунщика. Указывая ему на Абди, стоявшего перед ним, с яростным хрипом выкрикнул:



– Секи его по ногам! Тварь поганая, вздумал перечить мне!

Ошалевший, перепуганный табунщик, заворотив черную бороду в сторону бая, не глядя перед собой, завел в сторону косу, собираясь махнуть ею. И тут Магаш и Дармен одновременно подскочили к нему.

– Стой!.. Башка дурная!

– Апырай! Ты что делаешь?

Лезвие косы свистнуло над самой землей, под ногами Абди, он быстро шагнул вперед и придавил стальную косу ногою. Затем, вырвав ее из рук чернобородого работника, разъяренный Абди в два счета переломил косовище и короткий конец его, вместе со стальным лезвием, взял в руки и выставил перед собой, как некое страшное оружие.

Мгновенно Сержан и Аскар, последовав его примеру, отобрали косы еще у двоих косарей и, выставив их наперевес, лезвиями вперед, двинулись на Азимбая.

Теперь уже Магаш и Дармен стали громко кричать на них:

– Эй, неразумные! Что вы делаете? Бойню тут хотите устроить? Придите в себя – обе стороны! Азимбай, останови своих! Абди, брось сейчас же косу!

Абди и его товарищи косы опустили, но бросать их не стали.

Азимбай соскочил с коня и стоял, темнее тучи, словно загнал весь гнев в себя. Приезжие тоже спешили, все стали большим кругом. Магаш намеренно повел разговор самым спокойным образом, в хорошем тоне. Это должно было попридержать, приугасить ярость обеих сторон.

– Сородичи, меня послал к вам отец мой Абай... Он просил передать, чтобы вы разрешили спор мирно, без ссоры, ругани, драки. Азеке, в первую очередь отец имел в виду тебя. Вот его наказ: «Если хочет иметь сено, пусть покупает. Даст цену по обоюдному согласию. Бесчинствовать же ему не стоит! Мы не одобряем всякое его насилие!» Так передал Абай-ага, твой



старший родственник. И ты найди понимание его словам и приди с людьми к согласию!

После таких весомых, убедительных слов, высказанных с благородной сдержанностью, Азимбаю ничего не оставалось, – чтобы не выглядеть мелко и подло, – как отвечать в том же духе и тоне. Свою злобу, упрямство и строптивость он вынужден был скрыть приличными словами.

– Раз Абай хочет так думать, пусть себе думает. Я ничего не имею против того, чтобы в наши споры вмешивался, как посредник, мой старший родственник. Но если Абай приходится мне дядей, то его старший брат, Такежан, – мой отец! И что же мне делать? Абай повелевает «не коси!», отец приказывает «коси!» Он ушел в кочевье, оставив мой аул заготавливать сено. Магаш, дорогой, мырза Такежан не только отец мне, – он старший брат Абая, потому и для тебя – отец! И он приказал: косить здесь...

– Повеление несправедливое, содержит произвол и бесчинство... Нас с тем и послал Абай, чтобы не допустить бесчинства.

– Так он считает наши действия несправедливыми? Что же, пусть так считает, но тогда он об этом должен сказать не мне, а своему старшему брату, пусть попробует сам остановить его!

– А ты, Азеке? Будешь косить, пока отцы наши станут выяснять дело?

– Конечно, буду косить. Я выполняю приказ, который дал мой отец. Магаш, ты когда-нибудь сам пробовал противиться воле своего отца? Не было ведь такого? Вот и я такой же. То, что Абай послал тебя ко мне со своим приказом, – это он зря! Не ко мне надо было обращаться, а к мырзе Такежану. Вот мои последние слова, и больше я ничего не скажу, знать ничего не хочу! Все, брат! Мои люди будут здесь косить! – Как отрезав на этом, он пришпорил лошадь и ускакал, оставив посланцев Абая стоять рядом с бедняками-жатаками.



Заговорил один из них, седоголовый, худощавый старик Келден:

– Уа, джигиты, мы увидели воочию и услышали своими ушами и теперь точно знаем, чего ожидать от Азимбая. Магаш, жаным, расскажи Абаю все, что ты увидел и услышал. Мы хотим, чтобы он узнал всю правду. А насчет Азимбая мы сами разберемся... Пусть делает, что ему заблагорассудится, пусть косит наше сено. Поставит стога... Ну, и завтра же мы перевезем сено в свои дворы. Потом возместим Азимбаю расходы на косарей. Что скажете на это, джигиты?

– Тому и быть!

– Верно!

– По-другому не выйдет!

Все возрадовались, найдя такой простой и, главное, достойный выход из унижительного положения. Один лишь разгневанный Абди никак не мог успокоиться:

– Аттен! Жаль! – вскричал он. – Жаль, нет с нами Базаралы! Нет нашего батыра! Нам бы сейчас засучить рукава и без оглядки ринуться в бой, сойтись с врагом и расквитаться с ним за все многолетние унижения! О, могучий Базаралы, достославный наш джигит! С тобою рядом мы не оробели бы, – пустили кровушку из наших мучителей! Но без тебя дни наши проходят в унижениях и обидах, о, славный азамат наш!

Прокричав все это, словно плач, Абди сел на землю, поставил перед собой на землю косу, уткнулся головою в косовище. В молчаливой скорби, в унынии, он умолк надолго, и джигиты безмолвно стояли рядом с ним. Магаш высказался коротко:

– На Азимбая-агу и Божья воля не подействует, мы видели... Расскажем все Абаю. Передадим и ваше решение. Но очень прошу, – повремените немного, подождите до ответного слова Абая!

Жатаки стояли молча. Они не знали, что сказать...

Магаш и Дармен сели на коней и собирались отправиться в обратный путь. Косари Азимбая толпой пошли на обед. Ког-



да они проходили мимо, Дармен, хорошо знавший Ису, сына вдовы Ийс, приветливо обратился к нему:

– Иса! Ты добрый джигит. Показал себя достойным человеком. Не захотел сделать зла – и хозяину не подчинился, хотя давно работаешь у него...

– А ты как думал? Я не пес дурной, которого он может насускивать на кого хочет. Нет уж, на злое дело не пойду, хоть ты убей меня! Неужели я мог бы нанести хоть какой-нибудь урон уважаемому Абди? Да никогда на свете! – И с этим он удалился вслед за косарями.

Магаш и Дармен тоже направились по тому пути, каким прибыли сюда. Они уносили в душе не самые приятные чувства от встречи с Азимбаем. Джигитам не терпелось скорее обо всем рассказать Абаю.

2

Сегодня осеннее небо столь же пасмурно, как и вчера, – в сплошных переменчивых пестрых облаках. Серая юрта, поставленная Абаем и Айгерим, это осеннее жилье, сильно урезанное в размерах для сохранения тепла. В маленькой юрте размещаются хозяин и хозяйка, вместе с ними верная служанка и наперсница Айгерим – Злиха. Растопив очаг посреди юрты, она варила в казане свежину молодого стригунка, забитого утром.

Убранство юрты было под стать наступившим осенним холодам. На пол, на вышитые кошмы-сырмак, разостланы толстые стеганые корпе, сверху брошены пышные подушки под локоть. Вкруговую по стене, для ее утепления, вывешены вплотную друг к другу теплые, добротные, яркие ковры. На месте тора поверх узорчатого сырмака распластаны шкура архара и подстилки из кудрявой мерлушки.

В тесной, но уютной юрте нижняя часть стены выгорожена войлоками, коврами, пол застелен достаточно плотно и вы-



соко, – так что холодная сырость осени не касалась людей, укрывшихся в надежном кочевом жилище. Ярko пылавший желтоватый огонь кизяка в очаге прогревал юрту по всему ее пространству, снизу и доверху, заставляя забыть о сырой, неуютной погоде.

После утренней трапезы, набросив на плечи легкую накидку-купи, подбитую верблюжьей шерстью, надев на голову шапочку-борик из меха козленка, Абай приступал к чтению книг, привезенных из города. Обычно на столе перед ним лежали книги Пушкина, Лермонтова, переводы на русский Байрона, Гете. Абай в эту пору своей жизни читал книги уже постоянно в очках.

По прибытии Магаша и Дармена из поездки к жигитекам состоялся обстоятельный разговор. Поначалу, выслушав джигитов, Абай даже несколько растерялся. Он не понимал, как ему надлежит теперь действовать.

Невеселые думы одолевали его. Для разума это непостижимо, но всякое насилие, похоже, не руководствуется разумом. Оно служит злу и существует извечно, как сама жизнь. Насилие проявляется сегодня в том же виде, что и пятьдесят, сто лет назад... Сумрак зла, никакого просвета... Вспомнились Абаю могилы Енлик и Кебека, их печальные судьбы. Размышляя об этом, Абай представил тех, от которых исходили жестокость, беспощадность, смерть – суть волчий закон. Меняются имена исполнителей этого закона, стихия зла остается та же. В одном случае это был Кенгирбай, в другом – Кунанбай, сегодняшним днем исповедует волчий закон Азимбай... Когда-нибудь преодолется ли в душах людей этот звериный сумрак зла?

Размышляя над этим, Абай пришел к соблазняющей, горькой мысли – покинуть их. Уйти в поисках другой страны, другой жизненной среды, нежели эта степная косность. Уйти? – и тут Абай усмехнулся над самим собой. Куда уйти? Он подумал, разумеется, о русской среде, о русском обществе, представ-



ление о котором получил через книги... Уйти... Но это следовало сделать, наверное, в более молодые годы, когда отваги и решимости было намного больше. Однако в годы молодости и мысли не приходило, что где-нибудь найдется страна, в которой тебе будет лучше, чем на милой степной родине! Что вокруг тебя может быть людское окружение – дороже твоих родичей. Ну а теперь что? Разве ты думаешь по-другому? А если бы и думал, – куда ты денешь свои годы, разменянные безвозвратно? Поздновато, дорогой, думать о том, чтобы отбросить все бывшее и вступить в новую жизнь.

Но, остановившись на этом, Абай вдруг почувствовал, что, – словно огненная искра! – его обожгла одна яркая мысль. Он подумал: вообще-то, уйти – это неплохое решение, но уходить надо не от родной среды, а от тех из этой среды, – даже очень близких, – от которых исходит эта жестокая косность. И одновременно надо искать как можно больше людей, – и среди родичей, и среди дальних, – для которых также невыносима степная тьма души... «К этому поиску ведет меня мое сердце, – оказывается, я всегда был устремлен к этому. Но выходить на этот поиск я должен во всеоружии знаний и духовных сил!»

Магаш и его товарищ молча ждали, не смея нарушить хода мысли Абая. Наконец он заговорил, высказывая всего лишь часть того, о чем он думал:

– Бессмысленно пытаться остановить жестокость, исходящую от чужих людей. Таких мы называем врагами. Но хуже врага тот, кто находится рядом с тобою и называется твоим братом, родичем. И у тебя нет ни силы, ни власти – поставить такого на место... Так и проходят дни нашей жизни – под пятою унижений, под гнетом торжествующего зла. Люди плачут – злодей смеется над ними. А что толку от их страданий и слез?.. Я думаю, правильно решили жатаки: «сено перевезем к себе». Другого решения нет. Пусть делают так – и это будет достойным ответом бесчинствам Азимбая и его приспешни-



ков... Но этой же осенью, до возвращения на зимники, мне нужно будет встретиться с Такежаном. Нельзя допустить, чтобы он задушил последнюю надежду бедных людей...

Придя к такому решению, Абай отпустил Магаша и его товарища.

Вечером они, сидя в юрте за чаем в кругу сверстников, с возмущением и досадой рассказывали о «собачьем поступке Азимбая». О том, как расстроился Абай. Какитай тут вспомнил, что Шубар говорил: жатакам надо самим разбираться с Такежаном по делу о покосах.

– Е, какой подвох скрывается за словами Шубара? Хотелось бы понять, что он имел в виду, говоря: «Это помешает Абаю писать стихи. Пусть жатаки сами разбираются с Такежаном».

– Ты прав. Здесь – уловка... – подтвердил Магаш.

Молодые, чистые сердца не принимали лжи, притворства, интриги...

Выступил и Акылбай, хорошо знавший Шубара.

– Ойбай, разве Шубар когда-нибудь перестанет быть хитрым? Он еще тогда почувствовал, что быть новым распрям между Такежаном и Абаем-ага. И решил держаться в стороне. А когда ссора произойдет, увидите, он скажет: «Я же вас предупреждал! Никто не должен вмешиваться в дела другого». На самом же деле, братцы, я думаю, Шубар почему-то в душе желает ссоры Абая с Такежаном. Находясь за шестью холмами, пытается подливать масла в огонь! Хочет затолкать обоих в ловушку распри.

Все задумались. Здесь и на самом деле была затронута одна из скрытых ран в душе Абая. Если племянник Азимбай был раной с названием «откровенное зло», то брат Шубар был «скрытое зло» – недругом коварным, лицемерным, цепким. От него было трудно избавиться: он сородич, постоянно трется в круге Абая. Абай же, человек добросердечный, удалить Шубара от себя не мог...



Думая об этом, Магаш опечалился. В тускло освещенной юрте повисла грустная тишина, но тут неунывающий Дармен перевел разговор на другую тему, заговорил о прошлом поэтическом состязании на охоте с ловчими ястребами...

Абай всю ночь ворочался без сна, тяжело вздыхал, не находил себе места. Утро настало такое же пасмурное, тусклое, как и его душа в этот час. Ненастная погода словно хотела лишиться человека всякой радости, подавляла его. Не оттого ли и хотелось Абаю уйти, перелететь совсем в другой мир, отогреть сердце у очага с иным огнем? Он вновь обратился к Пушкину, как всегда, ища у него поддержки и утешения.

Айгерим сидела близко к огню, и чистое лицо ее, отражавшее беглый свет пламени, раздумянилось, купаясь в его лучах. Полы ее шубки, из шкурок лисьих лапок, покрытой плотным черным шелком, были с подбоем из куньего меха. Роскошность шубы дополняли крупные розовые жемчуга, вкрапленные в витые серебряные пуговицы. Белая женская повязка-кимешек, устроенная на ее голове с особым изяществом, сияла чистотой. Дорогая, нарядная одежда подчеркивала безупречную красоту зрелой, немного располневшей Айгерим. Сидя у очага, она шила мужу зимний тымак из меха красной лисицы.

Занятый чтением, Абай изредка поднимал голову от книги и взглядывал в небо за шаныраком, наблюдая погоду. Дважды он справлялся у Злихи, заходившей в юрту со двора: не расходятся облака? Не проясняется ли небо?

После утренней трапезы, совершенной в молодом очаге, пришли в юрту Магаш и Акылбай с друзьями. Вслед за ними отдельной группой явились привычные в ауле Абая гости, свои люди: Ербол, Кокпай, певец и скрипач Мука́, Баймагамбет и другие. Это были гости самого Абая. Дармен же, Какитай и молодой сэре Алмагамбет были гостями дома Магавьи.

Когда Ербол занял свое привычное место на торе, возле Абая, хозяин и у него спросил о погоде:



– Как там, снаружи? Не проясняется?

Абай снял очки, закрыл и отложил книгу и осмотрел присутствующих в доме. Айгерим, с улыбкой глядя на него, заметила:

– Что-то вы, дорогой, уже с самого утра который раз спрашиваетесь о погоде! Или на дворе – лютая стужа зимнего джунта?

Абай с откровенным восхищением посмотрел на жену. Яркий румянец горел на ее щеках, выразительно подчеркивая нежную белизну лица, безмятежно веселого. Ее мелодичный смех, словно звон серебряного колокольчика, высоко вознесся над серой будничностью и унынием осеннего ненастья. Смех Айгерим напоминал произвольную радость майского утра. Надолго задерживая свой взгляд на пригожем лице жены, Абай говорил ласково:

– Айналайын, ты точно заметила, что я часто справляюсь о погоде. Вместо этого мне чаще следовало бы поглядывать на тебя, и ни о чем таком не спрашивать! Хоть снаружи и пасмурно, а в доме моем, оказывается, светит солнышко! Посмотри, Ербол, она ведь сияет как радуга! Ну какая там серая осень сможет затмить такой свет!

Смущенная Айгерим пунцово покраснела. И вновь прозвучал ее негромкий переливчатый смех. И все, глядя на нее, заулыбались. Она же обернулась к Злихе и велела подавать гостям кумысу. Быстро был расстелен новый синий дастархан. Начиная с Абая, служанка стала подавать в желтых чашечках кумыс, наливая его из большой чаши половником, затейливо украшенным узорами из чеканного серебра.

Густой, матово-белесый осенний кумыс сегодня был особенно хорош. Не успевший перебродить за одну прохладную ночь, еще не пенистый, он скорее был по вкусу как *саумал*, отстоявшееся кобылье молоко. С особенным удовольствием выпив по первой чашке, гости стали нахваливаться: «Ай да кумыс! Какой вкус, аромат! Одно удовольствие!» В предвкуше-



нии варившегося на ярком огне мяса, попивая кумыс, гости пришли в хорошее расположение духа. Создалась самая непринужденная обстановка, дружеский сход в доме Абая обещал быть интересным и приятным.

Вчерашний разговор о печальной судьбе Енлик и Кебека заставил задуматься всех, каждого по-своему. Старшие, Кокпай, Ербол, Мука́ и Баймагамбет, разговаривали об этом еще с утра, до прихода к Абаю, находясь в гостевой юрте. Историю Енлик – Кебека лучше других знал Ербол. Он толковал о жестоком приговоре бия Кенгирбая как о деле, без всякого сомнения, вынужденном, – ибо тобыктинцы были слабы и малочисленны, заступиться за своего, виновного, джигита они все равно бы не смогли. Толкование Ербола ни у кого из старших не вызвало ни сомнения, ни возражения. Событие было воспринято просто как предание старины.

У молодежи, в юрте Магаша, эта тема также горячо обсуждалась с самого раннего утра. Молодые акыны круга Абая – Акылбай и Магаш, его сыновья, а также Какитай и Дармен при обсуждении трагедии Енлик и Кебека пошли в том направлении, которое обозначилось вчера: сострадание, жалость к убитым юным возлюбленным и осуждение тех, кто обрек их на смерть. В молодом кругу было как раз много волнений, споров, страстных высказываний.

Камнем преткновения, который молодежь не смогла обойти, был довод Абая о необходимости «правды жизни» при создании поэтического произведения. Абай-ага наставлял: «Только найдя эту правду, ты придешь к настоящей поэзии». Дармен воспринял это наставление таким образом:

– «Правду» из уст Абая я понимаю как назидание нам. Это по поводу того, как воспринимать нам бия Кенгирбая. Потомкам не надо раболепствовать и возводить в божество своего предка: «был он светочем мира», «мы не достойны и праха с ног его». Об этом и предостерегает Абай-ага. Он указывает: ищи только правду, если были при жизни какие-то пороки у



нашего святого предка, говори об этом смело, ничего не утаивай.

Из этих слов Дармена выходило, что в поэме, которую собирался написать, он мог и осудить Кенгирбая. Но тут ему возразил Магаш, стараясь сдерживать свое волнение:

– Прежде всего, надо понять, что есть правда, истина? Можно ли считать истиной все то, о чем твердят люди, повинуюсь законам веры и старым обычаям? Если это так, то ничего не остается, как только молиться аруаху Кенгирбая, возжигая ночью на его могиле поминальные огни... и никто не может его осуждать... Но можно ли назвать правдой только то, что одобряется большинством? Вот еще один вопрос. Друзья, часто бывает, что это не так! Истина не совпадает с мнением толпы! Наоборот – истина как раз противостоит заблуждениям этого большинства, и только она способна вывести заблудившуюся толпу на правильный путь! Так что в нашем случае мы должны прежде всего выяснить, в чем правда!

Высказывался и Акылбай, – несмотря на то, что говорил он всегда не очень бойко, тяжеловато, произнося слова хрипловатым, как у его матери Дильды, низким голосом, – мысли простоватого с виду Акылбая всегда были основательны, хорошо выверены и глубоко продуманы.

– Я сейчас буду говорить не о Кебеке и не о Кенгирбае, – неожиданно для всех начал он, – а кое о чем другом. Вот, скажем, что означает понятие *хакикат*? Вы знаете – это высшая истина. Которая существует для всех времен, для всех людей, для всей вселенной. Но может ли быть такое? Вот и другие понятия – *гадилет*, справедливость, и *шафкат*, милосердие, *зулмат*, вечный мрак, – все они являются ли неизменными раз и навсегда? Одинаково ли понималось все это во все времена, джигиты?

Какитай, еще один любомудр, с удовольствием выслушал Акылбая.



– Аке, я понимаю ваш вопрос как повторение тех вопросов мудрецов, о которых писали они в своих книгах. Но каверзность вашего вопроса в том, что вы его подводите под готовый ответ: «нет хакиката для всех времен». А раз так, то и справедливость, и зло не понимались одинаково в разные времена. И тогда можно допустить, что во времена Кенгирбая убийство несчастных Кебека и Енлик вовсе не посчиталось злом! *Гадилет* того времени вполне оправдывал их жестокую казнь. Не так ли, брат? – высказался Какитай и выразительно посмотрел на Магаша...

Молодой круг Абая проводил в подобных диспутах много времени. Порой, в горячей состязательности, молодые умы забредали так далеко, что не в силах были сами выбраться из философских дебрей, – тогда они обращались за помощью и советом к своему учителю.

Бывало, как в противостоянии Акылбая и Какитая, что спорщики невольно выходили за пределы мусульманской книжности и начетничества, что и было явлено в иронических словах Какитая. Магаш ответил ему одобрителем взглядом и после некоторого молчания сказал:

– Какитай, ты лучше всех нас освоил русскую грамоту, потому и, наверное, твое толкование слов Акылбая похоже на высказывания некоторых русских мыслителей в их книгах. А у них часто бывают очень глубокие мысли. Но это – если смотреть с их точки зрения. А если посмотреть с мусульманских позиций... – и тут Магаш засмеялся, – вы оба делаете уверенные шаги к вероотступничеству и ереси.

Какитай сразу принял шутку Магаша, также засмеялся в ответ и произнес, нарочито понизив голос:

– Мне можешь говорить что угодно... Но не высказывай этого при Кокпае и Шубаре! Они ведь сразу же скиснут или начнут бушевать, когда толкования канонических книг явно выйдут за пределы дозволенных комментариев!



На Акылбая же произнесенное младшим братом Магашем слово «вероотступничество» произвело сильное впечатление. В отличие от Магаша и Какитая, немногословный Акылбай был ретивым исполнителем правоверного устава.

– Магаш, ты к чему меня подталкиваешь, говоря о вероотступничестве? – посуровевшим хрипловатым голосом прогудел он. – Я никогда, кажется, не оступался и не забывал обращаться лицом в сторону Мекки. Чего вздор мелешь?

Улыбнувшись, Магаш поддел брата еще заковыристей:

– Акылбай-ага, у меня нет никаких сомнений насчет того, что вы знаете, где Кааба. Но если то, что высказали вы совсем недавно, соответствует истинному вашему убеждению, то вы, брат мой, далеко в сторону ускакали от Каабы!

Все еще не совсем понимая, Акылбай продолжал молчать, ожидая конца речи Магаша. А тот говорил:

– Я запутался в ваших противоречиях, джигиты. Вы говорили: «разным временам сопутствовали разные истины». Значит, в разные времена справедливость также воспринималась по-разному. Зло тоже определялось по-разному. Но разве так сказано в Коране – в аятах, хадисах? Нам свойственна самоуверенность, наверное, когда говорим: да, мы идем по пути, указанному Пророком. Если истина, зло, справедливость видоизменяются в каждую эпоху, как вы утверждаете, то ведь и вера должна изменяться? А разве такое возможно? Разве может религия, создающая вечные каноны для верующих, видоизменяться? Из ваших слов вытекает, что может – это и является ересью! В таком случае, может статься, в иное время, в ином правоверном обществе и пророк не будет признан пророком! А его дядя Абужахил, язычник и упрямец, так и не принявший мусульманской веры, не будет причислен к язычникам. Вы уж не сердитесь, Акыл-ага, но что-то не получается по-вашему.

Какитай и Дармен защелкали языками от восхищения, пленившись остротой мысли Магаша. Однако неповоротливый,



медлительный Акылбай, объединив все выдвинутые против него обвинения, смог против них выставить единый многомудрый ответ:

– У нас, в мусульманском мире, имеется такое понятие: меняются времена, приходит новая эпоха – появляется новый пророк. Появляется и новая великая книга. Так ведь и было: сначала были Талмуд, Ветхий Завет, потом Евангелие, затем Коран. Приходит новое время – несомненно меняется канон веры, но неизменным остается учение о вечном Едином Создателе!..

Дармен с любопытством и удивлением смотрел на Акылбая, тот с достоинством спокойно взирал на друзей. Нашел все-таки ответ старший сын Абая!

– Уа, нашего Акыла-ага голыми руками не возьмешь! А ведь казалось, что Магаш и Каке уже объехали его! – воскликнул Дармен.

Теперь Акылбай, приободрившись, позволил себе пошутить над младшим братом:

– Как видишь, айналайын, Магаш, не всегда это получается у вас с отцом: куда хочу, туда и заворочу. Воля ваша, но вам не надо пытаться всех впрячь в свою упряжку! – посмеиваясь, завершил Акылбай.

В голове Магаша было кое-что еще, что мог бы он выдвинуть в споре, например, мысль о том, что и после прихода самого Пророка время не остановилось, произошло в мире немало перемен в человечестве. Дитя человеческой истории все еще растет – так и по пришествии последнего пророка... Но, памятуя о том, что Кокпай, Шубар и Акылбай всегда выступают как ревностные мусульмане, Магаш не стал выставлять перед ними свою мысль. Ему было вольготно разговаривать с самим Абаем и с Какитаем, которым вовсе было не свойственно проявлять настоятельность правоверных книжников.

Разговаривать свободно, открыто о религии они могли, оставаясь только втроем – Абай, Какитай, Магаш, – поэтому



он, ценя это духовное содружество, решил не испытывать судьбу и не задевать истовых правоверных чувств своего старшего брата. С другой стороны, горячность юного Дармена по поводу правды жизни в искусстве вызывала в Магаше сочувствие и понимание.

Для Дармена вопрос правды, поднятый им сегодня, был очень важен, поэтому он никак не мог отойти от него. Он чувствовал, что у остальных из круга Абая, получивших более основательное русское образование, а также и впитавших много из мусульманских книг, знаний намного больше. Но это не вызывало у Дармена ни зависти, ни ущемленности, наоборот, – круг молодых порождал в его сердце только чувства большого уважения и восхищения. С восторгом он думал: «Где я среди казахов мог бы услышать такие умные разговоры, как у Абая и его сыновей!»

Он был счастлив, что принят в круг Абая, что сам Абай-ага согрел его вниманием и заботой, словно родного сына. Однако его поручение – именно ему, Дармену, написать поэму о Кебеке и Енлик, внесло в сердце молодого акына великое беспокойство. Как же ему быть с условием правды жизни, что должна лежать в основе поэмы, – о чем говорил вчера Абай? Об этом он и попытался сказать друзьям в конце разговора:

– Ваши споры так глубоки и поучительны. Но как мне быть, – ведь на мои вопросы вы не дали ясного ответа, агатаи. Вопросы эти остались покинутыми, словно сироты. Не ответив на них, вы ускакали в бескрайнюю степь... Так на чьей стороне правда – на стороне Кебека или тех, которые обрекли его на смерть? И как все это должно соотноситься с хакикатом?

Словно считая неуместным вновь возвращаться к прошлому разговору, Какитай стал сводить все на шуточный лад.

– Е, вам не кажется, что мы загнали сами себя в горячее пекло и теперь топчемся на выжженном месте? – воскликнул он.



Все рассмеялись. Но Магаш бросил внимательный взгляд на Дармена и, заметив, как тот расстроился, не получив должного ответа, попытался накоротке успокоить его:

– Ты же видел, Дарменжан, как мы распинались перед тобой, пытаюсь определить твою «правду». Но за самым правильным ответом придется, пожалуй, обратиться к самому учителю.

К этому часу вернулся молодой певец Алмагамбет, которого посылали посмотреть, что происходит в юрте Абая. Джигит доложил друзьям:

– Абай-ага попил чаю, читал книгу. В гостевой юрте закончили пить чай, и Ербол-ага с друзьями перешли теперь в очаг Айгерим. А там, в казане, на медленном огне, варится мясо жеребенка, в доме тепло, гости ведут хорошие разговоры, – так что самое время и нам присоединиться к ним.

И вскоре молодежь перешла в юрту Абая, послушать и принять участие в общем разговоре. За кумысом продолжился тот серьезный разговор, который начался в молодежной юрте и о котором вкратце поведал старшим Магаш. Абай выслушал его с большим вниманием, уставив взгляд своих черных ярких глаз на любимого сына. Когда Магаш уже заканчивал рассказ, снаружи послышался быстро приближающийся топот, смолк рядом с юртой, поднялся суматошный собачий гвалт, прозвучал мужской голос, прикрикнувший на псов, – и в юрту вошел, решительно откинув войлочный полог, рослый человек. Опережая его, в дом хлынул поток холодного воздуха. Всколыхнулось пламя в очаге, синеватый едкий дым разошелся по юрте, достигнув тора. Кто-то из гостей закашлял, кто-то прикрыл рукою слезлившиеся глаза. Путник, невольно нарушивший интересный разговор, был встречен всеобщим сдержанным молчанием.

Прибывший, аксакал с окладистой бородою, не стал первым произносить приветствие, а стоял и ждал, когда салем прозвучит от присутствующих в доме. Это был старый Жуман,



сородич Абая, и все присутствующие, кроме хозяина очага, встали со своих мест и начали приветствовать нового гостя, уступая место ему на торе. Вслед за Жуманом вошел его сын, Мескара, коренастый, смуглый джигит, внешне совершенно не похожий на отца. Айгерим подошла к Жуману и учтивым поклоном приветствовала старшего шурина. Абай не стал скрывать своего недовольства тем, что бесцеремонный родич своим появлением нарушил ход интересной беседы. Тем более, что кайнага Жуман, старший родственник Абая, не вызывал у него особенно теплых чувств. Холодноватым взглядом он сопровождал незваного гостя, пока того усаживали на почетное место.

Известный по всей округе пустомеля и сплетник, Жуман не пользовался расположением Абая и приглашен в гости не был. Но, узнав о том, что в доме Абая будут забивать стригунка, родич заявился без всякого приглашения. Ибо ему в эту ненастную осеннюю пору до смерти хотелось попасть в чей-нибудь теплый благополучный дом, обогреться там, наесться горячего жирного мяса и вдоволь попить хорошего кумыса, – ибо всего этого он не мог позволить себе в своем убогом очаге. С собой Жуман привел сына, такого же пустомелю и болтуна, как и он сам. С утра он велел Мескаре сесть на коня и выехать со двора к чужому аулу, чтобы сынок издали проследил, когда появится дым над тундуком Абаевой юрты. И вот теперь оба пожаловали как раз к обеду.

Подобных незваных гостей в щедром доме Абая появлялось немало, – тех, что и зимой, и летом заявлялись без всякого приглашения, с единственной целью: со всем рвением разделить с хозяевами обеденную трапезу, откусать на славу, а потом, откинувшись на подушки, сделать вид, что слушают назидания Абая-ага. Порой, не произнеся ни слова в ответ, они бесцеремонно поднимались и уходили, довольные лишь тем, что животы их набиты мясом и там побулькивает дармовой кумыс.



У Абая отношение к таким гостям было одно: он не обращал на них внимания, если только они не мешали текущей интересной беседе среди достойных гостей. И в этот раз Жуман с его сыном, усердно принявшиеся за кумыс, были тотчас забыты Абаем, и он продолжил прерванный разговор о понятиях «хакикат» и «правда жизни». Так как тема эта больше других занимала юного Дармена, Абай, учитель молодых акынов, заговорил, обратив свой взор на него:

– Мы с вами говорили, что если акын берется сказать свое слово, то оно должно быть проникнуто правдой жизни. Что это значит? Об этом хорошо сказано у русских хакимов, ученых людей, мыслителей нового поколения. Они говорили, что поэтическое слово призвано не только освещать жизненные явления, но и объяснять. И обязательно оно должно давать свою оценку происходящих событий, – обличая или, наоборот, восславляя их. Мысль, как мне помнится, принадлежит хакиму Чернышевскому. Так что если вдруг кому-нибудь из вас придется упоминать о наставлениях Кенгирбая, то не надо без конца повторять о нем такие в общем-то бессодержательные, истертые слова, как «о, великий», «о, священное создание», какие весьма охотно употребляют многие нынешние акыны. Писать надо правду жизни той эпохи, в которой он жил, и не восхвалять его до небес, как делают теперь, но рассмотреть его деяния на уровне человеческих поступков. – Так говорил Абай, высказывая вслух перед своими учениками одну из самых важных своих мыслей.

По обсуждаемой теме Абай высказался предельно ясно: «Жестокое убийство Кебека и Енлик, привязанных к хвостам лошадей, произошло не потому, что другого выхода не было, а только из-за того, что Кенгирбай не пожалел бедняг, не заступился за них, а решил предать их смерти».

Этот разговор за кумысом увлек молодых акынов и друзей Абая. А прожорливый Жуман, вдоволь напившись кумысу, совершенно не слушал Абая и, насторожив глаза, следил



только за Айгерим и Злихой, готовивших мясо в казане. Однако кое-что из слов хозяина доходило и до ушей Жумана, непонятностью своей сея тревогу и смуту в его душе. И тогда он, утомленный и подавленный недоступным для его ума разговором, причмокивал губами, широко зевал – и вдруг на какое-то время проваливался в глубокую, неодолимую дрему. В особенности тяжело пришлось бедняге, когда Абай перешел в разговоре с молодежью на тему хакиката, вечной истины. Ее старый Жуман уж не смог вынести. Он подал знак сыну, чтобы тот поднес ему подушку, прилег на бок и, укрывшись халатом-купи, на время отрешился от внешнего мира.

– Понятие это глубокое, очень важное, – говорил между тем Абай. – Хакикат толкуют по-разному. Ислам толкует это понятие в канонах имана, где сказано: «Вся правда в Коране, и это есть истина». Не стану прибегать к велеречивости, но прямо приступлю к тому, что сказал один мудрец прошлого, оспаривая писание Корана...

Кокпай беспокойно закашлял, поперхнувшись. Он с тревогой уставился на Абая-ага, словно ожидая: что-то сейчас скажет не то! А вся молодежь так и склонилась в едином порыве вперед, к Абаю, уставив свои нетерпеливые, горячие взоры на него.

– Этот философ говорит: «Допустим, мы поверим тому, что Слово Корана передано Всевышним, его истинным создателем, непосредственно своему последнему Пророку. Тогда это, и последнее по времени, Слово должно своей истинностью, глубиной превосходить мысли и открытия всех ученых мира. В Слове Всевышнего должны содержаться наука всех наук, правда всех правд, самая высшая мудрость. Однако получается ли так?»

Все присутствующие замерли, не сводя глаз с Абая.

– «Но почему эта книга последнего Пророка не превосходит книги гениев Древней Индии, мыслителей Древней Греции?»



– спрашивает философ. И ответы на вопросы – что такое Вселенная? кто ее Создатель? что собою представляет душа человека? – ответы на эти вечные вопросы человечества Коран дает менее глубокие, чем сочинения мудрецов прошлого. В учении Шакья Муни, создателя религии буддизма, которую исповедуют и китайцы, и монголы, этим вопросам уделено гораздо большее внимание. А что касается научных сведений о мироздании, о космогонии и астрономии, а также сведений о строении человеческого тела, то в Коране они даны, к сожалению, в преломлении сказок, мифов и легенд, – что вызывает порой невольную улыбку... Так говорил один мудрец, хаким прошлого, – завершил Абай и с улыбкой оглядел лица слушателей.

Все сидели молча, лишь один Кокпай, прижав ладони к груди, прошептал – словно выдохнул:

– Астапыралла!

Дармен, Магаш и Какитай не смогли скрыть в выражении своих молодых лиц, насколько захватили и взволновали их слова Абая. Между тем он продолжал:

– В Коране иносказательно выражены образы зла – «бесовские силы», «чародейства», в которые трезвомыслящий человек никак поверить не может. Помните, из Корана? *«Алем тарак айфа фаггала раббука би асхабиль филь...»* – «посмотрите, как за грехи перед Всевышним был наказан народ филь», прилетели волшебные птицы с камнями в клювах, каждая бросила камень на голову грешника и убила его... Это сказка, в реальность которой поверить, конечно же, невозможно. А что мог сказать просвещенный человек про молитву, которую наш Кокпай читает по пять раз на дню во время намаза... – *«Куль агузи би раббиль фалях...»* – в ней раб божий просит Всевышнего защитить его от козней нечестивой старухи-колдуньи, которая может навести порчу... По словам философа, это ничем не отличается от камланий шаманов, заклинаний знахарей, которым в наши дни уже мало кто ве-



рит! Так некоторые вечные истины-хакикат в наши дни превращаются ни во что!

Самые молодые, а вместе с ними и Абай, весело рассмеялись, но Кокпай молча встал и, не сказав ни слова, покинул юрту. Дармен и Какитай засмеялись еще громче.

– Кокпай убежал, чтобы не усомниться в своей вере! – насмешливо молвил Магаш.

Какитай вторил ему:

– Абай-ага! А ведь Кокпай не мог не бежать. Слова вашего философа бьют прямо в глаз. После его беспощадной правды ничего не остается, как только сбежать куда подальше!

От громкого смеха Абая и его друзей проснулся Жуман, поднял с подушки голову. Он неодобрительно посмотрел на хозяина, поводит из стороны в сторону покрасневшими со сна глазами. Огонь под казаном уж давно, оказывается, прогорел, мясо сварилось, стало быть, – а хозяин не приглашает к трапезе и все еще продолжает свою болтовню!

Заметив, как сильно был расстроен Кокпай, Абай-ага задумчиво молвил:

– Если почитать сочинения многих других мудрых философов, то можно натолкнуться на еще более безутешную правду. Но нельзя же каждый раз срываться с места и бежать, как Кокпай! Имеешь твердую веру – стой за нее, научись выслушивать то, что о ней говорят. Защищай истину от клеветы, научись размышлять, взвешивать в уме, сопоставлять одно с другим.

После сказанного Абай вновь вернулся к начатому молодежью разговору о правде жизни в искусстве.

– Итак, вы хотели связать тему правды с творчеством акына. Но это как раз то, мои дорогие, о чем надо вам размышлять постоянно, что всегда должно быть в вашей памяти. И недавний наш разговор о хакикате связан с вашей темой. Несомненно, джигиты, что в разные эпохи, в различных обществах и правда выглядит по-разному. Посмотрите на прошлые религиозные



мифы, вспомните о великих мыслителях, чьи откровения казались вечными и неизменными. Но проходит время – и все выглядит по-другому. За примером не надо далеко ходить: вспомните о вчерашнем случае, с чем столкнулись Дармен и Магаш! Разве сейчас зло и насилие не выглядит по-новому? Насилие и сегодня действует, доказывая свою правоту. Зло оправдывает себя своими «законными действиями».

Помрачневший Какитай вскинул голову и быстро заговорил:

– Ойбай! Вы что, думаете, – окружению Азимбая нужно чувство правоты? Да никогда! Кроме злодейства и насилия они ни на что не способны, ничего другого им и не нужно.

Абай со спокойной усмешкой посмотрел на него.

– Не ошибаешься ли, не судишь поверхностно, баурым? Правду в разные времена действительно представляли по-разному. Считают ли Азимбай, Такежан несправедливыми свои действия? Ни в коем случае! Они свою правоту выставляют вот в каком виде: «это мой кусок, моя доля, мой удел, потому что я из рода Иргизбай». Такова была правда и у деда Оскенбая, и у отца Кунанбая. Они считали, что, отойдя от нее, перестанут быть достойными потомками своих предков... Ну а какова правда у тех из бедных аулов, которых они угнетали? Этим правда была в том, чтобы сберечь свои головы. Тут есть над чем поразмышлять поэту. Пишите о прошлом, пишите о настоящем, – но все поверяйте правдой жизни, исходящей от простого народа! Здесь будьте тверды, верьте в справедливость народа и в прошлом, и в будущем! И если печаль обездоленных велит мне идти против такежанов, вступить с ними в схватку, то я открыто пойду на это. Все мои стихи и песни должны служить народу, так подсказывает мое сердце, к тому подвигает меня моя совесть.

Далее Абай в развитие своего разговора перешел на другую тему. Он заговорил о России.

– Какую правду мы должны сказать о России, о русском народе? Если взять среди нас, казахов, таких людей, как Ораз-



бай, Жиренше и, тем более, Такежан, – они считают, что Россия – это белый царь, которого надо бояться, но от которого зависит, получат ли они должность волостного для себя или для своих детей. Или какое-нибудь другое выгодное место, чтобы умножить свое богатство, расправиться с недругами, вымогать взятки. В сущности, они – недруги России, той великой, настоящей России, которая несет казахскому народу свет своей культуры и искусства. Такая Россия – друг для казахского народа, это могучая страна с бесчисленными городами, в которых есть школы, библиотеки, больницы, величественные дворцы. Россия – это железные дороги, протянутые до Сибири, это пароходы на Иртыше, это заводы и фабрики, где работают умные машины, шьют одежды, изготавливают станки и различные приборы. Но самое главное для нас – это ее необъятная культура, великие знания и мысли просвещенных людей и прекрасное искусство. Знайте, джигиты, такова подлинная Россия, и никогда она не станет чураться нас, не оттолкнет, если мы обратимся к ней за ее великими знаниями, а наоборот – приветливо ответит: «Приходите, учитесь!» И все это правда, друзья мои, но эта правда – не для всяких там Оразбаев. – Так закончил свою речь Абай, сидя перед гостями на торе, широко разведя в стороны руки, ладонями на слушателей.

Глубоко вникнув в слова Абая, Ербол про себя отметил, что его друг сегодня высказал особенно ценные для себя, самые сокровенные мысли. Во всем поддерживая Абая и сочувствуя ему, Ербол в душе сокрушался, что не все из их поэтического круга разделяют взгляды Абая-ага. Кокпай, теперь отсутствующий, был одним из них. Любимый ученик акына-ага, Кокпай недавно высказался, беседа наедине с Ерболом: «У Абая один недостаток – он сильно обрусел... Теперь что прикажете делать: покорно смотреть в рот русским, ждать их повелений?» Во время недавней речи Абая о России Ерболу вспомнился этот разговор с Кокпаем... Чем же отличается он



от Оразбая, Жиренше и других, порицавших Абая за слишком тесное сближение с русскими?.. А ведь сегодняшние мысли его очень разумны и глубоки. Они вполне ложатся в завершение важного, значительного разговора...


К тому времени уж сняли казан с очага, – чего с таким нетерпением ждал старик Жуман. Люди стали готовиться к трапезе. Помыли руки, уселись кружком на торе. Жуман приступил к мясу, достав из ножен большой острый нож с рукояткой из желтой кости. Добравшись до еды, старик вновь обрел свою обычную словоохотливость. Все еще злясь на Абая, что тот своими длинными разговорами оттягивал время обеда, Жуман теперь захотел расквитаться с ним и, пользуясь правом старшего, решил позлословить над хозяином.

– Е-е, никак не могу понять наших казахов! Сами талдычат, не переставая, словно собаки брешут, а меня ругают за болтовню, даже наградили прозвищами: «Жуман-трепач», «Жуман-пустомеля». Это кто же из нас болтун и трепач, уважаемые мырзы? Если все люди, умеющие поговорить, считаются болтунами, то неужели и сам Кунанбай-ходжа, в бытность свою собиравший людей и говоривший перед ними целый день, мог быть назван болтуном? А взять нашего Абеке – сегодня он один говорил, и за все время, пока варилось мясо, никому не дал рта раскрыть – разве он не болтун? Не пустомеля? Так что не обзывайте меня больше трепачом, найдутся, как видите, похлеще меня!

Услышав это, Абай от души расхохотался, упираясь кулаком в бок. К нему присоединилась звонким, переливчатым смехом и Айгерим. Засмеялись и молодые гости.

– Уай, аксакал! – воскликнул Абай. – Ты меня развеселил от души! Но хочу тебе сказать, что не обязательно уж очень много болтать, чтобы пустомелей назвали! Достаточно сказать всего одну вещь: «Эй, жена! Какой я умный, что успел с утречка сбегать по-большому!»

Слова Абая вызвали в юрте громкий хохот, бурю веселья. Все знали эту байку. Прошлой зимой, выглянув в дверь и за-



метив, что быстро портится погода, наметает снег и усиливается ветер, Жуман подозвал свою старуху и с ликованием в голосе воскликнул: «Ты только погляди, жена! Как завьюжило! Апырай, какой я умный, что успел вовремя по...ть!»

Какитай и Дармен так смеялись, что не могли даже нарезать себе мяса, поданного на дастархан. Акылбай, сидевший рядом с отцом, ниже его, склонился к Айгерим и, с улыбкой на лице, зашептал ей в ухо:

– Женеше...

Акылбай, моложе отца всего на семнадцать лет, не называл Абая отцом, тем более, Айгерим – матерью. С детства он привык называть отца – Абай-ага, а к его молодой жене обращался как к старшей родственнице – женге, ласкательно – женеше. Себя считал, скорее, младшим сыном Кунанбая и Нурганым, в доме которых вырос, а к Абаю относился как к старшему брату... С улыбкой, прищурившись, он тихо говорил в ушко Айгерим:

– Женеше, ау, как же глуп этот наш кайнага! Не поймет даже, что помирает, когда смерть уже догонит его! Видели, как его Абай-ага выстегал? Бисмилла! Я бы не желал испытывать на себе такие шутки, пока мне мила жизнь!

Еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, Айгерим отворачивала лицо от старого шурина, Жумана, делая вид, что разговаривает со своей служанкой Злихой, сидевшей за ее плечом. А Жуман тем временем, уже не помня, что над ним посмеялись, усердно набивал брюхо нежным мясом жеребенка, отрезая от окорока изрядные куски. Наконец, насытившись, запив еду горячим бульоном из деревянной крашеной чаши, Жуман снова заговорил:

– Ну что, вдоволь потешились надо мной? А теперь я вам скажу такое, что вы перестанете смеяться! В последнее время я все не мог понять – отчего это так осмелел род Жигитек? Недавно ведь я жаловался тебе, Абай: «Один из их аулов, кочуя по долине Колькайнар, стравил своей скотине большой



стог моего сена». Так вот, милые-дорогие, эти жигитеки, знаете ли, совсем обнаглели. Стали вторгаться на земли Иргизбая. Посмели пререкаться с самим Азимбаем, голодранцы нищие! Говорят, стали сбиваться в стадо и мычать, как коровы, напуганные волчьей стаей. Но если Азимбай – один из самых достойных людей рода Иргизбай, то кто такие они перед ним – эти оборванцы из Жигитека? С кем они собираются тягаться?

При этих словах Жумана молодой Дармен фыркнул и проговорил неторопливо, внимательно глядя на старика:

– Вот вам еще один пример того, какими могут быть разными истина, правда... Об этом и говорил Абай-ага.

На говорившего Дармена старик Жуман даже не обернулся. Он пытливым взором уставился на Абая. А тот самым откровенным образом отвернулся от Жумана и перестал обращать на него внимание. И тогда Жуман возвысил свой и без того излишне громкий голос:

– А теперь слушайте все! Да повнимательнее! Недавно на краю нашего аула спешился гонец, ехавший в сторону аулов Жигитека. Он чуть не лопался от радости, сообщая нам новость, и требовал суюнши! Этот гонец был жигитек из рода Тусипа – большеносый Мадияр. Как говорится, он скакал во всю прыть, надрывая глотку и на всю степь оглашая: суюнши! И сказал нам большеносый Мадияр: «Наконец-то и к нам пришел праздник! Кудай услышал нас, увидел слезы всего Жигитека. Наш защитник, опора наша, арыс наш возвращается! Базаралы сбежал с каторги и скоро будет с нами!»

Новость Жумана поразила всех в юрте. Абай вскричал: «Да это же замечательная весть!» Молодежь, вскинувшись вослед радости Абая, искренне радовалась.

- Апырау! Неужели он жив и здоров?
- Значит, уцелел наш Базеке!
- Появился вновь, словно на крыльях прилетел!
- Какая радость для родичей!



Жуман не был склонен к радости – его, как и многих иргизбаев, новость эта скорее огорчала и тревожила. Но мысли свои он не стал высказывать вслух, а ударился в предположения:

– Если акимами волостей были бы Такежан или Шубар, вряд ли он посмел заявиться в родных краях. А узнал, наверное, что во власти Кунту, услышал, должно быть, что должность ускользнула из рук сына хаджи Кунанбая, то и решился на побег, понадеявшись, что его не выдадут свои. Чему вы радуетесь? Думаете, он вам счастье принесет? Как бы не так! Вы еще почувствуете на себе, на что он способен, злодей! Запомните мои слова!

Тут Абай гневно прикрикнул на него:

– Довольно, аксакал! Перестань зря наговаривать. Если нет у тебя сорокалетней дружбы, не должно быть и сорокалетней вражды. Какую месть ты можешь иметь к Базаралы? Вернулся он живым – иншалла! Слава Всевышнему! Пусть ему сопутствует удача! – говорил Абай, сурово глядя на Жумана; затем обернулся к друзьям.

– Вражду и суровость оставим другим детям Кунанбая, а в этом ауле мы воспринимаем весть с радостью! Он всегда слыл славным джигитом в народе. Друзья мои, если вы разделяете мои чувства, то завтра же садитесь на коней и выезжайте в Семипалатинск, встретьте его! Это мое решение и моя воля. Передайте ему братский привет и добрые пожелания, – завершил Абай.

3

Новость подтвердилась. Базаралы бежал с каторги и вернулся в родные края. На это он решился действительно после того, как волостным акимом был избран Кунту, из рода Бокенши. Весть дошла каким-то образом и до его каторги. Оставалась бы власть у Такежана и Шубара, которые и загнали его



на каторгу, Базаралы не решился бы на побег и открыто не появился в родном краю...

Избрание Кунту стало полной неожиданностью для многих тобыктинцев. Последние выборы проводил уездный начальник Казанцев, лично прибывший из Семипалатинска. Давно служивший на этой должности, Казанцев хорошо разбирался в политике кочевников в степи и был весьма удивлен тем, что на должность волостного головы вместо кого-нибудь из отпрысков Кунанбая, привычных для уездного начальства, вдруг выдвинули и выбрали из другого рода. Для иргизбаев это было неожиданным ударом, да и сам уездный начальник был весьма недоволен.

Выборы были проведены весной прошлого года в стане Оспана, младшего сына Кунанбая, на джайлау в Пушантае. А перед этим в его родовом ауле Жидебай был созван сбор старшин Чингизской волости, на который пригласили около ста аткаминеров из всех родов Тобыкты. Призывал на сбор Кунанбаев Шубар, тогдашний волостной начальник. Он советовался со своей родней – Майбасаром, Такежаном, Исхаком, сообщая они выстраивали козни и плели интриги, выявляя мнения старшин и аксакалов насчет того, кто на предстоящих выборах должен был усесться на место волостного главы. Итак, зарезав ритуальную серую кобылу со звездочкой на лбу, *коккаска*, и как следует угостив аткаминеров, аульных старейшин, выборных-елюбасы, Кунанбаевы старались перетянуть на свою сторону тех, кто колебался, и подавить всякого, кто противился дать добро их ставленникам.

Объявленным же поводом для схода послужил вопрос о налогах, вернее – сборах с кочевников, которые среди них получили недоброе название черных поборов – карашыгын. Это были не годовые налоги, собираемые русскими властями с каждой юрты, а свои, родовые, денежные поборы, которые собирались теми же волостными и аульными старшинами для того, чтобы устраивать приемы городского начальства в сте-



пи, равно как и оплачивать дорожные издержки акимам, биям и аткаминерам, ездившим в город на поклонение начальству. Черные поборы, душившие в основном степную бедноту и средний народ, не касались баев и начальников, которые должны были организовывать приемы и совершать поездки в город, и не определялись по размеру, и не устанавливались по какому-нибудь известному порядку. Все зависело от произвола волостного начальства, кому в карман и шли собранные средства.

Но черные поборы не могли быть съедены одним лишь волостным начальником, – он полюбовно делился со всеми, кто помогал выколачивать их из народа, и поэтому в прошлом году, когда Шубар значительно увеличил объем карашыгын, никто из родовых и аульных старшин не стал возражать. Чингизская волость разделялась на двенадцать аульных аткаминерств, их представители, собравшись в Жидебае под шаныраком Оспана, живо раскидали дополнительные расходы по отдельным «дымам» многочисленных мелких аулов, освободив свои родные от излишней нагрузки.

Не касаясь зажиточных и влиятельных людей рода, черные поборы всей тяжестью ложились на самых слабых, безответных, малоимущих, обрекая бедные очаги на нищее существование. Ни для кого из них не было спасения от карашыгын. Родовые вожди говорили им: кому принимать начальственных гостей из города? Не вам же! Не могут они останавливаться в ваших дырявых юртах, пить ваш прокисший айран! Вот мы за них и в ответе, достойно принимаем гостей. Но ведь и вы же наши родичи? А раз так, то почувствуйте и на себе тяжесть расходов!

Единение богатых при этом было похоже на стихийную спаянность аульных псов, которая появляется у них, когда приближаются волки. Простой народ прекрасно знал об этом, поэтому не мог надеяться на сочувствие и заступничество своих биев, аксакалов, старшин, волостных начальников.



«Что толку жаловаться им? Путь к сочувствию богатых невозможно увидеть, как тропинку меж пестрых камней на горном склоне!» – говорили измученные поборами бедняки. «Когда псы в единой стае, то у каждой собаки хвост крючком! – добавляли они. – Дружно облают тебя, поддерживая друг друга, а когда ты захочешь что-нибудь сказать им, твои слова будто рассеиваются по ветру! И что тебе остается делать? Только одно – молча отдавать им свое добро».

Но раскидывать черные поборы на множество бедных юрт оказалось делом нелегким. Прибыв с утра раннего, попив чаю и затем поев мясо серой кобылицы, баи трудились до обеда, но завершить разговоров не смогли.

Сразу же пополудни приехал Дармен, и тогда, оставив большие комнаты деловитым аткаминерам, Оспан увел на свою половину, в дальнюю комнату, всех своих друзей и неделовых гостей, любителей просто поесть и погулять, провести весело время, переходя из аула в аул. Для них нашелся и кумыс, и бесбармак, и время для шуточных, праздных разговоров.

Появлению юного акына Дармена Оспан был рад, посадил его возле себя, налил в пиалу густого осеннего кумысу, затем подал ему домбру...

– Вовремя приехал! Тут собрались не самые бедные, разумеется, но все очень переживают, что в глотку им мало попадет, потому что «расходы» у них, понимаешь ли, и надо им все аулы обобратить. Айналайын, пусть исполнятся все твои желания, но не найдется ли у вас с Абаем каких-нибудь ядреных песен, чтобы продрало как следует их толстые шкуры? А, Дарменжан? – сказал гороподобный Оспан, рассмешив всех присутствующих.

Дармен ждать себя не заставил, живо запел весьма пространную песню, которую никто из гостей еще не слышал. Она как раз пришлась по душе Оспану. В песне была довольно злая сатира на волостных и родовых взяточников, обирал, неимоверно цепких и проворных в делах издоимства. Время



от времени, подхохатывая пению Дармена, громадный Оспан вдохновлял его с мальчишеским задором:

– Вот разделал, так разделал! Барекельди! Прямо под дых им дал! словно сыромятных ремней из сволочей нарезал!

Всех собравшихся в дальней комнате развеселили выкрики Оспана, раздавался громкий смех. Кое-кто из аткаминеров в большой комнате, услышав шум, захотел узнать причину и выполз оттуда в малую. Послушав песнопение, уполз назад и сообщил сидящим там, о чем поют в комнате Оспана.

Вскоре после обеда появились у него припозднившиеся Жиренше, Оразбай, Бейсенби, Абыралы и другие, молча уселись и стали дослушивать песню. Ее обличительный пафос как раз к этой минуте взлетел на самый гребень, и волна сатиры накрыла с головою клятвопреступников, мздоимцев, корыстолюбцев, готовых ради выгоды пойти на братоубийство.

Оразбай не смеялся, как другие гости Оспана, сидел, насупившись, поджав губы. Кучка биев, заявившихся вместе с ним, также сидела с застывшими лицами, с отсутствующим выражением в глазах. И тогда могучий Оспан, обернувшись к Оразбаю, задорным мальчишеским голосом воскликнул:

– Е, уважаемый бий! Отчего ты скуксился весь? Или тебе не понравилось, как Абай дубасит вас по голове, а?

Оразбай, сидевший с холодными глазами, как будто бы уйдя мыслями в себя, вдруг заговорил размеренно, многозначительно, словно пророчествуя:

– Это время наше такое... Похоже, все начало кругом загнивать... Мы стоим накануне опасных перемен, а когда это случится, то окажется, что разрушителями были такие люди, как сыновья хаджи... – закончил Оразбай и, все тем же холодным, отрешенным взглядом, пророчески уставился куда-то поверх головы Оспана.

Баи, бии и аткаминеры, окружавшие сидячей толпой Оразбая, закивали головами, одобряя его, и то смотрели понимающе на Оразбая, то переводили посуровевшие взоры на Оспана.



Затем Оразбай, приняв обиженный тон, обратился прямо к нему:

– Собрал почтенных людей в своем ауле и теперь бьешь их по голове! Что ж, унижай наше достоинство! Топчи нашу честь, изваляй нас в грязи! А всем своим слугам, малым детям, пастухам и конюхам дай волю, – прикажи им, чтобы они нас раздели донага и голыми погнали по степи! – И Оразбай в гневной досаде махнул рукой.

– Уай, байеке, о чем вы? Если ты не тот, кого раздевает догола песня, то тебе незачем беспокоиться и не на что обижаться. А если тот самый, то и поделом тебе! Ха-ха! Обижайся сколько угодно, хоть лопни от злости, а мне вот только смешно! – Сказав это, Оспан вновь расхохотался.

Невольно засмеялся и Дармен. Окидывая его и Оспана презрительными, надменными взглядами, баи, бии и аткаминеры покинули комнату и присоединились к собранию старшин.

Солнце уже близилось к закату. Вышедший на свежий воздух, во двор, Оспан заметил, как около сотни коней под седлами пасется на том нетронutom лугу, который он берег для своих лошадей, до сих пор подкармливаемых прошлогодним сеном. Еще не закончилась зима, до весенней травы еще далеко – береженный подножный корм очень был нужен его коням к весне. Оспан буквально рассвирепел, увидев, что кони этих захребетников, обсуждающих черные поборы, объедают его луг. Зычным голосом он кликнул работника Сейткана, тоже огромного роста, как хозяин, но костлявого, черного, горбоносого джигита. Тот немедленно явился.

– Мало того, что они сами обжираются у меня мясом, так еще и лошади их потравили мой заповедный луг! Но я им покажу! Сейткан! Хватай соил и гони их прочь! Запри коней в верблюжьем загоне! Лупи их соилом и гони туда!

И огромный джигит, схватив длинную черную палку, отвязал от коновязи первого попавшегося коня, вскочил на него и поскакал к лугу, размахивая соилом над головой. Это был



простоватый джигит, немереной силы, драчливый и задиристый, послушный слуга и приспешник своего знатного хозяина, кичливый и заносчивый оттого, что служит в таком богатом ауле. Готов был, как говорится, снять голову, если ему велят состричь с кого-нибудь волосы.

Ударами соила подгоняя коней, направляя к воротам загона, Сейткан торжествующе выкрикивал названия родов и племен, к которым принадлежали хозяева скакунов, – читая это по таврам, что были выжжены на лошадиных крупах:

– Сак-Тогалак! Котибак! Топай! Жигитек! Бобен! Карабатыр! Жуантаяк! Торгай!.. – и при этом на каждом выкрике наносил увесистые удары дубиной по бокам, по ногам и крупам мирно пасшихся до этого стреноженных лошадей.

Словно гонимая степным пожаром, лавина неловко скачущих спутанных коней устремилась к воротам пустого верблюжьего загона, мгновенно сгрудилась перед низкой перекладной ворот – и вдруг с ужасающим треском стала прорываться под ними, ломая высокие деревянные луки седел, скалывая их в щепки ударами о жердину верхнего прясла, перегораживавшего ворота.

Распределение черного побора между баями, биями и старшинами родов было к вечеру благополучно завершено: как всегда, больше всего «на расходы» отхватили себе дети Кунанбая. Чем остались весьма недовольны Жиренше, Оразбай, Кунту, Бейсенби, Абыралы, Байгулак и другие. Но ко всему этому, высокородных биев и мырз ожидало еще одно жестокое оскорбление: деревянные точеные луки на седлах коней, запертых в верблюьем загоне, оказались почти у всех отломаны, вместо высоких, загнутых передков остались куцые обрубки. Выезжая из ворот загона, оскорбленные гости не прощались с Оспаном, даже не оборачивали лица в его сторону. Не прощались они и с Шубаром, братом Оспана, по просьбе которого и был собран сход в Жидебае.



Ехавшие одной кучкой бии Жиренше и Оразбай, присоединившиеся к ним Кунту и Бейсенби в громкую ругань обсуждали прошедший съезд. Особенно бушевал Жиренше:

– Оказывается, мы собирались, чтобы сообща покрыть расходы одного Шубара! Уай, сородичи! Мыслимое ли дело? Чего они себе позволяют, волчата Кунанбая? Все отхватили себе, ничего не осталось на нашу долю! Хоть кому-нибудь из них пришло в голову, чтобы и нам перепало кое-что? Ко всему этому, еще вот какое приготовили унижение! – И Жиренше с силой ударил кнутовищем камчи по обломку седельной луки Кунту, трусцой ехавшего рядом.

– Кунанбаевские волчата перепрыгнули своего отца Кунанбая... Никто для них не указ, даже сам Кудай всемогущий! – злобно выкрикнул Оразбай. – И это мы сами избаловали их! Но если и дальше будем им потакать, то нас покарают аруахи, вот увидите! Надо выступить против Кунанбаев сообща, и начинать уже с сегодняшнего дня!

Бейсенби был немногословен, но всегда говорил точно и по делу. Оглядев лица тех, кто говорил, и молча посмотрев на тех, которые еще ничего не говорили, Бейсенби молвил, слегка придержав лошадь:

– Уай, неужели действительно так силен гнев, охвативший вас, джигиты? Докажите искренность ваших слов, уважаемые бии! – И Бейсенби бросил пронзительные взгляды на Жиренше и Оразбая. – А во мне можете не сомневаться! Аллах един, и Коран для нас един. Мы с вами едины в нашем гневе!

– Клянусь, буду мстить! – воскликнул Оразбай.

– Клянусь единым Богом и Кораном, пусть даже умру вместе с тобой, но буду мстить! Только скажи, во имя Аллаха, что нам делать?

Бейсенби теперь заговорил быстро, решительно:

– Если желания истинны, то пусть не останутся намерения только в словах. Пусть гнев наш не расплещется вместе со словами! Болтать особенно незачем! Все понятно. Отныне



враг наш – тот, кто захочет донести наши слова до сыновей Кунанбая. Нам следует язык держать за зубами. А сейчас – поедем на могилу Кенгирбая. Не стоит нам брать много людей, семь человек поедут – и достаточно. Там и поговорим как следует, дадим друг другу клятву верности.

– Едем!

Прежде чем баи и би тронулись в путь, Жиренше проговорил:

– Иншалла! Благослови нас Бог! Поклянемся на могиле предка, держа над головой камень с нее. Теперь хочу слышать тех, кто захочет пойти со мной ...

Этими словами Жиренше дал понять всем, что он возглавит заговор против сыновей Кунанбая. Четверо-пятеро из окружения бия отъехали в сторону и, остановив коней головами в круг, коротко переговорили. Затем, отделившись от остальной группы всадников, маленькая ватага поскакала к мазару предка Кенгирбая, находившемуся от Жидебая на расстоянии одного перехода стригунка.

К сумеркам заснеженная степь, смутно сокрытая во тьме, испускала голубоватое свечение. Бело-голубая холодная степь, – на этом ровном сияющем фоне издали была заметна темно-серая, почти черная, островерхая стела на могиле Кенгирбая. Лет уже сто возвышался этот мазар на холме, возносясь узким, как кончик ножа, острием пирамиды выше всех могильных памятников во всей огромной округе. Даже по прошествии этого времени старый мазар ничуть не обветшал, удивительным образом сохранился, как новый. Не было в каменной кладке ни трещинки, ни осыпей. Таинственную мощь и жестокую потустороннюю власть сохраняла эта могила, уже целый век поддерживая дух ослабевших сынов Олжая, Жигитек. Глядя на этот мазар, думалось, что никакого века не проходило, и жестокие, косные законы степи по-прежнему всевластно довлеют над кочевниками. В проем узкого полуарочного входа аспидно-черной выглядела внутренность склепа. Там царила неподвижная веч-



ная мгла. Свету не было туда доступа и днем – свет застывал на пороге... Вдруг взвыл и пронесся в морозной полумгле внезапный порыв ветра, словно свист раздался из угрожающей темноты надвигающейся ночи. Закачались, встряхивая метелками, испуганные толпы тростника-чия, словно сетуя на свою зимнюю безысходность. Стали тревожно вздрагивать, трепетать низкие оголенные кусты таволги. И над всей этой мятущейся, в страхе и слабости, суетной растительностью – непоколебимо и величественно высился темный мазар, дом вечной смерти.

Прежде чем начать читку Корана над могилой, бий Оразбай произнес возмущенные слова, – оказалось, он все еще не отошел от того гнева, который вызвало в нем пение Дармена. И в особенности бий гневался на того, кто сочинил эту длинную изобличающую байские пороки песню:

– Их *абыз* – идолище, которому они поклоняются, это Абай... И я уповаю на одного лишь тебя, великий дух моего предка Кенгирбая, что ты предстанешь перед Всевышним, чтобы он достойно наказал Абая! Или ты сам, священный аруах наш, возьми да и накажи разрушителя наших древних устоев!

После того, как Бейсенби вполголоса прочитал молитву, все собравшиеся семь баев и биев провели ладонями по лицу, потом поклялись действовать вместе. Участниками тайного сговора были: Абыралы, старшина родов Сак и Тогалак; Бейсенби – вождь рода Жигитек, а также Оразбай от племени Есболат, Жиренше – от Котибак, Кунту – от Бокенши, Байгулак – от племени Жуантаяк, Байдильда – от рода Топай.

Клятва над могилой Кенгирбая должна была остаться их глубокой тайной. Решили: с этого освященного часа вести непрерывную тайную борьбу против детей Кунанбая. За три оставшиеся до выборов месяца подготовить народ, чтобы люд всего Причингизья выступил на выборах не за кунанбаевскую партию. Тайными подкупами перетянуть на свою сторону всех выборных-елюбасы, числом в двенадцать старшин. И в то же



время, чтобы усыпить бдительность кунанбаевцев, относиться к ним с еще большим внешним дружелюбием, чем раньше. Во всем на словах уступить им: «Е! Пусть будет по-вашему», – проявлять по отношению к ним видимую угодливость.

В эту ночь заговорщики решили заночевать на ближайшем зимовье Жиренше. Там и договорились, как действовать, – до самых незначительных мелочей. И этот день, начатый в доме Оспана мясом стригунка – *коккаска*, завершился ночью мясом жертвенного барана – *аксарбас*. И пусть сила жертвы аксарбас превзойдет силу жертвы коккаска и очистит от греха нарушения клятвы, данной в доме Оспана!..

Как и было заранее объявлено, через три месяца на просторном степном джайлау в Пушантае, где располагался тогда Большой аул Кунанбая, унаследованный, по обычаю, его младшим сыном Оспаном, начались волостные выборы. Оглашая степь звоном множества колокольчиков, с грохотом прикатила длинная вереница тарантасов с городскими чиновниками, окруженная конными стражниками.

Прибыл сам уездный начальник Казанцев, изворотливый правитель, многие годы состоявший в самых дружеских отношениях с Шубаром и Такежаном, этими сменявшимися поочередно волостными акимами, от которых уездный голова в течение многих лет имел недурное кормление и многие выгоды. На этот раз Казанцев приехал со своей супругой, пухлой миловидной дамой с голубыми глазами, Анной Митрофановной. Во время их трехдневного пребывания в Большом доме Оспана на плечи Анны Митрофановны набросили роскошную соболью шубу, крытую черным шелком, а в дорожный сундучок Казанцева попали заботливо перевязанные пачки крупных ассигнаций.

На этот раз сыновья Кунанбая решили уступить место волостного начальника Оспану, который впервые не только согласился на должность, но и сам попросил ее у братьев... Оспан, в отличие от них, при жизни отца не попросил у Ку-



нанбая своей доли от его огромного богатства, все свое состояние наживал сам. И жизнь его задалась, состояние было немалое, когда по смерти Кунанбая стал, как младший сын, главным баем Большого дома – самым первым мырзой среди кунанбаевских иргизбаев. Но Бог не дал ему детей, и это стало его неизбывной печалью. Три жены у него было – Еркежан, Зейнеп и Торимбала, и ни одна из них так и не понесла. Окруженный множеством людей, бесчисленными родичами из кунанбаевских аулов, богатый, уважаемый всеми, главный наследник Большого дома Кунанбая – бездетный Оспан оставался безутешен. Часто, жалуясь своим самым близким людям, он принимался рыдать, сотрясаясь всем своим огромным телом, и называл себя беспомощным однорогим оленем, ястребом-подранком с перебитым крылом. И ничто не могло утешить его. На этот раз он сам обратился к братьям:

– Сяду на это место. Может быть, тем и отвлекусь немного. Попробую стать волостным начальником.

Так и решили иргизбаи – пусть Оспан сядет в кресло волостного. Им и в голову не приходило, что народ захочет по-другому. Править волостью должны только они, Кунанбаевы, и к мысли этой уже давно привыкли. Каждый из них предполагал: «может, завтра на это место усядусь я», считая, тем самым, его нераздельным достоянием кунанбаевской семьи, определенным Всевышним.

Предназначая дом Оспана для принятия высокого гостя, Кунанбаевы открыто говорили: «Это дом будущего акима волости». Да и сам Казанцев, видя богатство и щедрость хозяина, нисколько в этом не сомневался: «Он и будет избран. Оспан Кунанбаев станет волостным».

И на этот раз традиционные выборные три юрты были поставлены одна за другой, сообщались проходами. В этих юртах с утра провели собрание елюбасы, выборные от племен – так называемые «пятидесятники». В первый день схода они под руководством крестьянского начальника Никифо-



рова определяли твердые подушные сборы, налагаемые на волость через его начальника. А уж этот раскидывал налог по аулам и семьям, исходя от их численности и наличия скота. Таким образом, поборы с каждого дыма были отличны от других: сумму налога исчисляли в ходе подробного разбирательства по каждому аулу и по каждой семье – этим делом занимались целый день крестьянский начальник из города и аткаминеры станowych аулов вместе с елюбасы. При двенадцати старшинах Чингизского округа состояли тридцать елюбасы.

На первом заседании вел собрание крестьянский начальник третьего участка Семипалатинского уезда Никифоров, а сам Казанцев, глава уезда, сидел в величественном молчании, удобно расположив в кресле свое тучное тело, время от времени сурово насупливаясь и дую в свои бурые пышные усы. Так он показывал кочевникам-казахам, каким должен быть представитель власти царя здесь, в степи. И на степняков все это производило должное впечатление.

Он позволял себе разговаривать на собраниях только с молодым казахом-толмачом да с писарем волостной управы, Захар Ивановичем, мелким, юрким человеком, которого местные люди называли «Закар». Кроме них были считанные единицы, кого уездный начальник удостоивал своего общения через толмача: дети Кунанбая – Шубар, Исхак, Такежан. В последние дни, будучи гостем в доме Оспана, Казанцев – «Казансып», как называли его казахи, – позволял себе поговорить с Оспаном, в особенности после его подарков.

Не знающий русского языка, способный общаться только через толмача, Оспан, между тем, оставил хорошее впечатление о себе у начальника Казанцева и его супруги Анны Митрофановны. Понравился Оспан и спутникам высокого начальника. И не только тем, что был радушным и щедрым хозяином, – в отличие от других аткаминеров, скрытных и себе на уме, отводящих свои глаза перед начальством, Оспан поражал своей открытостью, широкой улыбкой, обнажавшей яркие, бе-



лые, безупречные зубы. Притягивал внимание сильным взглядом длинных раскосых глаз, которые широко раскрывались от удивления или сужались при волнении. В этих глазах вспыхивал, словно огонь яркой лампы, свет такой искренности и открытости чувств, что громадный батыр выглядел сущим ребенком, наивным и чистым. Не мешали этому впечатлению ни крупное лицо, ни яркие, большие губы, ни черные густые висящие усы. При разговоре речь его была умна и бурлива, как щедрый кумыс из переполненной сабы. Слова не прятались за велеречивостью, не скрывались в умолчании, но неизменно выражали то веселье его сердца, то гнев, то открытую досаду или обиду. Эта детская непосредственность покоряла людей, и Оспан понравился не только Казанцеву, его супруге, крестьянскому управителю Никифорову, но и сопровождавшим начальство толмачу, уряднику, стражникам.

Причиной такого общего благорасположения к Оспану была не одна лишь замечательная открытость и щедрость его души, но и щедрость вещественная, видимая: хозяин сделал подарки не только начальству, но одарил всех, кто его сопровождал, – прислугу Анны Митрофановны, стражника Сергея, даже атшабара уездной канцелярии – рябого джигита Акымбета.

После двухдневного налогового разбирательства и собрания выборных-елюбасы сразу же пошло гулять по народу: «теперь состоятся выборы начальника», «выборы волостного акима», «выборы бия»... Особенно живо и пристрастно толковали об этих выборах в среде степных политиканов, аткаминеров и елюбасы, которые обсуждали предстоящие события с таким же азартом, как на конных скачках, – в виду первых показавшихся вдали всадников, – в крик обсуждают, кто прискачет первым... Люди, праздно шатавшиеся меж домами Жидебая, теперь потянулись к выборной ставке о трех юртах, закружились в толпе. Встрепенулись, воспрянули атшабары и стражники, вспомнили о своих обязанностях и стали покрикивать на толпу, командовать и указывать. Настал их час: раз-



махивая свернутыми вдвое плетками, по рукояти обвитыми медной проволокой, атшабары грозными голосами выкрикивали: «Назад!», «Садись!», «Не расхаживать!», «Сидеть рядами!», «Не галдеть! Разговоры прекращай!». Им удалось оттеснить от выборной юрты большую толпу кочевников и усадить их на землю широкими полукруглыми рядами.

После этого перед трехюртной ставкой остались только чиновники да стражники в белых мундирах, с саблями на боку, с блестящими кокардами на фуражках, в начищенных медных бляхах, – словно готовые на парад. Властные чины расположились за двумя составленными столами, покрытыми пестрым бархатом. Казанцев, Никифоров и рядом с ними молодой казах-толмач, все трое одетые в белоснежные кители, в белых фуражках, казались здесь диковинными чайками. Золотые и серебряные погоны на чиновниках ослепительно вспыхивали на ярком зимнем солнце. Недалеко от уездного начальника отдельно уселась на стуле пышнотелая, синеглазая его супруга. Лицо ее раздумянилось, и она обмахивалась легким шелковым платочком.

Дождавшись, когда общий шум умолк, Казанцев что-то басовито пробурчал из-под нависших усов, и тотчас поднялся Никифоров, встал со своего места и толмач, а сидевший рядом с ним писарь «Закар» приготовился записывать. Крестьянский начальник объявил о начале выборов волостного правителя.

Перед начальническим столом ближе к тройной юрте сидело тридцать выборщиков-елюбасы. Кто-то из них расположился прямо на земле, скрестив ноги, кто-то на корточках, обхватив руками колени, а некоторые привалились плечами друг к другу, упираясь одним коленом в землю... Позади них, чуть в отдалении, в таких же позах сидела толпа кочевников из разных родов.

Как только прозвучало: «Выборы начинать», – к казенным юртам вышла небольшая толпа, среди которой были Такежан,



Шубар, Исхак, Оспан. Они с уверенным видом расположились с одного края от елюбасы. Группа Жиренше и Оразбая, внимательно следившая за ними, словно борцы за своими противниками, тоже поднялась на ноги и, подталкивая, приободряя друг друга, пробралась к другому краю от елюбасы. Это были четверо из семерых баев-заговорщиков.

Обычно по ходу выборов не допускались самовольные перемещения народа с места, определенного для него атшабарами, к рядам выборщиков-елюбасы. Нарушителей грозно окликали, возвращали на место, угрожая им и замахаясь плетью. Сегодня же никто не крикнул ни на детей Кунанбая, ни на группу баев Жиренше – Оразбая, и тому были причины. Шубар все еще оставался волостным, поэтому его братья могли себе позволить вольности, а Жиренше с утра раннего передал из рук в руки толстомордому толмачу, с торчащими, как черная щетина кабана, усами, несколько пачек кредиток, после чего группа биев и баев Жигитека, вопреки обычаю, была допущена в ряд выборщиков. Толмачу, который состоял при Никифорове, Жиренше шепнул на ухо: «При подсчете шаров постарайся, чтобы рука твоя не ошиблась! Сделаешь так, как я прошу, в накладе не останешься. Эти деньги – только для начала... Одну пачку отдай уряднику, пусть голосабельники особенно не лютуют. Другую – атшабарам, пусть не размахивают своими плетками. Попроси всех, кого надо, чтобы они не трогали меня, не останавливали, если скажу лишнее слово или поведу себя не так перед сановниками. Передай им, пусть примут от меня подарок и не уронят мое достоинство...»

Взятки, видимо, пошли по назначению, ибо никаких запрещающих окриков не последовало, когда к Жиренше и Оразбаю подсели еще и Кунту, Абыралы и Бейсенби. Ведущий выборы чиновник сделал вид, что ничего не видел, и лишь приказал, чтобы ему подали списки выборных. Списки подали, и Никифоров стал их зачитывать. Казах-толмач громко повторял



каждое названное имя вслед за сановником. На что с места откликнулся выборный: «Я!», «Здесь!», «Присутствует!».

Тем временем перед чиновником поставили ящичек, покрашенный в два цвета: белый и черный. Положив на него руку, Никифоров торжественно обратился к елюбасы:

– Слушайте меня, выборщики Чингизской волости! Назовите имя того, кто должен стать волостным управителем! Говорите имя!

Давно ожидавший этой минуты, Есирген из Иргизбая, светливого вида елюбасы, быстро оглянулся на Шубара. Тот самоуверенно, с важным видом кивнул и пробурчал себе под нос:

– Можешь начинать первым. Говори!

Есирген, вскочив на ноги, торопливо выкрикнул:

– Уа! Вашисыкороди! Называю имя Оспан! Оспан Кунанбаев – наш волостной!

Направив улыбчивый взгляд на сидевшего с уверенным видом Оспана, супруга уездного головы удовлетворенно кивнула белокурой головкой. Наступило некоторое затишье. Никифоров внес в протокольный лист имя Оспана. И чиновник, и многие другие полагали, что другой кандидатуры не последует, однако совершенно неожиданно со стороны выборщиков, куда затесались жигитеки, раздался резкий, высокий голос:

– Уа, вашисыкороди! Есть еще один человек, может стать волостным! Запишите его имя!

Кричавший елюбасы был жигитек Омарбек, безбородый худощавый джигит.

Чиновники за столом стали переглядываться. От сидящей массы народу и со стороны выборщиков полетел ропот:

– Е! Кто там голос подает? Кто кричал?

Однако вознесся встречный ропот – со стороны выборщиков Жигитек и Бокенши прозвучали крики:

– Кунту выбираем! Наш волостной – Кунту, Шонка-улы!



И было вписано в протокол еще одно имя – Кунту. Кроме этих двоих, Оспана и Кунту, больше кандидатур у степных выборщиков не нашлось. Партия Кунанбаевых ничуть не была встревожена появлением еще одного имени в выборном списке, а со стороны иргизбаев раздались насмешливые выкрики, кто-то съязвил:

– Уа! Вы слышите? Сын Шонка хочет стать *онка*¹ !

– Ойбай! Быть Шонке посмешищем!

Затем непосредственно начались выборы. Чиновник и толмач выкрикали по одному выборщику, заставляли его расписаться на листе или поставить отпечаток пальца, затем он получал в руку красивый блестящий шарик, с голубиное яйцо, возвращался и садился на свое место. Вскоре всем тридцати елюбасы шарики были розданы.

Наступила ответственная минута. Вся огромная выборная толпа кочевников и чиновничья команда перед ними вдруг погрузились в молчание. Стали слышны звуки откашливания, беспокойного перхания, сплевывания. Кочевой народ волновался: кто будет править ими? Сановник Никифоров объявил, что первым пройдет голосование шарами Оспан Кунанбаев. И опять по списку выкликаемые елюбасы, один за другим, подходили к столу и, подсунув руку под желтый бархатный покров, накинутаый на двухцветный ящик, должны были бросить шар в белый или черный отсек – за или против кандидата.

Самоуверенные иргизбаи бодро покрикивали, напоминая выборщикам: «Е! Не забывай, где белая сторона!», «С правой стороны клади!» Время от времени, перебивая друг друга, напоминали об этом и атшабары, и толмач.

Быстро подойдя к столу, очередной елюбасы называл свое имя, затем, склонившись вперед, пряча руку с зажатым в ней шаром под длинным рукавом чапана, засовывал ее под бархатное покрывало на ящике. В этот миг он оставался наедине со своей совестью и своим решением, и сотни глаз не смогли

¹ *Онка* – асык (бабка), ставший после удара неправильно, основанием вверх.



бы усмотреть, в какую из сторон двухцветного ящика он положит шар. Пока все тридцать выборщиков не прошли через процедуру голосования, никто не мог предположить, сколько шаров отдано за Оспана. И как только прошли все елюбасы, чиновник встал со своего места и вместе с толмачом подошел к тому краю стола, на котором стоял ящик. Был отдан приказ считать шары.

Мордастый толмач приготовился открыть крышки над обеими половинами ящика, но тут вмешался Казанцев, который приказал считать только белые шары. Уездный аким не сомневался в победе Оспана Кунанбаева. И тогда толмач с усами, как щетина черного кабана, запустил руку в белый отсек ящика. Непонятно усмехаясь, он поначалу пересчитал на ощупь шары, затем стал по одному вытаскивать их и по громкому счету укладывать на стол в один ровный ряд. Уверенность уездного головы и многих других, что белых шаров за Оспана будет отдано – если не все тридцать, то близко к тому, совершенно не оправдалась! Выкрикнув: «Один, два, три... пять... восемь, девять...» – толмач вдруг смолк и, вздыбив щетинистые усы, уставился на Казанцева. Сыновья Кунанбая в едином порыве вытянули шеи в сторону счетчика, словно неслышно выкрикивая: «Считай дальше! Не останавливайся!»

– Что, может быть, у этой собаки камнем глотку забило? – раздалось среди иргизбаев и кунанбаевских детей.

Однако счет белых шаров за Оспана на этом кончился. Толмач молчал, поглядывая в сторону чиновников, как настороженный кабан. Казанцев вмиг взорвался гневом и, взбешенно выпучив глаза, с размаху шлепнув себя по ляжке ладонью, обернулся к своей Анне Митрофановне: «Провалили, каналы!» И Анна Митрофановна, доселе сидевшая в безмятежном спокойствии, широко раскрыла глаза и мгновенно поблагровела. «Как так?!» – только и нашлась дама, что сказать. Она едва не свалилась со стула, вскочила на ноги и стала растерянно озираться. Ее состояние не ушло от внимания



Жиренше и его компании. Би и баи принялись громко похотывать, глядя на нее.

– Е! Она что такое сказала?

Жиренше взялся растолковывать:

– Вы сами слышали: баба уездного начальника вскрикнула *котек*¹ !

Оразбай сдержанно посмеялся вместе с другими и добавил от себя:

– И на самом деле получился «котек»! Для детей Кунанбая – воистину котек! О, аруах! А мне будет сопутствовать удача, иншалла!

Выборы остановить было нельзя. Стали считать шары, брошенные за Кунту. Их оказалось двадцать один. Мир обрушился в глазах сыновей Кунанбая. Они сидели, ничего не понимая. Оспан потерпел полное поражение. Волостным правителем был избран Кунту.

Дальше – хуже, кунанбаевская партия не получила большинства и в выборах биев для двенадцати родовых аулов. Всего несколько человек из сторонников Кунанбаевых были выбраны биями.

Выборы закончились, и в час роспуска выборного съезда Оразбай, Жиренше и другие заговорщики собрались вокруг вновь избранного волостного правителя и воздали ему шумные почести. И несмотря на то что они находились в пределах исконного аула Кунанбая, его противники вслух радовались своей победе на выборах. Жиренше сказал знаменательные слова:

– Благословенно имя нашего волостного! Кунту², ты долго заставил нас ждать, но все равно взошел над нами ясным солнышком! Иншалла!

Радость и ликование клики Оразбай – Жиренше были понятны: отныне нашейный знак и печать волостного головы

¹ *Котек* – слово ненормативной лексики, возглас испуга.

² *Кунту* – буквально: взойди, солнце.



будут служить интересам тех семи толстосумов, которые устроили победу Кунту на выборах. Бии будут оправдывать и обелять черные дела приспешников волостного правителя, дубина власти теперь хорошо послужит грабежам и насилию новой партии, пришедшей к власти. Бумажные «приговоры», ябеды и жалобы теперь начнут составляться только в пользу сторонников этой партии, отары овец и табуны лошадей будут отниматься по суду только в их пользу.

По всем джайлау разъехались выборщики и разнесли по Тобыкты разные истории, тяжелые для одних и веселые для других, – связанные с неожиданным, неслыханным ходом прошедших выборов. Особенно смешною была байка про то, как баба уездного начальника в сердцах выкрикнула не очень приличествующее ей слово «котек» (так был воспринят степняками ее удивленный возглас «Как так?»), узнав, что понравившийся ей Оспан Кунанбаев проиграл выборы.

Для сыновей Кунанбая их поражение на выборах стало предметом мучительных раздумий, они никак не могли понять, как же могло случиться, что их так больно покусали те, что были намного слабее. Проводив уездного главу и крестьянского начальника, братья начали собираться то у одного, то у другого, днями и ночами обсуждая, что им теперь надо предпринять, дабы вернуть власть и свое влияние.

Однако тщетность их намерений была очевидна для всех, да и для них самих также. Прямо и открыто об этом решился высказать им только Абай. Однажды он зашел на совет аксакалов и карасакалов рода Иргизбай, проходивший в доме Оспана, и заговорил, стоя у двери:

– Е-е! Вы как спугнутые сурки – хотите заново рыть норы? Однако на пути у вас оказался крепкий пенек по имени Кунту, и вы хотите всем скопом навалиться и прогрызть, искромсать пень зубами и когтями. А что еще остается вам делать? Сурки и должны поступать как сурки... – сказав это, Абай повернулся и вышел вон, посмеиваясь.



Абая ничуть не задевали все эти стенания и проклятия: «Унизили наше достоинство! Опозорили, будь они прокляты! Очернили!» Торжество же и насмешки Жиренше – Оразбая, – мол, «посадили в лужу», «осмеяли гордецов», – направленные и против него лично, Абая только забавляли. Он был занят своим делом, а на всю эту суету смотрел со стороны с усмешкою.

4

Итак, весть о том, что волостным правителем избран не один из сыновей Кунанбая, а человек из другого рода, дошла до Базаралы на каторгу. Базаралы решился на побег. Прошли месяцы – и вот он в родных краях. Свершилось то, о чем говорит народная молва: «Зашитый в новый саван не вернется, одетый в старое рубище – вернется». Одетыми в старое платье джигиты уходили на войну, в опасный поход. Базаралы вернулся домой полным сил и решимости, не сломленный духом и телом.

Испытав и преодолев все тяготы и мучения беглого каторжника, Базаралы добрался, наконец, до Семипалатинска. И тут почувствовал себя почти как дома: в городе об эту пору было немало тобыктинцев, приехавших после осенней стрижки овец, в затишье перед кочевкой на зимники Чингиза. Используя свободное от степной страды время, люди везли в город тюки шерсти на продажу, сваланный войлок, меха, кожи. Длинные караваны верблюдов прибывали из степи, тянулись по улицам и постепенно рассасывались по дворам казахов, живших на обоих берегах Иртыша. Кочевники несуетно продавали свой товар, затем покупали на базарах все необходимое по их жизни и обиходу: муку, чай, посуду, ковры, богатую свадебную одежду, подарки. И как раз в такое благодное для степняков время по переулкам города, где обосновались люди Жигитек и люди Бокенши, пронеслась нешумная, но по-



разившая всех весть: «Вернулся Базаралы с каторги, живой и невредимый!»

И вот уже неделю беглый каторжник провел среди своих в городе, переходя из дома в дом, попадая из одних объятий в другие, и днем, и ночью встречаясь за дастарханом с родственниками, друзьями, сверстниками из прошлой свободной жизни. Среди них было немало акынов и мастеров застольного ораторского искусства, прибывших специально в это время в город, где собиралось множество праздного народа Арки.

За эти дни Базаралы быстро отошел, – казалось, он разом свернул в ком и отшвырнул от себя все несчастья и лишения многих лет. С его исхудавшего лица исчезло выражение угрюмой замкнутости каторжанина, с которым вначале он появился среди земляков. Очень скоро на этом лице вновь появилась всем знакомая улыбка Базаралы, спокойная и умная. И вовсе не было заметно по нему, что годы каторги сломили, состарили его, лишь в длинно отросшей бороде засверкали серебряные пряди.

Нынешним вечером в окружении небольшого числа родственников, близких Базаралы находился в городском доме, где остановился Жиренше. Хозяином дома был торговец по имени Одели. Здесь же сидели Оразбай, Бейсенби, Абралы – друзья бия Жиренше. Сидел на торе и их ставленник Кунту, новый голова Чингизской волости. Также находился в комнате единственный посторонний человек, акын по имени Арип, из рода Сыбан, приятной наружности, с румяным лицом и рыжеватой бородкою джигит. После обеда он спел немало песен, из самых новых и старинных. Затем Оразбай начал разговор.

Вперив в Базаралы пристальный взгляд, словно стараясь ему внушить: «следи за каждым моим словом», Оразбай произнес:

– Вот ты и прилетел издалека, теперь на воле. Когда тебя увели, народ словно остался с переломленным крылом. Но мы боролись, и Аллах нам помог. Твои друзья выстояли, окрепли,



у них выросли новые крылья, они на равных борются с давним врагом. Но и враг не хочет покорно лежать, прижатый к земле! Придави змею пяткой, она норовит ужалить тебя в ногу! Среди нас ты самым первым понял, что противника не мольбами побеждают, а в доброй схватке. И драться выходить надо собором, а не поодиночке, прячься каждый в своем углу. Всех нас всегда мучила одна мысль: «Чья удавка на шее жестче – от Кудая или от Кунанбая?» Он хватал длинными руками и пожирал нас поодиночке, довольный тем, что мы рядом, под боком у него. И вот теперь, пользуясь тем, что печать волостного в руках у нашего Кунту, некоторые наши аулы могут подать приказы в уезд, чтобы их переписали в другую волость, где нет Иргизбая. Например, в Мукурскую или Бугулынскую. Тогда мы можем бороться с врагом, находясь и внутри этой волости, и наступая на него из соседних волостей. Вот какую хитрую уловку мы придумали!

Базаралы уже слышал об этом: не на одних ночных посиделках устами Жиренше, Бейсенби и других высказывалась такая мысль. Сегодня повторил ее Оразбай. И Базаралы никак не мог понять, чего добиваются эти люди: то они призывают «стойко бороться против волчат Кунанбая», то намереваются улизнуть от них, уйти от их угроз в соседнюю волость. Базаралы такое было не по душе. И со свойственными ему прямоотой и честностью он высказал свое несогласие весьма нелицеприятно. Но, как и всегда, слово его было сдобрено шуткой.

– Уа, мой брат Оразбай! Как же так? Говоришь такие хорошие слова: «поборемся», «потягаемся», – а сам хочешь спрятаться за спину других, отсидеться в соседней волости? Ведь ты посылаешь навстречу клыкам и когтям медведя одного Жиренше с жигитеками, а сам хочешь нападать на зверя – с его хвоста, что ли? Астапыралла! Разве так дерутся? Нет, дорогой, отбежав в сторонку – драться невозможно. Твои слова, братец, тут никак не уместны!



Сказанное Базаралы было правдой, о которой мало кто осмеливался напомнить, высказать вслух. Его слово било точно в лоб.

На самом деле – переписаться в другую волость, отдалиться от Кунанбаевых желал не только Оразбай, но и сам новоиспеченный волостной аким Кунту. Он предполагал, что в будущем вполне может потерять власть, – и хотел бы заранее подстелить соломки. Чтобы переписаться в другую волость, надо было получить на приговоре подписи с согласием двенадцати родовых старшин административных аулов. Эту бумагу Кунту уже потихоньку заготовил, опередив всех, Оразбая также, который подобной бумаги еще не имел.

И теперь, после выступления Базаралы, волостной Кунту испугался, что слова того могут дойти до народа, и тогда всем станет ясно, как слаба и труслива его, Кунту, собственная власть, и доверия народного ему не видать. Он решил глубоко схоронить от всех бумагу с двенадцатью печатями. И заговорил вкрадчиво:

– Базеке, то, что высказал Оразбай-ага, – это всего лишь легкие помыслы, гуляющие где-то за шестью холмами! Но мы хорошо знаем: когда в табуне набрасывают на коней арканы, они разбегаются в разные стороны, и тогда бывает нелегко их поймать. В конце концов, чтобы уберечь свои шеи от арканов, и мы можем уйти в сторону. Базеке, мы собираемся и советуемся лишь для того, чтобы как можно прочнее поставить косяки в дверях дома. Чтобы двери выдержали натиск недобрых людей...

Тон, взятый Кунту, понравился и Жиренше, и Абралы. Они одобрительно закивали, бормоча: «Верно говорит! Так оно и есть! Тут никаких тайных козней нет!»

– Не сомневайся, Базым! В груди отважного да не истлеет его гордость! Чего только не пришлось нам испытать, но я готов хоть сейчас взмахнуть мечом и броситься в схватку, что-



бы мстить врагу! Об этом только я и мечтаю! – торжественно заверил Жиренше.

С холодным любопытством смотрел на него Базаралы. Он давно уже понял, что эти баи и бии хотят втянуть его в свои распри не ради защиты народа, а ради того, чтобы он, Базаралы, помог им удержать в руках печати власти. Чтобы он стал пособником в борьбе за их чины и тепленькие места, где можно загребать взятки и обогащаться.

О, эти жирные люди не знали – и никогда не узнают, какие мысли приходили ему в голову за долгие годы изгнания и каторги! Да и зачем им знать? Какое дело этим баям, биям до чужих страданий? Они хотят использовать его как черную дубину шокпар в войне с такими же отъявленными хищниками, что они сами. Эти горькие мысли, отравлявшие его душу, Базаралы решил таить про себя, никому их не раскрывая.

Но что-то в его поведении не понравилось хитроумному Оразбаю.

– Е-е, тайири! Видать, не по душе тебе наши пути борьбы, о которых мы тебе намекнули! – воскликнул он. – Может, пребывая на чужбине, ты узнал про другие? – едко спрашивал он. – Хотя и сомневаюсь, что узнанное тобой на каторге может пригодиться нам в степи.

– Отчего же сомневаешься, Ореке?

– Кого ты мог встретить на каторге? Одних убийц да насильников, которых белый царь сослал туда, надев им на руки, на ноги железные кандалы. Можно ли научиться чему хорошему от такого сброда?

Базаралы улыбнулся в бороду.

– Так ты думаешь, что на каторге собраны одни разбойники, убийцы и грабители караванов?

– А кто же еще? Я ведь говорю про русских. Это их каторга.

– И что же, у русских нет своих Базаралы, которых безвинно загнали на каторгу русские Кунанбаи и Такежаны?



– Есть такие, нет таких – нам все равно! А тебе-то зачем они? Ты человек из Сары-Арки, у тебя своя дорога, у них своя.

Не стал больше тратить лишних слов Базаралы, спор был бесполезен. Он мог рассказать, если бы захотел, сколько было на царской каторге русских мастеровых, ученых людей, крестьян – истинных борцов за справедливость, бесстрашных бунтарей... Но, не желая больше разговаривать на эту тему, Базаралы неожиданно повернулся к акыну Арипу, учтиво заговорил с ним:

– Твои песни были хороши, джигит! Спой еще что-нибудь!

В племени Сыбан были свои влиятельные роды – Жанкобек, Салпы, такие же, как и в племени Тобыкты его самый богатый род Иргизбай. Арип, один из знатных людей Жанкобек, в душе таил соперничество и скрытую ненависть к кичливым потомкам Кунанбая. Он был из тех байских отпрысков, которым милее стала городская жизнь, и проводил почти все время в Семипалатинске, жил широко, принимал гостей и, выучив русский язык, был признан мырзой среди казахов-горожан. Не был чужд сочинительству, неплохо пел, играл на домбре. Одевался ярко, пышно, как настоящий знаменитый сал. С Оразбаем и Жиренше он сблизился уже давно.

Внимательно слушая разговоры больших людей Тобыкты, он понял, что к чему, кто с кем – и мотал себе на ус. Когда Базаралы резко прервал начатый Оразбаем разговор, который заинтересовал и Арипа, последний сделал вид, что он не знает подоплеки дел, и потому легко согласился с предложением Базаралы – беседу закончить и перейти к песням. Но когда он начал петь, выказывая недюжинную способность импровизации, все присутствующие, а в особенности его друзья, баи и бии тобыктинцы, невольно заулыбались. Особенно довольным должен был остаться Оразбай. Лишь один Базаралы переменился в лице и, прищурившись, настороженно смотрел на поющего акына.



*Когда в цепях ты уходил,
Народ слезами проводил
Тебя туда, где жизни нет...
Но минул ряд тяжелых лет,
Дошел до бога жар молитв:
Услышав грохот новых битв,
Ты, словно лебедь, прилетел,
На озеро родное сел...*

Оразбай, Жиренше и другие, присно с ними, восторженно зашумели, славословя певца:

- Уа! Хорошо!
- Барекельди! Молодец!
- Рахмет!
- Лихо взлетел! Лети дальше!

Вдохновленный похвалами, импровизатор, выпрямившись, положив на колени инструмент, перешел на пение без сопровождения домбры.

*Кто был смелей, отважней вас,
Базаралы и Балагаз?
Два скакуна, два тигра, два
Могучих и бесстрашных льва,
Вы повергали в прах врагов!
Всегда, батыр, ты был готов
Вскочить на верного коня...
Благословляла вся родня
Того, кто был ее щитом.
Скажи мне, плачут ли о том,
Кто не привлек к себе сердца?
Тебя ж, как брата, как отца,
Оплакивал степной народ:
«Где он, вернейший нам оплот?»
Акыны пели о тебе,
О яростной твоей борьбе*



*И называли скакуном,
Летящим, словно божий гром...
И слышал я, что тот скакун
Ворвался раз в чужой табун
И кобылицу там познал,
Что так ревниво охранял
Кривой какой-то жеребец...
Не помню, чей он был отец?..*

При последних словах песни Жиренше ущипнул за ляжку сидевшего рядом Оразбая и закатился дробным хохотом. Все собравшиеся в доме знали, в чем смысл этих строчек, а те, для которых Нурганым, младшая токал Кунанбая (та самая «кобылица»), была ненавистна, даже подскочили на месте и радостно запереглядывались между собой, словно на их глазах беркут упал на лисицу и добыл ее.

Но Базаралы мгновенно разгневался, ударом сверху наложил свою тяжелую руку на домбру акына и глухим, львиным рыком пригрозил:

– Не смей! Закрой рот... не смей обливать грязью Нурганым! Это бесценный для меня человек!

Однако Арип, сын гордых Сыбан, не снес обидных для себя слов и в ярости мелкой мести резко отвел руку Базаралы от своей домбры. Частыми ударами пальцев заиграл на ней вступление. Потом запел, мстительно поглядывая на Базаралы сверкающими глазами:

*Казался тулпаром, а оказался клячей худой...
Не зря говорят, что в коне лишь порода ценна!
Пусть прадед был бий, но отец – табунщик простой,
И видим мы все, что коню – три барана цена!...*

Когда Арип закончил петь, люди вновь загалдели, рассыпались в похвалах, со всех сторон снова зазвучало «Барекельди!», «Рахмет!». Будто речь шла не о только что созданной



песне, еще не представшей ни на одном поэтическом состязании, а о знаменитом произведении знаменитого акына! Жиренше с довольным видом, для пущей важности цедя редкие слова, сказал:

– Вы слышали этого дерзкого певца? Так и шибает в самый лоб! От его беспощадных слов не уйти, как лисице не уйти от когтей беркута! А слова так и льются!.. Барекельди!

Базаралы прекрасно понимал, что акын Арип решил начать во здравие, а кончить за упокой. Вначале ему хотелось угодить Оразбаю и слегка задеть Базаралы, не поддержавшего его разговор, но потом Арип, задетый резким окриком джигита, разозлился и решил напомнить ему, что сам он тоже не из последнего рода. «Может быть, ты и был когда-то горной вершиной, а теперь – какая тебе цена? Всего три барана», – говорил он в своей песне...

Базаралы спокойно и внимательно рассматривал акына, словно изучая его. Такая способность человека лицемерно восхвалять, при этом подбрасывать к великой хвале ложечку яду, удивляла могучего, усталого джигита, давно отвыкшего от некоторых особенностей родных степных нравов. Лицо его побледнело, отчего стало тускло-серым, Базаралы нахмурился, смолк и ушел в себя.

Но вскоре в дом нагрянула целая толпа новых гостей. Это была молодежь из аула Акшоки, которых послал Абай. Джигиты с порога бросились к Базаралы, увидев его в глубине комнаты, сидящим среди людей. Зазвучали мужские взволнованные голоса.

- Ойба-ай, наш славный Базеке! Живой?
- Дорогой агатай!
- Опора ты наша! Достойный ты наш!
- Ассалаумалейкум, ага! С приездом!
- Удачи во всем, Базеке!

Базаралы поднялся, – и с ним, грудь в грудь, обхватывая его руками, со слезами на глазах крепко обнимались земляки



– Кокпай, Шубар, Акылбай, Ербол, Магаш и другие из молодежи. После кратких вопросов о здоровье, о благополучии в пути, Ербол, как старший, рассказал о цели их приезда.

Полудюжина молодых тобыктинцев, возглавляемая им, отправилась по просьбе Абая – встретить Базаралы и без лишних хлопот доставить его в родные края. Всю жизнь, дружа с Абаем с юности, Ербол был самым надежным его посланцем, живым письмом во всех самых важных представительствах Абая-ага. Спокойным, мужественным голосом, который, однако, от волнения вздрагивал у него неоднократно, Ербол говорил об отношениях Базаралы и Абая, об их давней крепкой дружбе, о ее чистоте, искренности, верности.

Слушая Ербола, Базаралы впервые позволил себе расслабиться. Он свесил на грудь голову, слезы показались в его глазах. Ни слова не промолвил Базаралы, но люди почувствовали смятение его чувств, и сами были сильно взволнованы. Магаш, сын Абая, хорошо знавший всю глубину и силу любви отца к Базаралы, не выдержал, вынул платок и разрыдался, прикрывая им глаза. И нескоро удалось Шубару и Кокпаю вывести людей из состояния скорбного безмолвия, в котором пребывали посланцы Абая, а вместе с ними и Базаралы.

Но пролетели эти минуты печали, и Базаралы стал расспрашивать о здоровье Абая, о его делах. Выразил соболезнование по поводу кончины – уже давней – хаджи Кунанбая, которая случилась в отсутствие Базаралы на родине, расспрашивал, как прошел годовой ас. Тут внесли в комнату большую, золотого окраса, деревянную чашу с кумысом, и гости оживились в ожидании предстоящей трапезы. Беседа стала общей.

Приезд для встречи с Базаралы детей Абая удивил многих. Такого никто не мог даже и предположить. Ведь Базаралы был задержан и в кандалах сдан властями именно детьми Кунанбая – Такежаном, Майбасаром и Исхаком, волостными начальниками. Но сегодняшние их противники, Оразбай, Жиренше и иже с ними, ничего не могли сказать лично против



Абая, пославшего своих детей встретить беглого каторжника, который был из рода Жигитек. Можно было предположить, что Такежан, Майбасар, Исхак не обрадуются вести, что человек, которого они загнали на каторгу, вернулся живым и здоровым. Теперь они затаятся, как змеи, свернувшиеся в кольца для броска. Разумеется, если бы власть волостная по-прежнему была в руках отпрысков Кунанбая, Такежана или Исхака, они непременно донесли бы русским властям о появлении беглого каторжника в тобыктинской степи. В этом Оразбай – Жиренше ничуть не сомневались, но даже не обладая властью и сохранив свои прежние связи в городе, кунанбаевские волчата способны были на многое... Такими соображениями баи и бии Жигитек и Бокенши поделились с самим Базаралы. И сообща выработали следующий ход действий: надо распустить повсюду слухи, что Базаралы вернулся законным образом. Мол, он освобожден по высочайшей милости и, благодаря большим судебным хлопотам, полностью оправдан властями, по всем статьям.

Услышав весть о возвращении Базаралы, напуганные Майбасар, Такежан и Исхак немедленно собрались и стали держать совет. Обсудили, надо ли донести на него властям, чтобы вновь вернуть его на каторгу. Решили, чтобы этим занялся Шубар, когда он будет в городе вместе с детьми Абая. Однако Шубар открылся Абаю, все рассказал о намерениях родственников, и это привело Абая в бешенство. Сгоряча он даже обрушил свой гнев прежде всего на Шубара:

– Что ты пришел ко мне с таким подлым вопросом – «что делать, как поступить»? Разве ты не знаешь, как тебе стоило поступить? Да надо было немедленно, тут же на месте дать им кулаком по зубам, заткнуть их поганые рты! Вот что тебе надо было сделать! А после этого мог бы прийти ко мне и все рассказать!

Рассердившись на Шубара, что он участвовал в разговоре родичей, он и послал его вместе со своими детьми и другими



акынами из своего круга в уездный город, – на встречу с Базаралы.

Но этот приезд посланцев Абая насторожил жигитеков во главе с Жиренше – Оразбаем. Особенно подозрительным показался им Шубар, о котором они многое знали. Да и сам Базаралы не склонен был особенно верить ему... Однако спокойные, рассудительные слова Ербола и салем Абая немного успокоили всех. Также они видели искренние слезы юного Магаша. И Базаралы окончательно успокоился.

Он пил густой, выдержанный зимний кумыс и чувствовал, что из большой чашки переливается в него животворная, пьянящая влага родных пределов, от которых его силою оторвали, на много лет. Легкий хмельной туман охватил его голову. Он вострепнулся, выпрямился, горделиво поднял голову – и впервые за весь сегодняшний день заговорил оживленно, быстро, не сдерживаясь, ничего не опасаясь. И это была речь прежнего Базаралы, шутника и острослова, веселого мудреца и утонченного оратора. Он начал рассказывать о некоторых событиях, что пришлось ему пережить. Это были не очень веселые рассказы, но рассказывал Базаралы с таким заразительным, неотразимым юмором, что взрывы смеха то и дело прерывали его повествование. И вдруг совершенно неожиданно, в завершение какого-то эпизода, – он взял домбру из рук Арипа и протянул Кокпая, то ли прося его, то ли требуя: «Спой, жаным!»

Кокпай был один из самых видных акынов круга Абая. Он начал с поэтического приветствия Базаралы, импровизируя, как и всякий истинный степной поэт, от полноты переполнявших его душу чувств. Пел он звучным, поставленным от природы, богатым голосом. И как поэт-импровизатор – сочинитель в тот же миг рождающейся песни, – Кокпай явил себя незаурядно: всего в четырех строках первого куплета он сумел передать и высказать многое. Радость встречи, почитание и уважение



к народному любимцу, – но и тревогу за него, которому грозит опасность от властей:

*В глазах народа ты, как и прежде, могучий арыс,
Мощный черный атан, поднимающий сорок пудов.
Но смотрю на тебя – и крикнуть хочу: «Эй! Берегись!»
И все же вслух не решусь сказать этих слов...¹*

Итак, в импровизации Кокпая был прямой намек для Базаралы, что он в опасности, но присутствующие были увлечены необычной мелодией и красивым голосом певца и мало обратили внимания на его предупреждение. Им после выпрених и изворотливых песен Арипа очень пришлось по душе мелодичная новинка Кокпая, посвященная возвращению Базаралы. Однако акын, закончив ее, решил, что более уместным будет – перейти к песням Абая, которых Базаралы еще не слышал. Для начала Кокпай спел очень давно сочиненную абаевскую песню «Джигиты, дорог смех, не шутовство». Это была довольно длинная песня, и Кокпай пел ее в спокойной, ровной манере. С первых же строк Базаралы признал в ней слова Абая.

*Один пропустит все мимо ушей,
Другой проникнет в смысл твоих речей.
Есть и такой, кто понимает слово,
Но истолкует к выгоде своей²*

При этих словах Базаралы улыбнулся и выразительно посмотрел на акына Арипа.

Песня эта, однако, издавна не нравилась Оразбаю и его компании, но они не могли прервать ее, с большим внима-

¹ Перевод А. Кима.

² Перевод А. Гатова. Из кн.: Абай. Стихи. Переводы русских поэтов. Алматы: Ғылым, 1995.



нием и видимым удовольствием выслушиваемую гостями и Базаралы. Не желая ее слушать, Оразбай и Жиренше, развалившись на подушках, сдвинули свои головы и, отвернувшись в сторону, о чем-то зашептались.

Песня кончилась, акын умолк, и Базаралы заговорил:

– Узнаю слова Абая... До чего же родные... И ты прекрасно делаешь, жаным, что запомнил их и поешь... Барекельди!

– Е! Почтенные! А как изволите назвать такое песнопение? – вдруг подал голос из своего угла Жиренше. – Что это – поучение? Назидание?

– Абай сам уже достиг своих зрелых лет... Так чего же ему докучать молодежи, вмешиваться в их забавы и веселье? – добавил Оразбай. – Не дело это...

Базаралы со своей добродушно-насмешливой улыбкой посмотрел в их сторону.

– Ну конечно... По-вашему выходит, старший брат ничего не должен передавать младшему. Все, что узнал, накопил в душе, – уноси с собой в могилу. Ты, Ореке, как раз и поступишь так, наверное. Но не все в народе думают по-твоему, дорогой!

Оразбай не стал вступать в спор. Лишь махнул рукою и сказал:

– Тайири! Будет с нас. Пусть Абай кормит молодежь своими назиданиями. Только как бы не перекормил!

Настало время заговорить и самим молодым, о которых столь горячо препирались взрослые. Магаш, Шубар, Акылбай уже присмотрелись к Базаралы, перестали его стесняться и повели себя с ним свободно и непринужденно. И в один из моментов разговора, когда Базаралы вспоминал, каких замечательных русских людей встречал на каторге, самый старший из молодых Кунанбаевых, Шубар, с усмешкою перебил рассказчика:

– Е, агатай, а вы, наверное, неплохо научились говорить по-русски, общаясь с ними?



Тут Базаралы неожиданно и резко повернулся, уставился в лицо Шубару. Глаза беглого каторжника опасно сверкнули, но затем мгновенно обрели выражение горестной отрешенности, появлявшееся в его больших, раскосых глазах в иные минуты даже посреди разговора в кругу дружественных собеседников.

– Астапыралла, мой голубчик! Неужели забыл, что и ты посылал меня в далекие русские края, чтобы я там научился говорить по-русски? А я ведь не дурак и не тупица – кое-чему, конечно, научился! – сказал это Базаралы шутливым тоном, но сказанное прозвучало, как внезапный выстрел.

Шубар никак этого не ожидал, совершенно растерялся. Базаралы все так же с улыбкой, но с горящими глазами смотрел на Шубара, который когда-то был волостным и вместе со своими дядьями-волостными схватил его и сдал русским властям. И на лице Шубара в ответ появилась и застыла улыбка – кривая, принужденная...

Поздно ночью, когда сыновья Абая и другие его посланцы собрались покинуть дом, Базаралы вышел с ними на улицу и со всеми приветливо попрощался за руку.

МЕСТЬ

1

Уже месяц по своем возвращении Базаралы принимает у себя гостей и сам часто ездит по приглашению родственников, друзей. Его аул хотел устроить большой благодарственный той с жертвенным столом ради его благополучного возвращения, но Базаралы, видя великую бедность, запущенность и убогость отцовского очага, уговорил родичей не давать тоя. Первые две недели он с утра до ночи ездил в дружественные аулы Жигитек, Бокенши, Котибак, Кокше, где его принимали с искренней радостью, молились вместе с ним в благодарение за живое и здоровое возвращение с каторги.

В среде иргизбаев он навестил только аул Абая. Сам Абай первым почтил Базаралы своим приездом, побыл у него день и всю ночь. После чего, пригласив с собой друга, поехал в свой аул вместе с ним и добрым десятком его родственников.

Щедрый, просторный очаг Айгерим встретил Базаралы как самого почетного гостя. Юрта была празднично украшена дорогими коврами, пол устлан войлоками-сырмаками в цветных орнаментах. Весь круг молодых акынов Абая так и вился вокруг Базаралы, не оставляя его одного, и с упоением слушал его рассказы, смеялся его шуткам и чутко следил за его настроением. Ибо молодежь была предупреждена Абаем, сколько пришлось пережить и претерпеть этому человеку, и к нему должно проявить особую чуткость, теплоту и дружелюбие... Абай сдержанно расспрашивал друга о пережитом, но Базаралы сам довольно много рассказал, в основном о людях, которых



пришлось встретить и повидать. Однако был у него настрой – не жаловаться на судьбу, не выставлять своих страданий и ран, не уподобляться тем, которые склонны мрачно заявлять: «Испытал столько тягот и лишений... потерял веру в жизнь...»

За вечерней беседой Абай решил отвлечь друга от его тяжелых воспоминаний, вовлечь его в разговоры и в круг интересов акынов, которых собрал возле себя. Решили просить спеть Кокпая, ему и протянул домбру сам Базаралы.

Кокпай домбру взял в руки, но с некоторой нерешительностью, и стал отнекиваться:

– Базеке-ау, я давно не пел, немного отвык... Не хочется мне портить песню. К тому же здесь присутствуют такие славные певцы, как Мука́, Алмагамбет!

– Нет, спой ты, айналайын! А этих, кого я еще не слышал, мы обязательно попросим спеть потом. – Этими словами Базаралы почти убедил Кокпая. К тому же сам Абай-ага поддержал Базаралы:

– Кокпай, наши песни будут для Базеке как шашу¹ на свадьбе – на радость и для услаждения! Начинай! А потом и другие подтянутся. Все будут петь.

Услышав эти слова – «все будут петь», гости, и молодежь и старшие, оглянулись на Айгерим, что говорило о том, что люди давно не слышали ее чудесного пения, и им хотелось бы послушать...

Кокпай запел. Перед тем уточнил: «Песня Биржана. Он ее пел, словно райская птица. Я же спою, как смогу...» Это была любимая в народе песня. Своим протяжным напевом и задумчивой размеренностью мелодии она была в пределах доступности искусства Кокпая и подходила к его мягкому, красивому голосу.

Когда он закончил петь, все увидели, как был доволен Базаралы. Это была и его любимая песня.

¹ *Шашу* – сладости, разбрасываемые гостям на свадьбе.



– Хорошо! – воскликнул он и добавил: – Она появилась в то далекое лето... В светлые, радостные дни... – И он умолк, взгрустнув.

Проходит жизнь, прибавляются года. А прошлое не отпускает, мучительно преследует человека... Базаралы вспомнил, как любил петь эту песню его младший брат, красавец и весельчак Оралбай. И, как всегда, воспоминание о сгинувшем братишке опечалило его, Базаралы пригорюнился, низко наклонив голову.

Но тут домбру взял Мука́ и запел звонким, как у жаворонка, голосом, сразу заставившим встрепенуться все сердца. Богатый звук этого голоса, уверенное владение певцом его тончайшими возможностями говорили о высоком певческом искусстве в степи. Мука́ запел песню Абая – «Шлю, тонкобровая, привет», которую Базаралы еще не слышал. И слова, и напев ее были настолько жизнерадостны и светлы, что смогли сразу отвлечь Базаралы от его грусти и печали. Написанные в пору счастливой любви Абая, слова были пронизаны страстью и нежностью поэта. Спев три куплета, Мука́ хотел остановиться и перейти на что-нибудь другое, но Базаралы не позволил ему этого:

– Пой, айналайын, пой дальше, баурым! – стал просить он сэре, и Мука́ допел песню до конца.

После другое сочинение Абая исполнил молодой сэре Алмагамбет. Это была песня «Ты – зрачок моих глаз», нежная, полетная, сразу протянувшая воздушную тропу от унылой поздней осени к весеннему ликованию цветов. В этой песне торжествовала душевная радость мая.

– Иншалла! Свершилось! Нет больше печали и мрака в моей душе! Вот оно, снадобье для меня! Я излечусь, силы вернуться ко мне... – Так шептал, чуть слышно, Базаралы, закрыв глаза, самозабвенно вслушиваясь в песню.

В одну из добрых минут этого музыкального вечера Базаралы забрал у кого-то домбру и со смиренным полупоклоном протянул ее Айгерим.



– Душа моя Айгерим! Я не буду говорить, что только ты виной тому, что в сегодняшних песнях гуляет одна лишь любовь. Наверное, есть и другие красавицы в степи, которых тоже любят. Но ты здесь одна, – и тебе придется спеть, держа ответ от имени всех остальных. Спой, жаным! – так говорил Базаралы, и его голос звучал с братской нежностью.

Айгерим тотчас покраснела, ее переливчатый голос выразил непритворный испуг:

– Уа, Базеке! Напрасно вы... Ведь я так давно не пела!

– Нет, Айкежан, нет! Базаралы ничего не знает! Базаралы только помнит то, как чудесно ты пела, а он слушал тебя и плакал... Спой еще, айналайын!

После этих слов Айгерим больше не заставила себя уговаривать. Она запела «Письмо Татьяны».

Пела она также проникновенно и нежно, как много лет назад. И все, слышавшие раньше или слышавшие в первый раз эту песню в ее исполнении, сидели, не шелохнувшись, зачарованные силой искусства – Абая и Айгерим. Но для Базаралы, не слышавшего песен Абая, написанных им за годы разлуки, они стали настоящим потрясением. Певцы, будто договорившись, в этот вечер пели одни лишь сочинения Абая.

Получилось, что народ преподнес вернувшемуся живым с каторги Базаралы свой самый лучший подарок – высочайшего уровня искусство зрелого Абая. И теперь, глядя на него, Базаралы воскликнул:

– Апырай! Как многое изменилось! И слова песен изменились, и напевы! Они пронзают душу, – в душе моей все заглохло! Ты-у! Что вы сделали со мной!..

Посидев молча, покачивая головой, он спокойным голосом добавил:

– Абайжан, а как чудно сочетаются у тебя слова песен и напевы! Айналайын, ты явил большое искусство, спасибо тебе!

Тут Магаш заговорил о песнях самого талантливого из молодых – Дармена:



– Ага, а ведь Дармен сочиняет поэму про Енлик и Кебека. Неплохо было бы послушать ее.

Абай вспомнил, что осенью, при охоте с ястребами на дроф, он поручал Дармену написать такую поэму-дастан. Но, не зная, как у юного акына обстоят дела с этим, он дружелюбно попросил его:

– Ничего, если не успел еще закончить. Почитай или спой то, что успел уже сделать.

Дармен не заставил себя ждать. Чернобровый белолицый джигит с тонко подрезанными усиками, склонившись к домбре, нетерпеливо и бурно проиграл вступление, затем быстро выпрямился и запел. В его больших, черных, ярких глазах загорелся огонь вдохновения, с молодой силою степной души в нем соединился гордый и высокий разум истинного азамата. Он слетел с орлиного гнезда новой поэзии, из-под крыла Абая, и являл собою яркого акына нового времени. Таких, как он, и ждал народ – заступников всех обиженных перед их извечными обидчиками, поборников совести народной...

Его дастан начинался с описания неслыханной красоты Енлик, с восхваления и других ее немалых достоинств. Она выросла у деда Икана с бабушкой, ибо рано лишилась родителей, и была у стариков сразу за внучку и внука. Отважная и сильная, она переодевалась в мужской костюм и выходила на охоту к подножию горы Хан, где они жили.

В дастане молодой акын с незаурядным мастерством описывал красоты родного Причингизья в пору ранней зимы. Как раз в это время охотники выходят по первой пороше на охоту-салбурын, с беркутами и гончими собаками. После осенней стрижки и перед кочевкой на зимники начинают шевелиться ночные разбойники-барымтачи, конокрады и грабители на больших дорогах. В поэме рассказывалось, как девушка Енлик, охотница с луком и стрелами, слышала от многих людей, проходивших мимо их дома, что появился на дорогах отваж-



ный джигит, охотник, который защищает одиноких путников от разбойников, и тем заслужил всеобщую любовь и признание.

Живущая уединенно рядом со своими родными стариками, Енлик возмечтала об этом благородном батыре и бессонными девичьими ночами несчетно повторяла его имя... И в один из дней поздней зимы, в начале февраля, во время бурана из бушующей метели явился перед нею некий всадник, весь запорошенный снегом. Перед седлом, на подставке сидел зачехленный в колпак беркут. На тороках седла висела огненно-рыжая лисица, добытая в недавней охоте.

Енлик пригласила джигита в свой аул, к своему очагу, и ее старики приветливо встретили гостя. Он оказался человеком воспитанным, учтивым, открытым и доброжелательным, щедрым на веселье и вполне пристойные шутки-прибаутки. Много забавного и интересного рассказывал джигит о диких зверях, ибо он был заядлым охотником. Заглядевшись на румяное, мужественное лицо молодого охотника, Енлик чуть заметно, одними губами, приветливо улыбалась. Но вот он, отвечая на вопрос старого Икана, назвал свое имя, – и юная охотница вся встрепенулась и уже по-другому стала смотреть на джигита... Ее сердечко как будто замерло на мгновение, – затем бурно забилося в груди, щеки запылали огнем. Она услышала имя того батыра, о котором думала в свои бессонные ночи...

На этом месте песенного повествования молодой акын смолк, положил пальцы на струны домбры и со скромным видом объявил, что дальше он не успел ничего сочинить...

– Эй, джигит, ты что с нами делаешь? – воскликнул Базаралы. – Только раззадорил, сердце зажег – и на тебе, оборвал песню!

Огорчились, что нет продолжения дастана, и другие слушатели, особенно молодые – Магаш и его друзья. Абай долго смотрел на Дармена растроганными, любящими глазами, но вслух высказал довольно сдержанное, неожиданное мнение:



– Дармен, я коснусь только двух вещей. Первое, – когда описываешь красавицу-охотницу, ее одинокую жизнь, ночную бессонницу, – старайся вызвать у слушателя не только страсть и чувственность. Нет, – образ Енлик сразу должен предстать возвышенным, окрыляющим сердце, вызывающим самые высокие чувства. А во-вторых, когда говоришь о прошлом, постарайся вложить в разговор наши сегодняшние чувства и представления, ты понимаешь меня? И когда будешь сочинять дальше, пиши так, чтобы в былых народных страданиях легко узнавались сегодняшние страдания, в старинных народных мучителях узнавались бы современные мучители народа.

Молодежь почтительно молчала, слушая своего учителя. Первым нарушил тишину Какитай:

– Абай-ага, наш Дармен уже на шаг отстоит от того, о чем вы говорите. Он все понимает, как надо!

– Если он такой умный, может быть, он поймет, что тогдашний Кенгирбай – это сегодняшний Кунанбай? – сдержанно, с глухим вызовом, молвил Базаралы, оглядывая потомков названного человека.

– Басе! Превосходно! Базаралы остается самим собой! Но ты должен знать, Базеке, что перед тобою акыны нового поколения, которые не оглядываются назад, а смело смотрят вперед. И каждый ищет свою Мекку в той стороне, куда ему указывает его сердце.

Базаралы молча выслушал, подождал, пока все выскажутся, и затем стал рассказывать:

– Когда я задумал побег, то посоветовался с двумя старыми каторжниками. Одного из них звали Керала, он был из мужиков – крепкий, кряжистый, как дуб. Второй – из образованных, когда-то учился на врача, да вот, попал в Сибирь на каторгу, звали его Сергеем. Вдвоем они распилили мне кандалы на руках и на ногах, и я смог бежать. Ни для чего я им обоим не был нужен, чтобы так рисковать за меня, – обнаружусь, что они помогают мне, то пришлось бы им ох как худо! Раскромсали на



куски мои кандалы и сказали мне: «Лети на свободу! Передай привет от нас своей степи, друг!» Спрашивается, чего ради эти совершенно чужие мне русские люди оказали такую бескорыстную помощь?

Абай спрашивал его, что ему пришлось испытать после побега, проходя Сибирью, что бывало при встречах с русским населением. И Базаралы отвечал на эти вопросы с удивившими слушателей теплотой и благодарностью.

– Пробираясь иркутской Сибирью, я выходил только к бедным крестьянам в поселениях, города обходил, в богатые дома не совался. Я понимал, милые мои, что несчастного беглого бродягу могут пожалеть только сами несчастные. Стоило вечером в сумерках постучаться в дом на окраине городка или деревни, как тебя без всяких расспросов пускали, кормили, прятали до утра. Потом подсказывали, по каким дорогам безопаснее пробираться, и провожали ради Бога. Бывало и так, что и днем прятали меня, когда опасность какая-нибудь появлялась, а ночью выводили за село и показывали тайные тропы. Получая такую помощь от простых русских людей, я словно окрылялся, я верил, что доберусь до родных мест.

Эти несколько дней у Абая показались Базаралы каким-то блаженным временем, проведенным где-то на зачарованном зеленом острове, посреди бушующего мутными волнами озера.

Базаралы, наконец, заговорил о конфликте семи аулов жатаков с Азимбаем, сыном Такежана, и осведомленный про это Абай дал другу свое представление дела. Оно совпало с тем, как его понимал и Базаралы, уже встречавшийся с жатаками этих аулов, среди которых было много прямых родственников Базаралы. Как раз перед его появлением в родных краях жатаки хотели заняться самовольным перевозом заготовленного Азимбаем сена в свои аулы, но разнеслась весть – «вернулся Базаралы», и застрельщики дела, среди которых были друзья и почитатели Базаралы, такие как Сержан, Абди, старик Келден,



– решили, что не стоит раздувать распри накануне его приезда. «Успеем, осень еще простоит долго!» – рассудили они. К тому же им передана была просьба Абая: подождать, ничего не делать, пока он не переговорит с Такежаном. Вот и просили жатаки Базаралы, чтобы он при встрече с Абаем спросил у него, были ли у него разговор со старшим братом.

Но Абай, оказалось, с ним еще не успел встретиться, – аул Такежана находился на дальнем осеннем пастбище. Однако вскоре он должен был перекочевать поближе, и тогда Абай намерен был отправиться к нему. После переговоров о результатах тотчас известит Базаралы и Келдена.

Побывав в ауле Базаралы, Абай увидел, как плачевно обстоят у того дела с мясным и молочным питанием, узнал также, что и верхового коня у него не оказалось. И в тот раз, когда Базаралы побывал гостем у него в ауле, на прощанье передал ему с десяток голов скота для зимнего согыма и подарил редкого по здешним местам темно-серого, со стальным отливом, в светлых яблоках молодого жеребца под седло.

Когда темно-серый конь с белыми пятнами на боках и на гладком, округлом, как перевернутый таз, крупе оказался под богатырским седоком, вся округа залюбовалась и на коня, и на всадника. Двигаясь в сплоченной дружине верховых, могучий Базаралы на своем аргамаче выделялся среди остальных всадников, словно самая высокая вершина горной гряды над другими, и смотрелся, как сказочный батыр.

Кто-то из друзей, навестивших его в ауле, пошутил:

– Базеке! Где вы взяли такого аргамача? Неужели из дальних краев привели? Или все эти годы прятали его в горах Чингиза?

Но сам Базаралы не склонен был распространяться, откуда у него такой конь. Вернувшись домой и увидев, в каком состоянии находятся его родичи, отцовский очаг, он не мог даже от души порадоваться царскому подарку своего друга...

Кончились веселье и пиры по его приезду, друзей и родных захватили их предзимние будни, и Базаралы, засев дома и ока-



завшись совсем один, смог оглядеться вокруг и определить всю меру разрухи и потерь, постигших родной аул, пока он был в изгнании. Уже не было на свете отца – прошлой зимою Каумен заболел и скончался, потеряв всякую надежду увидеть перед смертью хотя бы кого-нибудь из трех своих сыновей: Балагаза, Базаралы, Оралбая. На смертном одре он беспрестанно повторял имена двух последних, младших и, впадая в бред, твердил: «Я иду, уже иду к вам, родненькие мои!» Незадолго до того, как испустить дух, он только беззвучно шевелил губами...

Обо всем этом рассказала ему наедине жена Одек, и, выслушав ее, Базаралы уединился и весь серый осенний день провел в скорбном молчании.

Да, осень нынешняя никого не очаровывала, бедного человека ничем не обнадеживала. Когда перешло за середину октября, степь утонула в жухлом мерцании увядающих трав. В домах забыли, что такое тепло, – сколько ни топи очаг. Тяжелые глины покрыли дороги, – казалось, это ветер швыряет на путника грязь, а не летит она из-под копыт. Юрты, давно лишившись любовного ухода хозяев, зияли черными дырами по войлоку кровли. Стоило пойти дождю, как в дом просачивались водяные струйки. И вместе с холодным ветром, врывавшимся в дыры, осень завывала свою тоскливую песнь.

Сегодняшний дом Каумена представлял собой жалкое зрелище, это был самый убогий очаг во всем обнищавшем ауле. Таким его застал Базаралы, когда вернулся из дальней каторжной чужбины.

Маленький аул Каумена в эту осень забрался в самый дальний угол Шоптиколя, окраинное пастбище рода Жигитек. Оно было расположено недалеко от нищего поселка жигитеков на Ералы, и оттуда прибыл в Шоптиколь старый Даркембай, решивший повидаться с Базаралы.

Старые друзья, сидя в дырявой юрте Базаралы, уже немалое время провели в беседе. Она в основном состояла из взаимных жалоб и сетований. Вначале Базаралы подробно изложил перед



другом все обстоятельства той жизни, что обнаружил он, вернувшись домой. Глядя на свою исхудавшую, постаревшую жену, которая принесла от соседей охапку таволги и собиралась растопить очаг, чтобы сварить чай, Базаралы говорил Даркембаю:

– Вот она, твоя любимая невестка Одек, ходит кряхтит, сама вся высохла, как ветка таволги, которую сует в печку. Только и знает, что горько плакать, жалуясь на бедность. Единственный сын Сары тоже высох, как срубленный курай, идет – шатается, как тростиночка, за шапку дырявую держится, боится, как бы ветром не унесло, в развалившихся саптама ходит. Что ему делать, чтобы прокормиться? Неужели пойти в услужение к какому-нибудь богатею? Моя опора, арыс бесстрашный, старший брат Балагаз сгинул где-то на чужбине, угнанный на каторгу раньше меня. Извелись от нищеты и его жена, и дети. Словно вспыхнул и сгорел на ветру, пропал без вести и мой младший брат Оралбай... Неизвестно, в каком безымянном овраге находится его могила. Он был одарен Всевышним больше, чем Балагаз и я, красавец наш, в нем горел огонь великого искусства. Исчезли братья мои – пропали по злобе врагов. Подумаешь обо всем этом – и придет мысль, что Кудай за что-то решил извести семя Каумена. А за что? Разве мало людей в молодости бывают дерзкими и отважными, не желают быть под чужой пятой? Скажи, сосед, а меня самого разве покарали за злодейство, грабеж и разбой? Мне теперь могут голову снять за побег с каторги, но я скажу тебе: вернулся оттуда и вижу, что здесь, в степи, немногим лучше. Несчастных, вконец обнищавших стало еще больше, чем раньше. В черных лачугах бедолаг обсели зеленые мухи, глаза им обсасывают, и в этих глазах горит огонь мести!.. Не заглушить врагам огня мести и в моем сердце! Мой несчастный отец, старый Каумен, – ты будешь отомщен, как и все, ходящие сегодня в лохмотьях!

Так делился Базаралы своими мыслями, давно тяготившими его, с родичем и другом Даркембаем. Старик, понюхивая табачок, понимающе кивал головой. За годы разлуки эта голова вся



поседела – не только волосы, усы и борода, но и брови Даркембаей стали белыми, словно покрылись инеем. Однако глаза его все еще светились молодым задором жизни.

Многое повидавший на своем веку, этот старый человек не стал говорить приличествующих слов сочувствия другу, зная, что словами не утетишь и не окажешь помощи. Выслушав его, старик отвлек внимание Базаралы тем, что стал рассказывать, кто, где и насколько разбогател за время его отсутствия. Всякими правдами и неправдами Такежан стал владельцем восьмисот лошадей, у Жиренше также их восемьсот, а Оразбай имеет косяк в полторы тысячи голов. Абыралы, Кунту, Жакипа называют «тысячниками». И в то же время бедняков-жатаков стало намного больше в тобыктинской степи, а нищета их стала еще свирепее, чем раньше.

– Мы говорили с тобой о тех, кто кочует. Хочешь знать, что с теми, которые стали оседлыми, жатаками и, как ты советовал когда-то, занялись хлебопашеством, словно русские мужики? Так вот, скажу тебе, что оседлые до сих пор живут, как и жили, и те сорок очагов, которые стали еще при тебе хлебопашцами, мыкают горе до сих пор, пребывают в бедности и несбыточных мечтаниях наесться досыта. Хотя и, правда, с голоду мы не умираем, но и с нуждой не расстаемся. «Труд несчастливому – всегда напрасен» – так ведь говорят. Но пусть мы будем трудиться, как проклятые, зато не станем гнуть шею перед баем и не будем его умолять, чтобы он взял в «соседи» – ради чашки прокисшего айрана. И хотя над нами смеются, говорят, что шеи наши стали тощими и сморщились, как у волов, тягающих ярма, что мы копаемся в земле, как русские мужики, однако жатаки землю не бросят. И пусть мы сдохнем от тяжелого труда, но зато нас похоронят, завернутых в наши собственные лохмотья.

Итак, встретились Базаралы с Даркембаем и обменялись сетованиями и жалобами на свою жизнь. Но Даркембай рассказал все же об одной радости жизни, утешающей его старость, – о юном джигите Дармене.



У старика был младший брат по имени Коркембай, которого Базаралы помнил по годам своего детства. Еще в те времена Коркембай отчего-то покинул родные края и ушел жить в среду русских. И пока Базаралы находился на каторге, пришла печальная весть от Коркембая его старшему брату, Даркембаю: «Навести – свидеться бы еще раз, пока жив!» Даркембай поехал, нашел брата, и тот умер у него на руках. Перед смертью он отдал наказ: «Забери с собой единственного сына и старуху мою». Наказ был выполнен – и теперь этот сын Коркембая, Дармен, явился опорой Даркембаю на старости лет.

Но друг жатак открыл Базаралы то, чего еще никогда никому не говорил: Дармен не был родным сыном Коркембая. На самом деле он был племянником Кодара, того самого, которого Кунанбай обрек на страшную казнь через повешение. Этот мальчик был сиротой, его отец Когадай умер безвременно, и мальчик рос у дальних родственников, которые относились к нему крайне плохо. Это его, с больными глазами, одетого в рубище, босиком, приводил Даркембай в городе к Кунанбаю, когда тот уезжал на хадж, и для него, как для единственного наследника Кодара, требовал кун, – мзду за убийство человека. Мальчика тогда называли Кияспай, «упрямец», такое прозвище получил сирота, живя у родственников. Ничего не добившись для него, Даркембай определил сироту к своему бездетному брату Коркембаю, и тот с радостью усыновил его... А теперь и сам Даркембай не чаял в нем души.

Юношу, называемого уже Дарменом, старый жатак привел к Абаю с просьбой принять в круг молодых акынов, растущих возле маститого агатая. И теперь Дармен жил то в ауле жатаков, то рядом с Абаем.

Базаралы сказал:

– Даже, к вашему младшему брату Абай-ага относится с добрым вниманием. Я слышал сам, что он возлагает большие надежды на него, чего не сказал ни о своих сыновьях, ни о младших братьях. Конечно, это говорит хорошо и о самом Абае – он



печется больше о народной славе, чем о своей или славе своей семьи. При мне он наказывал Дармену: «Сотвори что-то значительное, покажи высокое искусство».

Далее в разговоре Базаралы рассказал о своих встречах в Семипалатинске с компанией баев и биев – Жиренше, Оразбаем, Кунту и другими.

– Немало дней они возились со мной, привечали и обхаживали. У них были, как я понял, насчет меня такие соображения: «Это же Базаралы, которого били головой и о подножные камни, и о горные скалы. После того что он испытал, ему ничего не страшно, способен сделать что хочешь. Так пусть бьется на нашей стороне – настроим его против Кунанбаевых, которые срубили род Каумена под корень. Мол, объясним ему: ты за-таил месть на Кунанбаевых, и мы точим зубы на них. Не упусти случая – отомсти им, нанеси безжалостный удар!» Вот как они соображают, Даке. А теперь ты дай совет, как мне быть с ними, помоги разобраться в их премудростях.

Даркембай не стал уговаривать друга отойти в сторонку от коварных баев и биев. Но старый жатак сразу же твердо определил:

– Ни в коем случае не раскрывай им душу, пусть даже они сами проникнутся доверием к тебе. Потому что их доверие, их слово – ничего не стоят! Если в час испытаний аркан захлестнет твою шею, они отскочат в сторону и бросят тебя, как ни в чем не бывало. Эти баи и биис способны заботиться только о своей голове.

– Зачем же тогда мне слушать их? – усмехнулся Базаралы.

– Ты не их слушай, а слушай народ. Ты вернулся, а вокруг тебя нет верных, сильных рук поддержки. Но сейчас так вышло, что и у врагов твоих все зашаталось, власть ушла от них – самое время нанести по ним крепкий удар! Но каким образом? Этого ты этим баям и биям ни в коем случае не раскрывай, а посоветуйся с близкими людьми, такими же обездоленными, как и ты сам.



– Даке, сколько бед, унижительных пинков испытали мы от кунанбаевских волчат! Уже давно нет на свете Кунанбая, но его сыновья продолжают раздавать народу эти пинки! Ведь семь аулов жатаков обездолил Азимбай!

– И не говори! А его отец Такежан, – да весь Чингизский край, из одного конца в другой, вопит и стонет от насилий, творимых Такежаном! В ужасе люди натягивают ворота на головы, прячутся от его глаз, плачут горькими слезами и скрежещут зубами от ярости. Конечно, кто-то должен заступиться за народ, однако это будут не названные тобой баи и би.

Слова Даркембая были обращены к человеку, который в любом случае был готов защищать семь обиженных Азимбаем бедных аулов. Базаралы усмехнулся и сдержанно произнес:

– Твои советы вполне уместны. Но я думаю вот о чем. Сейчас у тех, кто хочет сидеть на шее у народа, между собой идет грызня за власть. Самое время, я думаю, натравливать их друг на друга. Подожди, Даке, мы еще им покажем! Я сумею поднять между ними такую обвальную ссору, что мало не покажется! Кое-что, Даке, пришло мне в голову прямо сейчас... Ладно, мне бояться нечего – я видел что-то и пострашнее их угроз.

Он поднял с дастархана кусочек сухого сыра-иримшик.

– Вот, держа в руке эту пищу, клянусь тебе: устрою им такую бучу, какой они еще не знали, не видывали! – сказал он и закинул в рот катышек сыра.

2

Урочище Кашама, большой аул Такежана. Осенний холодный день, низкое серое небо. Земли большого племени Тобыкты разделяются на две неравновеликие стороны: весенние пастбища – джайлау и осенние – кузеу. И на обеих сторонах лучшие места, – словно почетный тор, – принадлежат роду Иргизбай, аулам Кунанбая. Их стада нагуливают вес на удобных горных джайлау и на самых отдаленных, травобильных кузеу.



Опередив другие аулы, предприимчивый Такежан перекочевал раньше и расположился выше остальных, на холме, в приличном отдалении от соседних аулов. На осенний откорм он пригнал скот именно сюда, на урочище Кашама, что отстоит недалеко от земель рода Уак. У подножия холма, за уединенным аулом Такежана, лежало небольшое синее озеро. Юрты аула стояли по-осеннему тесно, между юртами были поставлены дворовые ограды, плетенные из стеблей тростника-чия. Деловитый аул использовал все пространство между дворами для загонов скота на ночное время.

Очаг Такежана занимал большую серую юрту, в которой он жил осенью, и был ближе других расположен к озеру. Остальные семь-восемь встрепанных невзрачных юрт занимали скотники и чабаны.

Невзирая на осеннюю тоскливую хмарь и уныние, на все усиливающийся изо дня в день предзимний холод и октябрьские ветра, одинокий аул Такежана бодро противостоял безвременью природы и не думал покидать эти места, пока пастбища не полысеют от бестравия, объединенные и истоптанные скотиной. Но лошадей, верблюдов и больших отар овец уже не видно вблизи аула Такежана, они пасутся далеко, по длинным оврагам, заросшим травой и кустарником, по разноцветным, пестрым ложбинкам меж холмов, покрытым яркой осенней растительностью. Рядом со стойбищем вся трава уже съедена, не шевелится никакой живности, и даже собак не видно, которые убежали в степь мышковать, не находя возле юрт никаких объедков и костей.

В этот мрачноватый аул, с виду безжизненный, приехало трое верховых. Это были Абай, Ербол и Дармен. Их заставило сесть на коней и отправиться в осенний путь не очень-то приятное дело. Слезая с коня, Абай не мог скрыть на лице утомленности после долгой, тяжелой дороги.

В юрте были Такежан и его жена Каражан. Сидел здесь и Азимбай, чернобородый, с круглым румяным лицом. Прибыв-



шие сдержанно отдали салемам хояевам. Расспрашивая у младшего брата о здоровье близких, Такежан настороженно бегал глазками по лицу Абая, стараясь угадать, что за причина привела его сюда. И беспокойно расспрашивал: «не случилось ли чего», «все ли спокойно у вас», «не затеяли соседи каких-либо раздоров». Каражан и Азимбай сидели молча, с отчужденными лицами, лишь порой кто-нибудь из них отдавал прислуге распоряжение: подать кумыс, поставить чай, приготовить мясо.

Хозяева редко видели Абая в своем ауле. Они считали, что в каждый свой приезд он приносит в их дом одни лишь неприятности. Также бытовала затаенная глухая обида: мол, он не жалуется этот очаг, косо смотрит на его хозяев.

И Такежан, и его жена были тепло, богато одеты, юрта вся увешана толстыми коврами, хорошо протоплена, – посреди нее в очаге пылал кизячный огонь. Чувствуя неприязнь хозяйки, которая распорядилась на обед варить мясо из старых запасов, а не послала за скотиной для свежего забоя, Абай решил не затягивать свой визит и сразу приступить к делам.

Дел было два. Первое – по поводу кражи скота в округе Семейтау, в местечке Бура. Две недели назад оттуда увели табун холостых кобылиц вместе с жеребцом, и в угоне подозревали известного на весь край конокрада Серикбая. Люди из Буры знали, что вор находится под покровительством Такежана, является его «соседом», поэтому и просили Абая замолвить словечко перед Такежаном, чтобы он принудил Серикбая вернуть украденных лошадей.

По первому поводу Абай недвусмысленно намекнул, что, хотя и ничего не доказано, но людское мнение складывается однозначно: матерый вор угнал лошадей, степное имущество, нажитое тяжким трудом, а мырза Такежан прикрывает вора и прячет украденную скотину.

Приди к нему с такими обвинениями кто-то другой, любой из казахов, то, будь он какой угодно велеречивый краснобай и дипломат, – Такежан вскочил бы на ноги и вышвырнул его вон



из юрты. Но сейчас, перед уважаемым по всей Арке младшим братом, Такежан ничем себя не выдал, сдержался и промолчал, сидя с хмурым лицом на торе. Просидев таким образом довольно долго, словно тщательно обдумывая ответные слова, Такежан наконец молвил, придав голосу всю возможную язвительность:

– Апырай! Кому в степи не известно, что все тобыктинцы – воры? Значит, главным воровским очагом должен быть дом главного в роду – Кунанбая! А главным вором в роду должен быть старший сын покойного Кунанбая – Такежан, конечно! И случись где пропажа, надо пытаться и выкручивать руки Такежану! А ты, брат Абай, совесть нашего рода, стало быть, тебя послали, чтобы ты пристыдил меня! Так начинай! – И Такежан разрился злобным смехом.

Сурово посмотрел на него Абай.

– Такежан, знай же, – моя совесть не отделена от твоей, и даже пес аульный не поверит, что я останусь в стороне, как ни в чем не бывало, если что-нибудь преступное натворишь ты. Уай! Отбрось, наконец, мелкую мыслишку, что, пристыдив тебя, уличив в подлости, я получаю большое удовольствие и распухаю от радости, как на дрожжах! – Сказав это, Абай окинул холодным взглядом сидящих перед ним с каменными лицами Азимбая и Каражан.

Азимбай, с вывернутыми мясистыми губами, брыластыми щеками, стругал складным ножиком белую палочку. Нагло и вызывающе заглянув в глаза Абаю, племянник усмехнулся и, ничего не сказав, снова занялся палочкой. И тут опять вскинулся Такежан:

– Абай, не будем друг друга таскать за бороды, уличать да совестить. Давай говорить начистоту: ты ведь указываешь воров Серикбая? А при чем тут я? Да эту собаку паршивую не видать в ауле, если не ошибаюсь, уже с полгода! У нас здесь ты никого не найдешь, кто мог бы сказать, где его сейчас носит! Так излови его сам и хоть поджарь на огне! Я бы тебе только спасибо сказал!



Абай видел, что его слова не возымели действия на Такежана, и первое дело, с чем он приехал к нему, без свидетелей и без доказательств, было явно проиграно. Абай решил вопрос этот больше не поднимать и оставить на потом поиски пропавших из аула Бура лошадей. Однако дал понять Такежану, что вернется к этому вопросу, если выяснится, что тот все же причастен к этому угону и укрывательству лошадей...

После этого был подан кумыс. Потом чай. И за чаем Абай приступил ко второму делу, – по поводу раздора на осенних лугах Шуйгинсу между жигитеками и Такежаном.

Абай в спокойных выражениях довел до Такежана, каково отношение народа к тому, что он позволяет себе делать. Выслушав Абая, его старший брат усомнился, насмешливо поглядывая на него:

– Ты имеешь в виду жигитеков – мнение их аулов. А не натравливает ли всех Базаралы, вот что ты мне скажи. Ведь ему и кусок в горло не полезет, пока не накличет беду на нашу голову.

– Ну и что, если даже и Базаралы? Он же их близкий родственник, земля – общая собственность, почему бы ему не постоять за свое достояние? Никакого натравливания здесь не вижу.

– Ну ладно, пускай на их земле я взял сено. Но я же не все забираю! Сеном же и возьму их!

– И сколько же сена ты отдашь? Все давно уже знают про твои уловки: забираешь силой, отдаешь из милости, сколько сам считаешь нужным. Словно кость кидаешь в голодную пасть.

– Ей, Абай! Почему бы тебе не предоставить эти слова произнести самому Базаралы? Зачем ты взялся избочить меня вместо него, брат? Говорят, он после каторги уже меры не знает! Грозится, страшает: «вот как встретимся, так и узнают, что приготовил я им». Слухи такие доходят до нас.

– По-твоему, если придавленная к земле голова приподнимется, то ее надо срубить, не так ли? Базаралы посетует о сво-



их бедах, – значит, он виноват? Ты, творящий насилие, сам же и обличаешь его, Такежан!

– Славно! Вот и дождался Базаралы своего защитника! Но ты потом не говори, Абай, что я не предупредил тебя. Разные ходят о нем слухи... Смотри, как бы потом не пришлось отвечать за него!

– Эй, сын Кунанбая! Я ведь тоже его сын, поэтому знаю, что говорю! Разве ты мало принес несчастий и наделал зла Базаралы? Не поэтому ли так боишься его?

– Нашел кого пожалеть! Он что, расплакался перед тобой? Тайири! Ты, вижу, не испытал еще на себе когтей и клыков этого зверя, хотя ты тоже сын Кунанбая! Но погоди, еще испытаешь!

– Во всяком случае, я не встречал казахов, которые бы пострадали от притеснений Базаралы! А вот ты уже немало народу потаскал на аркане, преследовал, гнал, избивал. Немало поиздевался над людьми! А сам кривляешься, словно бахсы, и приплясываешь, и напеваешь: «Меня обидел Базаралы! Меня унизил Базаралы!»

Скоропалительно обменявшись недружелюбными словами, братья разом умолкли. В доме наступила угрюмая тишина.

Сидевший вполоборота к старшим Азимбай оглянулся на Абая, и в его взгляде горела самая откровенная злоба. Нетерпимо, ехидно заговорил Азимбай:

– Оказывается, самые пакостные дела Базаралы, позорящие весь род Тобыкты, о которых знают люди всего края, остались неизвестными только для одного человека, и этот человек – наш уважаемый Абай-ага. Вот мы любим повторять: «Доброе дело, благодеяние»... Да пусть оно пропадет пропадом – всякое доброе дело, если под таковым прячется самое настоящее бесчестье и зло! Этот Базаралы и обесчестил нас...

Азимбай заматерел и стал человеком со звериной хваткой и разнузданным нравом. Абаю не раз говорили: «О, с ним не сравняться даже самому Такежану!», «Азимбай выматерил почтенного аксакала!», «Азимбай прилюдно избил уважаемого карасакала!». Но дети Кунанбая ничего не говорили ему в



осуждение, – кроме слов, недавно сказанных Абаем, никаких нареканий ему не было со стороны родичей. В семье Кунанбая тщательно умалчивалось все недостойное и порочащее ее...

Словно никогда не оттаивающая вечная мерзлота, постыдные для рода отношения Нурганым и Базаралы, на что намекал бесчестный сын Такежана, всегда были глубоко скрыты, и на обсуждение не выносилось. Но Азимбай на этот раз готов был произнести все позорные и позорящие слова... Однако Абай не дал ему этого сделать.

Резким движением выпрямившись на подушке, на которой он возлежал, опираясь локтем, Абай грозно выкрикнул:

– Азимбай, придержи свой поганый язык! Ты что, хочешь пойти на подлость, на которую не осмеливался и твой отец? Смеешь ругать благодеяние, – а что ты знаешь о нем? Пусть не исчезнет благодеяние, пусть пропадет тот, кто не понимает и не принимает его! В этой жизни глаза твои открылись только на пакость, алчность, на корыстолюбие. Твой язык горазд на самую грязную матерщину и грубую ругань. Смеешь говорить о благодеянии... Ты когда-нибудь совершал благое дело?! Ты когда-нибудь соприкасался с благодеянием?! Где оно здесь, в этом доме, – может быть, завернутым лежит вон в том тюке? Благодеяние связано с жалостью, справедливостью, человеколюбием... Что ты слышал об этом, находясь под этим шаныраком?! Нет, пусть не исчезнет благодеяние, покуда полно подлых тебе невежд, у которых что Аллах, что злые намерения – все едино.

Азимбай все это выслушал, не дрогнув в лице, не вымолвив ни слова, – лишь презрительно скосив глаза в сторону дяди. И когда тот умолк, Азимбай фыркнул громко, вскочил на ноги и вышел из юрты. Над словами дяди, старшего по возрасту, он ни на мгновение не задумался, полный гнева и злобы в душе.

Такежан не стал осуждать поведение сына. Как ни в чем не бывало, он коротко ответил Абаю о своем решении по вопросу с жигитеками:



– Сенокос в эту осень я закончил вовремя. Не буду, пожалуй, отдавать жигитекам скошенное сено. О возмещении долга будем разговаривать в следующем году. А нынешнее сено я не отдам. Ну а если жигитеки осмелятся перевезти его из стогов в свои дворы, то я на обратной кочевке с осенних пастбищ размещусь со всеми своими стадами вокруг их десяти зимников и не уйду до тех пор, пока не скормлю своему скоту все свое сено. Так и передай им!

Не дождавшись от брата других слов, Абай сидел, погрузившись в молчание. Затем встал и вышел на воздух, чтобы освежиться от гнетущей духоты мрачного дома. Пока готовилось мясо, Абай решил пройтись по аулу.

Безрадостным предстал кочевой аул. Меж серыми и черными юртами сновала детвора, накрытая лохмотьями, сверкающая голым телом в прорехах изорванных штанов, многие без обуви, с потрескавшимися, измазанными в липкой осенней глине ногами. Обойдя байскую юрту, переговариваясь приглушенными голосами, дети собрались на ровном пустыре с солнечной стороны и затеяли какую-то игру.

С одной из черных юрт был снят нижний войлочный полог – узик, открыв глазам Абая внутренность бедного жилища. Там какая-то немолодая женщина, из байских работниц, грубыми руками, в ссадинах и струпьях, перебирала ветхий войлок снятого узика, латая его кусками более светлой, серой кошмы. Сквозь кереге – деревянный остов юрты – проглядывал нищенский беспорядок бедной и примитивной жизни кочевнической семьи. В глубине жилища, у холодного очага, сидела перед бадьей старуха в жутких лохмотьях, в мужской шапке-тымаке. Накрытая вывернутым мешком, старуха дубила кожу, руками мяла ее в закваске.

В одиночестве обходя осеннюю стоянку аула, Абай остановился возле этой юрты с поднятым узиком. Он огляделся вокруг, – и великая тоска охватила его сердце. «Может ли быть человеческое существование более тяжким и убогим, чем это? – подумалось ему. – И эти люди на пронизывающем степном



ветру, без прочной крыши над головой, укутанные в рубище, без тепла в своих жалких временных лачугах, – кто они? Откуда? Куда идут?»

Присмотревшись к той из двух женщин, которая латала черную от копоти, дырявую юрту, Абай увидел, что это еще вовсе не старая незнакомая ему женщина. Лицо ее было бескровным, серым, изможденным – видимо, от какой-то застарелой болезни. Когда Абай остановился и произнес салема, она быстро повернулась к нему, и лицо ее от смущения мгновенно вспыхнуло пятнами румянца на острых скулах. В ответ на приветствие лишь кивнув головой, келин обернулась к старухе, и та подняла глаза на подошедшего человека. Только тут Абай узнал старуху.

– Апырау! Твой ли это дом, матушка Ийс? – обрадованно воскликнул Абай. – Что-то он у тебя обветшал, вижу, поизносился!

Войдя в дверь, Абай увидел, что полы рваной накидки старухи широко растопырены по сторонам, из-под них, словно цыплята из-под крыльев курицы, высунулись головы двух малышей. Это они, чтобы согреться, прижимались к бабушке с двух сторон, подсунувшись под полы купи, пока она мяла кожи в кадке с закваской. Черные глазенки обоих малышей смотрели на внезапного гостя испуганно, диковато; нестриженные волосы отросли косицами, на худеньких лицах видны были следы недавних слез – еще не высохшие дорожки на замызганных щеках. Детишки, на вид пяти лет и трех, выглядели несчастными, голодными, встревоженными...

При виде их Абай даже не услышал ответных слов приветствия старухи Ийс. С замершим, похолодевшим сердцем он смотрел на голодных детей, присел перед ними, виновато сгорбившись. Между тем старуха Ийс начала рассказывать о себе.

– Уа, Абайжан, пусть то, что выпало на наши головы, да не падет даже на головы аульных собак! – сетовала она.

– Где твой сын? – спросил Абай. – Недавно мой Магаш рассказывал, как Иса вел себя достойно на сенокосе. Все сказали:



«Матушка Ийс воспитала доброго сына, смелого джигита, который сможет постоять за себя и других!»

– Ойбай, обернулась бедой для него же самого эта смелость! – запричитала старуха Ийс. – Азимбай крепко взялся за него, не оставляет в покое! Отправил его в чабаны, гоняет на самые дальние выпасы, а у малого нет даже сносной теплой одежды!

Абай погладил по головам малышей, спросил их имена. Они сами назвали их, каждый свое, – слабым полусшепотом, сиплыми простуженными детскими голосами. Старшего звали Асан, младшего – Усен.

Оказалось, что больная келин по слабости своей не может уходить в степь за топливом, и дома очаг был не тоplen, сварить еду было не на чем, а хозяин с отарой на далеком пастбище, откуда всегда возвращался в глубоких сумерках. Вот и приходилось старухе Ийс сидеть день-деньской и греть под боком у себя двух полуголых малышей.

– Как старая наседка с цыплятами под крыльями, – невесело пошутила она.

Рядом с юртой Такежана и Каражан стояла юрта молодых, Азимбая и его жены. К ней подвели верблюда, нагруженного тюками собранного кизяка. Из дома выбежала толстая Каражан и в крик стала повелевать скотнику с растрепанной бурой бородой, чтобы он сгрузил весь кизяк у отау и возле большого дома.

– Не смей раздавать топливо кому попало! Сейчас прибегут и станут клянчить: «на одну затопку дай», «на две затопки» – а сами не хотят собирать кизяк! Смотри, уже бегут! Прочь по домам! Эй ты, баба, зачем приперлась? И вы не подходите, щенята, держитесь подальше! – Так кричала грубым голосом Каражан, размахивая руками перед прибежавшими людьми: женой табунщика, стариком-чабаном, мальчишками и девочками в рваной одежде.

Байбише разрешила взять немного кизяку лишь жене скотника, который привез на верблюде топливо, – рябой, нерешительной на вид старухе, которая подошла позже всех. Каражан



выделила ей полмешка кизяку: «Хватит тебе и этого!» После решительной походкой направилась к себе в юрту, однако была остановлена Абаем. Он попросил женге выделить для него один тюк кизяка – и немедленно отвезти его к старухе Ийс. Разъяренной Каражан ничего не оставалось делать, как подчиниться деверю. Скотник на том же верблюде повез кизяк к дому Исы.

Когда Каражан и Абай вместе возвращались в большую юрту, он подшутил над своей женге:

– Е-е! Какая щедрая у нас Каражан! Полмешка кизяку не пожалела отдать работнику! А для меня – целый мешок! Пусть глаза мои лопнут, если где еще видел такую щедрую байбише!

Поначалу казалось, что Каражан чуть смущена, посмотрела на Абая с принужденной улыбкой, и попробовала сама отшутиться:

– Эй, деверь! Лютый враг не смог бы меня так ограбить, как ты! Выходит, ты ловко меня подловил, деверек! – сказав это, она открыла перед ним дверь своей юрты, пропуская вперед.

Прогулка по аулу, встреча со старой Ийс, шутливая перепалка с Каражан, которая не посмела не оказать ему уважения, поправили тяжелое утреннее настроение Абая. С задумчивым видом он прошел на тор, где ждали его Ербол и Дармен, сел рядом с ними. Вдруг попросил у Дармена бумагу и карандаш. Словно сполохи зарева прошлись – и его сознание отделилось от всей окружающей действительности, отправилось в невидимый полет...

Но в эту минуту раздались за дверью оживленные детские голоса, полог над порогом приподнялся – и в теплую юрту, с жарко пылающим очагом, заглянули любопытствующие лица бедно одетых аульных ребятишек. Среди них оказался внук Такежана, маленький увалень Шопиш, – бабушка велела ему зайти, а на остальных свирепо зыкнула: «Прочь!» – и те моментально исчезли за упавшим кошмянным пологом.

Внучок Шопиш, старший сын Азимбая, смело прошел к очагу и уселся там. Он вернулся домой, зная, что к обеду варится



мясо, и Каражан тотчас же выложила перед ним на деревянном блюде большую дымящуюся паром баранью кость. Вложила в его руку маленький ножик и, любовно пригнувшись к внуку, стала шепотом говорить ему на ушко:

– Кушай дома, а то выйдешь во двор, – так и налетят эти голдранцы, все выманят у тебя, кусок изо рта вырвут! Так что не смей выходить на улицу, кушай здесь!

Малышу хотелось уйти, за дверью ждали друзья, хорошо было бы их угостить, но, не смея выйти к ним, Шопиш уныло сидел над куском мяса, не притрагиваясь к нему. Однако ему не было суждено ускользнуть от внимательного ока бабушкиного, пойти против ее свирепой воли... Абай сочувственно посмотрел на малыша, скользнул взглядом по мрачной загроможденной осенней юрте, по лицам ее хозяев... Затем опустил глаза на бумагу и стал писать.

Ербол и Дармен, возлежавшие на подушках, опираясь на них локтями, смотрели на Абая, присевшего ближе к огню очага, и тихонько повели разговор. Начал Ербол:

– Друг мой, ты не думаешь, что наш Абай взялся за новые стихи? – сказал он. – Мне кажется, что он хочет кое-кого хорошенько поддеть... А как ты считаешь, айналайын?

Дармен как раз в эту минуту думал о Базаралы, о его печальных признаниях Абаю на последней встрече, потому и ответил Ерболу:

– Я тоже так думаю. Абай-ага хочет написать о словах Базаралы про Такежана и Азимбая!

Ербол не согласился, переводя все на шутку:

– Нет, а я полагаю, что он хочет наколоть на острие своей насмешки скупость Каражан, которая вместо того, чтобы зарезать для нас молодого барашка, варит мясо старой овцы из давнего запаса. И если это так, то я желаю ему удачи, чтобы он «высказал это сильным, праведным словом»! Ведь я смотрю на этот казан, где варится тощее мясо, и заранее изнываю от голода, даже не попробовав его!



Дармен поддержал его шутку:

– Оу, Ереке! Сколько бы ни урчало в вашем желудке, но мне не хотелось бы, чтобы Абай-ага потратил драгоценное вдохновение на казан скупой женге! Нет уж! Лучше мы с вами отплатим в своих стихах жадному баю и его жене за скупердяйство!

Как раз в эту минуту Абай закончил писать и, обернувшись, окликнул друзей:

– Ербол, Дармен! Подите сюда! – затем повернулся в другую сторону: – Оу, Такежан, Каражан, и вы послушайте!

Октябрь – ноябрь, осенняя пора...

Подуют скоро зимние ветра.

«В кочевье поспешишь – траву потравишь», –

И медлит бай, а в путь давно пора,

Далее с большой точностью и с подробностями в стихотворении были переданы картины безрадостной поры осени на кузеу, мучительной и тоскливой для кочевников. Были упомянуты полмешка черного кизяку, которые достались байскому работнику, собравшему и доставившему на байский двор целую верблюжью поклажу топлива. Не были забыты озябшие, в лохмотьях, голодные ребятишки, что пришли вместе с байским внуком к его юрте и были грубо прогнаны байбише, а внук не смог есть мясо, которое велели ему съесть дома...

Ждут подаянья дети бедняков.

Но байский негостеприимен кров –

Толпятся на пригреве, не отходят

От юрты дальше нескольких шагов.

А мать своим любит сына.

Пускай, как ты, он будет жадным псом,

Балуй его! Он плохо ест при виде

Детей, объедков ищущих кругом.



Когда Абай дочитал это стихотворение, Такежан и Каражан одновременно, будто сговорившись, с двух сторон набросились на него.

– Ты что, приехал обличать нас? – рявкнул Такежан.

– Охаиваешь нас, в нашем же доме! Позоришь перед людьми, обозвал собаками нашего маленького сына, и своего брата, и женге! – раскричалась Каражан.

Абай лишь тихонько посмеивался в ответ. Сложил и передал листок со стихотворением Дармену. Тот положил бумажку в карман. И тут, словно опомнившись, на него набросился Такежан, схватил его за руку:

– Ну-ка, дай сюда, тещу твою и отца...– Матерясь, он пытался забрать у Дармена листок со стихами. – Быстро спрятал в карман! Это кто позволил вам – принять еду в моем доме, а потом пинком швырнуть назад посуду? Давай сюда бумажку – в ключья порву, брошу в огонь!..

Абай и Ербол, стараясь все свести к дружеской шутке меж близкими, стали удерживать, тянуть за полу Такежана, со смехом оттаскивая его от Дармена, который вовсе и не собирался расставаться с рукописью Абая. Тут уж Такежан всерьез расвирепел и, не принимая шуток, покрылся серою бледностью и закричал на Абая:

– Порви стихи! Сейчас же уничтожь их, иначе ты отсюда подобру-поздорову не уйдешь!

Абай же его ярости не принимал и продолжал отшучиваться:

– Эй, батыр, я ведь не тебя затронул! Подумаешь, собакой назвал твою байбише! Разве она священная Кааба, что нельзя посмеяться над нею, не представ вероотступником? А ты разве ангел смерти Азраил для моих стихов, Такежан?

Однако, несмотря на усилия Абая шутками сгладить гнев супругов, Каражан в голос расплакалась.

– Устами родственника ты, деверь, сказал обо мне слова, каких даже заклятые враги не произносили! Абай, ты не убе-



дишь меня, что не хотел сказать нам: «Вы все, вся ваша семья – мои настоящие враги!» Стихов твоих я никогда не прощу тебе! Какой стыд! Если ты мне деверь, – то сейчас же порви бумагу! Прямо сейчас, у меня на глазах порви! – кричала Каражан, заходясь от злости.

Понимая, что ссора между братьями из-за обличающих стихов может перерасти в драку, Ербол решил вмешаться – со своей обычной дипломатией. Он забрал лист со стихами у Дармена, внимательно перечитал их, мгновенно заучил и предложил миролюбиво:

– Такежан, дорогой, зачем уничтожать стихи? Так не делается, это грех. А сделаем мы вот что: вымараем из них те строчки, которые задевают Каражан! Вот, смотрите, я это делаю! – И Ербол, взяв у Абая карандаш, положил на столик листок и добросовестно зачеркнул несколько строчек, которые успел хорошо запомнить.

3

Аул Такежана для сбережения зимних кормов старался как можно дольше продержаться на осенних пастбищах и не спеша двигался в сторону своего зимника на Мусакуле. Тяжба на осеннем сенокосе в урочище Шуйгинсу перешла в открытую жесткую распрю между мырзой Такежаном и семью бедняцкими аулами.

Не уговорив старшего брата переменить решение, Абай отправил жигитекам салем со словами: «Не смог убедить его. То, что делает Такежан, это произвол. Больше не в силах договариваться с ним по-хорошему. Он не слушает меня. Теперь воля ваша, отвечайте на его произвол всеми своими силами. Сумейте постоять за свое добро, братья!» Получив это послание, жигитеки развезли по своим зимним аулам сено, скошенное на их угодьях Такежаном и доселе стоявшее в стогах.



Услышав об этом уже на подходе к зимнику на Мусакуле, Такежан в ту же ночь послал гонцов к дядьям Майбасару, Изгутты и к брату Исхаку. Кунанбаевцы собрались вместе и на совете решили дать достойный отпор жигитекам. Уж если жигитеки решились исполнить свою угрозу, то пусть и претерпят то, что им уготовано, – о чем было им нешуточное предупреждение.

Уже по всему краю аулы перебрались на свои зимние стоянки, и только большой аул Такежана медленно приближался по Мусакульской долине к зимовью. Но, не дойдя до него всего один дневной переход, огромный караван приостановился, разгрузил вьюки и начал устанавливать юрты как раз вблизи бедняцких аулов в урочищах Азберген и Шуйгинсу. По пустынным и просторным выгонам, на прилежащие к аулам лощины с зарослями чия, курая и таволги, столь необходимыми жигитекам для зимнего топлива, – разбрелись огромные стада верблюдов, лошадей, коров и отары бесчисленных овец.

Возглавляли кочевье Такежан, Азимбай, Майбасар. Вокруг них ехало около десятка верховых – байских нукеров. Выбравшись на вершину пологого холма, они остановили коней и стали оглядывать окрестности. Под ногами их добрых скакунов, под крутым склоном, виднелись ветхие кровли убогих зимников, в которых безвыездно, не выбираясь на джайлау, ютились оседлые жатаки, у которых совсем мало было скота и лошадей, чтобы кочевать. Пришлая орда со своими табунами коней и стадами коров вломилась в пределы их невзрачных владений. Ломая и снося ветхие ограды из жердей и палок, скотина добиралась до сложенного в стога сена и жадно поедала его.

Помнившие о подобной угрозе, но не ожидавшие, что это и на самом деле может произойти, бедняцкие аулы растерялись, всполошились. Несколько жатаков, у кого были лошади, вскочили на своих тощих кляч и поскакали в соседние аулы – жаловаться друг другу, совещаться. И вскоре человек десять верховых, собравшихся из аулов жатаков, поскакали на своих плохоньких лошадках к начавшемуся разворачиваться стану Та-



кежана. Там уже развязали вьюки и ставили по кругу решетки-кереге для юрт.

Возглавлял жатаков Базаралы на своем темно-сером в белых яблоках рослом скакуне, подаренном Абаем. Пока юрты еще не были поставлены, баи и их нукеры разъезжали на конях по всему стану. Увидев подъезжавших жигитеков, джигиты-иргизбаи мигом собрались вокруг своих баев и двинулись им навстречу.

Базаралы, выглядевший батыром на рослом сером коне, подъехал первым и остановился перед Такежаном, Майбасаром, Азимбаем. Базаралы не стал набрасываться с угрозами, с бранью, начал говорить спокойно, сдержанно, не давая воли своему гневу. Но в низком голосе его и в произносимых словах ощущались мужественная сила и мощь духа.

– Что ты, мырза Такежан, – неужели опять решил напугать робких жигитеков, заставить их пригнуть головы, запустив камень над ними? Тебе не терпится напомнить Жигитеку, как суров к нему Всевышний? Или тебе просто захотелось повеселиться, раскидывая их лачуги, травя их сено, растапывая их пастбища и разоряя жалкие очаги? Что ты себе позволяешь, мырза? – Так спокойно спрашивал Базаралы.

Такежан, уложив кнутовище камчи поперек седла, двумя руками сжимая его концы, выпрямив ноги в стременах, с надменным и наглым видом ответил:

– Сын Каумена! Я что, занял твое родовое зимовье? Разве твой аул здесь, а не на Чингизе? Разве на эту землю ты состригал щетину со своей бороды? Тебе-то что за дело?

– Хочешь сказать, что они твои родичи, что ты можешь делать с ними что хочешь, а мое дело – сторона? Мол, не вмешивайся, если даже всех их запалю и сожгу, – так, что ли? А теперь ты меня послушай: я такой же родич и тебе, и им! Разве не могу я слово сказать за них?

– Е, родственничек! Не прыгай на копьё, коли тебя не трогают! Стой в сторонке да помалкивай, пока за тебя тоже не взялись!



– Хочешь сказать – «не пикни, не взбрыкни, если даже разорву и съем их всех на твоих глазах»? Так, что ли?

– У меня нет охоты отвечать на твои вопросы, родич мой, не буду тягаться в красноречии с самим Базаралы. Просто тебе советую – держись от меня подальше, для тебя же лучше будет!

– Мырза Такежан! Что за страшные слова! Мне страшно, но я все же хочу спросить: а кто же будет отвечать за твои беззакония, насилие и разбой, родственничек?

– Слушать тебя не хочу!

– А передо мной ответ держать будешь?

– Никакого ответа тебе!


– На самом деле не будешь держать ответ, братец Такежан?

– Сказано, не буду!

– Ну и довольно! Три раза я задавал вопрос, трижды ты ответил. Считай, что мы уже дошли до самого края. Теперь за все, что произойдет дальше, тебе держать ответ, Такежан! За все беды, несчастья расплачиваться будешь сам! Ты упомянул моего отца, – так знай же, я и на самом деле его достойный сын, и я смогу до самого дна взмутить твой и так грязный омуток, мало тебе не покажется! Не суждено родиться дважды, также и не умирают дважды. Если ты мужчина, джигит, то никуда не убегай отсюда, жди того, что тебя теперь ожидает! – Так говорил Базаралы, и при последних словах глаза его вспыхнули яростью, в них появилась мрачная угроза.

Он завернул своего аргамака и поскакал прочь, за ним еле попевали жигитеки на своих мелких лошаденках.

Аул Такежана пропустил мимо ушей угрозы Базаралы. Выпал снег, и на побелевшей земле, обложив нижние края юрт завалинкой из дерна, поставили временные кочевые жилища из серого войлока. Велено было кочевникам ставить низкие ограды-ыктырма, на случай необходимости защиты овец от бурана. Всей скотине по-прежнему была дана воля травить подножный корм вокруг аулов жигитеков и зорить сено из поставленных ими стогов. К тому же еще – чтобы отапливать свои



временные юрты и лачуги, пришлые начали таскать по ночам с дворов местных жителей кизяк и заготовленные на зиму дрова. Азимбай и Каражан снаряжали на ночное воровство своих самых лихих джигитов, давая им для дела верблюдов. И в байских юртах днем и ночью полыхал жаркий огонь.

Новые беды заставили жалких бедняков поднять вопль горя, – так напуганные горные индейки, улары, могут только всполошенно кричать от страха. И этот крик задавленных жатаков облетел все пределы Причингизья, разошлась весть о новом произволе Такежана: «За горло схватил несчастных, заставил вопить обездоленных».

До многочисленных, воинственных жигитеков на Чингизе дошла эта весть. В эти дни вдруг внезапно исчез куда-то Базаралы. Вместе с ним исчезли около десятка джигитов из разоренных аулов Шуйгинсу и Азберген.

Перед исчезновением своим Базаралы по ночам вызывал к себе от дальних жигитеков по четыре-пять джигитов из бедных аулов, давал им одно и то же поручение:

– Если найдете в своем ауле хоть каких-нибудь куцехвостых кляч, на которых можно накинуть седло, то садитесь на них и отправляйтесь к жатакам на Миялы и Байгабыл. Оттуда и выступим в поход. Годы мечтал я об этом. Это будет поход бедных, поход мести! Не надо спрашивать, чем он может кончиться. Когда я вырвался из когтей смерти и пришел к вам, вы мне сказали: «Пойдем за тобой, ухватив тебя за полы чапана! Умрем рядом с тобой!» Я не забыл эти ваши слова! Теперь наступила пора действовать. И не говорите, что конь под вами никудышный! Добудем для каждого лошадь! Не говорите, что нет в ваших руках оружия! Нам жатаки вручат по боевому соилу! Но только не выболтайте раньше времени тайну, берегитесь, чтобы она не стала доступной для ушей дрожащих от страха баев из аулов Бейсенби, Абдильды, Уркимбая, Жабая! И не отправляйтесь на место сбора всем скопом – протекайте туда малыми ручейками,



по два-три человека. Вас встречать будем на месте я и Абылгазы.

О том, как действовать дальше, Базаралы никому не сказал. Отдав тайные распоряжения, он вместе с Абылгазы, могучим джигитом, воином и охотником, исчез из Шуйгинсу.

Между тем джигиты, следуя указаниям Базаралы, малыми группами, по четыре-пять всадников, добирались до уединенных аулов в урочище Миялы и, рассредоточившись в них, ждали его указаний.

Базаралы же и Абылгазы отправились к Даркембаю и у него, в маленькой землянке с теплой печкой, провели несколько дней, дожидаясь полного сбора всех призванных джигитов. Выпала троим друзьям возможность поговорить обо всем, о чем хотелось. Кормила их старуха Даркембая постной похлебкой, сваренной на воде из дробленой пшеницы. И более вкусной, благодатной пищи они себе и не могли пожелать.

Говорил больше Базаралы: ему было что рассказать. И его рассказы подводили друзей к пониманию того, для каких действий и с какой целью он призвал сорок вооруженных джигитов из бедноты Жигитека. Речь не шла о наказании злодея Такежана, не упоминались вовсе дела тобыктинские – то, что слышали от Базаралы его друзья, было для них весьма необычно.

Базаралы рассказал об одном русском старике, с кем вместе отбывал каторгу. Седая борода до пояса, растущая, казалось, от самых глаз. Синие глаза, накрытые густыми косматыми бровями, изломленными, словно соколиные крылья. Базаралы говорил, что русский старик был выше него ростом на целую пядь, да и шире в плечах, грудь его была крутой и выпуклой, как перевернутое корыто, он, несмотря на то что двадцать лет уже отбыл на каторге, мог бы унести на себе по человеку на каждом плече. «Вот какого могучего батыра видеть мне пришлось», – уважительно говорил Базаралы, сам могучий батыр, смотревшийся среди обычных джигитов настоящим великаном. «Звали этого русского человека – Керала», – поведал рассказчик.



– Оказывается, в глубине необъятной России достаточно своих Кунанбаев и Такежанов – там они зовутся помещиками и дворянами. Но у них мужики, крестьяне – собственность, как скот у наших баев, и с этим человеческим имуществом русские баи и владельцы могут делать все, что им захочется. Они своих рабов, прислужников и розгами запарывают, а при желании могут продать, обменять, словно скотину. Керала рассказывал, как его барин Педот хотел купить у соседа-владельца его охотничью собаку, отличную борзую, резвее которой не было во всей округе. Но сосед, сам охотник, всегда соперничавший на поле с владельцем Педотом, ни за какие деньги продавать борзую не собирался. И тогда Педот, заметив, что сосед сладкими глазами смотрел на одну красивую служанку девятнадцати лет, Аксинью, сестренку Кералы, предложил ему обмен – собаку на свою рабыню. Сосед пошел на сделку, – тут же девушка была призвана в дом, и Педот оставил ее наедине с баем-помещиком. Керала подкрался к окну и заглянул в комнату: старый бай собирался обесчестить Аксинью, она закричала, и тогда Керала разбил одним ударом окно, кинул топор и поразил бая-помещика. После этого решил, что ему все равно пропадать, – и начал мстить, всей яростью своей многолетней ненависти. Есть такое выражение у русских – «пустить красного петуха». Это когда устраивают пожар, поджигая дом врага. Керала тут же пустил красного петуха на усадьбу Педота, а сам с беспамятной сестрой на плечах скрылся в лесной чащобе. С того дня он пошел пускать красного петуха по всей округе, начиная с усадьбы насильника своей сестры, и два месяца полыхали пожары в подворьях тех помещиков, которые были наиболее ненавистны их крепостным рабам. Кералу ловили всей карательной силой округи, однажды его в лесу окружили пятнадцать человек, но он с одним лишь железным шокпаромшестопером в руке бросился к ним навстречу, перебил всех до одного и скрылся. Каков Керала! И все же его изловили царские солдаты. Заковали в кандалы, представили на суд.



Хотели его повесить, однако почему-то смертную казнь сменили на пожизненную каторгу. Может быть, судьям хотелось, чтобы злодей не сразу умер, быстрой смертью заплатив за свои преступления, а промучился на каторге как можно дольше? Кто знает. Керале было двадцать пять лет, когда его судили, почти столько же он просидел в тюрьмах-зинданах и отбывал на каторге.

– Ой-бо-ой! Бедняга! Страшная участь! Это же какую силу, какое терпение надо иметь, чтобы все выдержать? – воскликнул своим густым, рыкающим голосом воитель и охотник Абыл-газы.

И Даркембай, постаревший батыр степных жатаков, восхищенно покачал головою:

– Как и есть бедняга! Видно, такова участь всякого бесстрашного джигита!

Базаралы:

– Был он джигитом в самом цветущем возрасте, когда начал мстить, – и вот уже скоро тридцать лет, как ходит в железных цепях на каторге. Был силен и смел, как сокол, был беден, молод и беспечен, – и все отдал за один удар, которым совершил праведную месть... Вот это судьба! – сказав это, он умолк и надолго призадумался.

– Каторжная жизнь разводит людей, много этапов он прошел, тюрем и острогов Керала повидал немало, – продолжал Базаралы. – Он был из старых каторжан, обладавших великим терпением, поэтому и протаскал на себе кандалы целых тридцать лет. А сейчас появилось много молодых кандальников из нового поколения, и это уже совсем другие люди... У них терпения такого уже нет, все они горячие бунтари, мне встречались многие зачинщики бунтов, и эти уже действовали не поодиночке, желая отомстить, не прятались по глухим лесам... – И опять Базаралы надолго умолк, уйдя в думы.

– «Тысяча и одна ночь» – это вам не тысяча и одна ночь каторжника Кералы, а легенды «Бахтажар» – это не страшные



рассказы о русских бунтах, которые мне пришлось слышать от русских каторжников. Среди них – немало своих Базаралы и Балагазов, натерпевшихся от своих собственных Такежанов... Одна боль терзала меня постоянно в мои горькие каторжные дни и ночи, одна мысль... Это была не печаль изгнанника, тоскующего по родным местам, нет. Я день и ночь мучился от постыдного сознания, что на каторгу-то был загнан одним пинком Кунанбая! «Утонул в мелкой луже, ничего путного не совершив. Был уничтожен врагом, не нанеся ни одного сокрушительного удара, который запомнился бы ему на всю жизнь, чтоб враг скулил бы, не переставая». Такие сожаления мучили меня, и это была моя постоянная боль. – Так завершил Базаралы свою длинную исповедь.

Старый Даркембай слушал его с большим волнением, глубоко сопереживая ему. Каждый рассказанный эпизод из чужой «тысячи и одной ночи» поднимал в его душе горячие вихри сочувствия и солидарности. Покачивая своей трясущейся белой головой, старик то вздыхал глубоко, то принимался смеяться. По окончании повествования Базаралы, Даркембай высказался неожиданную для всех:

– Я знаю, баурым, что ты не зря рассказываешь обо всем этом мне и Абылгазы. Ты учишь нас. Ты учишься сам, настраиваешь себя... На что? Об этом каждый из нас должен подумать наедине с собой....

Устремив на Базаралы и Абылгазы их-под седых ястребиных бровей свои пронзительные выцветшие глаза, постаревший ба-тыр говорил молодым:

– И сам должен сказать самому себе честные слова. Чего это мы раньше все горевали да сетовали, что обижают нас несправедливо, беды наваливают на наши головы сильные захребетники! Но какой толк с тех жалоб и сетований? Как хрипели в петле аркана, пойманные подлыми баями, так в петле и оставались всю жизнь. И я сегодня уяснил все для себя. Меня не годы состарили, – а эта проклятая скорбь жалобная! Но сегодня я



говорю себе: «Или валяйся себе в старой золе, Даркембай, или поднимись, отряхнись и выходи сражаться за благое дело! Хоть погибни, но взмахни разок мечом над головой!»

Базаралы и Абылгазы были довольны словами старика, посмеиваясь дружелюбно, они восхищенно смотрели на него.

– Даке, ты верно сказал: «Какой толк с тех жалоб и сетованных!»

– Аксакал! Это не просто слова, а удар соилом прямо по голове! – добродушно хохотнув, молвил Абылгазы. Помолчал и добавил: – Хватит нам жаловаться! Настала пора садиться в седло и выходить на дело. Базеке, вперед! И пусть нам сопутствует удача! Иншалла! – С этими словами он вскочил на ноги.

В своем краю охотник-беркутчи, следопыт и одинокий воин Абылгазы слыл человеком, чьи слова никогда не расходятся с делом. Правда, за ним ходила еще и слава, что он «сначала гнев пускает в ход, затем только – рассудок». И он понимал, что решительные действия, к которым призывал Базаралы, суждено начинать ему, Абылгазы. Поэтому он встал первым, шагнул к выходу.

Время было полночь. Все трое бодрыми шагами вышли наружу, направились к привязанным коням. Старик Даркембай вручил джигитам по черному шокпару, что были изготовлены им самим и припрятаны в тайном месте ограды.

– Если и вам не будет суждено помахать этими дубинками, то наши джигиты тогда, пожалуй, все поникнут и увянут вместе со мной, – сказал Даркембай. – Пусть всей тяжестью этих дубинок обрушится на головы врагов скопившаяся во мне обида ... Иншалла! Кош, кош!

Он долго стоял в темноте и смотрел вслед удалявшимся всадникам.

В это же ночное время из становья Байгабыл, где сосредоточилось многочисленное население рода Жигитек, то и дело одна за другой выносились галопом небольшие группы верховых. В степи они соединились, и вскоре дружина человек в со-



рок, вооруженных соилами и шокпарами, направилась в южную сторону. Пробираясь пустынными местами по бездорожью, они вышли к осенним пастбищам на Акеспе, принадлежавшим роду Бокенши.

Уже чуть развиднелось, наступало тусклое зимнее утро. Еще вчера начавшийся мелкий снежок ночью вдруг повалил крупными хлопьями, и в степи по низинам уже намело немало сугробов. На открытых продуваемых равнинах снегу было по самые лошадиные щетки. Снег продолжал идти, заматывая следы. В тишине утра четко звучал командный голос воителя Абылгазы.

– Нас всех – сорок пять человек. Пятеро – жатаки из их аулов. Вы слушайте меня. Держитесь отдельно. Не следуйте за нами до Чингиза после того, как дело сделается. Берите то, что попадет к вам в руки и быстро возвращайтесь в свои аулы. Постарайтесь, чтобы каждому жатакскому очагу что-нибудь досталось. Сделайте все потихоньку, потом затаитесь и ждите, следите за новостями.

Остальные сорок джигитов должны были направиться в сторону едва завидневшихся предгорий Шолпан. Абылгазы разделил отряд на две неравные группы.

– Вы, пятнадцать человек, не будете вступать в схватку, – была дана команда. – Ваше дело – угнать коней. Будете гнать их через Ойкудык, минуете Ералы, Аркалык и двигайтесь к предгорьям Малой Орды. По сторонам не смотреть, назад не оглядываться! Гоните и гоните скот во весь дух! А мы, остальные, подоспеем следом. Все поняли? – низким, рыкающим голосом спросил Абылгазы.

– Уа, поняли!

– Иншалла! Пусть нам будет удача!

– Скорее, вперед! – раздались нетерпеливые голоса.

Абылгазы рассмеялся.

– Е! Что я слышу? Да вы сегодня как дикие звери, повалывшиеся на первом снежку! – прогудел он, довольный своими джигитами.



После этого он собрал вокруг себя двадцать пять боевиков. Кони под ними были хорошие, да и сами молодцы были все как на подбор, рослые, молодые и сильные. Дубовые палицы-соилы, свисавшие с их запястий, стукались о стремяна и гулко, воинственно погромыхивали. Абылгазы наставлял свою боевую дружину:

– Когда вступите в схватку, последите, чтобы никого не увели в плен. Лучше умереть, чем стать пленником. Если случится так, что кого-нибудь сшибут с коня, то подхватывайте его и уносите с поля боя. Это самое первое! Также не давайте никому из противников сбежать – ни раненому, ни трусу. Бейте каждого дубиной по голове, сшибайте с седла, и сразу хватайте за узду его коня. Это второе. Не оставляйте сбитым врагам ни одного коня, чтобы никто из них не мог ускакать к своим с известием о нападении. Это третье. Нападать будем скопом, в едином кулаке, все время помните – держаться вместе... держаться вместе! Если от врага выдвинется сильный боец, сразу расступитесь перед ним, впустите внутрь ватаги, потом налетайте и бейте со всех сторон. Не наносите удары куда попало, а бейте точно по затылку, по височной кости. Сражайтесь так, чтобы противник сразу захаркал кровью и не смог опомниться. И еще запомните: те, под которыми плохие кони, сразу пересаживайтесь на хороших коней, которых захватим. Увидите – там будут и жеребцы, и яловые кобылы, выбирайте самых крепких. Потому как нам теперь, джигиты, предстоит много скакать по степи и горам. Дорога для нас известная и противник давнишний.

Первой группе он дополнительно напомнил:

– Если бой для нас будет не очень тяжелым, и мы победим чисто, и никто из врагов наших не уйдет за подмогою к своим, то не гоните лошадей безудержно и безжалостно. В табуне будут и молодые стригунки, и жеребые кобылы. При быстрой гонке скотину может прошибить кровавый понос, от такого скота толку будет мало.



Абылгазы, сказав своим джигитам все, что хотел, направил коня крупной рысью в сторону предгорий Шолпан. Рядом скакал Базаралы. Отряд двинулся за ними.

До сих пор в продолжении всей вылазки Базаралы не давал указаний, не командовал. Достаточным было и то, что он молча двигался во главе отряда, уверенный в себе, огромный, могучий. Каждый из сорока джигитов знал, что Базаралы душой и телом готов отвечать за этот поднятый им поход бедняков-жигитеков. С каждым из них Базаралы встречался по отдельности и настаивал к борьбе, пробуждая в нем отвагу и честолюбие. И теперь цель их похода была близка. Быстрой рысью, равномерным ходом пересекли степь пониже зимовья с названием Колодец Жокена, перевалили две-три гряды предгорий Шолпан и приостановились у подножия последней гряды. Подождав отставших, отряд единым порывом вскачь взлетел на вершину. Прямо под горой, на широкой плоской равнине, покрытой снегом, на подножном корму паслось несколько сотен лошадей, растянувшись длинными косяками в направлении горных хребтов Шолпан. Меж ними сновали верховые, табунщики и охранники, вооруженные соилами. Все эти табуны принадлежали баю Такежану, и только всеведущий Абылгазы знал счет коням в них. Он резким движением натянул поводья, отчего его конь, грызя удила, закружился на месте. Выхватив из-под мышки и подняв над головою черный шокпар, дар старого Даркембая, Абылгазы повеселевшим голосом прокричал:

– Джигиты, мы у цели! Вот они, табуны нашего врага Такежана. Здесь восемьсот голов, всех коней мы угоним! Ни одного жеребенка, ни хромой лошаденки не оставляйте! Угоняйте все! Такежановских табунщиков и караульных бояться не надо, они не бойцы. Сшибите их с седла, чтобы ни одного не осталось на коне! Сами садитесь на их коней, своих же кляч загоняйте в табуны. Как черная туча, как лавина налетайте! Вперед! Кеу-кеу! – крикнул Абылгазы, как кричат беркутчи, когда травят с ловчими



птицами лисиц, и ринулся на своем сером скакуне по отлогому склону к долине.

Сорок всадников стремительно скатывались с горы, вздымая легкий пушистый снег копытами лошадей, крики «кеу-кеу» и боевые возгласы «капта! капта!» разнеслись над долиной. Навстречу раздались протяжные, гортанные крики табунщиков и караульных. Все это сильно напугало лошадей, и табуны в громе копыт понеслись, поток за потоком, в сторону гор. В табунах кунанбаевских кони всегда паслись на приволье, в уединенных долинах, где их, под хорошей охраной, не беспокоили ни волки, ни конокрады-барымтачи. И внезапное нападение сорока джигитов смертельно перепугало полудиких, хорошо откормленных, еще не полинявших к зиме лошадей.

Пока Абылгазы первым доскакал до ровного подножия горы, вся долина, сотрясаемая грохотом тысяч копыт, накрылась взметенным снегом, словно метелью. И сквозь эту белую метелицу проскочили пятнадцать джигитов, помнивших задание своего вожака, догнали задние ряды косяков, слившихся в общий поток, и понеслись вместе с ними в сторону хребтов Шолпан, не переставая кричать и нахлестывая плетями, еще сильнее пугая полудиких коней кунанбаевского табуна.

Двадцать пять джигитов боевой дружины, сплотившись возле Абылгазы, с громкими воинственными криками мчались поперек долины. Навстречу им уже скакали, почти в таком же количестве, табунщики и караульные стад Такежана, размахивая над головой соилами и выкрикивая свои боевые кличи. Но это воинство, укутанное для зимнего пастушества в толстые домотканые халаты-шидем, с навернутыми на головы поверх меховых тымаков остроконечными башлыками, выглядело не очень боеспособным. И лошади под ними, не подготовленные для битв, выглядели столь же не боевито, как и их наездники. Разжиревшие на малоподвижной пастушеской службе, яловые кобылицы и рослые красавцы-жеребцы с нестриженной гривой, свисавшей до колен, и челкой, падавшей на их глаза, не годи-



лись для боя. Кони табунщиков, с длинными, до самой земли, покрытыми инеем хвостами, целыми днями шагом следовали за пасущимися косяками, ни разу даже не пропотели, разогревшись в скачке, и сейчас еле способны были пуститься в галоп.

Во главе стерегущих табуны джигитов состоял Азимбай, единственный сын Такежана, выделявшийся своей одеждой: на нем были светло-желтая дубленая шуба и лисий тымак на голове. Его красное лицо с обвисшими брылами щек казалось опухшим от холода, тяжелые припухлые веки нависли на глаза. Как только люди Абылгазы показались наверху, Азимбай сразу догадался, что это враги. Начал громко кричать:

– Берегись! Эти люди неспроста появились! Они нападают! Шевелись, давай, готовься биться насмерть! Умри, не отдавай им скотину!

В руках у него не было соила, он выхватил дубину у кого-то из своих пастухов и, размахивая над головой, поскакал навстречу джигитам Абылгазы. Хриплым, отчаянным голосом закричал:

– Вижу врага! За мной!

Но многие из его табунщиков и караульных стали заворачивать коней и поскакали назад, погнавшись за убегающим косяком.

Скакавшие навстречу друг другу конники сшиблись на ровной заснеженной лощине, покрытой пегими кустиками таволги. Базаралы еще на подходе, издали, узнал Азимбая и крикнул скакавшему недалеко Абылгазы:

– Прямо на нас летит волчонок Такежана! Свалим его! Конюхи сразу осядут!

Азимбай скакал под прикрытием двух рослых джигитов. Когда он столкнулся с Абылгазы, и тот замахнулся на него соилом, эти джигиты подставили свои дубины над головой бая, – только треск пошел над долиной. Бой начался.

Нукеры Азимбая ловко крутились вокруг хозяина, защищая его, – один на рыжем в белых пегинах коне, другой на вороном с косой звездочкой на лбу. Работать боевыми дубинами они



умели, бой вели умело. Нападая на Азимбая, сами искусные бойцы на соилах и шокпарах, – Базаралы и Абылгазы должны были биться с ним и с его нукерами.

Под могучим ударом Базаралы, нанесенным черным шокпаром, треснул и разлетелся в куски березовый соил в руках верзилы-нукера. Но в тот же миг сбоку к Базаралы подскочил на своем рыжем аргамаче Азимбай и с матерным выкриком нанес ему в голову удар соилом. Базаралы пошатнулся в седле.

– Вгоню тебя в землю, Базаралы! – закричал Азимбай, оскалив зубы.

Но тут же ударом черного шокпара в висок его поразил Абылгазы, успевший справиться со вторым нукером Азимбая. Соил из его рук выпал на землю, сам он, оглушенный, запрокинулся навзничь, на широкий круп своего коня.

Абылгазы и Базаралы с малых лет обучались мастерству верхового боя, относясь к нему, как к ратному искусству. Опытные бойцы, они первые свои удары наносили не в голову противника, а старались вышибить соил из его рук.

Быстро придя в себя, Базаралы встряхнул головой, одним прыжком коня настиг убежавшего гнедого Азимбая и, схватив врага за ворот дубленой шубы, стал стягивать с седла. Встряхнув его могучей рукою, как тушу козла, плюнул на него и сбросил на землю.

Светло-гнедого байского скакуна тут же подхватили джигиты Абылгазы. Азимбай остался лежать неподвижным на месте падения, широко раскинув руки по земле...

Среди оставшихся без хозяина нукеров и пастухов особенно выделялся громадный широкоплечий бородач, на которого, видно было по всему, надеялась обезглавленная дружина Азимбая. Базаралы решительно пошел на него. Тот уже успел подхватить новый соил вместо переломленного и, встречая Базаралы, взмахнул палкою над головой. Но, опытный боец, Базаралы не стал прикрывать голову блоком черного шокпара, а нанес им молниеносный опережающий удар по коленной чашке



противника – и тут же ушел от ответного удара уклоном в сторону. Удар соила пришелся ему вскользь по плечу, а громадный табунщик в толстой ездовой одежде скорчился от боли и всем своим корпусом, с шумом грянул на землю, словно обрушившаяся крыша. Увидев то, как легко он справился с чернобородым великаном, с которым предполагал биться долго и серьезно, Базаралы удовлетворенно рассмеялся.

К этой минуте жестокими неотразимыми ударами черного шокпара Абылгазы повержены были наземь еще трое байских табунщиков. Остальные в замешательстве кружились возле упавшего Азимбая, не решаясь больше нападать. И вдруг, словно сговорившись, одновременно ударились в бегство, нахлестывая коней, бросив лежать на земле хозяина и всех своих оглушенных товарищей.

Абылгазы быстро дал распоряжение:

– Сержан! Коске! Шаянбай! Быстро поменяйте коней и за ними! Коней берите самых лучших! А ты, Мес, бери байского, мухортого, и вместе с остальными за мной, – приказал он молодому, богатырского телосложения джигиту, палвану-борцу, победителю на всех состязаниях.

Всем строго наказал Абылгазы:

– Смотрите, надо, чтобы ни один из них не ушел от нас! Каждого догнать, вышибить с седла, забрать у них лошадей! Чтобы никто не смог быстро добраться до своих!

После того, как Абылгазы увел джигитов в погоню, возле Базаралы осталось человек пять-шесть. Все они пересели на захваченных коней и поскакали вдогон угнанному косяку.

К середине короткого осеннего дня табунщики бая, бежавшие с поля боя, были настигнуты и сброшены с седел, их кони захвачены преследователями. Приказ Абылгазы был выполнен.

К этому времени угнанные табуны лошадей перевалили через Шолпан и, пройдя долину Ойкудук, дошли до плоскогорья Ералы. Вскоре к угонщикам, которых уже нагнал Базаралы с джигитами, присоединились и боевики Абылгазы, захватившие



всех коней табунщиков. Косяки и табуны Такежана были угнаны полностью – все восемьсот лошадей, не оставлен ни один захудалый стригунок.

Базаралы и Абылгазы подозвали к себе пятерых джигитов, присоединившихся к ним в Байгабыле. Сказав, «первая доля ваша», отделили для них сорок верховых лошадей для сорока жатакских очагов. Кроме того, придали к ним еще двадцать яловых кобылиц для зимнего согыма – по одной лошади на два дыма. Перед тем, как расставаться, Базаралы просил передать Даркембаю свое послание: «Что будет дальше, посмотрим. За малое, что за большое – все равно один ответ. Сделано этими руками – отвечу этой шеей. Пусть ничего не боятся братья-жатаки. За все буду отвечать я, не они...»

– Сорок коней передайте по дворам, чтобы их использовали в хозяйстве, отвозите в город сено на продажу. На вырученное купите муку, масло, чай-сахар. А кобыл пусть сразу зарежут, на прокорм голодным детям, старикам. – Так говорил Базаралы, прощаясь с жатаками из Байгабыла.

Оставшихся лошадей в эту же ночь сорок джигитов перегнали в урочище Шуйгинсу. Тихо прогнали табуны мимо спящего аула Такежана. До утра все кони были розданы по обнищавшим аулам, начиная с ближних – Шуйгинсу, Азберген, Балпан, Караул, кончая самыми дальними аулами, зимовавшими на Чингизе, последний из которых – Колденен, расположен был уже с другой стороны перевала. Аулам достались по четыре-пять жеребых кобылиц, по жеребцу-третьяку, кому-то перепали и довольно упитанные, крупные жабагы, сосунки пяти-шести месяцев от роду. Передавая джигитам расходящейся дружины скот, Базаралы и Абылгазы строго наказывали: пусть ни в одном ауле не оставляют лошадей как хозяйственный скот, их надо сразу пустить на мясо. «Зарезать лошадей надо сразу же этой ночью, чтобы не отняли то, что я увел у Такежана и раздал им. Скажите всем, что за все отвечаю я, Базаралы. Пусть ничего не боятся и без страха режут скот!»



Конец осени – начало зимы – это самое тяжелое время для бедных и незажиточных кочевников. Заканчивается пора обильного молочного пропитания. Народ, не знающий земледелия, искони ничего не запасает в свои закрома. Вся надежда на мясо, согым, однако заготавливать его, пока не установилась холодная погода, кочевникам не с руки – мясо плохо завяливается, да и скот, который мог бы еще попасться на осенних травах, не нагуливает достаточно жира. В эту пору даже в байских домах резали лишь старый скот, а то и довольствовались залежалым мясом.

В эти дни предзимнего безвременья и вынужденного житья впроголодь бедный люд аулов на Шуйгинсу, – по берегам Караула до самых дальних лощин Чингиза, – получивший от Базаралы угнанный от ненавистного им бая Такежана лошадей, не стал особенно чиниться, а быстро исполнил его предписание. Так, в одну ночь, исчез огромный табун Такежана.

4

Слухи об этих событиях разнеслись по всем аулам рода Тобыкты, и среди племен Керей на севере, и у Матай, Уак на юге, среди Каракесек на западе и Сыбан-Найман с восточной стороны.

Среди родов тобыктинцев, таких, как тот же Иргизбай и Жигитек, которые постоянно были во вражде и распрях, весть о таком крупном угоне скота всколыхнула всех, словно земля зашаталась под ногами. Одни слушали с ошарашенным видом, хватаясь за свои ворота, другие без конца переспрашивали о подробностях. Много было таких, которые стучали себя пальцами по лбу и стенали: «Ойбо-ой, теперь мы пропали! Такое начнется! Все кровью умоемся!» И стар, и млад, каждый в своем кругу, без конца твердили:

– Разве такое бывало когда-нибудь?



– Е-е, тайири! Какое там! Никогда никто не осмеливался на такое!

– Астапыралла! Найдется ли человек, который когда-нибудь слышал про такое!

– Понятно, меж родами всегда была вражда, подымались распри, но чтобы такой пожар полыхнул! Астапыралла!

И на самом деле, никто из самых старых аксакалов Тобыкты не мог припомнить, чтобы на его веку у знатного бая угнали сразу восемьсот лошадей.

Вспоминали междоусобные разбои, набеги соседних родов на мелкие племена Тобыкты, оставшиеся в памяти людей как «Набег Шора», «Нападение Найманов», «Грабежи Буры», – но то были дела далеких дней и предания глубокой старины. И в те далекие времена угоняли лошадей, но чтобы столько и – неслыханное дело! – среди бела дня, напав на охраняющих табунщиков, избив до полусмерти всех, ни одному не дав убежать! И какая бы потом ни возникала серьезная тяжба, дело улаживали по третейскому суду, за украденных лошадей полагалось возмещать лошадьми же. Возмещение ущерба могло быть произведено и другими способами, однако все должно было быть равнозначно.

– На такую смелость могли пойти только под атаманством Базаралы, – говорили иные. – Такое можно привезти только с каторги. Апырай! Наш казах на подобное не способен, нет!

– А побили табунщиков и караульных что надо, без дураков! – говорили другие. – Били по-богатырски, всех подряд уложили!

В этих высказываниях выразилось тайное удовлетворение тех многих, которые претерпели немало обид от Такежана и других сильных баев.

Со стороны последних на Базаралы обрушился поток особенно яростной злобы и ненависти. Начало этого потока исходило, разумеется, от аула Такежана. Оглушенный Азимбай очнулся на земле и только ночью с двумя ранеными нукерами



добрался до зимовья на Шолпане. Там выпросил лошадей и на рассвете вернулся в отцовский аул. Голова его, толсто перевязанная платком, была над виском разбита ударом шокпара, что нанес ему Абылгазы. Кровь проступила сквозь повязку, все лицо также было в засохшей крови.

На осеннее временное стойбище аул Азимбая прикочевал недавно. После стычки на пастбище в Шуйгинсу с жатаками Азимбай предвидел, что с их стороны надо ожидать каких-то опасных действий, и больше всего боялся, что могут последовать нападения на табуны лошадей с целью угона. И вот сегодня его опасения подтвердились.

Когда два нукера помогли сойти с коня и, поддерживая с двух сторон, повели окровавленного Азимбая к юрте Такежана, навстречу выбежали иргизбаевские аксакалы и карасакалы, находившиеся в это время в ауле мырзы. Но впереди всех бежала приземистая, широкая Каражан, истошно вопя и простирая руки к раненому сыну. Его отец, после байбише обнимая Азимбая, разразился горькими рыданиями, заголосил: «За что нас Кудай покарал! Лучше бы земля разверзлась и поглотила меня!»

– Мечь! Только мечь! – кричал он, разрывая на себе ворот.
– Олжай! Все за соилы!

В этот же день гонцы разнесли весть – разорили аул Кунанбая! Богатые аулы, владельцы больших стад, старшины больших родов, баи и бии Тобыкты – все получили эту весть.

Состоятельные люди, властители родов, степная знать всего Чингиза тотчас сурово осудили Базаралы, назвав его разбойником и бунтовщиком. Связанные с тобыктинцами родством, соседние племена Уак, Бура, Сыбан, Найман, Керей, Каракесек – все дружно встали на стороне потомков Кунанбая.

В городе, по прибытии туда гонцов с челобитными и «приговорами» со всех концов Семипалатинского уезда, в течение четырех-пяти дней влиятельные баи, купцы, старшины близлежащих поселков обратились к русским властям с призывом защитить интересы рода Иргизбай. Ведомства крестьянского



управителя и уездного акима заполнили разные ходатаи, толмачи, радетели дома Кунанбая.

По личному приказу Казанцева из города в Чингизский округ в спешном порядке была направлена почта с пером – строгое предписание волостному правителю прибыть в уездное управление. Когда в аул Кунту прискакал русский стражник-вестовой, увешанный сверкающими бляхами, с огромной саблей на боку, а с ним вместе и атшабар уездной канцелярии, волостной Кунту не на шутку перепугался. Ему было приказано:

– Немедленно явиться в уездное управление!

В ауле Кунту в это время находились Жиренше и Бейсенби, вызванные волостным правителем на совещание.

Напуганные слухами о разбое Базаралы, они еще до прибытия «почты с пером» не раз в полном замешательстве обсуждали происшедшее, не в силах дать никакой оценки и не находя никакого решения для своих дальнейших действий.

Когда весть о неслыханном деянии Базаралы дошла до него, Кунту сразу сообразил, что оно не может пройти без последствий для самой волостной власти. И Кунту сразу вознамерился собрать у себя своих друзей и соратников: Оразбая, Абыралы, Байгулака, Жиренше... Ведь все они в Семипалатинске, во время первых встреч с Базаралы, обхаживали его и хотели привлечь на свою сторону в борьбе против сыновей Кунанбая.

Однако в эти дни рядом с Кунту оказалось только двое. Остальные испугались и попрятали свои головы... Правда, никто из этих баев и биев, даже многоопытные политиканы Жиренше и Оразбай, никак не ожидали таких крутых действий от Базаралы...

Кунту и его друзьям стало ясно: «Говорили ему, ты только пугни, а он накликал большую беду. Просили его, чтобы помог нам, как друг, а он поступил как злой недруг, подняв в округе страшную смуту. Что же будет, если завтра он напустит всех нищих и голодных Арки на табуны коней и овечьи отары аткаминеров и добропорядочных баев? Начнут резать чужой скот уже



без всякого разбора? Да от такого злодейства придут в ужас даже самые кроткие святые отшельники-машайык, давно отказавшиеся судить обо всех мирских делах...»

Друзья вытряхнули друг перед другом всю правду-матку, хранимую каждым в душе: «Нет большей мудрости, чем сберечь собственную голову. Подальше надо держаться от Базаралы, пусть каждый свою голову сбережет сам».

Еще до прибытия вестового из города, к волостному Кунту в аул нагрянули человек двадцать иргизбаев. Возглавляли их Майбасар и Исхак, братья Кунанбая. Свирепо набросились на Кунту:

– Ты волостной аким! Тебе отвечать! Или докажешь перед судом, что не причастен к разбою, или за все расплатишься своим скотом, а то и головой! Мы знать не знаем никакого Базаралы! Он всего лишь одинокий волк. А ты – власть, и все это зло – от тебя! Свяжем по рукам по ногам – и на суд, к ответу!

Оказавшись в опасном одиночестве перед рассвирепевшими иргизбаями, не надеясь ни на чью помощь, Кунту залез безил, распластался перед ними:

– Родичи мои! Делайте со мной что хотите, воля ваша! За меня некому заступиться, но заступники мне и не нужны, дорогие мои! Только не валите меня в одну кучу с Базаралы и его воровской шайкой! Апырай! Да я и не ведал о них – ни сном ни духом!

Но Майбасар, Исхак были уже давно полны злобы на Кунту – и только по тому обстоятельству, что он сумел на выборах в волостные обойти сыновей Кунанбая. Теперь они вымещали свою злобу на нем, дали себе волю. «Думаешь, я разожму руку на твоём горле? Разве осмелился бы вернуться Базаралы, если бы ты не стал волостным? И осмелился бы он напасть на дом Кунанбаевых, когда этого раньше никому не могло прийти в голову, когда у власти были мы? Только один всемогущий Кудай осмелился бы на это!»



Иргизбаи ушли восвояси только после того, как толстый, весь потный от страха Кунту обещал, что сам поедет в город и откажется от должности волостного начальника.

Ему было известно, насколько уездный аким благоволит кунанбаевской клике, к тому же Кунту насмерть перепугался, как от внезапного змеиного шипения из куста, – предписания немедленно явиться перед уездными властями, переданного через почту с пером.

В эти тревожные и безрадостные для аула Такежана дни нависла над ним еще одна беда. Но исходила она на этот раз не от человека, а с небес.

Уже все остальные аулы округи давно засели в зимники, и только Такежан с сыном оставались на осенних выпасах, выгуливая скот на чужих пастбищах. Скотина вытаптывала вокруг бедных аулов хранимые для зимы луговины, ломала ограды и, прорвавшись к поставленным стогам, начисто поедала сено. Вот и не торопились жадные баи перемещаться на свой зимник. Оставлять про запас на зиму свои кормовые уголья и травить осенние пастбища, вплоть до самой зимы, на чужих пастбищах – излюбленный прием корыстолюбивых сильных баев.

И вот, претерпев страшные потери всего за несколько дней, спесивый аул Такежана потерял все преимущества своей наглой и коварной изворотливости. В случившейся беде он видел причину чужую подлость, не свою. Такежан взывал к жалости по отношению себя. Такие люди даже умирают, враждуя со смертью, обвиняя ее в том, что им приходится умирать. И в этой последней беде – до самого последнего вздоха, проклинают саму смерть за то, что она пришла за ними.

Когда короткий зимний день начал выпадать в темный осадок вечера, над длинным, зазубренным хребтом далекого Чингиза зависли густые черные облака. За недолгое время эти облака, надвинувшись и словно размножившись, накрыли полнеба. И небо над Азбергенем и Шуйгинсу сразу же грозно нахмурилось. Только что наплывшая громадная туча навалилась на белое



рыхлое облако и, словно буйно смешиваясь с ним на лету, стала расползаться во все стороны. И тогда в далеком пространстве созревающей ночи вдруг обозначились угрюмые горы, казалось, собравшие на своих вершинах все беды и несчастья мира.

Внезапно с гор на степь с гулом и грохотом обрушился ураганный ветер, словно исполинский выдох – упреждающий воздушный удар надвигающейся небесной лавины. Но ее все не было, а напористый ураганный выдох продолжался, и ледяной холод усиливался, на лету переходя в морозный ожог. К этому времени едва успели укрыть скот за временной оградой и, как только скрылась за нею, пробежала в ворота последняя отара, – словно опрокинулись в небесах сосуды с непроницаемой темнью, – небо с облаками и земля с горами вмиг перестали быть различимы для человеческих глаз. Ураганный ветер ударил, устоялся и ревел, не утихая.

Низко, над самой землей, тревожно металась потерявшиеся во мгле кусты чия и чингиля, добавляя к гудящему голосу урагана свой маленький шелестящий панический голос. Природа наполнилась самыми невероятными угрожающими звуками. К ним добавились рев и бляенье скотины, напуганной внезапно налетевшим ураганом, принесшим с собой зимний мороз, и встревоженные человеческие голоса ночного аула, и непрерывный лай собак.

Такежан, Азимбай, другие родственники – все побежали по аулу, на ходу натягивая теплые одежды, и суматошно кричали, отдавая распоряжения своим работникам.

- Смотри, как погода портится!
- Ойбай, как бы скотина не разбежалась! Присматривай!
- Проверьте ограды!
- Скотники! Бабы! Пастухи! Выходите наружу!
- Глаз не спускать с овец! Испугалась скотина!
- Ограда ненадежная! Следите за оградой! Как бы не сбежали овцы!



Выгнав из десятка черных юрт всех обитателей, баи расставили своих работников, женщин и детей вокруг овечьих загонов. Такежан, путаясь в длинной шубе, бегал по аулу, повелевая:

– Покрикивайте! Глоток не жалейте! Волков отпугивайте! Шумите сильнее, не замолкайте!

Скотники, пастухи верблюдов, чабаны, прислуга и кухонные бабы – сейчас все были выставлены караульными, бегали, сгибаясь под морозным ветром в своих ветхих одеждах. Лишь в одной из черных юрт остался дома чабан Иса, последним пригнавший отару овец с дальнего пастбища и совершенно выбившийся из сил за целый день беготни по степи под ледяным ветром. Сейчас он сидел возле еле теплившегося очага, пытаясь отогреться, уронив голову на грудь, не в силах даже разговаривать с матерью, с женой. Старая Ийс, глядя на своего измученного сына, громко запричитала:

– Ойбай! Ненаглядный мой! Замерзнешь ты и пропадешь из-за проклятого байского скота! Да пусть с овцами случится то же самое, что и с лошадьми этого изверга! Пусть он пропадет пропадом, чем ты, единственный кормилец наш! Вон, весь дрожишь от холода, руку не можешь поднять от усталости!

Она протягивала ему кружку горячего чая и кусочек сухого овечьего сыра – и это было все, чем могла старуха угостить своего измученного холодом, проголодавшегося сына.

Нездоровая сноха, словно окаменев, сидела возле очага, прижав к себе двух маленьких детей, накрыв их полами верблюжьего халата-купи. И у полуживого пастуха не было сил ни утешить ее, ни сказать ласкового слова детишкам. Он лишь плотнее укутал их и, потянувшись вперед, стал по очереди согревать им ножки в своих огромных ладонях. Наконец, чтобы поддержать разговор с матерью, он проговорил охрипшим голосом:

– Чего им нужно, зверям кровожадным? Накажи их Кудай всемогущий! Ведь на чужих пастбищах хотят докормить свою скотину, а свои зимние корма приберечь, – и все это вытворяют



на землях бедных родичей! Зимники уже рядом, а они мучают людей на морозе, и вас, родненькие, совсем замучили!

И тут за дверью лачуги раздался яростный крик Такежана. Бай обежал весь аул, проверяя, все ли работники вышли охранять его скот, и обнаружил, что Иса остался дома.

– Эй, отродье шайтана! Почему не выходите из юрты? Или подошли все? Ийс! Где твой сын, Ийс? – злобно кричал Такежан. – Пусть немедленно выходит, скот надо спасти! Ты слышишь, Ийс?!

Набросив на плечи дырявую шубенку, старуха Ийс пошла из юрты.

– Я сама пойду, а сын вернулся недавно с пастбища еле живой от холода. Пусть немного отдохнет, хоть чаю горячего попьет, тогда и выйдет. – Так решительно говорила старуха Ийс, выйдя к Такежану.

Она ушла, не обращая внимания на заглушаемый звуками непогоды еле слышный крик сына, доносившийся из юрты: «Не ходи, апа! Замерзнешь!»

Иса хотел пойти, догнать матушку и вернуть ее домой, отправиться самому на муки холода, но сил не нашлось даже подняться на ноги. Он чувствовал, что захворал. Превозмогая боль во всем теле, кое-как улегся возле потухающего очага, не раздеваясь, и накрылся старым ватным корпе. Сказал жене и детям, чтобы они легли рядом. Уложив детишек между собой и женою, Иса заботливо накрыл их стеганым одеялом и наконец-то ласково заговорил с ними:

– Поспите рядом, сладкие мои, я вас согрею, а то ведь замерзли, наверное!

Асан был старшенький, он уже многое понимал, и грозный шум непогоды, холод в доме и беспомощность родителей встревожили его детскую душу. Маленький степняк прижимался к своему огромному отцу и, вслушиваясь в завывание ветра, испуганным голосом спрашивал:

– Ага! Вы видите, как шатается наш дом? Ветер не повалит его? Чего будем тогда делать?



И правда, с жутким звуком терлись скрепы и шатался весь остов крошечной войлочной юрты, жалкое жилище словно дрожало в страхе перед надвинувшимся бураном, вздрагивало и начинало трястись и шататься под напором неистовых порывов ураганного ветра. Про себя Иса и сам боялся, не будучи уверен, устоит ли юрта... Но бодрым голосом отвечал сыну:

– Не бойся, жаным, дом не завалится, прихватывай связаны крепко. Ты лучше спи спокойно, засыпай поскорее!

Незаметно Иса и сам задремал. Неизвестно, сколько времени он проспал, – проснулся оттого, что в дом вошла старуха Ийс.

– Ойба-ай, айналайын, Иса, тебе придется пойти! – говорила она. – Овцы свалили ограду и разбежались, Азимбай лопается от злости, велел тебя позвать.

Иса быстро поднялся, сказал матери:

– Я пойду, а ты скорее ложись на мое место, тебе тепло будет. А то ведь вся мокрая, дрожишь! Никуда теперь не выходи!

Одевшись, надев тымак, схватил шокпар, свисавший с решетки-кереге, и выбежал из юрты. Совсем недалеко его ожидали Такежан и Азимбай, оба клокотали от ярости.

– Почему дома сидишь, собака, умнее всех, что ли? – орал Такежан.

– Уа, мырза, я целый день был в степи с отарой.

– Смотри-ка, туды твою... отца и тещу... он еще и разговаривает! Убить тебя мало, собаку! – взъярился Азимбай.

– И так сдохну, без отдыха... – начал было Иса, но тут Азимбай обрушил на его плечо удар дубиной.

Он замахнулся еще раз, но Иса перехватил палку рукою. Черная борода Азимбая разъехалась, сверкнули оскаленные зубы. Рослый пастух притянул к себе бая, гневными глазами уставился в его искаженное злобой лицо. Под белым платком, которым был обвязан лоб Азимбая, это бородатое лицо казалось темной мордой какого-то невероятно злобного зверя-оборотня. Иса с отвращением отшвырнул от себя бая. Между ними встал Такежан.



– Е, Иса! Овцы туда ушли по ветру. Почти вся отара ушла. Беги, догони овец, пока не разбежались по степи! – просительным голосом попросил мырза.

Не сказав ни слова, Иса резко повернулся и побежал в указанную сторону.

На нем был изношенный чапан без меховой подкладки, в руке он сжимал черный шокпар. В потрескавшиеся, дырявые сапоги забился снег, подтаял, портянки сразу промокли. Но пастух бежал, не обращая на это внимания. Ни в чем не повинные овцы попали в беду, надо было их спасать. Они испугались урагана, побежали по ветру, и это была действительно большая беда. Пастух спешил изо всех сил, исходя тревогой и жалостью.

Оставшиеся в ауле овцы в панике металась по загону, удерживаемые кричавшими и размахивающими руками людьми, мужчинами и женщинами. Они не давали основной массе овец уйти вслед за убежавшими – сквозь участок ограды, поваленный ураганом. Никто не мог сказать точно, сколько овец убежало, но их было порядка нескольких десятков.

Иса бежал, не переставая кричать, звать овец. Они знали его голос, могли остановиться, услышав его. Крик человека мог и отпугнуть волков, если они появятся тут.

Нескоро Иса заметил, что промок насквозь, ибо вдруг ураганный ветер стал хлестать дождевыми струями, которые также внезапно сменились летящими по ветру секущими снежными крупинками. Холодные льдинки залетали в рукава, за ворот и нещадно кололи тело, словно железные иголки.

Овцам было не под силу выдержать подобные пытки, и они отворачивались от ветра, опускали морды к самой земле и, вплотную прижимаясь друг к другу, подставляя зады беспощадным порывам урагана, неслись вместе с ним в одну сторону. Издавая беспрерывные крики, Иса вскоре увидел бегущих овец и на последнем дыхании нагнал их. Продолжая покрикивать «шайт! шайт!», чабан попытался проникнуть в середину стада овец, но они настолько тесно сжались в одно единое тело, что



разъять их было невозможно. И тогда он, распуговывая крайних овец, из последних сил побежал вперед, к голове этого обезумевшего единого зверя, чтобы встать перед ним и остановить его. Когда он вырвался к передним овцам, обогнал их и обернулся лицом назад, то получил в лицо и глаза такой страшный ледяной шквал летящих снежинок, что с ужасом понял невозможность просто устоять на месте, а не то что идти навстречу буре. Ледяная крупа мгновенно залепила все лицо, глаза, ноздри, сквозь ворот проникла к голому телу, охватывая его смертным холодом. Человек ощутил свою погибель. Но ему ничего другого не оставалось, как пытаться и дальше спасти овец.

Размахивая руками, с криками «шайт! шайт!» он стал бегать среди передних рядов стада, и что-то вразумительное проявилось в безумном доселе, диком исходе баранов. Они услышали его и стали замедлять свой бег. Может, ему удалось бы остановить их и повести далее за собою, – но тут с левой стороны, уже близко, стали набегать какие-то темные зловещие тени, стремительно приближаясь к отаре. И это была другая смертельная беда.

Овец, которых догнал Иса, было голов пятьдесят-шестьдесят, они мгновенно вновь обезумели и шарахнулись по сторонам, разбегаясь врассыпную. Пастух только теперь понял, что это за темные тени надвинулись на стадо, – оно почувствовало перед собою нечто гораздо более страшное, чем даже ледяной ураган. Это были волки. Их горящие глаза, оскаленные клыки, тяжелое звериное дыхание, лязг зубов надвигались с потусторонней неотвратимостью. Оставшиеся овцы заматались вокруг человека, отчаянно бляя, словно ища у него защиты, и пастух не мог их не защищать. Он мгновенно обрел в душе силу и спокойную волю к смертельной схватке, готовность защищать беспомощных, кротких овец от лютых хищников, как это велось в степной жизни кочевников тысячи лет. Сам издав грозный, устрашающий крик, пастух бросился навстречу зверям. Их было пятеро, – мгновенно проскочив мимо него, словно и не заметив чело-



века, не слыша его криков, звери набросились на овец и стали рвать их. Истошно оравшие бараны и ярки вмиг примолкли, словно онемели от смертного ужаса, и стали молча шарахаться из стороны в сторону, пытаясь увернуться от звериных клыков. Иса со всех ног бросился вслед за волками. Прямо перед ним оказалась светло-серая, почти белая, рослая волчица, видать, мать стаи, – она с ходу схватила за горло овцу, мотнула ее и бросила наземь. Еще три волка рассеялись по сторонам от нее и тоже принялись рвать овец. Когда белая волчица, одним ударом клыков разорвав горло овце, подняла голову, человек нанес точный разящий удар дубинкой по ее переносице. Он хотел нанести еще один удар, взмахнул шокпаром, но волчица вдруг рухнула на землю и вытянулась рядом с овцой, которую только что зарезала. Иса знал, что и волка, и собаку можно убить, нанеся сильный удар по носу.

«Ладно, лежи теперь!» – сказал он про себя и, для верности еще два раза ударив зверя по голове, метнулся к другим, носившимся за овцами. А те, совершенно обезумев со страху, совершенно забыв и о бурне, и о спасительном загоне, носились по кругу, неизменно попадая под удар волчьих клыков. Звери металась в середине этого рокового круга, и каждый наскок волка вырывал из него по одной овце с перерезанным горлом, летевшей на землю и судорожно дергавшей ногами. Снег вокруг них был испятнан кровью. Но живые, целые бараны и ярки не разбегались в стороны, удерживаемые вместе другим страхом – оказаться в одиночестве посреди степи. И этот страх был сильнее страха смерти в зубах хищников.

Волки, опьяненные запахом крови, впали в безумие убийства, резали беспомощных овец уже без цели насытиться или унести с собой добычу. В таком состоянии безумства одинокий волк или целая стая, оказавшись в тесноте отары, хватали подряд и мгновенно разрывали горло без выбора, в ослеплении яростной страсти убийства.

Пастух вбежал в эту безумную круговерть, и овцы, увидев человека, живой лавиной бросились к нему за спасением, из-



давая отчаянное блеяние, теснясь, закружились возле него. Близко из-за спины Исы выпрыгнул волк и, даже не оглянувшись на человека, бросился в гущу бегущих баранов, смешался с ними, вцепившись в загривок одного из них. Иса метнулся вперед и сходу нанес сильный удар шокпаром по голове волка. Тот сразу обмяк и рухнул на землю. Это был молодой волк, один из трех годовалых волчат, которых привела с собой белая волчица. Добив и этого двумя ударами дубинки в переносицу, Иса устремился к другим, возившимся со своими жертвами недалеко от него. Пастух был разгорячен небывалой в его жизни схваткой с диким зверьем, двух волков он уже уложил, а теперь он устремился к третьему, который догнал небольшую овцу, опрокинул ее на землю и навалился на нее, вцепившись в ее шею. Пока Иса бежал, в него словно влилась какая-то победительная сила, горячая и ликующая: он подскочил к волку сзади и, размахнувшись шокпаром, уверенно, могуче обрушил свой удар меж ушей зверя. Волк выпустил жертву и резко обернулся к нему, оскалив окровавленную пасть. Иса решительно и точно нанес ему разящий удар по переносице, и рослый волчонок пал на землю, бездыханный.

Истошно блея и вереща, овцы продолжали сбиваться в кучи и носиться вокруг пастуха, каждая из них старалась оказаться к нему ближе. Убив уже трех зверей, пастух посчитал, что один оставшийся волчонок уже не грозит ему большой опасностью, возможно, он уже сбежал. И в этот миг перед ним возник огромный черный волк, словно чудовищное привидение. Нападавший на стадо в одиночку, в стороне от волчицы с тремя волчатами, черный волк, вожак этой стаи, не был замечен Исой в суматохе ночного сражения. Между тем вожак успел задрать насмерть с десяток баранов, теперь на глазах у Исы с неистовой яростью схватил и бросил на землю еще одного. Всецело занятый борьбой и убийством жертвы, черный волк не заметил, как сзади к нему стремительно метнулся человек. И он опять вынужден был нанести зверю удар дубиной по голове, меж острыми уша-



ми. Выпустив еще живую добычу, волк стремительно крутнулся на месте и оказался окровавленной мордой к лицу пастуха. С низким рычаньем бросился с земли ему на грудь, нацелившись в горло, Иса выставил навстречу прыжку взятый за концы шокпар, отбил прямой удар, клыки пронеслись мимо и впились в плечо Исы, ухватив за толстую складку одежды. Зверь был очень силен, рывок его зубов почти оторвал рукав толстого чапана, к счастью, не задев тела. Иса схватил обеими руками зверя за шею, стал душить его, волк стоял на задних лапах, и голова его пришлась вровень с лицом рослого пастуха. Расплавленное дыхание их смешалось. Ударить еще раз волка не получилось, и пастух отбросил бесполезную дубинку.

Из разбитой головы матерого волка кровь стекала на глаза, в которых горела лютая злоба. Иса сам зарычал, как зверь, а потом закричал страшным, яростным нечеловеческим голосом. Волк не мог добраться до обнаженного горла человека, как бы отчаянно ни рвался: руки, как стальные клещи, стискивали матерого за шею. Напрягая все силы, оскалив зубы, Иса кричал страшным голосом.

Кровь с волчьей головы заливала ему руки. Пальцы стали неметь. Иса чувствовал: хватка его слабеет. Ноги слабеют, вздрагивая от напряжения. Держать на весу стоящего на задних лапах тяжелого волка становится все труднее.

И тут он услышал недалекий крик. К нему приближалась помощь.

Оказалось, что вслед за ним был послан один из «соседей», безлошадный бедняк Канбак...

– Ножом! Бей прямо в сердце! – прохрипел Иса.

Канбак быстро выхватил свой длинный нож и дважды погрузил его в грудь волка, поставленного Исой на дыбы. Волчье тело вздрогнуло, зверь свалился на землю и растянулся, откинув на сторону голову. Это был огромный, размером с жеребенка, матерый волк. Рядом с ним лег на окровавленный снег



Иса, лишенный последних сил в нечеловеческом напряжении схватки. Сосед Канбак, понимая его состояние, ничего не стал ему говорить, лишь молча снял с себя верхний чекмень без подкладки и, приподняв Ису, помог ему сначала натянуть на оголенную руку почти оторванный рукав чапана, потом сверх всего набросил свой чекмень. Вскоре Иса окончательно пришел в себя, и они вдвоем стали собирать уцелевших овец. Пересчитали их – из полусотни баранов волки порезали пятнадцать голов. Но поплатились за это гибелью почти всей стаи – четыре из нее были убиты, пятый, годовалый волчонок, скрылся. Но не всех из пятнадцати жертв звери задрали насмерть – около половины из них оказались ранены: искусанные в бока, в шею, в круп, они могли передвигаться.

Уже рассвело, ветер стих, степь накрыло тончайшей, легкой порошей. Два пастуха погнали к аулу уцелевшее стадо. Убитых волков связали попарно и потащили за собой волоком. Вскоре, еще до обеда, возвратились в аул.

Недавно аул Такежана был у всех на устах в связи с набегом Базаралы. И вот, снова заговорили об ауле – на этот раз по поводу геройского поступка пастуха Исы, спасшего стадо овец в буран и при этом голыми руками убившего четырех волков. Говорили о могучей силе Исы, безлошадного батрака, прославляли его как батыра, чей подвиг никем не будет повторен в степи. И народ ожидал, что за этот подвиг и спасение стада хозяева достойно вознаградят мужественного пастуха.

Но среди бедных людей, хорошо знавших про беспредельную алчность дома Такежана – Азимбая, сразу родились сомнения:

– Е, оценят ли эти кровожадные шакалы такой подвиг?

– Великий джигит брошен под ноги у порога этого проклятого дома!

– Апырай! Ему бы свою силушку не на волков обрушить, а на самого Азимбая! Этого зверя ему надо было душить, а не черного волка! Напрасно он рисковал собой ради недоброго бая!



– Е, он же не бая пожалел, а беспомощных овечек! Не будет же такой джигит стоять и смотреть, как скот терзают волки!

Но сам Иса не мог слышать этой народной молвы: через три дня после урагана он слег в горячке. За эти дни аул перебрался, наконец, в зимник, и заболевший Иса лежал уже не в юрте, а в землянке, устроенной около ворот овечьего загона. Это была убогая, тесная землянка с неровным потолочным настилом из закопченных жердей; меж ними провисали камышовые остроконечные листья кровли, по которым струилась талая снеговая вода. Каждый раз, когда открывалась низенькая дверь земляной хижины, куда надо было входить, согнувшись в три погибели, в человеческое жильё вривалось смрадное облако, пропитанное запахами бараньего пота и навоза. Иным воздухом, нежели это зловоние, жильё пастуха не проветривалось. Пол был земляной, всегда сырой от капающей сквозь потолок воды. На месте окна зияла дыра в стене, в которую был вмазан кусок стекла – щедрый дар работнику от байского дома. Дневной свет мерцал только вблизи этого окошка, по всем углам землянки таилась мрачная, холодная темнота, как в тюремном застенке. Стены грубо обмазаны серой глиной. Печи не имелось, посреди пола чернел очаг с треножником, на котором висел закопченный казан, дым уходил сквозь продух в потолке. Но бедная семья была довольна и этим жильём, защищавшим ее от сквозного ветра и зверского холода, замучивших несчастных в дырявой юрте. В земляной пещере они чувствовали себя хотя бы защищенными от угрозы зимнего степного урагана.

Иса слег сразу же в день перекочевки аула на зимник. У него начался сильный жар. Мучительный кашель сотрясал все его огромное костистое тело. Но сильнее страданий от болезни его мучила жалость при виде бедствий своей несчастной семьи.

Уходя на пастбище, он не мог видеть, как дома перемогаются его женщины и дети. А теперь он все это видел – с утра и до ночи. Они голодали – единственная коровенка, кормилица всей семьи, перестала давать молоко. Старуха-мать с утра бросала



в казан с кипящей водой немного сухого овечьего сыра, и эта похлебка была пищей на целый день. Два малыша, напившись горяченького, забивались куда-нибудь в угол и оттуда испуганными глазами следили за взрослыми. Жена Исы тоже кашляла, и уже давно. Старуха Ийс с утра уходила на заданные работы в дом Каражан, которая усаживала ее дубить кожи, вить волосяные веревки, плести арканы. Зимой и летом байбише держала ее на этих работах, не давая разогнуть спины. За это по вечерам старухе выдавали для ее очага немного еды: остатков от байского дастархана, немного айрана, чашку костного бульона, завернутого в узелочек раскрошенного иримшика – сушеного сыра, пару горстей пшеничных зерен для похлебки.

Этим и ужинала семья. Теперь Иса, оставаясь дома, воочию видел скудное, нищенское кормление своей семьи милостями байского дома, для которого он трудился, как раб. И самые горькие, черные мысли приходили ему в голову, бередили душу.

Однажды вечером, по возвращении матери из байского дома, сын подозвал ее и, усадив возле своей постели, заговорил с великой мукой в голосе:

– Матушка, айналайын... Уа, извелась ты... У чужого порога пропадаешь, добывая пищу для детей... И это – имея живого сына. А что ты будешь делать без меня?.. Об одном сожалею, матушка, что оставляю вас у порога такого человека, который и человеком-то называться не может... Вот куда я вас привел, о том ли я мечтал, желая упокоить вашу старость... – Так говорил Иса, держа в своих горячих руках руку матери.

Напуганные его словами, мать и жена Исы заплакали навзрыд, заголосили, обнимая любимого человека за голову, целуя ему руки. Увидев это, дети тоже испугались и разревелись.

Увы, Иса предвидел исход своей болезни. На пятый день он потерял память, стал горячечно бредить. Запекшиеся губы его шевелились, шепча что-то. Низко склонившись над ним, жена и мать его услышали тихо произносимые им слова гнева и брани. Шепотом говорилось еще что-то, но уже



разобрать было невозможно. А в это время, в предсмертном своем воображении, Иса вел отчаянный бой с черным волком-чудовищем. Он лежал с открытыми глазами – и видел перед собой ночь, зимнюю степь и бросившегося на него огромного волка. Оскаленные громадные клыки нацелены вонзиться ему в лицо. Кровь текла из разбитой звериной головы, заливая ему глаза, он закрыл их... А когда вновь открыл их – вместо волчьей головы Иса увидел перед собой человеческую голову. Оскаленные зубы в черноте раздвинувшихся усов и бороды, белая повязка на лбу... Азимбай! Он продолжает схватку вместо волка. Взмахивает над головой шокпаром, желая ударить... Но вдруг, вместо человека, вновь появляется волк. И он не кусает, а бьет палкой. Так они, кошмарно заменяя друг друга, наносят удары по голове Исы, не давая ему возможности ответить могучим ударом. Глумясь над ним, этот двуликий оборотень злорадно произносит: «На куски разорвем! Сожрем тебя!» И постепенно Иса чувствует, что сила жизни в нем иссякает, и ему хочется только одного: покоя и забвения...

Пролежав в беспамятстве всю ночь, Иса так и не пришел больше в себя. На рассвете он стал метаться, дыхание его стало прерывистым, хриплым. Потом он стих, вытянулся и стал отходить. Смертный холод постепенно завладел им.

Так, на шестой день болезни скончался славный джигит, имевший великое сердце, совершивший беспримерный во всей степи, неслыханный подвиг.

Возле его тела остались безмолвная, потерявшая память старая Ийс, рыдающая жена и двое маленьких сирот, еле живых от страха, закатившихся в отчаянном плаче.

В тот день, когда у подножия горы Шолпан жатаки напали на Азимбая, сына Такежана, чтобы захватить и угнать их табуны, –



недалеко от тех мест, а точнее, на расстоянии дневного перегона стригунка, младшие братья Абая, его сыновья и акыны его круга увлеченно вели разговор о поэзии. Абай рассказывал о Лермонтове.

Речь шла о повести «Вадим», которую очень ценил Абай.

– Я хотел бы, чтобы казахи узнали о такой благородной, отважной душе, как Вадим, – сказал Абай-ага. – Мне даже захотелось рассказать о нем в стихотворной форме. С вашего великодушного соизволения, я хочу вам прочитать начало...

*Темнеет свод неба. На западном крае
Пожар уходящих лучей догорает,
И на алеющем шелке заката
Дальняя башня, как сон, возникает...*

Из всех присутствующих «Вадима» читал один Какитай. По просьбе Абая он рассказал собравшимся об этой повести. После чего Абай-ага продолжил:

– Будет полезно для вашего творчества, если вы будете знать поэзию Лермонтова. Формы его поэм близки к дастану, и они также могут обогатить дастан. Какитай, Магаш, вы двое читали Лермонтова на русском, а Дармен, Кокпай и старшие не знают русского, да и Акылбай не знает. Так что, друзья мои, просвещайте друг друга, рассказывайте о творчестве Лермонтова.

После этого молодежь, перейдя в угловую комнату, до самого вечера просидела над лермонтовским «Демоном». Поэму читали по очереди то Какитай, то Магаш, тут же на месте устно переводя ее на казахский. Небывалый интерес, страстные споры вызвало это необыкновенное чтение. Акыны горячо высказывались о Демоне, Тамаре.

– Какие необыкновенные, смелые мысли высказаны ими!

– Но ведь это мысли самого поэта! Великие образы рождены его душой, похожи на него.



При этих словах Какитай, словно потрясенный внезапным озарением, воскликнул:

– Так это как же?.. Поэт не хочет преклонить голову даже перед Создателем? Спорит с Провидением?

До вечернего чая молодые акыны разгоряченно говорили о поэме, о самом Лермонтове, и не беспокоили уединившегося в своей комнате Абая-ага. Только за вечерним дастарханом все вновь увиделись с ним и захотели продолжить разговор о Лермонтове.

И тут вошел к ним одинокий путник, поздний гость. Это был Акылбай, живший к тому времени отдельным аулом и владевший собственным зимником в урочище Аралтобе, возле Миялы, недалеко от аулов жатаков на Байбала. Его зимник отстоял от отцовского на расстоянии полудневного конного перехода. Акылбай молча, быстро разделся и присел ко всем, как всегда, немногословный и сдержанный. На вопрос отца: «Живы ли, здоровы люди у подножия Шолпан?» – Акылбай невозмутимым, будничным голосом вдруг сообщил ошеломившую всех весть:

– Какой-то большой вражеский отряд напал на табуны дяди Такежана у горы Шолпан. Угнали всех коней, всех до одного.

– Когда?

– Что за враги?

– Откуда?

– Куда угнали лошадей?

Вопросы так и посыпались со всех сторон на вестника.

Чай остался нетронутым. Айгерим и служанка Злиха, сидевшие у самовара за низеньким столом, тоже придвинулись к Акылбаю и стали слушать его. Он, по своему обыкновению, неторопливо и обстоятельно рассказал все, что знал. Джигиты примолкли и слушали, нахмурившись.

Акылбай поведал, что напали сегодня рано утром, что, жестоко избитые, в крови, остались лежать на земле Азимбай и его люди, около двадцати человек. Угнаны восемьсот коней из табуна и лошади под седлами. Не оставили ни одного, даже са-



мого хилого стригунка. Говорят, что лошадей угнали в сторону Чингиза.

Сам Акылбай в час набега сидел в шалаше табунщиков, на временной их стоянке. Раненый Азимбай с двумя уцелевшими табунщиками смогли добраться туда, и один из них воспользовался конем Акылбая, чтобы доскакать до ближайшего аула родственников и привести оттуда коней для остальных.

Когда Акылбай добрался в своем рассказе до этого места, Абай неожиданно прервал сына, спросив у него:

– Ну а ты почему остался на стоянке? Что ты там делал?

– Меня Азимбай пригласил, с утра звал с собой к табуны. А что мне было делать при табуны? Я остался на стоянке, чтобы покушать куырдак, который готовил поваренок.

– Ну и что, покушал?

– Только начал есть, а тут поваренок зачем-то вышел из шалаша, да тут же и прибежал обратно. Говорит: ага, там, в долине, шум большой стоит. То ли волки напали, то ли барымтачи, а может, гоняются за отбившимися конями. Что будем делать? – спрашивает.

– А ты?

– Я ответил, что покушаем куырдак и пойдем посмотрим. Такой вкусный куырдак получился – из печени и ляжки пятимесячного жеребенка, мягкий, скользкий от жира, просто объедение...

Абай перестал спрашивать и грозно нахмурился. Дармен почувствовал, что Абай-ага близок к гневу, вот-вот сорвется и набросится с насмешками и руганью на своего старшего сына... И самым непринужденным тоном, Дармен стал все сводить к шутке.

– Да благословит твою невозмутимость всемогущий Кудай! Разве могли разбойники или волки отвлечь нашего Акылбая в ту священную минуту!

Чуткий Магаш тут же решил поддержать Дармена:



– Куырдак из нежного мяса жеребенка представляет собой очень серьезное испытание! Можно действительно обо всем позабыть, ни на что не обращать внимания...

– Не надо! – отбивался Акылбай. – Вижу, мальчик уж очень беспокоится, говорю ему: «Выйди, посмотри». Он вышел, вернулся с криком: «Ойбай! Напали барымтачи! В лощине, слышно, бьются насмерть! Кричат «аттан! аттан!». Косяки угоняют в сторону Шолпан. Что делать?»

Абай:

– Ну, а ты что?

Магаш:

– Акылбай-ага, я полагаю, вы запрыгнули в седло и ринулись в бой? Или помчались за Шолпан догонять табуны?

Акылбай:

– Никуда я не поскакал, парень, отстань! Продолжал кушать куырдак, ясно тебе? Ждал, когда кто-нибудь прискачет и все объяснит.

Абай:

– И ты считаешь себя мужчиной? Но, может быть, ты сейчас врешь, сидя перед нами?

– Незачем мне врать, ага. Не думайте, что я испугался. Просто не хотелось делать лишних движений, – объяснял Акылбай.

И тут в комнате грохнул общий смех. Улыбнулся даже Абай.

– Сами подумайте, – продолжал Акылбай. – Лошадей уже угнали за Шолпан, дорога в глубоких сугробах. Ну, я погнался бы за ними вдогонку – и что толку? Где бы я их догнал – в толстой шубе, пробираясь по оврагам и буграм? Может быть, только в Ералы и догнал. А что бы я делал с барымтачами? Драться один против многих, как храбрый батыр, я не смогу, – осталось бы только хныкать перед ними да унижаться! Нет, быть таким батыром я не желаю!

На этот раз Магаш и Какитай не стали смеяться. По виду Абая они поняли, как глубоко задет и расстроен их агатай словами и поведением Акылбая. Им тоже было неловко за него пе-



ред Абаем, но не хотелось, чтобы разгневанный отец сорвался и начал бранить и унижать их добродушного старшего брата.

Однако Абай, внимательно приглядевшись к своему первенцу, усмехнулся и молвил вполне миролюбивым тоном:

– Голубчик мой, если бы тебя услышал кто-нибудь посторонний, то непременно подумал бы, что ты настоящий болван. Ведь что завтра могут сказать люди? Скажут: пока один из внуков Кунанбая сражался, как мужчина, с врагами, другой сидел в шалаше, ел куырдак и лизал жир со дна казана.

Все рассмеялись шутке Абая, смеялся и сам Абай

После этого, оставив в покое Акылбая, Абай стал серьезен и перешел к тому, что его сильно обеспокоило.

– И кто же были они, эти барымтачи? – спросил он.

– Говорят, что во главе стояли Базаралы и Абылгазы, – сообщил Акылбай.

– Базаралы? Абылгазы? – быстро переспросил Абай, озабоченно взглянув на сына. – Что же ты сразу не сказал?

И тут Абай невольно высказал мысль, которую ему не хотелось бы выражать вслух:

– Вот к чему привели насилие, клевета и вероломство Такежана!.. А вы что думаете о Базаралы?

Спросив это, он испытующим взглядом обвел лица своих друзей.

Молодежь молчала. Никто не решался высказаться. Все ждали, что скажет сам Абай.

Он также долго молчал, потом заговорил спокойно, свободно, уверенно:

– Друзья мои, такого дела никто еще из тобыктинцев не совершал. Это поступок гнева и мести. Праведного гнева и неотвратимой мести. Последствия этого события, скажу вам сразу, будут тяжелыми. Не скоро и не очень хорошо для всех оно закончится. Поживем – увидим. Однако, чем бы оно ни закончилось, начало его мне видится мощным и благородным. Да, мои дорогие, – это дело мести, народной мести. Мне в свое время



стало известно, что Базаралы поклялся отомстить Такежану. За те бесчинства, которые он устроил по отношению к нищим жигитекам, напустив свои стада на их аулы. За многое другое в прошлом, – поправшее честь и самого Базаралы... Я говорил с Такежаном, просил его не пробуждать глубоко скрытой ярости в груди джигита. Но, видимо, один из нас, кунанбаевских отпрысков, перестал бояться Бога. Он решил бросить Ему вызов, творя беспредельные злодеяния людям – во имя своей алчности. И небо приняло его вызов. Оно не уничтожает свою тварь, но дает ей знать, по какому пути может пойти наказание, – и это месть людей, которых обидел безбожник... людей кротких, чистых, терпеливых.

От слов Абая пришел в восхищение Ербол.

– Апырай, мой Абайжан! Я сегодня услышал что-то необыкновенное от тебя! – воскликнул он.

Но остальные молчали. Молодежь не могла внять мысли Абая, раздумывая о беде Такежана. И лишь на лице Дармена уловив чувства, сходные с чувствами Ербола, Абай высказался, глядя на юношу:

– И вот с чем еще хочу с вами поделиться. Читая русские книги, я немало узнал о том, как этот народ боролся против насильников, узнал про его отвагу и мужество в борьбе за справедливость. А ведь у нас в степи – многие ли поступают так? И вот я вспоминаю дела и поступки Базаралы и думаю, что именно он способен на великие подвиги. Он поклялся отомстить Такежану за народ... Думая о нем, я и стал в эти дни перечитывать «Вадима», уж очень напоминает он Базаралы! Они словно перекликаются! Благородный бедняк поднимает меч праведного гнева на вероломного насильника-бая...

Сын Магаш и его друзья не стали распространяться, что они думают по этому поводу. Если все, что говорят здесь, каким-нибудь образом дойдет до Такежана, то в нем может пробудиться зверь, яростный и злобный, и между братьями вспыхнет непримиримая вражда. Понимая это, Магаш не смог вовремя



остановить отца, чтобы тот не высказывал вслух некоторых своих выводов насчет дяди Такежана, и теперь решил отвлечь его... Магаш переглянулся с умным Какитаем, и они оба постарались в дальнейшем не поддерживать разговора на эту тему. Выбрав удобный момент, когда Абай умолк, сын задал совершенно неожиданный для него вопрос:

– Ага, а нельзя ли нам остаться в стороне от раздоров дяди Такежана и Базаралы? Ведь мы не были зачинщиками или подстрекателями с какой-нибудь стороны. Хотели, правда, быть посредниками в переговорах, однако ничего не добились, и на этом наше участие закончилось. И хорошо сделал Акыл-ага, что не поехал с Азимбаем, а поскакал сразу к нам. Он поступил мудро и расчетливо, как всегда... А теперь давайте оставим этот разговор и вернемся к обсуждению «Вадима».

Абай был не против. Он тонко оценил дипломатию и осторожность Магаша, беспокоившегося об отце, и непринужденно перевел общий разговор к роману Толстого «Анна Каренина», о котором недавно в кругу Абая также проводилось довольно большое обсуждение...

Итак, в то время как весь Иргизбай встал на дыбы и буквально заставлял дом Кунанбая поднимать шум, бурлить, скандалить, брыкаться, бить копытами, – дом Абая в Акшоки во всем этом никакого участия не принимал. Но до них ежедневно доходили вести. Пришла очередная: «Испугавшись гнева кунанбаевцев, Кунту сбежал в город». Эту весть принес Шубар, который остановился в Акшоки с ночевкой, – по пути в Семипалатинск. Его Такежан послал в город с наказом, чтобы он там способствовал делу поимки беглого каторжника Базаралы. Находясь у дяди, Шубар полностью утолил жажду новостей для дома Абая по этому делу. Возбуждая небывалый иск по угону восьмисот голов коней, Иргизбай вознамеривался одновременно скинуть Кунту с должности волостного акима и посадить на это место Оспана. Было уже известно, что предварительно Кунту согласился уступить должность, а



Оспан – занять ее. Шубар также сообщил, что Кунту легко пошел на это: он уже давно подготовил «приговор», что его аул и полусотня очагов рода Бокенши добровольно переходят под ведомство соседней Мукырской волости. И Мукыр дал согласие взять их под свое крыло. Таким образом, Кунту теперь благополучно убежал от ответственности за невиданную барымту Базаралы, случившуюся в подведомственном волостному голове округе. Много знавший Шубар рассказал, что вместо поддержки Базаралы, которого Кунту со товарищи подстрекали к нападению на иргизбаев, теперь они готовы были предать его и объявить «беглым каторжником». И если новый волостной – сын Кунанбая – потребует ареста Базаралы, он будет пойман и вновь закован в кандалы.

Однако дом Кунанбаевых во главе с Майбасаром и Такежаном вовсе не желал этого. Ведь если Базаралы сдадут властям, и он снова загремит в Сибирь, то мырзе Такежану никогда не получить возмещения за восемьсот угнанных коней. С кого получить кун за разбой? Неужели с бритого кандалника (который считается – по казахским понятиям – уже почти что душой мертвой), собственной головою ответившего за свои преступления?

Подобные соображения заставили Такежана и его круг пойти на особенную уловку. Базаралы властям не выдавать, оставить его в Жигитеке, а самого джигита судить по законам степи, признать виновным в разбое – и взыскивать кун за барымту со всего рода Жигитек.

Но такой оборот не устраивал род Жигитек. Главари его не хотели платить такой огромный кун, который полагался за угон восьмисот лошадей. Им нужно было выставить вину одного Базаралы, тем более, тот готов был пойти на это, чтобы не пострадал за него весь род. И биям и баям Жигитека надо было сообщить русскому начальству, что Базаралы – известный разбойник и конокрад, одинокий волк, отвечающий только за себя. Но надо скрыть, что он беглый каторжник, для этого называть его в челобитных не Кауменовым, а Кенгирбаевым. Тогда он не



будет арестован властями и сможет предстать перед казахским судом.

И все же ни одна сторона не была уверена в успехе своих планов. Такежан, Майбасар и Оспан решили вскоре сами поехать в Семипалатинск. Шубар передал, что Такежан в большой обиде на Абая.

«Недавно Абай приезжал ко мне, – говорил Такежан всюду. – Нес всякую белиберду, заступался за Базаралы! Это Абай настраивал его против меня. Довольно слушать его проповеди «о человечности», «о справедливости». Пусть идет к шайтану! Кто хочет быть со мной – держись подальше от Абая!»

Такежан очень старался привлечь на свою сторону Оспана, обещал ему помочь заполучить место волостного старшины.

Теперь, ввиду семейной междоусобицы, Шубар делал вид, что он входит в круг Абая, хотя на самом деле служил интересам старших Кунанбаевых – Такежану, Майбасару. Он с неприкрытым видом появился в Акшоке, на пути следования в Семипалатинск, куда он ехал не просто как посланец от старших, – но как направляющее их действия в единое русло доверенное лицо. Однако это хитрый Шубар скрывал от Абая и выставлял перед ним старших родичей в самом неприглядном виде...

Абай видел это лицемерие, и поэтому, зная, что слова его непременно дойдут до Такежана, решительно наседавал на двуличного Шубара:

– Пусть даже и не думают о том, чтобы снова сослать Базаралы! Не смей выдавать его властям! И ты не думай, что это в интересах Такежана. Если намереваетесь еще раз загнать этого человека на каторгу и при этом еще получить кун с жигитеков – то знайте, что я стану на их стороне. И ни одного паршивого стригунка не позволю получить с них! Пусть они хорошенько запомнят это!

В час, когда Шубар уже готовился выезжать, в ауле неожиданно появились старшие кунанбаевского рода: Майбасар,



Такежан. С ними были нукеры, многочисленная обслуга. Оказалось, что они срочно сами решили ехать в город. Увидев Шубара в абаевском доме, Такежан скривился от досады и недовольно проворчал:

– Е, ты ли это, наш расторопный джигит, которого мы послали в Семей? Мы-то думали, что ты уже там, а ты, оказывается, заскочил сюда и торчишь здесь, – неужели затем, чтобы никого не обидеть, а?

Неожиданно оказавшись между Такежаном и Абаем, хитроумный Шубар несколько растерялся и пробормотал не очень убедительно:

– Вот, надо было сменить лошадей, чтобы поскорее доехать. Уже послали джигитов за конями, сейчас и выедем.

Абай чуть заметно улыбнулся: еще звучали у него в ушах недавние слова Шубара: «Ага, заехал к вам, чтобы посоветоваться»... Изворотливый плут, да и только! Абай покачал головой.

Такежан спешил, не захотел даже оставаться на обед. Он объявил, что желает наедине поговорить с Абаем, для того и свернул с пути, заехал в Акшоки. «Времени нет чай пить, хочу что-то срочно сказать тебе...»

Абай не захотел уединяться с ним.

– Говори! – решительно произнес он. – Тут все свои.

Такежана убедил заехать и поговорить с Абаем их дядя Майбасар. Он же и советовал, чтобы Такежан говорил с братом наедине. Однако Абай все сделал по-своему. Никто из комнаты не вышел, даже самые младшие – Дармен, Магаш. Остались сидеть на месте и Майбасар с Шубаром.

Раздраженный своеволием хозяина дома, Такежан, в душе кипя возмущением, начал разговор в напряженном тоне.

– Я приехал просить у тебя помощи. Поедем со мной в город.

– Что прикажешь мне там делать? Думаю, что защитников и помощников всяких у тебя найдется немало. Зачем я нужен тебе?



– Понадобишься, если надо будет говорить с начальством.

– С начальством, ты знаешь, я не на дружеской ноге. Сановники почему-то раздражаются при виде меня.

– Хоть и раздражаются, но считаются с тобой! Они тебя уважают. Мне-то как раз и нужно это их уважение.

– И что? Ради этого мне обязательно нужно лезть в огонь?

– Я твой брат, и я уже горю в огне! Ты что, решил не рисковать своей головой, а моя пусть пропадает?

– Тот, кто обжегся в огне, должен подумать, почему он попал в огонь, не так ли, брат?

И тут обида взяла Такежана, насупившись, он глухо пробормотал:

– А чего мне думать, – ты же у меня есть, обдумывающий все и знающий то, чего я не знаю ...

– Добро. Тогда слушай меня. Ты погорел оттого, что доводил народ до слез. Это проклятие людей пало на твою голову...

Так говорил Абай своему брату, сидя напротив него за низеньким столом, устремив на него свои сверкающие черные глаза.

– Ту-у! Это когда же ты перестанешь называть «народом» всякое отребье, которое разносит по степи, как песчинки в бурю! Их не счесть, а следов от них на земле никаких не остается! Ты таких называешь «народом»?

– Да, именно, таких, – они и есть народ. Действительно, их не счесть, а таких, как ты, брат, не так уж и много. Но ты издеваешься над ними, и они плачут от тебя. И это народ нуждается в моей помощи, а не ты. Так на чьей же стороне мне быть, – неужели на твоей?

Эти слова Абая показались юному Дармену откровением. Такежану же они нанесли рану в самое сердце, он ударил кулаком по столу и, задыхаясь, крикнул:

– Тогда открыто скажи: «Я не сын своего отца Кунанбая, я враг всех уважаемых людей, друг каждой нищей твари!»

– Если так тебе угодно, то все верно!



– Ты сбился с пути предков! Верно говорят Оразбай, Жиренше о тебе – «сбивает народ с праведного пути». Ты выродок в нашей семье, отщепенец нашего рода, хочешь и меня, наверное, сбить с пути истинного!

– Если твой путь – это и есть путь истины, то я действительно отказываюсь идти по нему! Если из-за этого род Кунанбая считает меня отщепенцем, то воля ваша!

– Ты не только сам выродок, но хочешь, чтобы и дети твои стали такими же! Поэтому твой сын Акылбай сидел в шалаше и жрал куырдак, когда наши общие враги били моего сына и угоняли моих лошадей! Наверное, сынок твой глотал кусок за куском и приговаривал: «Шок, шок! Бейте его!» Не так ли, скажи?

– Ты считаешь, что Базаралы, угнавший твой скот, и я, объяснивший тебе, что ты сам виноват, – твои «общие враги»? Так добро же, я согласен с тобой!

– Значит, признаешься, что ты мне враг?

– Ты первым сказал это слово. В таком случае, беги, поймай сначала Базаралы, а потом возвращайся и хватай меня!

– На этот раз Базаралы от меня не уйдет! Уничтожу его!

– И ничего не получишь за украденных коней! С каторжника, что с мертвого, ничего не возьмешь, а с рода Жигитек кун заполучить тебе не удастся! Я сам готов выступить на суде за жатаков – против тебя!

– Абай! Он же разорил меня! Угнал весь мой скот! Разве в моих руках осталось еще хоть какое-нибудь добро, чтобы оберегать его от воров?

– Ты посеял насилие, получил в ответ беду. Первым нанес унижение, получил в ответ барымту.

Тут не выдержал Шубар.

– Оу, Абай-ага, что вы говорите! Разве Базаралы не вор, угнавший чужой скот и потом уничтоживший его, – весь целиком? Разве в степи может быть страшнее преступление, чем это? Ведь люди честным трудом наживали добро, а вор его



украд! Абай-ага, по шариату воровство считается тяжким преступлением!

– Шариат не должен быть на стороне Такежана. Если шариат окажется на его стороне, то в нем нет истины, и он ведет к заблуждению.

– Так ты что, отрекаешься от священной веры предков, не признаешь мусульманских законов? Абай! Лучше бы ты стал моим кровником, чем докатиться до такой ереси!

И с этим выкриком Такежан изо всей силы ударил плетью по книге, лежавшей на столе перед Абаем.

– Кровником, говоришь?! – переспросил Абай, грозно сверкнув глазами на брата. – Ладно! В таком случае, если ты выдешь голову Базаралы сановникам, я потребую с тебя кун не только за него! Ты заплатишь кун еще и за Ису, который был отправлен тобою на верную смерть.

При этих словах Такежан сразу поник и опасливо заозирался, словно давно ожидал, что найдутся такие недоброжелатели, которые заговорят об этом.

– Что, по-твоему, выходит, это я его убил? – стараясь придать голосу крайнее удивление, промолвил он. – Но какое тебе дело, брат, до этой смерти? Ису Всевышний прибрал, умер он от болезни, как известно.

– Нет, не Божья кара настигла его, а это вы с Азимбаем побоями погнали его, раздетого, голодного, в буранную степь! Он простудился, заболел и умер, – погиб ради твоего скота. Ну а ты не соизволил даже отнести в его дом горячей пищи, когда он лежал при смерти. Ты присвоил шкуры четырех волков, убитых джигитом, а взамен не отдал в его дом и четырех козлят. Даже одним тощим козленком не отдался! И ты хочешь доказать, сидя тут передо мной, что не ты убил Ису?

Такежан к ужасу своему почувствовал, что Абай знает многое, связанное со смертью Исы. Достаточно было и того, что здесь только что прозвучало из уст Абая, – разнесется молва по степи, падет новая напасть на дом Такежана...



– Ты что-то спрашивал про народ... Так вот, Иса и такие, как он, – это и есть народ. Его плачущие от голода и страха сироты, и его больная жена, которая тоже скоро умрет, и его мать, старая Ийс – все это народ. Великий подвиг совершил мужественный Иса – и все это ради чужого имущества. Люди из народа могут совершать такое. Ни ты и ни твой Азимбай не способны на такое благородство... И, кто знает, – может быть, в последней своей ярости, схватив за шею волка, Иса вдруг увидел перед собой не волчью морду, а голову твоего сына Азимбая? – Абай не подозревал, как его тонкая поэтическая прозорливость близко подошла к истине.

Дармен внимал этим словам молча, опустив голову. Он вспоминал, как они с Магашем на мятежном поле Шуйгинсу, во время осеннего сенокоса, подходили к добродушному великану Исе и разговаривали с ним... Сидевший рядом Магаш вспоминал о том же.

После недолгого молчания Абай продолжил:

– Базаралы тоже один из таких джигитов. Разве я могу быть не на их стороне? А теперь слушай меня внимательно, Такежан. Осмелишься сдать его властям, я начну против тебя такую тяжбу, что не обрадуешься. Запомни это!

По завершении этих слов Майбасар и Такежан молча встали и удалились из дома.

Абай заговорил об Исе вовсе не для того, чтобы пригрозить Такежану. После гибели славного джигита Абай места себе не находил. Узнав о его кончине, послал Дармена принять участие в похоронах, привести и пожертвовать на тризну Исы овец из своего небольшого стада, содержавшегося в зимнике Оспана. Дармен все исполнил, от имени Абая и от себя выразил скорбь по поводу смерти кормильца матери и вдове Исы. Тогда же старая Ийс рассказала Дармену о его подвиге в ночной схватке с волками, о болезни и смерти Исы. Вернувшись к Абая, Дармен все это сообщил ему. И для Такежана было неожиданностью, что Абай знает о подробностях смерти Исы.



Шубар хотел выехать немедленно вместе с Такежаном и Майбасаром, но Абай настоятельно попросил его, чтобы он немного задержался. Абай написал послание Кунту и отдал Шубару, чтобы он передал ему. «Если уходишь с должности волостного, то уходи по-хорошему. Не смей выдавать Базаралы!» Написал Абай и брату Оспану: «Хочешь быть волостным, то становись им, не навлекая на себя проклятья народа. Между нами всегда была близость, но теперь я вижу рядом сома, который хочет уйти от меня подальше и держаться на глубине. Но какой бы иблис-искуситель ни соблазнял тебя, не смей отдавать Базаралы в руки властей. Это я тебе говорю, твой старший брат».

Итак, степная распря между Такежаном и Базаралы на стадии судебного разбирательства биев переместилась в уездный город Семипалатинск. Тому содействовали усилия многочисленных ходатаев, родовых старшин и просто горячих сторонников сильного рода Иргизбай, а в роду этом – знаменитой на всю степь семьи покойного хаджи Кунанбая.

Сторонниками потомков Кунанбая город был переполнен, они слетелись, словно падальщики-вороны, собирающиеся со всех концов степи, если им есть чем поживиться. Ожидались суд и расправа над теми, кто посмел совершить барымту на скот самых именитых баев. Дерзких барымтачей дружно поносил хор таких же богатых, как Кунанбаевы, владельцев неисчислимых стад, требовал самой суровой расправы над дерзкими разбойниками. «Ворон ворону глаз не выклюет» – и богатеи Тобыкты призвали на «суд всего народа» представителей соседних родов и племен, чтобы жестоко покарать смутьянов. К тяжбе Такежана – Базаралы съехались баи и мырзы со всего Семипалатинского уезда: Рагыш из Аршалы, рода Керей; Али из Басентиин; Алдонгар от рода Бура; Нурке, волостной из Кокена, от рода Уак; Шынжы от Семейтауской волости – и еще многие другие... Все они собрались в городе, объединившись вокруг кунанбаевских детей.



Но предусмотрительный Оразбай остался сидеть в своем ауле. В душе он радовался тому, что Иргизбай и Жигитек крепко столкнулись лбами. Про себя он думал: «Шайтан на оба ваши рода!» Но открыто переходить на сторону Жигитек не хотел, а при случае, когда попадались ему люди, которые могли донести до аулов Кунанбаевых его слова, Оразбай истово отнекивался от жигитеков.

– Сохрани Аллах, чтобы мне дурное что пожелать Такежану! Разве я кровный враг ему? И пусть всякое зло исчезнет вместе с Базаралы! Если завтра Олжай разделится надвое, то я, конечно, буду там, где окажется Такежан!

Кунту по прибытии в город сразу же прибежал к уездному правителю, затем поспешил к крестьянскому начальнику. Там и тут он заявил: «В народе началась большая смута, но в этом нет моей вины! Племя наше маленькое, Бокенши не имеет такой силы, чтобы обуздать большие враждующие роды. Участники нынешней распри – люди богатые и крупные, не мне с ними тягаться. Поэтому хочу оставить должность!»

Его добровольный уход из волостных был по душе Казанцеву, ибо он с прошлых выборов, не сумев выполнить обещание, данное Оспану Кунанбаеву, как бы остался перед ним в должниках. И теперь, приняв отставку Кунту, уездный начальник с легким сердцем личным распоряжением назначил волостным правителем Оспана.

Исполнилось и заветное желание Кунту: после столь легкого освобождения от должности он сумел воспользоваться заранее подготовленными «приговорами» и перевел свой большой аул, присоединив к нему соседей Бокенши, под правление акима Мукурской волости.

Таким образом, все аткаминеры, бии и баи, которые подстрекали Базаралы и обещали ему поддержку в борьбе против кунанбаевцев, вмиг оставили его без всякой помощи и защиты.

Отправляясь в город, Кунту через гонцов отправил аткаминерам рода Жигитек – Абдильде и Бейсенби такое послание: «За



то, что сами натворили, отвечайте своей головой. Чтобы власти не отправили карательные войска в степь, отправьте виновных в город. Пусть держат ответ перед судом биев».

Бейсенби и Абдильда, собрав аткаминеров из зажиточных аулов Жигитек, держали совет. Вызвали туда и Базаралы. Всем стало ясно, что жигитеки перед всем враждебным миром остальных тобыктинцев остались совсем одни – маленькой беззащитной кучкой беспомощных людей. Абдильда, умевший найти выход из любого сложного положения, заговорил, глядя на Базаралы:

– Мы остались торчать одни, словно обгорелый пень на пожарище. Во всем краю у нас не осталось родственников, на кого мы можем положиться. Ушли в сторону, обманули, разбежались по своим норам. А ведь тех, кто натравливал на дело, было не так уж мало. Теперь они все собрались в кучу и жаждут одного: наказать нас. Говорят открыто: «Жигитеки, пока еще ваша душа держится в теле, не медлите, а придите в город и покорно склоните головы перед нами!»

Абдильда по-прежнему жестким взглядом смотрел на Базаралы.

– Вся эта беда – дело твоих рук, – сказал Абдильда. – Считаешь себя мужчиной, – должен пойти на суд и держать ответ. Сам езжай в город! – решительно закончил он.

Базаралы понял, что Абдильда и Бейсенби тоже хотят отойти в сторону, побережь свои головы. И он не стал медлить с ответом, обвел всех спокойным взглядом и коротко ответил:

– Верно, это дело моих рук. Отвечать буду сам.

Дальше, с тем же спокойным, мужественным видом, Базаралы продолжил:

– С самого начала я знал, что не все жигитеки станут трусливо прятаться по оврагам, но также знал, что найдутся и такие, которые скажут: «Мы в стороне от Базаралы, это его беда, не наша!» Вижу, что не ошибался. Оставайтесь дома. Я и не думал, что сидящие здесь аткаминеры и уважаемые бии Жигитек



в трудный час встанут за меня. Однако я не собираюсь и тянуть за собою сорок джигитов, которые были со мной. Отвечу один – головою своей, честью и совестью. В город, куда я поеду, пусть сопровождают меня только джигиты Абди и Сарбас, они меня не оставят. А вы, уважаемые мырзы и би́и, сидите на месте, тряситесь от страха, согнув спины, не смея поднять головы.

Сказав это, Базаралы поднялся, отряхнул полы чапана и вышел.

По дороге в город Базаралы ехал с двумя джигитами, погруженный в свои размышления. Некоторыми из них он делился со своими спутниками, но иные, непостижимо глубокие, так и остались неизвестными для друзей. Пропустив их вперед, Базаралы ехал по караванной тропе сзади. Трое верховых на ней выстроились гуськом. Серый в светлых пятнах конь Базаралы выглядел бодрым, хорошо откормленным, но не чрезмерно упитанным. Ход его был ровным, шаг мягким, и на всем долгом пути не сбивался, не мешал всаднику, погруженному в непростые думы.

Просторная, пустынная, до волнистого горизонта всхолмленная степь, неровно покрытая снегом, была объята властью мирной, непоколебимой тишины. Природа, словно укрыв свои великие силы в безмолвии, пребывала в ожидании грядущего пробуждения – первого могучего порыва к новым бурям и потрясениям. Не так ли происходит и перед пробуждением таинственных сил народных? И так же, в тишине глубинного бытия, хранятся в народе его непомерные силы. А если на поверхности зимней степи вдруг пронесутся метели, кружа белые хлопья снега, ударят крепкие морозы, завоет вьюга – все неисчислимы, плавно бегущие холмы предгорий и величественные хребты с белыми вершинами будут таить в себе те же силы, что предощущаются в кроткой тишине этого дня. Когда же придет весна, подуют теплые ветры и солнце брызнет теплом своих лучей на землю, – эти силы выйдут из таинственных недр, растопят снега, потекут ручьями и выбросят на поверхность степи весеннюю новь жизни...



Зима привычна для людей, хотя все живое спит под снегом и льдом, думал Базаралы. Но зима не может быть вечной... Слышал он от Керала и других русских каторжан такие слова: «Взойдет наше солнце». Они ждали, что их Россия когда-нибудь вспрянет ото сна – настанет неимоверно прекрасное время. И лучи яркого света нового солнца России разлетятся во все концы земли. Эти люди верили, что если не они сами, то их дети увидят такие времена. «Они и мне говорили: твои дети тоже увидят. Придет такой день, настанут новые времена! В мире ничего нет такого, что бы длилось вечно. И эта наша жизнь переменится, хотя нелегким будет путь к переменам, и много жертв потребуется для этого. Вот я сам еду на суд, моя жизнь будет такой жертвой, но я не пожалею об этом. И мой народ не забудет обо всех жертвах, которые будут принесены ради его счастья. Иншалла! Наступит оно, новое время, я верю, и это для меня – надежда и утешение».

Такие мысли укрепили дух Базаралы, и он был готов к предстоящему судилищу. Джигиты въехали на вершину высокого взгорья. Базаралы остановил своего рослого коня и, выпрямившись в седле, оглядел бескрайние холмистые просторы, выбеленные снегом. Никакие суды и допросы не страшны были этому огромному батыру. Он ехал к месту суда, заранее победив в великом сердце своем всех дознавателей и строгих биев.

Пронеслась весть по городу: «Приехал сам Базаралы, хочет один держать ответ за весь Жигитек». Большой косяк ходатаев, радетелей, жалобщиков по делу сыновей Кунанбая кружился вокруг богатейшего мырзы Нурке, начальника волости Кокен. Он был одной из самых значительных фигур степной знати, занимался торговлей скотом, имел в городе собственный большой дом. Владея неисчислимыми стадами, Кокен гонял скот не только в степные края и к горным волостям Семипалатинского уезда, но и за границу в Китай. И всюду по обоим берегам Иртыша знали Нурке, почитали его за богатство, знатность, к нему



в городской дом захаживал не только уездный начальник, но заезжал сам губернский «жандарал».

Съехавшиеся на клич Кунанбаевых в город, аткаминеры из разных волостей, бии и старшины ходили толпой вслед за Нурке, который возглавил, по просьбе истцов, дело о тяжбе Такежана – Базаралы. По их же настоянию мырза Нурке побывал у начальника уезда, по-свойски доверительно просил его: «Предоставьте дело самим казахам. Мы бескровно и быстро разрешим эту распрю по нашему степному праву, доводить же дело до городского суда нет смысла. Но если преступник не подчинится нашему решению, мы сами свяжем его и сдадим в ваши руки!»

Надо сказать, что, при всей видимой доверительности между городскими властями и степными, царские чиновники совершенно не имели представления, что обсуждаемый преступник является беглым каторжником. Когда надо было в бумагах обозначить фамилию Базаралы, он был назван Кенгирбаевым, а не Кауменовым. Не раз прибегало волостное начальство в степи к подобной уловке, когда, по каким-нибудь причинам, надо было скрыть перед русским начальством подлинную фамилию казаха. И превращался степняк-имярек в Жигитекова, Кишекенова, Найманова – по именам давно умерших предков. В деле Базаралы его представили Кенгирбаевым. На эту хитрость Кунанбаевы пошли с одобрения биев и глав родов Керей, Сыбан, Басентиин, – и все это для того, чтобы не упустить из рук ответчика Базаралы, которого русские власти могли снова угнать на каторгу.

Дом Нурке стал главным местом, где обсуждалось и решалось дело детей Кунанбая. Каждых два-три дня от них приводили во двор и резали то годовалого стригунка, то жирную кобылу, ежедневно резали баранов, опаливали на костре. С утра и до вечера подавали зимний кумыс. Сошлись в доме молодые волостные – Темиргали, Айтказы, Али, Ракыш, Оспан – и городские купцы. Получилась веселая компания. Днем вместе бродили по



городу, заходя в гости в чей-нибудь гостеприимный дом, чтобы вместе пообедать и разгульно, по-городскому, распить хмельного *киршима*. А вечерами, отделившись от старших, молодые баи уходили в одну из уютно обставленных комнат мырзы Нурке и веселились дальше. Пели, веселились, бражничали, играли на деньги в русские карты, неразумно разбрасываясь деньгами. В итоге, за десять дней разбирательства и тяжбы компания волостных и биев изрядно поиздержалась.

Родственник бая Тыныбека, Нурке отводил особенное внимание дому Кунанбая, считая его детей и своими родственниками, и просто нужными в его степных торговых делах людьми. Пользуясь случаем, он решил особенно сблизиться с ними. Тем не менее, считая тяжбу сугубо делом интереса Кунанбаевых, торговец брал с них за содержание всего судебного собрания, и, мало того, тайно приказывал своим работникам – часть пригоняемого на убой скота перегонять на свой двор. Однако при встречах с Такежаном ли, с Оспаном или Шубаром неизменно говорил, прижимая ладонь к груди:

– Мне ничего не жаль для детей великого хаджи! Одно желание у меня: быть на вашей стороне, остаться истинным другом в час испытания, когда он настанет! Люди, что находятся здесь, в моем доме, – это и ваши гости, и мои! Слава Всевышнему, мы не бедны, у нас хватит достатка, чтобы как следует всех принять и угостить.

Но тем из окружения кунанбаевцев, на которых Нурке рассчитывал в будущем, – влиятельным биям, волостным он делал богатые подарки: лисьи шубы, расшитые чапаны и бешметы, сшитые городскими портными.

С прибытием Базаралы можно было начинать разбор тяжбы. Сарбас, расспросив людей, узнал, что со стороны Кунанбаевых будет выступать на суде Шубар, который слыл в роду самым красноречивым, осведомленным, находчивым и умным человеком после Абая. Об этом Сарбас, вернувшись, рассказал Базаралы.



Но Шубар привез Оспану письмо от Абая, в котором он предостерегал брата: не смей выдавать властям Базаралы. Послание такого же содержания Абай отправил волостному Кунту через того же Шубара, двуличность которого обнаружил Такежан, когда застал его в Акшоке у Абая. Поэтому встретил Шубара в городе Такежан неприветливо. Потеряв свое достоинство, он теперь среди родственников мог говорить только об этом, и на всякого, кто не выслушивал его с сочувствием или должным вниманием, Такежан набрасывался с бранью. Его знали как человека необузданного, буйного, в гневе доходившего до крайностей, поэтому старались не задевать его. И вот теперь, в окружении Майбасара, Исхака, Оспана и прочих родственников, он с утра до вечера изливал перед ними свою обиду, исходил желчью. «У Абая нет ко мне никакой жалости! Знаю, – он сочувствует кровопийце, сыну Каумена, а не сыну Кунанбая! Жа! Все люди, которые бывают у Абая, чтобы поговорить, посоветоваться с ним, – не мои люди!»

Когда он накинулся на Шубара, – как всегда, с грубой матерщиной, с пеной у рта, – тот ничем не мог ему возразить, потому что был младше, а еще потому, что в словах Такежана была сила убедительности и некая весомая правота. Старший сын Кунанбая бранил Шубара за то, что тот заезжал к Абаю и говорил с ним о чем-то, показав себя двурушником.

– Вдолби себе в голову: хотя ты родился от Кунке, но ты сын Кунанбая, а не Кунке! Мы все – не дети его жен-соперниц, наших матерей, а нас воспитал и поставил на ноги, вывел в люди наш отец Кунанбай! Это он наставлял каждого из нас: «Будь достойным имени своих предков!» А Улжан, Кунке – это всего лишь длинноволосые бабы, ума немного! Если ты родился мужчиной, то иди по отцовским стопам, проявляй истинно мужской характер, умеи хранить честь предков! Перестань вилять задом, работать на две стороны, не будь девкой вертявой! – Так бушевал Такежан, нагоняя страху на Шубара.



Хотя Такежан напомнил о величии общего для них отца, Кунанбая, но в его словах прорвалось давнее, изначальное соперничество его жен. Такежан, Оспан, Исхак – сыновья Улжан, сидели при этом разговоре рядом, один возле другого, а Шубар, сын Кудайберды, чья мать была Кунке, сидел напротив. Улжан родила многих сыновей, а Кунке – одного, который умер от чахотки в довольно раннем возрасте. К тому же сыновья Улжан были намного старше их племянника Шубара, – и, в соображение семейного старшинства, Такежан хотел приструнить Шубара, а заодно и подчинить его своему влиянию. Давно замечая, что бойкий и обходительный Шубар все более заметно выдвигается среди влиятельных людей рода, Такежан хотел перетянуть племянника от Абая на свою сторону. Так что в напоминании о том, кто кого старше в роду Кунанбая, содержался у хитреца Такежана свой расчет: он решил подавить Шубара силой и весомостью степных законов и традиций. На глазах у родных братьев он преподносил урок своего коварства, лицемерия и хитрости. Целью его было – переманить племянника от Абая, и в этой борьбе за Шубара, с одной стороны, выступала непререкаемая воля старших, тяжесть традиций, а с другой – лишь душевные укоры, разговоры «о чести, о совести». С одной стороны, могли изругать, надавить, пригрозить, и Шубар в ответ не мог и слова сказать, а с другой стороны – Абай мог обезоружить Шубара только своим огорчением, душевными переживаниями за него, если он ослушается.

Однако напрасно беспокоился Такежан и лукавил, – сам Шубар относился к главному призыву Абая – «к человечности!» – скорее, как к душевной игре, которой можно предаваться в спокойное время, в праздности, на поэтических сборах у Абая. А в буднях жизни Шубар оказался гораздо ближе к старшему дяде, и он мог свернуть, как коврик, все умные назидания Абая, отложить в сторону и полностью подчиниться воле Такежана.



На этот раз так и произошло, пришлось Шубару открыто перешагнуть через свою совесть. Такежан возложил на него родственные обязанности:

– Истцом со своей стороныставляю тебя. Считай, что я нанял твой хваткий ум и находчивый язык. Тебе поручаю защитить честь детей Кунанбая и отомстить за меня! Иншалла! Все передаю в твои руки.

На том и порешили. Истцом на суде выступил против самого Базаралы молодой Шубар.

Такое поручение радовало Шубара, он выдвигался вперед в роду Иргизбай, в кунанбаевском доме становился рядом с Такежаном и, благодаря этому суду, обретал известность в среде богатых и почитаемых владетелей и биев Семипалатинского уезда. И еще его радовало, что всюду стали распространяться слухи, неизвестно кем пущенные, что Шубара поставили истцом на суде потому, что искусством красноречия и своим умом он превзошел самого Абая, которого, мол, сначала и хотели назначить истцом от Такежана. Тщеславному Шубару такая слава больше всего пришлась по душе.

Итак, разбор тяжбы Такежана – Базаралы начался, бии и волостные начальники Семипалатинского уезда собрались в просторной гостиной дома мырзы Нурке. Послали за Базаралы, который с товарищами ждал во дворе.

Спокойной, уверенной поступью Базаралы направился к дому, за ним шли два его спутника. Вошли в переднюю, пол которой был устлан коврами и узорчатыми войлоками. Джигитов встретил приказчик хозяина, высокий смуглолицый человек с горбатым носом, по имени Атамбай. В комнате из боковой двери появился Шубар, назначенный бием, выступающим на стороне Такежана. Атамбай буркнул Базаралы и его товарищам: «Пока подождите здесь!» Затем почтительно обратился к Шубару: «Мырза, и вам предложено подождать», – и ушел в комнату биев.

В передней установилось молчание. Осмотревшись, Базаралы заметил, что на стене, рядом с входом в гостиную, висят



волчьи шубы и лохматые, широковерхие байские тымаки. На полу, прислоненными к стене, попарно стояли сапоги-саптама с войлочными мягкими голенищами. Сапоги по виду отличались от обычных, тобыктинских, – одни были с загнутыми носками, другие на высоких прямых каблуках. Тымаки на стенах имели необычно широкий верх, дорогого меха не пожалели, когда кроили, и шапки выглядели плоскими. Окинув взглядом всю эту байскую одежду и шапки, Базаралы повернул голову к Шубару и насмешливо улыбнулся.

– Смотри-ка, эти, с широкими макушками, не пускают нас к себе, заставили караулить свои сапоги! Мне-то что, я и не к такому привык, а вот тебе, мырза Шубар, каково терпеть такое унижение? – сказал Базаралы и рассмеялся.

Сарбас и Абди, растерянные и подавленные незнакомой городской обстановкой и ожиданием предстоящего суда, до этой минуты не только не смели улыбнуться в присутствии стольких важных баев, но и глаз не смели на них поднимать. Но после «широких макушек» Базаралы оба джигита неудержимо расхохотались. Они прекрасно понимали, в каком тяжелом состоянии находится их старший товарищ, и как он старается – не только не показать себя слабым перед предстоящей схваткой, но и сбить настроение бия Шубара своей насмешкой.

Но тот был не прост, и предпочел заранее не вступать с ответчиком ни в какие препирательства и разговоры. Шубар сделал вид, что не расслышал, медленно отошел в сторону и, вынув серебряный портсигар, закурил папиросу, стал расхаживать из стороны в сторону.

Заставив ждать в передней истца и ответчика, бии и баи в гостиной желали подчеркнуть, что они беспристрастно относятся к обеим сторонам. Однако никто из них словно не замечал того, что вместе с ними будут заседать почти все Кунанбаевы – Оспан, Такежан и прочие.

Через некоторое время раскрылась дверь гостиной, показался горбоносый Атамбай и пригласил войти. Вся большая комна-



та от порога до самого тора была устлана красными шелковыми коврами. На стенах красовались толстые узорчатые кошмы, повсюду висели золотом писанные молитвы из Корана. Вдоль стен были разостланы атласные корпе, на которых и восседали бии, баи, аткаминеры, откинувшись, опираясь локтями на белые пышные подушки. Когда вошел Базаралы и поздоровался, все напыщенное степное собрание сдержанно ответило на его приветствие.

Многих из них узнал Базаралы. Тяжело ему было встречаться с ними глазами, но когда один молодой, небольшого роста, изящной наружности, – мырза Айтказы, – подошел к нему и за руки приветствовал его, поздравив с возвращением из Сибири, у Базаралы немного посветлело в душе. Этот Айтказы был тобыктинец, из рода Кокше, но давно ушел в лесные края Белагашской волости, где жили русские и казахи, там занялся торговлей, разбогател, а в последний год даже сумел стать волостным...

Базаралы бросил на него благодарный взгляд. «Как знать, может быть, и он крепко потерпел от иргизбаев или кунанбаевцев, поэтому ушел из родных краев. А теперь хочет поддержать меня, мол, не падай духом, веди себя достойно», – подумал он. Среди приглашенных биев, разбирающих тяжбу, Айтказы был единственным из Тобыкты, остальные представляли другие роды и племена.

Среди замкнутых, отчужденных судейских лиц, представших перед ним в середине длинного ряда, Базаралы узнал еще богатея из рода Басентиин, мырзу Темиргали, пышно разодетого, холеного, полного, краснощекого человека. Узнал также и волостного старшину из Керее на Аршалы – чернобородого Ракыша. Рядом с Темиргали сидел хозяин дома, он же и глава волости Кокен, мырза Нурке. И никто из них, кроме Айтказы, лично не приветствовал Базаралы.

О, это были люди, довольные в степном мире местом под солнцем, что занимали, своим нажитым богатством, властью,



которую имели в своей волости. Они кичились нарядной, вышитой золотыми узорами, дорогой одеждой. Чего мог ожидать от них беглый каторжник? И они словно не замечали его, сидевшего прямо напротив них. Шубара же, когда он вошел и возвестил салем, все дружно приветствовали и усадили в своем ряду. Также они приветствовали Такежана, Оспана, Исхака, а некоторые, встав с места, подходили к ним, протягивая обе руки.

Все это видел Базаралы, и ему было ясно, каким окажется исход суда. Но сердце его не дрогнуло, и когда бай Нурке объявил начало суда и произнес: «Теперь выслушаем сторону обвиняемых», – Базаралы неторопливо расстегнул и снял с себя пояс с серебряной пряжкой, свободно раскинул по сторонам скрещенных ног полы чапана и, высоко подняв голову, спокойным, мужественным взглядом обвел лица судей.

– Эй, судьи! – властно произнес он, заставив всех присутствующих вмиг стихнуть, замолчать и невольно посмотреть на него.

Перед биями сидел, широко расправив плечи, могучий, уверенный в себе, красивый человек. Матово светился высокий осиянный лоб, румянец играл на крутых скулах. Он возвышался над всеми баями, биями, владетелями несметных стад, разодетыми в пышные одежды, надутыми, чванливыми, – и в своей бедной степной одежде выглядел значительнее всех вокруг себя. Все, далее им сказанное, – свободно, непринужденно, с легкой улыбкой в глазах, – было также значительнее и умнее всего того, что было тут произнесено.

– Сегодня здесь очень важный сход, собрались баи из степи и мырзы из города. Сородичи! Многих из вас я не знаю в лицо, но мне известны имена ваших предков, я слышал и о ваших достоинствах и делах. Одни из вас представляют кереев, другие – роды Бура, Матай... знаю, что здесь находятся и выходцы из уважаемого мною рода Басентиин, близкого нам. А вот сидят передо мной сыновья Кунанбая, почтенные наши мырзы, владетели больших стад, которые пришли судиться со мной.



У меня же нет ни гроша за душою, ни скота, ни двора, ни богатой родни – одни нищие жатаки стоят за моей спиной. Как же мне тягаться в суде с сыновьями Кунанбая? Ведь за ними-то вся сила золота и неисчислимого скота, коней в табунах, и всякого добра и еды в их аулах! Близких друзей, сватов, товарищей детства у них немало не только среди тобыктинцев, но и по всему Семипалатинскому краю. Поэтому я не могу поставить себя вровень с детьми Кунанбая. Говорится ведь. «аркан длинный, петля широкая» – это про них. А про меня: «веревка коротка, узла не завяжешь». Также про Кунанбаевых сказано: «Нагнутая вперед, перед ними Иртыш простирается, откинута назад – спиною в Чингиз упираются». И перед ними я, рядом с которым нет ни одного, даже самого захудаленького, мырзы или бая.

Тут он на одно мгновение смолк, окидывая весь суд насмешливым взглядом. Затем высказал самое главное, совершенно неожиданное для всех:

– Дети Кунанбая щедры на подарки и угощения, вы знаете это. Вам, достойным, немало перепало из их рук. Но вы еще не знаете, что я вам тоже подарок приготовил, – намного дороже всех их даров и угощений. Приходилось вам встречать в этом краю такого богача, как Кунанбай? Наверное, нет. Слышали вы, что он мог сделать с теми, кто осмеливался пойти против него? Слышали. И глядя на его детей, вы думали, наверное, что не от человека они произошли, а от самого Аллаха... Вам и в голову не могло прийти, чтобы кто-нибудь осмелился пойти против них. Так вот, уважаемые, мой дар для вас такой: я открыл вам глаза на то, что дети Кунанбая такие же смертные, как и другие, они не сыновья Бога. Я дал вам понять, – их тоже можно наказать. Если ударить их палкой, они также почувствуют боль. И каждого из них, за их бесчинства, можно схватить за воротник! А если стукнуть как следует, то они не устоят, полетят на землю, – их даже можно забить насмерть! Кунанбаевых можно бить! Вот какой я вам преподнес подарок! – сказав это, Базаралы от души рассмеялся.



Многие из биев, степных богачей и властителей, находившихся в скрытом соперничестве с домом Кунанбая, не осмелились так же открыто смеяться, но опустили головы и спрятали свои улыбки в бороды. Приличие на таком важном собрании было соблюдено.

Слова Базаралы не могли не подействовать на биев. И все же присутствующие на судебном сходе изначально не собирались его оправдывать. Ибо все эти бии, баи, волостные начальники сами были владельцами стад, и угон скота никак не могли приветствовать. Никто не собирался сказать ему: «Ты прав!» Базаралы хорошо знал об этом. Поэтому он не стал ни оправдываться, ни защищаться. После сказанных им вызывающих, насмешливых слов еще раз внимательно оглядел собрание судей и завершил, словно выстрелил:

– Я все сказал, а вы слышали! Мне хотелось бы, чтобы мои слова услышал и народ, те люди, что остались снаружи, за вашими спинами, в степи. Но разве сегодня слово правды дойдет до их ушей? Если бы хотя половину моих слов они услышали! Я теперь закончил. Вот, стою перед вами, – хотите, режьте меня на куски, воля ваша!

На судебном разборе весьма успешно выступил Шубар. Судьям было ясно, что разбирательство не затянется надолго, Базаралы не собирался оправдываться, и они торопились задавать ему свои вопросы: язвительные, задевающие его самолюбие, уточняющие, подбирающиеся к признанию им своей вины. Некоторые бии, размахивая тетрадками и карандашами, требовали у Базаралы, чтобы он назвал имена и фамилии всех сорока соучастников набега. На что Базаралы коротко и решительно ответил:

– Не назову. Вот я, пришел сам и стою перед вами. Я зачинщик, берите меня! Вяжите по рукам-ногам, отправляйте на каторгу. Я один за всех отвечу, но людей, ходивших со мною, никогда не выдам!

Отвечая на обвинения Шубара в том, что он поднимал смуту в народе, Базаралы ответил:



– Народ не виновен. Это мстил я, Базаралы. Такежан – мой кровник. Это из-за него старший брат Балагаз погиб в ссылке, Такежан вынудил моего младшего брата Оралбая бежать на чужбину, где он умер в безлюдной степи, я не знаю даже, где его могила! И все, что сделано с Такежаном, – это моя месть. За это сводите счеты только со мной! Хотите, убейте. Хотите – живьем закопайте в землю. Но в любом случае вы больше не сможете разлучить меня с родными местами! Я остаюсь здесь и буду за все отвечать один!

В этом и заключалась вся хитроумная интрига тяжбы: истец хотел, чтобы за преступление отвечал весь род Жигитек, а не один Базаралы, у которого ничего, кроме его собственной головы, не имелось для выплаты куна. Шубар красноречиво доказывал, что последний набег – продолжение издавна сложившихся враждебных отношений между Иргизбаем и Жигитеком. Распри идут еще со времен Кунанбая и Божея, вождя жигитеков. Базаралы следует дорогою этой старинной вражды.

– Зачем нам его тощая голова, с которой и куска мяса не срежешь? – витийствовал Шубар. – Отвечать должны все жигитеки – и своими табунами. К тому же род Жигитек совершил жуткое преступление, какого не знали со времен нашествия калмыков. Подвергли грабежу своих же родичей, – действовали, как враги, как чужаки! Я не успокоюсь, пока Жигитек не заплатит кун за содеянное преступление и за обиду, которую нанесли нам! Да еще надо достойно наказать всякую голь и рвань нищую, чтобы впредь им неповадно было набрасываться на чужую собственность! Приговор должен быть самым суровым! Мои условия таковы: было угнано у Такежана восемьсот лошадей, должно возместить по три лошади-пятилетки за каждую угнанную, какого бы возраста она ни была!

Совет биев работал весь день до позднего вечера. Уже с наступлением темноты бии вновь пригласили в гостиную Базаралы, Шубара и всех остальных. Устами мырзы Нурке был оглашен окончательный приговор. По этому приговору ответчи-



ком за угон лошадей Такежана был признан весь род Жигитек. Виновным прежде всего был признан сам Базаралы, вместе с ним не смогли уберечься от огня правосудия и все его сородичи: кто ближе всего к огню, тот и обжигает руки. Окончательное решение гласило: за восемьсот угнанных и зарезанных коней Такежана виновная сторона должна отдать по две лошади-пятiletки за каждую угнанную.

Это судебное решение по степным законам исполнялось в продолжение всей зимы. Из всех многочисленных жигитеков, призванных к ответственности, остались не тронутыми судебным решением богатые аулы знатных жигитеков – Уркимбая, Байдалы, Жабая, которые к тому времени были в мире и дружбе с домом Кунанбая и сумели найти с ними общий язык. На остальные аулы, главным образом, среднего достатка и на бедные, пала вся тяжесть штрафа. От Шуйгинсу и до самого Караула обобранные и совсем ослабленные огромным куном аулы остались без лошадей. Они не смогли на следующую весну откочевать на джайлау и всем миром перешли в разряд жатаков.

ЧЕРНЫЕ ПОБОРЫ

1

Этой весной многолюдный аул Абая расположился на берегу Барлыбая, в просторном урочище, богатом сочными травами и широкими выпасами. Сегодня с утра раннего в ауле поднялась шумная суета, множество народу сновало между белыми байскими юртами, гостевыми домами и хозяйственными уранхаями¹ Молодые джигиты и женщины разносили по гостевым юртам стопки сложенных одеял, подушки, скатерти, самовары и посуду – миски, блюда, расписные пиалы. На лицах людей читалось радостное оживление, женщины были в праздничных нарядах, обвязали головы белыми легкими платками с зеленой каймою. Юные девушки надели шапочки-борики с перьями филина на макушке. Дети тоже бегали принаряженные, в чистой одежде, – их на сегодня освободили от занятий в школе, созданной в ауле Абая.

На изумрудной траве за околицей аула расстелены разноцветные ковры, разбросаны коврики и узорчатые войлоки, половики – все это усердно вытряхивается, выколачивается от пыли. Две породистые борзые, рыжие с черными головами, забытые своими хозяевами, с возбужденным видом носились по всему аулу, путаясь в ногах у людей. Картина всеобщего предпраздничного ожидания прекрасно дополнялась видом этих бесподобно красивых собак. Концы их свисающих ушей были с длинной бахромой, хвосты высоко закручены. Они резво гонялись друг за другом, сшибались в затейливой схватке, прыгая

¹ *Уранхай* – легкое временное сооружение.



друг через друга, и в грациозных, упругих движениях их утонченных тел чувствовалась звериная мощь и скрытая угроза, как в мгновенном блеске булата.

За аульной околицей с гиканьем скакали джигиты, горяча коней, по аулу на своих стригунках носились дети, звонкими криками добавляя шуму во всеобщую суету. За ними с лаем бегали своры борзых – взрослых и щенят. Весь этот шум и гам беспокоил оседланных коней, стоявших на привязи, возбужденные скакуны прядали ушами, фыркали, вскидывая головы. Рослый гнедой жеребец с черным хвостом и гривой нетерпеливо перебирал ногами на месте, словно готовый тотчас сорваться с места. Когда собаки с оглушительным лаем пробежали мимо, гнедой стал бить передним копытом и толкаться лбом в столб коновязи.

На вершине холма, недалеко от аула, сидел Абай со своими друзьями. Лицом он был обращен в сторону Чингиза, поминутно зорко всматриваясь в степную даль. В глазах его светилась спокойная радость, иногда он оборачивался назад и с добродушным видом оглядывал аул. Вид снующего народа, женщины в светлых одеждах, дети, бегающие и скачущие верхом на жеребятках, усердная прислуга, выбивающая ковры и войлочные кошмы, джигиты, ставящие юрты и готовившие мясо на открытых очагах возле уранхаев, – все это оживление и шумная суета, враз сломавшие размеренную спокойную жизнь аула, вызывали у него лишь добрую улыбку. Сегодня такой уж день, – аул в ожидании радостного события.

Нет, это не готовится той по случаю удачного разрешения судебного спора, и не ожидание приезда жениха или невесты, – но радость для всего аула не менее значительная. Виновник ее – Абиш, сын хозяина аула, два года находившийся в далеких краях, в Петербурге, и сегодня с великим нетерпением ожидаемый всей родней, отцом и матерью, братьями, всем аулом.



Встречающие ожидали не только в ауле. Верховые заранее выдвинулись навстречу и ждали далеко впереди. С утра они вытянулись цепочкой от Барлыбая до Чингиза и до перевала Бокенши. Многие из джигитов доехали до перевала, но подниматься на него не стали. Это были поэты из круга Абая во главе с Кокпаем и Акылбаем: Какитай, Дармен, Мука́, Алмагамбет. Поехали вместе с ними и юноши из аула Оспана.

У Оспана своих детей не было, он взял на воспитание внучатых племянника и племянницу от Акылбая, брата и сестру – Аубакира и Пакизат. Они жили в доме старшей жены Оспана – Еркежан. Выросшие в холе и баловстве, эти двое детей могли ходить везде, где только им вздумается, и бывать там, куда другим детям появляться не дозволялось. Вот и сегодня, презрев всякие запреты и уговоры, десятилетняя Пакизат заявила своевольно: «Поеду встречать Абиша-ага!» – и выехала из аула, да еще и увлекла с собою целую стайку девчонок-всадниц, чуть старше себя.

Акылбай, Мука́ и остальные из их компании, покинувшие седла и расположившиеся на вершине холма, принялись бросать гадальные кумалаки. Рослый, белолицый, красивый джигит Мука́, молодой акын, выдавая себя за опытного прорицателя, с важным видом говорил:

– Уже не стоит гадать на путника со словами: «Покажи верно!» На это гадали. Теперь надо гадать на слова: «Выйди, посмотри!»... И вот оно, – кумалаки показали: «Путник на подходе!» Смотрите дальше – самочувствие его хорошее, переметные сумы полны, подарки будут разложены от порога и до тора! Скорее по коням! Сейчас Абиш со спутниками появится на перевале Бокенши. Поспешим навстречу ему, друзья! – сказав это, Мука́ с уверенным видом вскочил на ноги.

Юнцы, со всех сторон окружавшие взрослых, поверили ему и со всех ног кинулись к своим разномастным стригункам, запрыгнули в седла и закружились на месте, с нетерпением спрашивая: «Куда? Куда?»



На этот раз кумалаки предугадали точно. Только что севший на коня Дармен вытянулся на стремянах, всмотрелся в сторону перевала и вдруг воскликнул:

– Е! Надо же! У нашего Мука́ большой дар ясновидения! Смотрите, – вон, Абиш едет со своими людьми! – И, дав шенкелей коню, пустился вперед.

На самом деле – с перевала Бокенши быстро скатывалась небольшая группа верховых, человек пять-шесть, окружавшие повозку. Они находились уже на расстоянии одного перехода жеребенка. Встречавшие стегнули своих коней и, беспорядочно рассыпавшись, помчались навстречу, обгоняя друг друга. Всадники неслись по травянистой долине, по отлогим зеленым холмам, то рассыпаясь поодиночке, то сбиваясь в небольшие кучки, теснясь на переездах через овраги и лощины, затем вновь устремляясь вперед. Когда передние взмахнули на последний холм, они увидели, что повозка, опередив сопровождающих конников, стремительно скатывается по склону увала вниз к просторной долине. Запряженный тройкой саврасых, тарантас с откинутым верхом быстро приближался. Встречающие немедленно стали окорачивать коней.

Когда встречавшие верховые и повозка стали сходитьсь на ровной низине, четверо всадников оказались ближе всего к тарантасу – и разнеслись над долиной крики радости и возгласы приветствий. Первыми были Какитай, Дармен и воспитанники Оспана – Аубакир и девочка Пакизат. Когда они, удержав на месте своих коней, стали их заворачивать, с промчавшегося мимо них тарантаса ловко соскочил Абиш в белой военной форме, – не дождавшись, когда повозка остановится. Легким бегом проскочив по ходу вперед, молодой стройный юнкер остановился и обернулся, раскрывая руки для объятия и громко, радостно смеясь. В тот миг подскакали и остальные из группы встречающих, их лошади едва не столкнулись с тройкой саврасых. Баймагамбет, правивший ими, с силой натянул поводья и остановил



лошадей. Поднялся радостный шум, раздался смех, зазвучали гортанные голоса.

Слезы стояли в глазах встретившихся с Абишем братьев, друзей, родных. Отрывистые, короткие слова приветствий полетели навстречу ему.

– Агатай! Милый брат!

– Абиш-ага!

– Айналайын, Абиш-ага дорогой!

От этих искренних слов, сладких как шашу, и при виде дорогих, милых лиц у Абиша невыносимо защемило на сердце, в глазах все расплылось, лицо у него побледнело. Какитай, кубарем скатившись с коня, первым подбежал к нему и, широко раскрыв руки, обнял его, расцеловал. Мельком при этом отметил про себя: «Что-то он исхудал, бледным стал, уж не заболел ли?» Слышал он от старших женщин, матерей и бабушек: «Абдрахман что-то очень долго не появляется в родных местах. Как бы не заболел в этом холодном городе!» И Какитай не смог скрыть тревоги за своего старшего агатая.

– Абиш-ага, родной, как вы доехали? Здоровы ли? Отчего такой бледный?

Абиш, поочередно расцеловав Аубакира и Пакизат, обернулся к Какिताю и, улыбнувшись ласково, ответил ему:

– Айналайын, Какитай, я вполне здоров!

И на самом деле – его лицо заметно оживилось, порозовело, и выглядел он веселым, счастливым. Абиш стал расспрашивать о близких, о здоровье отца.

Тут подоспели и остальные встречающие, спрыгивали с коней и подбегали к повозке. Радостно приветствовали, обнимали, целовали Абиша, подходя по одному. Когда все на дороге поприветствовали его, Абиш вернулся в повозку, где его ждал брат Магавья. Тот подозвал Какитая, протянул к нему руки, обнял, расцеловал и усадил рядом с собой. Улыбаясь, Магаш стал подшучивать над братом-сверстником:



– Е, когда ты улыбаешься, нос твой на лице куда-то исчезает! И как только твоя Салиха терпит такого несуразного, у которого нос с ноготок!

– Салиха рассуждает по-другому! – отвечал Какитай, посмеиваясь в усы. – «Нос курносый – не беда, лишь бы не безбородый, как Магаш!»

С другой стороны от Абиша уселась Пакизат. И повозка, окруженная верховыми, стремительно покатила по долине в сторону аула Абая, наполненная смеющимися, радостными молодыми родственниками, ликующими от счастья встречи после долгой разлуки.

Колокольчик на дуге коренного заливался радостным звоном, бодрым тактом своих ударов отмечая рысистый бег тройки и словно подзадоривая коней. Красивый тарантас с откинутым кожаным верхом в громыхании колес несся по каменистой дороге, узкой лентой протянувшейся по ковыльной степи.

Абиш, в белом мундире, в фуражке, сидел напротив своих младших братьев и любовался ими. Радость их встречи грела его сердце. Они то принимают подшучивать один над другим, то умолкают и сияющими глазами смотрят друг на друга. Какитай одинаково соскучился как по Абишу, так и по Магашу, – ведь по его отъезду в город времени тоже прошло немало. Приняв решение встречать Абиша в городе, Магаш пробыл там два месяца. На обратном пути к аулу отца Магавья рассказал старшему брату, что Какитай ему особенно близок среди всех его родных и сверстников.

Абиш стал спрашивать у Какитая, где какие аулы расположились с весны этого года. В урочище Барлыбай на берегу реки разбил стан аул Абая. Остальные аулы Иргизбая откочевали на дальние джайлау. Аул отца задержался с откочевкой в связи с ожиданием двух сыновей Абая.

Многочисленная вытянутая колонна всадников, сопровождавшая повозку, приближалась к Барлыбаю, быстрой рысью



продвигаясь через зеленую ровную долину в сторону аула, вольготно раскинувшегося на берегу реки.

К этому часу переполох и суета улеглись в ауле, люди собрались единой толпой за Большой юртой Абая и Айгерим. Все ожидали появления путников на степной дороге. Абай стоял в середине толпы. На нем был длинный блекло-желтый бешмет из китайской чесучи. Тонкая летняя одежда, свободно облекая, подчеркивала дородность его крупного тела. Черный бархатный жилет и белая рубаша, видневшиеся под распахнутым просторным бешметом, были ему к лицу, придавали вид благородного, почтенного человека. На крупной его голове поседевшие волосы, – над высоким лбом и на висках, – словно отступили вверх, отчего лицо Абая стало еще более одухотворенным, мудрым и красивым, чем даже в его молодые годы. В бороде, не очень густой, подстриженной, тоже пробивалась седина. Однако узкие длинные брови были все еще черны, и на лице не виднелось морщин.

В толпе вокруг Абая были почти одни женщины. Рядом с ним стояла бледная Айгерим, со слезами радости в глазах. На встречу с байскими детьми пришло немало работников в будничной бедной одежде – конюхов, доярок, доильщиков кобылиц. Кроме стариков от «соседей», других аксакалов здесь не было.

Когда многолюдная процессия встречавших приблизилась к аулу, то всеобщее внимание привлек Дармен своим громким криком:

– Пропустите повозку вперед! Аул не нас ждет – встречает Абиша! Не атшабары мы, так нечего и скакать впереди, первыми влетать в аул! Все – попридержите-ка своих коней!

До самого края аула Баймагамбет гнал тройку саврасых ровной дорожной рысью. Когда толпа, с Абаем посреди, всколыхнулась, пришла в движение, Абиш опять, не дожидаясь полной остановки повозки, легко соскочил с нее и быстро направился к отцу, протягивая к нему руки.



И Абай принял сына в свои широкие объятия, крепко прижал к себе и замер. Затем дрожащими губами стал целовать лицо сына, его глаза, уши, – и долго не выпускал из рук. И кроме этих неистовых, крепких мужских объятий отец с сыном пока не обменялись ни единым словом. Когда Абай, наконец, отпустил Абиша и чуть отступил назад, – неузнаваемым стало лицо постаревшего отца. Обычно смуглое, сейчас оно от сильного волнения побледнело и стало серым.

Абай не видел никого другого вокруг, какое-то время пребывал в состоянии полного замешательства.

Абиш, в белой военной форме, в погонах юнкера, сейчас, после родительских объятий, сделался сущий ребенок, и со звонким смехом, сверкая начищенными пуговицами юнкерского мундира, закрутился в вихре объятий и поцелуев родни, среди белых головных платков своих матерей, соседок и соседей, многочисленных тетушек-женге, среди стариков и старух. Однако фуражку с блестящей кокардой предусмотрительно держал в руке. Все с большим любопытством осматривали эту фуражку, белый мундир, ярко сверкающие на нем медные пуговицы.

Его редковатые, гладко зачесанные каштановые волосы были припомажены. Широкий, рано начавший лысеть лоб был ясным, открытым. Абиш был строен, тонок, изящен. С заметным, красивым, прямым носом, в своей юнкерской форме, которая так шла ему, Абдрахман был очень красив. На губах, тонкого рисунка, играла добрая юношеская улыбка.

Долгие объятия, лепет приветствий со слезами на глазах, ласковые, добрые пожелания счастья от матерей и старших тетушек. Благословения стариков-соседей... Все хотели сказать ему доброе слово.

- Жаным, душа моя, ну, как доехал?
- Свет мой ясный! Пусть дарует тебе Всевышний здоровья!
- Опора наша! Как долго пришлось тебя ждать!
- Айналайын, Абиш! Солнышко мое!
- Радость-то какая для твоих родителей!



– С благополучным прибытием, родной!

Теплые слова, приветливые восклицания, умилявшие всех, кто их слышал, сопутствовали Абишу до самого входа в Большую юрту.

И вот уже уселись все на торе, Абай внимательным взглядом окинул лицо сына, спросил:

– Что-то ты похудел, Абиш. Здоров ли?

И тотчас подхватил Кокпай:

– Может, знания в этом городе дают хорошие, а вот еду, видимо, неважную! Вон, высох весь, как жердь!

Отец начал расспрашивать Абиша про учебу в Петербурге. Оказалось, он поступил в Михайловское артиллерийское училище не по доброй воле, но ввиду вынужденных обстоятельств. Он хотел учиться в Политехническом институте, однако не получилось. И Абиш, улыбнувшись, напомнил отцу строки его стихов:

*– Учись, мой сынок, – завет мой таков –
Для блага народа, не для чинов... –*

Ага, я не забыл эти ваши слова! Конечно, хотелось в политехнический, но в прошлом и нынешнем году возможности такой не было... Придется некоторое время поучиться в этом училище. Закончу его – буду думать о дальнейшем образовании.

Чуткий Абай не стал выяснять подробности, он молвил спокойно:

– Науки плохой нет. Для таких как мы, жаждущих знаний, любая наука бесценна, как золото. Свет мой ясный, ты только учись, набирайся знаний, а родители твои слова не скажут против, веря, что любые науки пойдут тебе на пользу. Нам одинаково будет дорого, сынок, кем бы ты ни стал – офицером, инженером, адвокатом. Лишь бы это пошло на благо твоего народа, у которого немало и трудностей, и печалей, и забот. Желая тебе



только одного: здоровья, сил, чтобы ты сумел достигнуть своих целей!

Он снова привлек к себе Абдрахмана, и долго держал у груди, обняв его одной рукою.

Дом наполнился людьми, внесли угощенья. За дастарханом, как водится, начались всякие разговоры про разное. Ненароком Абай вспомнил своего семипалатинского русского друга Павлова, о котором перед отправкой в город наказывал Магавье: пусть привезет его с собой.

– Абиш, почему не приехал Федор Иванович? – спросил Абай. – Что ему помешало? Ведь говорил же мне, что приедет с тобой к нам.

– Ага, он и собирался поехать, но ему не разрешили.

– У губернатора попросил разрешения?

– Губернатор-то как раз и спустил прошение Павлова полицмейстеру, на его усмотрение. А тот не выдал разрешение. Видимо, решил, что ссыльному не полагается выезжать в степь на кумыс.

Абай сильно огорчился, что Павлов не смог приехать. Они познакомились прошлой зимою в Семипалатинске, куда Павлов был переведен из Тобольска, где отбывал ссылку.

– Этот человек очень дорог мне, я его глубоко уважаю, сынок. Здоровье у него не очень-то хорошее, думал, что отдохнет здесь вместе с тобою! А как ты сам, дорогой, – сошелся с ним?

– Да, отец. Мы встречались. Несколько раз подолгу разговаривали. Он глубоко образованный человек, во многих науках разбирается. Кажется, Павлов из среды известных русских революционеров. Он вас, ага, очень высоко ценит, мне кажется, лучше многих казахов понимает значение ваших трудов. – Так говорил Абиш, и по голосу было заметно, как он сожалеет, что не удалось привезти Павлова к отцу в степь.

Этим вечером между часто сменяемыми закусками, чаем, кумысом акыны непринужденно и охотно показывали свое искусство. Степь всегда была богата своими акынами, певцами, острословами и сказителями, краснобаями и балагурами.



В ауле Абая особенно вольно дышалось воздухом творчества, и каждый участник этого вечера старался показать что-нибудь новое, значительное.

В эту безветренную тихую ночь в долине Барлыбая, над Большой юртой Абая и Айгерим взмыли в вышину чудесные звуки скрипки. Люди, как замороженные, слушали одну мелодию за другой, забыв о времени. Абиш, живя в русском городе, смог стать хорошим скрипачом.

Он играл широко известные в России и неизвестные в казахской степи русские романсы, поражавшие слушателей в самое сердце своими глубокими чувствами, выраженными в нежных мелодиях. Играл любимые в народе песни – «Ермака», «Стеньку Разина», «Бродягу»... И хотя мелодии эти впервые прозвучали перед степняками, они были зачарованы услышанным. Абдрахман играл и веселую, ритмичную танцевальную музыку, и зажигательную польскую мазурку, и вдруг внезапно переходил на украинский «гопак».

Своими разносторонними способностями, внешним обликом, музыкальным искусством Абиш поразил и восхитил степную молодежь. Перед ними был их прежний Абиш, но которого неузнаваемо изменила городская жизнь. Со своими новыми красивыми манерами и необычным в степи внешним видом напоминал он какого-то заморского принца. И даже единоутробные его братья смотрели на него с нескрываемым благоговением и горячим восторгом. Зависти или снисходительности со стороны его братьев не было, ибо все они с гордостью и безграничным уважением относились ко всем новым качествам и обретениям любимого старшего брата, родного Абиша-ага.

Наконец, после долгой игры, Абиш опустил скрипку, затем протянул ее степному музыканту по имени Мукá. К Мукá дружелюбно относились многие молодые джигиты этого аула, и в последнее время он часто приезжал к ним. Сам он был выходцем из дальних краев, от племени Кандар, рода Уак, соседней волости Кокен. Полюбив в родных краях девушку, этот джигит не



мог соединить свою судьбу с нею и, по совету друга, Магавьи, сговорившись с невестой, забрал ее уводом. Они бежали, Абай дал им приют и защиту. Абаю и Магашу очень нравился этот незаурядный музыкант-кюйши, который также играл на скрипке. Впервые они встретили Мукá в городе, слышали его исполнение. Круг Абая – Дармен, Алмагамбет, Ербол – приблизил его к себе, и вскоре он стал неизменным сподвижником и участником во всех их поэтических и музыкальных собраниях.

На протяжении всей ночи, в промежутках между сменами мясных кушаний, маститый домбрист Акылбай, кюйши-скрипач Мукá, певец-кюйши Алмагамбет тихонько наигрывали на инструментах и напевали голосом новые для них мелодии, которые привез Абдрахман. Так они постарались запомнить польскую мазурку, еще некоторые танцы.

И в какой-то момент Мукá заиграл на скрипке некую заунывную, надрывную мелодию. Он играл старательно, держа корпус прямо, стараясь не покачивать скрипкой, двигая только рукою, водившею смычком. Словом, Абиш заметил, что техника и приемы игры у Мукá слабоваты, на уровне провинциальных скрипачей-самоучек. Мелодия песни, тем не менее, в исполнении Мукá брала за душу, в ней слышалась подлинная грусть и печаль. Когда он, сыграв куплета два, остановился, Абиш живо обернулся к скрипачу и спросил, что это за мелодия.

Мукá с вполне уверенным видом заявил:

– Песня эта русская, называется она «Томной места».

– «Темное место»? – переспросил Абдрахман и задумался, стараясь вспомнить. – Нет, не слышал... Похоже на вальс. Судя по названию, тебе пришлось услышать эту песню в каком-то темном месте, а? Ну-ка, признавайся, в каком таком «томной места» ты ее разучил? – стал шутливо приставать к Мукá Абиш.

Засмеялись Магаш с Какитаем, явно знавшие что-то. Словно чем-то смущенный, Магаш пошептался со сверстником, затем во всеуслышание громко сказал:



– Е! Видишь, чуткие люди сразу раскусили тебя! Придется тебе во всем признаваться. Айналайын, выкручивайся теперь сам, как знаешь!

Молодежь затихла, стыдясь Абая, которому не было известно о кое-каких их делишках в городе. Однако Мукá, казалось, ничем не был смущен. Он преспокойно начал рассказывать:

– Эту песню я услышал в той самой сторонке, где в гостеприимных домах встречаются щедрые на любовь женщины. Одна из таких, совсем молоденькая, скромненькая с виду и невинная, спела эту песню, вся обливаясь слезами. Кто сочинил эту песню, я не знаю, но можно предположить, что ее сочинила сама девушка, попавшая в такое ужасное место...

Никто в доме не стал ни расспрашивать дальше, ни поддерживать этого разговора. Молодежь была охвачена непритворной робостью перед Абаем-ага. Увидев это, Абай шутиливо произнес:

– Видать, некоторым и плохие похождения идут на пользу! Твой рассказ явно приводит к такому утешительному выводу, Мукá! Хотя должен тебя предостеречь – не всегда дурные приключения могут принести пользу для твоей доброй души! Ты можешь, однако, убедиться в этом, посещая подобные заведения. И нас трудно будет убедить, что это хорошее дело, не так ли, уважаемые?

Так Абай в своем духе выговорил молодежи. Мукá и все остальные сидели пристыженные, переглядываясь и смущенно посмеиваясь...

И все же – впервые эта лучшая степная молодежь встретила с человеком своего поколения, прибывшим издалека, сведущим в высоком искусстве и обладающим большими знаниями. И этим человеком был их старший собрат, такой же, как и они, человек степи – родной Абиш, по которому они столь истосковались!

На другой день люди, встречавшие Абиша, стали разъезжаться. В час утренней дойки кобылиц, собравшись в доме Абая за кумысом, молодежь стала обсуждать, кто куда поедет.



Абдрахман собирался посетить очаг старшей матери, Улжан, скончавшейся в прошлую зиму. Он хотел совершить молитвенное чтение Корана на ее могиле. Также он хотел навестить свою родную мать Дильду, в том же ауле. Вместе с Абишем решили ехать Магавья, Дармен, Какитай, Алмагамбет.

Когда все вышли из юрты и подошли к коновязи, их ожидали оседланные кони. Соблюдая обряд вежливости, Алмагамбет сначала подвел коня старшему, Абишу. После него стали усаживаться в седла остальные его братья и друзья.

Еще вчера ходивший без седла, светло-гнедой с черной гривой и таким же хвостом конь сегодня был богато убран: уздечка украшена чеканным серебром, кавказский узор вытиснен на подпругах, подхвостнике, подседельник обшит синим сукном, прекрасное седло покрыто темно-розовым сафьяном. Вся конская сбруя была прекрасно подогнана к ладному, с подтянутым животом скакуну, достойному молодого джигита. Когда Абиш вскочил в седло, конь под ним слегка присел и, закусив удила, скакнул вперед, затем легко пошел боком вперед, прядая острыми, как камышовые листья, ушами. Абиш с живым вниманием следил за каждым его движением, стараясь в короткой, азартной борьбе привести коня к послушанию. Приостановившись, конь заплясал на месте, гвоздя передними копытами землю.

Впереди толпы молодых людей, вышедших проводить Абиша, стояла Айгерим. Любуясь на него, которому было явно по душе укрощение строптивого жеребца, вглядываясь в его разрумнявившееся лицо и смеющиеся глаза, – она все же тревожилась за него.

– Айналайын, будь осторожен! Какой дикий нрав у твоего коня, милый! – воскликнула она, улыбаясь, и слегка покраснела, смутившись.

К этому времени все отъезжающие уже были в седлах. Абиш наклонился в сторону Айгерим и крикнул в ответ:

– Не бойся, киши-апа! Конь что надо!



Выехав за аул, конь под Абишем продолжал баловать, выступая боком и скача мелкой иноходью. Но седок не подгонял его, не давал поводьев и предпочитал ехать неторопливо, держась немного в сторонке от остальных спутников. Давно не сдившийся на коня, истосковавшийся по степи, по ее вольным просторам, зеленым холмам, чистым рекам и живому воздуху джайлау, джигит хотел сейчас со всем этим встретиться наедине, потому и отдалился от всех. Его душа, полная радостью от встречи с родными людьми, ширилась теперь от счастья свидания с родным краем. Ему казалось, что и весенний джайлау находится сейчас в таком же состоянии радости и молодого счастья, – им наполнен прохладный ветерок, бегущий по волнам свежих степных трав. Да, это и есть счастье! В воздухе нет ни пылинки. Дышится легко, всей грудью, и светоносным воздухом омыта, до первородной чистоты, вся эта великолепная живительная природа! Густой ковыль, главный житель этих степей, покрывал все равнины и невысокие плавные холмы вокруг, раскачивался под порывами ветра, рождая бегущую травяную волну. Серебристо поблескивая под ярким солнцем, эти волны вблизи издавали негромкий шум, тихий шелест – и убегали в сероватую дымку степной дали. Свежие метелки ковыля рассыпали игольчатые искры, и оттого холмы и пригорки испускали призрачное сияние, завораживающее и смущающее душу. Впереди, на пути джигитов, возвышались в едином ряду три высоких холма – Шакпак, Казбала, Байкошкар. Они словно подернуты тонкой светло-голубой дымкой. У подножий этих возвышенностей, в низинах и логах, эта дымка гуще и плотнее. И плотная синева в этих низинах кажется таинственной, скрывающей в себе что-то очень заманчивое. Сейчас путники направляются именно туда, в направлении этих влекущих тайн...

Через некоторое время слева потянулась каменистая гряда из скалистых многорядных увалов – Керегетас.

Яркая зелень ближайшей низины вдруг резко ограничивается, чуть выше, россыпью серых валунов. А еще выше них на-



чинают громоздиться друг над другом продолговатые скальные глыбы. Между ними повсюду кудрявятся плотные кроны стелющейся арчи – горного можжевельника, который растёт, тесно прижимаясь к основаниям этих каменных глыб. Некоторые забросанные камнепадом предгорные холмы, сплошь поросшие арчой, похожи на каких-то заросших волосами чудищ.

Иногда среди этого диковатого завала скал можно было увидеть стремительно проносящихся бело-пегих архаров с огромными закрученными рогами. А порой меж округлых валунов проскальзывала длинная огненно-рыжая лиса, – вильнув хвостом, исчезала за камнем, – словно извивающаяся сказочная красная ящерица. Вдруг вновь появлялась и, открыто распластавшись на длинном валуне, замирала, внимательно разглядывая что-то вдали. А то соскакивала на землю и принималась мышковать, прыгая вперед на обе лапы и быстро разрывая землю под кустом арчи.

А в какой-то миг вдруг налетал со стороны громадный бронзовый беркут, гнавший зайца, и осторожная лиса, давно следившая за надвигающейся смертью, в свисте и буре шумевших крыл падавшей с неба, – вдруг суетливо подпрыгивала и мгновенно исчезала в невидимом проходе между валунов. Издали разглядывая все это в полевой бинокль, Абиш с улыбкой наблюдал за умными действиями лисицы.

Вдруг совсем близко по косогору стоящего на пути холмика пробежал шальной порывистый ветер, перепутывая траву, – и доносился оттуда сладкий, умопомрачительный аромат свежей зрелой земляники, словно дуновение из райской долины – привет от родного края, по которому Абиш истосковался в далеком холодном северном городе.

В Большом доме, где раньше главенствовала Улжан, теперь находилась байбише Оспана – Еркежан. В этом же ауле жила и байбише Абая – Дильда. К этому времени большая часть аула уже откочевала на джайлау за Шакпак. К полудню Абиш в окру-



жении товарищей подъехал к белой юрте Большого дома, и путники спешились...

Когда джигиты, никем не встреченные, привязали лошадей и подошли к белой юрте, изнутри раздался звук горестного женского плача. Несколько женщин, соблюдая годовую ас, оплакивали покойную Улжан. Траурный плач вели две ее невестки – Дильда и Еркежан, с ними были родственницы и соседки. Абиш в первую очередь поздоровался с Еркежан, сидевшей на торе ниже Дильды. Потом только он подошел к матери. Дильда обняла сына, приникла лицом своим к нему и долго, горестно плакала. И Абиш дал волю своим слезам. Утрата великой матери, бабушки Улжан, – это огромное горе, зияющая пустота в сердце, но в плаче своей родной матери Абиш слышал не только скорбь по усопшей, но никак по-другому не выраженные Дильдой боль и горе своей собственной жизни. Сын явно слышал жалобу матери, невинного человека, подвергнутого тяжким страданиям несправедливой судьбою. Абиш никогда и ни с кем не говорил об этом, – но, находясь в далеком, холодном, чужом Петербурге, он постоянно со скорбью и болью на сердце думал о своей матери.

Наконец Дармен стал осторожно успокаивать забывшуюся в горестном плаче Дильду:

– Женеше, успокойтесь. Разве можно плакать матери, у которой такой сын, как Абиш? Незачем вам плакать, женеше...

Своими словами Дармен невольно дал знать, что он понимает истинные причины такого горького плача Дильды... Чтобы как-то утихомирить плачущих женщин, Дармен начал громко и выразительно читать молитву из Корана – «Суната».

Вскоре после молитвы, когда собрали молитвенный коврик, расстеленный во время читки Корана, когда совсем утихли плач и стенания, – Еркежан, сидя напротив Абиша, стала рассказывать ему о смерти старшей матери, о последних ее минутах, о предсмертных ее словах.



Большая, дородная, с красивым большеглазым лицом, Еркежан говорила со спокойной рассудительностью, неторопливо и обстоятельно. Она передала Абишу последние слова Улжан о своем далеком внуке.

– Айналайын, Абиш, твоя бабушка много думала о тебе и переживала. Мол, из всех ее потомков ты один находишься на далекой чужбине, и никого из родных рядом с тобой. «Заболет, случится какая беда или выпадет тяжкая забота, – ведь некому будет поддержать его. Уа, для меня он всегда был слишком ранним плодом, сорвавшимся с ветки. Я, как и его отец, всегда желала того, чтобы он скорее достиг своей цели, стал зрелым человеком!» Так она говорила и подолгу грустила о тебе. Я тебе все это рассказываю, потому что считаю своим долгом передать тебе, как она тебя любила, каким великим сердцем обладала наша старшая мать...

Умолкнув, Еркежан долго, не отрываясь, смотрела на Абиша своими большими опечаленными глазами.

Рассказывая поочередно, Дильда и Еркежан поведали прибывшим о последних днях жизни великой матери Улжан. Умерла она в конце прошлой осени, в пору, когда после стрижки овец ожидалась перекочевка на зимники. Уже сильно постаревшая, одолеваемая болезнями, Улжан много лет перед смертью прожила в тихом уединении. Всеми почитаемая главная мать рода, она уже не вмешивалась в жизнь Большого дома, вела спокойную, молчаливую жизнь. Почти ни с кем не разговаривала, не вмешивалась в разговоры невестки с мужем, молчала даже с теми, кто навещался в дом справиться о ее здоровье. Лишь время от времени, изредка, приглашала к себе Абая или Оспана, подолгу разговаривала с сыновьями.

Абиш, хотя и не был воспитан ею, всегда помнил о безбрежной любви и доброте бабушки, о том, как она, увидев его, всегда подзывала к себе и, обняв его мягкими руками, нюхала его детский лоб. Все это ясно вставало перед глазами выросшего Абдрахмана. Только теперь он понял, что она так и будет жить



в его памяти. Улжан – это прамасть роду, которую нельзя забыть. И этот главный шаньрак, который остался без нее, также хранит память о ее чистом, добром, особенном человеческом облике.

Магаш только сейчас рассказал брату Абишу о тех проявлениях ее тонкого ума и мудрости, которыми удивила она всех родных и близких, уже находясь на смертном одре. Ее деверь Майбасар, человек грубый и недалекий, позволил себе недостойную шутку, спросив у лежавшей с закрытыми глазами Улжан:

– Уай, собираешься покинуть нас! Решила отправиться вслед за мужем, значит. Тебе многое приходилось видеть, уже не раз видала, как умирают, – ну-ка, расскажи нам, что это такое – смерть?

И тогда Улжан, чуть приоткрыв глаза, улыбнулась одними губами и ответила:

– Оу... деверь мой неразумный... Видала я много, но другого такого, как ты, до старости так и не набравшего ума, я еще не видала. Тебе что я могу сказать? Я ведь сама еще не пробовала умирать, так что, извини, не знаю... А тебе-то зачем загорелось это узнать? Вот, будешь ты умирать, сам все узнаешь, деверек. – Сказала это Улжан, снова закрыла глаза и умолкла. На этот раз навсегда. Умная, рассудительная ее душа выбрала последним своим словом на земле – шутку, и это была высшая мудрость женщины, проявленная за мгновение до ее смерти. Эта женщина сумела прожить свою долгую подневольную жизнь, будучи бесправной и покорной, – не утратив, однако, всей чистоты и ясности своей высокой души. Из жизни она ушла так же, как и жила: безбоязненно, спокойно, обыденно. Словно ушла из жизни ее скромная, простая душа, тихо прикрыв за собою дверь.

В тот приезд сына Дильда не отпускала Абиша два дня, потчевала его как самого дорогого гостя. На третий день, когда джигиты собирались седлать коней, чтобы ехать обратно в аул Абая, мать под села к сыну, взяла в свои руки тонкие пальцы



сына и, нежно перебирая их, заговорила взволнованно и проникновенно:

– Знаешь, светик мой ясный, я ведь переняла немало хорошего от нашей старшей матери, покинувшей нас будто бы только вчера... Когда-то, очень давно, в пору вашего детства, Абай заявил, что поедет учиться в город. Я загоревала, но свекровь тогда сделала мне мудрое внушение. Она сказала: «Пожелай ему удачи, плакать не смей. Отправь его с самыми добрыми пожеланиями. Он едет за знаниями. Едет, чтобы стать достойным человеком на этом свете. И все это будет во благо и тебе, и твоих маленьких щеняточек». Я тогда поняла свекровь и согласилась с ее мудрыми словами. Я и сейчас согласна с нею, – твой далекий отъезд понимаю, так же, как и поездку твоего отца в давние годы. Иншалла! Да сопутствует тебе удача! – Высказав это, она накрыла глаза платком, вытирая слезы.

– Однако есть у меня слово, – сказала она окрепшим голосом, – слово к тебе и просьба. И ты, сын мой, обещаешь мне, что исполнишь мою единственную материнскую просьбу! Обещаешь ли, жаным? – И, обняв сына, прижимая его голову к груди, она стихла, с трепетом ожидая ответа.

Абиш ни на мгновение не задержался с ответом. Так же взволнованно, трепетно он ответил:

– Говорите, апа! Я все сделаю, что вы захотите!

– Хорошо, сынок, раз ты обещаешь, то слушай. Пусть ты снова уедешь в дальние края, и я долго тебя не увижу... Но в таком случае ты должен оставить здесь свой очаг, за которым бы я присматривала. Пусть не ты, но хотя бы твое гнездо останется под моим попечением... Так что, прошу тебя, скорее присмотри себе невесту, а мы ее сосватаем...

Абиш, с присущей ему искренностью, прямоотой и открытостью, не мог скрыть сильного замешательства от неожиданной просьбы матери.

– Ойбай-ау, апа! О чем вы говорите! И что могу ответить на ваши слова? Я уже взрослый человек, апа, и такое дело должен



решить сам, без принуждения, по своей воле. Разве не так? – И Абиш, сказав это, посмотрел на братишку Магаша и остальных друзей.

На что Магаш, непонятно улыбнувшись, ответил:

– Абиш-ага, так-то оно верно сказано, конечно. Но разве здесь речь идет о принуждении? Наша мама всего лишь высказала свою просьбу. А вам стоит подумать, ага, – не настало ли самое время, чтобы такая просьба прозвучала?

Услышать такое от младшего брата Абдрахман никак не ожидал! Он так и осел на месте и замер, не высказывая ни протеста, ни возражения. С лица его исчезла улыбка. Он не забыл, о чем он недавно дал слово матери: выполнить любую ее просьбу. Она же вновь заговорила – спокойно, убедительно:

– Родной мой, принуждения никакого нет! Я же не говорю, чтобы ты непременно женился сегодня! До отъезда своего ты только назови мне имя девушки, которая могла бы стать твоей невестой, если Бог даст. Нынче ее сосватай, и уезжай себе на здоровье! Вот это и будет мне в радость, сынок, айналайын! Невеста твоя будет утешением мне и надеждой, напоминая о тебе, когда ты вновь уедешь.

Абиш все еще не решался сказать ни слова, не мог согласиться, говоря «да», не решался и взбрыкнуть, возражая – «нет». Тут Дильда высказалась полностью:

– Конечно, решать тебе. Дашь согласие, если только придется по душе, навязывать тебе никого не буду. Но есть у меня на примете девушка, которую можно сосватать за тебя. Это в ауле ногойца Махмуда – девушка по имени Магрипа, чудесное создание! Она как раз на выданье и еще никем не засватана. Свет мой ясный, ты только взгляни на нее, хотя бы разок, а там и решишь, скажешь мне. Кроме этого ничего я от тебя не прошу. Согласен, сынок?

Абишу стало неловко. Он молча кивнул головой и покраснел от смущения. Дильда поцеловала его в лицо, затем подошла к Магашу и Дармену.



– А ты, Магаш, и ты, Дармен, – к вам обоим относится, вы покажете нашему Абишу ногайскую девушку Магрипу. Оба отвечаете за это! – отдавала наказ Дильда.

Эти двое ничего не ответили, но по их виду Абиш понял, что они так и горят желанием выполнить поручение Дильды-апа. Но им хотелось, чтобы не забегать вперед его желаний, услышать мнение самого Абиша...

Позже, выехав в степь по направлению к аулу Абая, Магавья и Алмагамбет, разговорившись о чем-то, чуть приотстали. Дармен и Абиш ехали вдвоем. Дармен понимал, что над тем, о чем недавно высказалась Дильда, давно уже задумывались в семье Абая. И здесь для Абиша, похоже, не было ничего неожиданного или неприятного. Наоборот – чуткий Дармен заметил промелькнувшее в глазах друга сильное волнение, что было понято молодым акыном как пробуждением в душе Абиша мечты о нежной подруге жизни. И тогда Дармен начал рассказывать другу о ногайской девушке Магрипе, которую знал и видел когда-то. Абиш, не прерывая его, молча слушал. С присущим ему красноречием молодой акын расписывал Магрипу. Достигшая семнадцати лет, хорошо выученная мусульманской грамоте, получившая обходительное воспитание, Магрипа, по словам Дармена, была ко всему этому еще и несравненная красавица, знаменитая на весь край. Непременно надо увидеть ее. Абиш должен встретиться с нею, пусть решение его потом будет любое. Сердце подскажет, в таком деле никакие уговоры и подделки посторонних не имеют значения. Так говорил Дармен, дружески приободряя своего сверстника.

Вдруг сзади них раздалась песня и, взмыв сразу высоко, поплыла над степью. Это запел Алмагамбет, ехавший вслед за ними, его красивый, мощный голос возносил к самому небу песню о страстной, неудержимой человеческой любви. Песни звучали одна за другой – «Пламя любви», «Ты, любовь моя», «Ненаглядная»...



Зеленые просторы джайлау раскинулись вокруг них, прохладный легкий ветер из степи овеивал их лица, в душе росла, ширилась радость любви к жизни, родному краю. В глубине сердца пробуждались какие-то неясные сладкие грезы, светлые надежды, беспокойные желания... Абиш лишь молча улыбался, склонив лицо к гриве лошади. Он будто смущался и стыдился своих мыслей. Беспричинно волновался, то бледнея, то краснея, охватываемый тайной нерешительностью.

2

Абай был бесконечно рад тому, что его сын получает прекрасное образование и настоящее русское воспитание в столице России. Счастлив, что Абиш стремится духовно восходить к уровню лучших русских интеллигентов. Абаю хотелось как можно больше разговаривать с сыном, расспрашивать о многом, разном, обо всем новом, что происходит в России: о науке, искусстве, о жизни сегодняшнего Петербурга. Абай интересовался железными дорогами в стране, судоходством, хотел знать о высших учебных заведениях. Также расспрашивал о больших русских городах, о том, чем они славны и богаты, какие в них знаменитые фабрики и заводы.

Часто разговоры отца с сыном переходили на темы литературы: говорили о книгах, написанных большими писателями и поэтами России. С большим интересом они обсуждали творчество Толстого, Салтыкова-Щедрина, Некрасова...

Со всем этим интересом и воодушевлением отца, проявляемыми во время их встреч, Абиш почувствовал в нем некое постоянное тайное беспокойство. Сын замечал, что Абай порою предаётся печали одиночества, даже находясь среди людей.

Абиш стал понимать, что в жизни отца есть некая сторона, которая вредна не только для его душевного покоя и благополучия, но и мешает его литературной работе. Это – самые разные, многочисленные споры и раздоры между атшабарами раз-



личных родовых групп и кланов, в которые Абай вынужден был вмешиваться – как по своей доброй воле, так и невольно.

С горечью узнал Абиш от Магавьи и Какитая, как много подлых обвинений и наговоров обрушивалось на Абая от тех, кому он не угодил. И несчастный поэт спасался от этих подлых наветов только в его кругу молодых акынов.

Сильно беспокоясь за отца, Абиш в часы одиноких раздумий пытался понять причины столь враждебного отношения к нему со стороны его недоброжелателей и злопыхателей. А это были не только богатеи других родов, такие, как Оразбай и Жиренше, но и многие сильные люди из среды самих иргизбаев, находившиеся с ним в родственных отношениях.

Абиш понимал, в каких горестях и печалях проходят дни жизни его славного отца, и сам печалился безутешно. Это заметил чуткий Абай, и однажды, отвечая на невысказанные вопросы сына, слегка приоткрыл завесу над причиной своих горестей.

– Славный мой Абиш! Сказать тебе всю правду, – меня никогда не перестанут возмущать и мучить проявления насилия и злобной вражды... Такой я есть – таким останусь, и это моя судьба.

Взглянув на друзей сына, сидевших чуть в сторонке, Абай молвил потеплевшим голосом:

– Верю я, что вы будете другими. Очень хотелось бы, чтобы ваше время было лучше. Пусть я буду последним носителем прошлого, а вы – началом нового времени!

В этот вечер Абиш рассказал отцу и степной молодежи о борьбе людей труда с теми, кто этот труд покупает. У русских эта борьба имеет особенный подход. В России трудовой люд четко разделился на два больших класса, крестьянский и рабочий, и второй из них в наши дни обретает все большее значение и силу. Оба этих трудовых класса вступили в жестокую борьбу со своими работодателями, угнетателями, захребетниками – за свои жизненные права. Подтверждая рассказ, Абиш поведал им о Морозовской стачке, которая произошла в городе Орехово-



Зуево – в ней участвовало сразу восемь тысяч рабочих. Они в один день и час прекратили работать, объявили стачку и вышли на улицы. Это напугало не только хозяев фабрик, но и губернское начальство. Власти решили подавить стачку силою военного оружия. Шестьсот рабочих было арестовано. Это были самые стойкие джигиты, которые не дрогнули и не отступили даже перед стражниками. С тех пор подобные стачки проходят по всей царской империи – по несколько каждый год...

Абай, удивленный такой осведомленностью Абиша об этой мощной схватке классов в России, спросил у него, как и откуда он обо всем этом узнал. И Абиш рассказал, что услышал о беспримерных событиях классовой борьбы от старого петербургского рабочего Еремина. Абиш передал ему письмо от одного ссыльного из Семипалатинска, так они и познакомились. Еремин, опытный и старый революционер, много знал и говорил Абдрахману: «Расскажи обо всем этом у себя в Сибири!» По его подсчету, между 1880–1890 годами состоялось более ста пятидесяти крупных стачек по России. Русский народ умеет трудиться, но может и постоять за свои трудовые права!

– Разве все это не удивляет, отец? – говорил Абдрахман.

Абай, слушавший его, задумчиво кивнул головой. Посидев немного в молчании, сделал следующий вывод:

– Это новая дорога борьбы в новом, изменившемся мире. У нас такого нет и пока быть не может. Я раньше никогда не слышал и не читал о подобном: чтобы огромная масса трудовых людей, собранных в одном месте, проявилась в столь мощной борьбе. И это, видимо, новая неслыханная сила России. Басе! Нам следует знать о подобных вещах, и хорошо, Абиш, что ты сам узнал об этом и поведал нам.

После слов отца Абиш перевел разговор на события степи, связанные с Базаралы. Начал он издалека:

– Ага, вы мне писали как-то, что поэзия должна воспеть труд и человека труда. Так что все же воспевать? Сам повседневный труд? Или схватку труженика со своими захребетниками? Что



важнее? О чем писать труднее? И вот я хочу спросить у вас, ага, об одном крупном событии, которое произошло в наших краях в прошлом году. Что вы можете сказать о набеге Базаралы?

Вопрос, заданный Абишем, имел большое значение для его братьев и друзей. Рассказы и распросы Абиша натолкнули Магаша, Какитая на мысль, что они сами ни разу не обращались к Абаю с вопросом о его оценке дерзкого набега Базаралы. И сейчас, после слов Абиша, джигиты выжидательно смотрели на Абая. Абай слушал сына, надвинув на крутой лоб тюбетейку, облокотившись на подушку. При последних словах Абиша быстро поднял глаза и остро посмотрел на него. Потом взял шакшу, табакерку, достал насыбай и заложил за губу. Молчание его продолжалось. И тогда Абиш продолжил:

– Я хотел спросить у вас – это дело рук доведенных до отчаяния жатаков? Или под водительством Базаралы произошло в степи восстание бедняков? А он сам – сознательно пошел на бунт или в порыве гнева? И как вы смотрите на его набег с высоты вашей поэзии, вашей человеческой деятельности, когда вы постоянно защищаете мирных людей степи? И, наконец, что вы скажете об этом как мыслитель, как наш учитель?

Новые вопросы Абиша нелегким грузом легли на душу Абая, осознающего свою особенную ответственность за ответы на них. Читая книги Герцена, Чернышевского, Абай понимал все глубины их мысли, иногда сразу, а порой в продолжение долгих размышлений. Но ответы на вопросы Абиша не восходили светом истины из тьмы самой окружающей жизни. Поэтому Абай продолжал молчать.

Но вот он выкинул из-за губы насыбай, отхлебнул кумыса из пиалы и заговорил, с задумчивым видом двигая тюбетейкой вверх-вниз на лысеющей своей голове:

– На твой вопрос отвечаю одно: решимость таких действий зрела в душе многих обиженных людей. Но окончательно решиться на это никто не мог, сознание наше здесь, в степи, еще не пришло к этому. Чтобы призвать русское крестьянство к то-



пору, нужен был Чернышевский. Однако тех, у кого достаточно накопилось в сердце обиды и гнева, было и у нас, в степи, немало. Словом, многие чувствовали, что нельзя покорно сносить все обиды и надо бороться, однако высказать это вслух не могли. Я бы сказал, что и решимости на борьбу не хватало. И дерзкий набег Базаралы оказался неожиданным уроком для всех. У нас в степи еще не понимают, что не жаловаться надо, а драться с оружием в руках. Я много передумал об этом – и скажу вам, джигиты, что поступок Базаралы исходил все же не только от его разгневанного сердца, а родился как вырвавшаяся наружу неудержимая сила народного гнева. Набег Базаралы – это большое, беспримерное событие в нашем краю, и оно послужило во благо народу, пробуждая его. – Высказав это, Абай снова задумался и смолк надолго.

Присутствующие в доме тоже молчали, ожидая продолжения слов Абая. Абиш, в глубокой задумчивости, кивнул самому себе... И снова, переменив позу, Абай заговорил, продолжая отвечать сыну:

– Ты еще спрашивал, сознательно ли Базаралы пошел на это дело... Я-то знал и раньше, что в его душе всегда бродили такие мысли и желания. Ну а побывав на каторге, вернувшись оттуда, он, конечно, вполне уразумел, что ему надо делать. Сознательно пошли в набег и те сорок джигитов, которых он отобрал и призвал. У меня есть знакомый старик-жатак, зовут Даркембай, – который носит в своей великой душе все невысказанные страдания и все печали народа, вот он бы мог лучше меня рассказать вам всю подноготную этой небывалой барымты... Ну а на последний твой вопрос, как я, ваш Абай-ага, смотрю на это событие, то вот тебе мой самый краткий и ясный ответ: всеми помыслами и всеми делами своими я на стороне этих людей! – Так завершил Абай свой пространственный ответ сыну.

Затем, вновь через небольшое молчание, вдруг встрепенулся и словно преобразился весь: в глазах вспыхнул огонек, речь стала быстрой, горячей:



– И все же я в долгу перед Базаралы! В долгу перед горсткой этих отважных джигитов! И перед всеми другими, неизвестными, которые стоят за ними. Эти люди совершили подвиг. А я обязан – воспеть их подвиг, их смелый поступок и донести эту песнь до людей нынешнего поколения и всех последующих поколений. Но сделать это обязан не только я один, – а все мои юные друзья, молодые акыны, которые находятся здесь! Пишите все! Рассказывайте веским языком поэзии о народных печалях, страданиях! И этим поможете народу осознать свое горе, – затем, чтобы он смог преодолеть его.

При этих словах молодежь так и встрепенулась, подняла свои головы и, воодушевленно переглядываясь между собою, всей душою восприняла наказ своего ага и учителя.

Абиш сполна получил ответы на все свои вопросы. Он был удовлетворен ответами Абая, но сыну хотелось еще о чем-то спросить у отца.

– Последнее у меня, ага! Если посмотреть на то, чем завершилось это дело, то можно с горьким сожалением признать, что Базаралы принес простому народу еще больше страданий. Разве бедняки степи сделали не такой вывод? А вы сами, что думаете по этому поводу, ага?

На этот вопрос Абай тоже не спешил дать ответ. По каким-то своим внутренним соображениям, он сидел и, прищурившись, смотрел на одного только Дармена. Будто увидел в нем, в сияющем молодостью и здоровьем, приветливом лице джигита, самый верный ответ на заданный ему вопрос. Чуть заметно улыбнувшись, он порывисто наклонился к Абишу и молвил:

– Да! Многие столкнулись с еще большей нищетой и обездоленностью. Забрали дойных коров, отняли верховых лошадей – может ли быть большая беда для степняка? И стало бы великой печалью это значительное для степи событие, если оно родило в памяти людей только порицание и отвращение. Но я хорошо знаю, что не только Базаралы, Даркембай, Абылгазы не сожалеют о содеянном, нанеся сокрушительный удар по шайке



Такежана, – но и все сорок джигитов! Многие из них впоследствии ушли в дальние районы Арки и, переменяв свой кочевой образ жизни, стали жить оседло и сделались землепашцами. И мой друг-жатак, старик Даркембай, дядя Дармена, тому хороший пример. А ведь он уже стоит на пороге своего семидесятилетия!..

А еще скажу: нельзя о событиях такого значения судить только по тому, насколько хуже или лучше стали жить люди после них. И результатом крупного народного выступления нельзя признавать только успех, приблизивший народ к лучшей доле. И наоборот – считать его безуспешным, если цель восстания не достигнута. А вы только представьте, что действия Базаралы привели бы лишь к приумножению поголовья коров у жатаков и лошадей у жигитеков, и на этом бы все мирно завершилось! Велика ли была бы польза и достоин ли пример для истории казахов? Открылись бы у них глаза, чтобы увидеть свой дальнейший путь? И чтобы это произошло – сколько же «голов лошадей», «дойной скотины», «верблюжьих связок» надо было бы передать бедным людям? Апырай! Разве с такими соображениями надо подходить к этому событию? Если на денежную меру переводить историю, то мы далеко не уйдем и в своем сознании останемся на уровне лавочника-перекупщика!

А что у нас получится, друзья мои, если мы будем все расценивать иначе? – продолжал Абай дальше. – Вот вам пример из истории России. Восстание Степана Разина было потоплено в крови. Крестьянская война Пугачева закончилось тем, что его четвертовали на Лобном месте возле Кремля. Все это печально: если смотреть на события глазами несчастных детей того же Разина или Пугачева, оставшихся обездоленными сиротами, если мерить события лишь ценой обездоленности народа, слезами старых матерей и отцов, – то можно засомневаться в праведности тех, кто выходил на смертельную схватку с царизмом. Но разве истина в этом? Разве не поставила история России на свои достойные места этих страшных бунтовщиков? Так и



поступок нашего Базаралы – это не деяние, приведшее бедный люд к еще большей бедности. Это подвиг, который возвысил народ. И в понимании этого – наше с вами пробуждение, и мы должны пробуждать сознание народа, чтобы он стремился к высоким свершениям.

Слова Абая произвели на присутствующих большое впечатление. Глубокая тишина наступила в юрте. Абиш восторженным голосом воскликнул:

– «Из искры возгорится пламя!»

Абай ласково посмотрел на Абдрахмана и улыбнулся.

3

Аул Абая перекочевал в урочище Кызылкайнар, где, кроме узенькой извилистой речки, немало водоемов с ключевой водой и родников. Пастбища с сочной травой просторны, потому и стоят рядом множество других аулов, прикочевавших вслед за аулом Абая. Из одного только рода Иргизбай их больше десятка, помимо них расположились по всему урочищу стоянки аулов Карабатыр, Аннет, Торгай, Топай.

Аулы теснились на равнине в виду друг друга. Бросались в глаза стоящие на краю аулов черные юрты и дырявые лачуги бедняков. На зеленом джайлау эти нищие жилища смотрелись особенно убого, и, глядя на них, нетрудно было догадаться, как ково живет их обитателям.

Широко разбредались по пастбищам пестрые отары овец и табуны лошадей. Паслись стада о сотни голов, порою о тысячи. Большие стада принадлежали владельцам из белых юрт, но счет скотине в этих стадах и табунах знали лучше обитатели черных юрт, которым днем и ночью приходилось пасти их, обихаживать, заботиться о них. В черных юртах и дырявых балаганах жили семьи табунщиков, чабанов, доильщиков кобылиц, коровьих и верблюжьих пастухов, сторожей многочисленных стад. Зимой и летом от зари и до зари и даже ночью приходилось работни-



кам заниматься байской скотиной. Беспокойные мысли о ней не оставляли их и во сне.

Не только на джайлау Кызылкайнар столь беспокойна жизнь кочевников. Подобные нелегкие будни можно наблюдать и в аулах Бокенши на джайлау Ак-Томар, расположенном на дальнем краю Чингизской волости, и в урочище жигитеков в Суык-Булаке, и на Тонашак у котобаков, и на Айдарлы у сактогалаков. Заканчивались пространства тобыктинских джайлау урочищем Карасу, владением рода Есболат.

Сегодня с полудня на все эти джайлау обрушилась, словно черная буря, большая беда. Но она свалилась на одни лишь черные и серые маленькие юрты – и ни одной большой белой юрты не задела. Не впервые в степь приходит эта беда – каждые год-полтора она ввергает в тоску и ужас, словно мор, бедных людей кочевых племен. Беспомощное, тоскливое чувство овладевает ими.

Название этому бедствию – сбор недоимок. В этом году к ним прибавились еще и налог с дыма – покибиточный налог, и, самое отвратительное, карашыгын – черные поборы, определяемые своей, волостной родовой властью.

Бедственная весть прилетела в аулы Иргизбая знойным полднем, обдав души бедных людей зимним холодом. Привез черную весть аткаминер первого волостного аула Утеп. Вместе с ним прибыли на Кызылкайнар два шабармана с бляхами на груди, дерзкие грубияны и задиры – Далбай и Жакай. Спеша по направлению к Ак-Томар, они успели исхлестать плетями табунщиков, которые не поторопились дать им сменных лошадей. Врываясь в аулы, они проскакивали их бешеным галопом, пугая детей, разгоняя скотину и доводя до иступления всех аульных собак. Далбай и Жакай умели вызвать у людей страх и панику.

Старшина Утеп спешил к белой юрте Исхака и велел шабарманам согнать к ней всю бедноту аула. Перед оробевшими людьми держал речь:



– К нам в волость прибывает начальство. Нас винят в том, что мы, в Чингизской волости, отбились от рук и уже несколько лет не платим царские налоги, также и недоимки. Поэтому сановники и едут к нам, – хотят в три дня собрать налоги за нынешний год и недоимки по прошлым годам. Также готовьтесь отдать карашыгын для кормления и содержания сановников из города. Начальство уже прибыло, остановилось в Ак-Томаре, у Бокенши. Вызвали к себе всех биев, аткаминеров, волостного писаря. Я тоже тороплюсь туда, мне держать ответ перед сановником за вас. Меня самого загнали в угол, и я тоже не собираюсь вас жалеть! Завтра же к полудню отдайте долги, чем хотите – деньгами ли, скотиной. Не соберете денег – заберу последнюю дойную корову или пяток коз, или лошадь и погоню к сановнику!

Все это он повторил в других иргизбаевских аулах и к ночи ускакал со своими атшабарами в Ак-Томар.

Так все и началось. До самых сумерек шатались по аулу растерянные бедняки, словно неясные тени, не находя себе места.

То, чем пригрозил Утеп, не было шуткой. Завтра же он выполнит угрозу, не посмотрит ни на какие слезы, отнимет последнее. Разве в прошлом Утеп не так же поступал?

И, встревоженные, вконец убитые безысходными думами, батраки и бедные «соседи» потянулись к белым юртам своих хозяев.

В дом Исхака пришел вечером верблюжий пастух Жумыр. На голове – свалывшаяся, местами протертая до кожи, мерлушковая шапчонка, на ногах изношенные войлочные сапоги. Чапан по виду напоминал тряпку, выброшенную на кочевой стоянке и пролежавшую там, на земле, немалое время. Опоясан он был обрывком узкого потрескавшегося ремня, который жутким образом наводил на мысль, что человек сначала повесился на этом ремне, затем сорвался и ушел от виселицы нужды, перепоясавшись снятой с шеи ременной петлей.



В байской юрте никого из посторонних не было – только Исхак и его любимая супруга, надменная смуглая байбише Манике. Оба возлежали на высоко взбитой постели, подсунув под локти груды подушек.

Маленький старый пастух, умаявшийся за целый день беготни за верблюдами, стал у порога и, глядя красными воспаленными глазами на байбише, заговорил с робким видом:

– В доме хоть шаром покати, очаг мой пуст, нечем мне платить недоимки... И карашыгын... и налог за дым... Разве я могу? Вы же сами знаете... Всего скота у меня – единственная кобылица... Как мне быть?

– Е-е, а мы тут при чем? – ворохнулся на подушках дородный Исхак.

Байбише, даже не обернувшись, выпятила свои большие губы и, шумно выдохнув, произнесла затем:

– Ты что? Разве мы – волостные или старшины? Налоги не мы взимаем. Так что за этим не обращайся к нам. Убирайся, не беспокой людей!

Старик не ушел, выжидая чего-то.

– Апырай, а я надеялся... думал, что заступитесь, спасете, как это говорят, бедного человека за его труды... – пробормотал он.

– Уай, за какие это труды? – язвительно сказала байбише, решив взять в свои руки бразды правления в разговоре. – За что нам спасать-то тебя?

– За то, что я послужил вам немало... И не только я тружусь ради ваших верблюдов, но и старший сын мой, которого вы переименовали в Борибасара, ходит в пастухах твоих ягнят.

В ту же минуту, услышав свое имя, вошел в юрту и сел рядом с отцом у входа худой, вислоносый мальчик. Он был босиком, грязные ноги его потрескались до крови.

– Но я тебе немало давал за твой труд! – повысил голос Исхак.



– Чего-то я не помню, карагым, чтобы ты давал... а я брал...

– Как не помнишь? А кто питается из моего казана всю зиму и лето? Не ты ли со своей семьей? – взвилась с подушек байбише.

– Какое там питание... Худая кормежка! Остатки от сорпы, кости одни... Такой корм добрый хозяин и собаке постесняется дать.

– Е, а у тебя, оказывается, язык без костей, старое помело! А если я скажу тебе, что хорошая собака лучше плохого пастуха верблюдов, что ты сделаешь со мною? Убьешь, наверное?

– Уай, байбише, зачем выкалываете глаза слепому! Ты мне лучше скажи, почему вы сыновьям моим дали собачьи клички? Значит, для вас мы хуже собак... – умолкнув, с обиженным видом, пастух Жумыр ушел из байского дома, увел с собой мальчика.

У Жумыра трое малолетних детей, самому старшему, который приходил с ним, тринадцать лет. Второй чуть младше, а третий – совсем малыш. Старших отец назвал Такежаном и Исхаком. Когда Жумыр пришел в «соседи» к новому баю, вздорная байбише была возмущена тем, что имена его детей были такими же, как у двух сыновей Кунанбая. К тому же Исхак был ее мужем. Она порешила тогда:

– Негоже, чтобы никудышной собачонке давали кличку Борибасар – волкодав. Сущя наглость для жатаков давать сыновьям имена своих мырз! Мальчишек переименовать – одного пусть так и зовут теперь Борибасар, а второго – как нашего охотничьего пса, Корер.

Вот так были забыты настоящие имена двоих сыновей Жумыра, они стали жить с собачьими кличками. Беспредельными были презрение и нелюбовь бая к своим работникам, ждать от них человеческой помощи было бесполезно, – потому и ушел без всякой надежды Жумыр из юрты толстого бая Исхака и его такой же толстой байбише Манике.



В тот же вечер на краю аула бая Такежана, в серенькой юрте старухи Ийс тоже царила печаль. Выдаивая свою единственную корову, старуха плакала, слезы давно текли по ее лицу.

На руках у Ийс остались двое внуков, Асан и Усен, – вскоре после гибели Исы умерла и его жена, молодая невестка, и старуха поднимала детей одна. Сиротам было – одному шесть лет, другому четыре года. Они не голодали благодаря тому, что у них оставалась серая корова, – и вот ее завтра должны были увести из-за недоимок и черных поборов. Старуха доила свою кормилицу в последний раз, отчаянно скорбела и думала, чем завтра кормить маленьких внуков. Вскипятив последнее молоко, дав его покушать детям, старуха уложила их спать, а сама пошла в дом бая Такежана.

Там оставались байские сын Азимбай и жена Каражан, сам же Такежан отъехал по вызову чиновника в административный аул на земле Бокенши. В этом году Такежан снова был волостным старшиной. До старой Ийс в его юрту уже приходили двое бедняков, тоже просили помочь с налогами, – но так и ушли восвояси, ничего не получив. Один из них был Канбак, аульный сторож и охранник стад. На его просьбу о помощи Азимбай ответил: «Недавно волки задрали у тебя двух ягнят, а ты спал в это время. Я тебя отругал, а ты что мне ответил? Ты же меня поносил! Тогда я и подумал: «Ничего, скоро придется платить недоимки, посмотрим, как ты забегаешь!» Вот и пришел этот день!

Канбак не вынес издевательства Азимбая и бурно запротестовал, напомнив, что он три года платил и недоимки, и черные поборы, и ни разу не обращался к нему за помощью. А хозяин, со своей стороны, ни разу не заплатил ему за труды и, значит, держал его за раба! Перепалка обратилась во взаимную ругань и оскорбления, Азимбай наконец выматерил Канбака, исхлестал плетью и вытолкал вон из своего дома.

Вторым приходил доильщик аульных кобылиц Токсан. Много лет он работал на Такежана, изнывал у его порога, пытаясь за-



работать на калым за нареченную невесту. И вот ему уже тридцать пять лет, а калым стоимостью в пять верблюдов все еще не выплачен, и живет Токсан до сих пор бобылем, не имея собственной крыши над головой. Коварный Азимбай уже пять лет нещадно издевается над Токсаном, обещает выкупить для него невесту, и под это обещание ничего не платит работнику. Его будущий тесть тоже из прислуги Такежана, так Азимбай шепчет и ему, чтобы он не торопился отдавать дочь за Токсана, обещая со временем выдавить из него более значительный калым.

Дело в том, что Токсан очень хороший доильщик кобылиц, и если он выплатит калым и женится, то ни за что не останется у Такежана, уйдет к другому хозяину. Азимбай хорошо знает об этом и потому путает и вяжет Токсана без веревки, крепко держит при себе... Сегодня молодой бай снова его запугал, задурил и отправил ни с чем назад.

А теперь, вот, пришла старая Ийс. Плача, она стала жаловаться байбише Каражан, рассказывая о своей последней беде. Смирненно напомнила, что она одна плетет веревки и арканы для аула, плетет конскую упряжь, сбрую, волосяные канаты-жели... Слезы старухи как будто тронули байбише, и она обратилась к сыну:

– Но разве не вывели эту бедняжку из списка тех в нашем ауле, которым надо платить налоги? Разве ее очаг не отделен от нашего шанырака?

Такая мягкотелость матери пришлась сыну не по нраву, и он резко ответил ей:

– Я, что ли, должен был делать это? И зачем только вы мне про это говорите, апа?

Старуха Ийс:

– Не дайте забрать коровку! Она кормит сироток моих. Без нее – что нам делать?

Но ничто не смягчило Азимбая: у него был свой расчет. Он хотел навсегда привязать Ийс к своему порогу. Пусть несчастья раздавят ее, и тогда ей деваться будет некуда, и она до конца



своих дней будет вить веревки для них и плести ремни. Угадав по молчанию Азимбая, что он не собирается ей помочь, старая Ийс навзрыд заплакала и заголосила:

– Мой сын Иса, свет жизни моей, простудился и умер, спасая твоих овец! В бурную ночь побежал за стадом, почти раздетый, погиб ради твоего благополучия! А ты даже о его сиротах не подумашь! Пожалел бы их, молодой бай!

Азимбай грозно рявкнул на старую женщину:

– Вон из дома! Хочешь пеню за него выколотить? Попробуй, взыщи! Прочь от меня!

И он прогнал старую Ийс. Азимбай решил оставить ее без коровы, чтобы она теперь навсегда осталась в его ярме.

Ийс ушла, проклиная его.

– Чтобы вовек не видать тебе удачи! Будь ты проклят, пусть на тебя падут все мои несчастья! Чтобы слезы моих сироток отлились на тебе! Мне бы лучше к врагу пойти за помощью, нежели к тебе! – Так проклинала старая Ийс Азимбая, шагая в темноте к своему дому.

Она проплакала всю ночь, обняв своих малышей-сирот. До утра ворочалась и вздыхала. Тихо причитала, обливаясь слезами:

– Сиротинушки мои... Несчастные мои... Да куда же нам теперь деваться... Куда приткнуться головой...

Подобные плачи и горестные стенания звучали в ту ночь во многих аулах иргизбаев – у Акберды, Майбасара, Ирсаея...

И богатые баи родов Котибак, Жигитек, Бокенши слышали от своих батраков в эти дни одни жалобы, мольбы о помощи и проклятия.

В ауле Сугира в роду Бокенши уже началось взыскание налогов и недоимок. Бии и аткаминеры так и кружились угодливо около крестьянского правителя Никифорова, ждали от него указаний. Называли степняки Никифорова – «Никапора». То и дело слышалось:

– Е! Сам Никапора так велел!



- Никапора нынче свиреп!
- Никапора – строгий нашалнык!

Этим баи и продувные старшины запугивали простодушный народ.

Заночевав в ауле Сугира, наутро команда сборщиков налога принялась беспощадно выколачивать из бедного населения Бокенши, Борсак, Жигитек все эти недоимки, подушные, кибиточные и черные поборы. Стоны, плач и вой бедняков поднялся над черными юртами.

В эти дни особенно устрашающе звучали имена тех налоговиков, которые не знали никакой жалости к людям. Одного пристава народ прозвал Кокшолак, что означало – серый лютый волк, другого урядника называли Сойкан, хищник то есть, – из-за созвучия этого слова с фамилией пристава – Сойкин. И Кокшолак, ненасытный взяточник, и Сойкан – не только взяточник, но и любитель помахать плеткой, вполне соответствовали своим прозвищам. Так, для острастки, накануне урядник избил посыльного Далбая. За некоторую задержку скота недоимщиков Сойкан в кровь исхлестал пятерых из рода Борсак. Следя за его действиями, аткаминеры мрачно пошучивали: «Он ничего не понимает, кроме взяток и плетей! Все остальное он не принимает, словно отраву!» В стае лютых налоговиков подвизался еще и писарь Чингизской волости Жаманкарин. За его лютый нрав и бешеную злобность бедняки рода Бокенши прозвали его – Кабанкарин – черный кабан.

Все эти волки лютые, хищники алчные, кабаны черные нещадно терзали тела и души людей.

Ночью за картами, с приставом и урядником, Кабанкарин договорился с русскими представителями власти, что они будут действовать дальше заодно с Такежаном, Жиренше и другими степными воротилами. Городские власти прибыли в степь, чтобы собрать с населения покибиточный налог – «за дым», а заодно выколотить из аульчан недоимки за прошлый год. Воротилы предлагали им вытрясти из народа еще и карашыгын, ко-



торые в казну не пойдут, – но кое-что благополучно осядет в их карманах. Кабанкарин доходчиво объяснил, что черные поборы будут поделены между городскими и степными властями таким образом, что все будут очень довольны, в том числе и главный начальник, крестьянский правитель Никифоров – Никапора. Кабану недолго пришлось уговаривать волка Кокшолака и хищную птицу Сойкана, они очень быстро все поняли. Узнав об этом, старшины и бии – Такежан, Жиренше, Бейсенби – заулыбались, быстренько перемигнулись. К их клике прилегали и старшины Утеп, Кусен, Тойшыбек, Бокембай, Абылхайыр.

Смрад взятки заставлял трепетать ноздри всех этих хищников. Они вели себя как звери-падальщики или же как птицы-стервятники, со всех сторон устремляющиеся к зловонному трупу. Казалось, сбежались и слетелись эти трупоеды со всех окрестных гор – Орды, Догалана, Шуная, Ортенды.

Итак, на второй день начался жестокий набег налоговиков. У большинства кочевников среднего достатка денежных средств было немного, а у бедняков денег вообще не водилось, лишь в окованных сундуках у богатых баев лежали припрятанные пачки кредиток. А налог с дыма, недоимки и черные поборы начислялись деньгами, и потому у несостоятельных должников забирали скот. Причем оценивали его заведомо по низкой стоимости.

Плетями и нагайками, под угрозой оружия, выгонялся скот из аулов. Из многих дворов его забирали подчистую, не оставляя ни единого барана, коровы или коня. Стон поднялся над аулами. Кричали женщины, плакали дети. Старые матери причитали, словно по покойнику.

Как будто страшные потоки сели обрушились на аулы кочевников, унося с собою все, чем они существовали на этой земле.

Чем дальше продвигался к Кызылкайнару страшный поток налогового набега, тем длиннее вытягивалось угоняемое разномастное стадо. А за этим черным потоком шли толпы плачущих людей, у которых отобрали все средства к существованию,



убили саму надежду на жизнь. Они никак не могли отстать от своей отобранной и угоняемой скотины – своего единственного достояния. В гневе, горечи и отчаянии люди слали проклятья насильникам. Ни один бедняцкий аул Бокенши, Жигитек, Котибак не уберется от них. По всему Чингизскому округу прошла эта черная беда, не миновав ни одной бедной кибитки на всех джайлау.

В далеком урочище Суык-Булак расположился большой аул жатаков из рода Жигитек. В этом ауле жили отважные люди, такие, как Базаралы, Абди, Сержан, Аскар, старый Келден. Слухи о том, что повсюду бедный люд отчаянно стонет из-за непомерных налогов и карашыгын, дошли и до них.

– Что будем делать, когда придут и к нам? Денег у нас нет, скота – всего по паре коз, считанные овцы, дойных коров держим на два двора по одной. Идет слух, что и это все забирают. Поверят ли нам, что прошлогодний кун Такежана вконец разорил нас? – сказал аксакал Келден.

Он говорил это, придя к Базаралы, тревожась не за себя, но за всю общину жатаков. Что будет с голодными, нищими очагами, с исхудавшими детьми и слабыми стариками?

Базаралы лежал больной. Однако, подняв голову с подушки, спокойно ответил:

– Пусть приходят, а там посмотрим. Ни одна живая душа просто так не отдаст последнее, что имеет. А пока передай нашим крепким джигитам, Сержану, Абди, Аскару, и всем остальным, чтобы никуда из аула не уезжали. А когда приедут загребалы, пришлите ко мне, пусть сначала поговорят со мной.

Атшабары от сборщиков налога появились сразу пополудни. Их было трое. Самым устрашающим из них был безрассудный Далбай, с медной бляхой на груди, размером с крышку чайника, и с огромной кожаной сумкой на боку. Спешившись, он пошел по аулу, нахлестывая плеткой по этой сумке, и с такой свирепой рожей, что бабы и маленькие дети задрожали от страха. Даже бешено лающие аульные собаки испуганно пятились от него.



Рядом с Далбаем шагал старшина одного из аулов Жигитека, столь же дурной и безрассудный, надутый спесью – по имени Дуйсен. Для вящей убедительности своей власти, атшабары от налоговиков прихватили с собой в качестве подручника молчаливого джигита Салмена. Атшабар и аульный старшина, вытащив бумагу, подступили к крайним юртам. Им не терпелось скорее разгуляться, наброситься на дойных коров и коз с козлятами, стоявших во дворах в ожидании послеобеденной выгонки скота на пастбище.

Подошли старый Келден и джигит Абди, аксакал обратился к Далбаю: «Вас ждет Базаралы. Будьте людьми, пойдите сначала к нему, он хочет говорить с вами».

– Е, кто такой этот Базаралы, чтобы я пошел к нему? Пусть сам приходит сюда! Ишь, строит из себя божка! Пусть попробует подойти, а я посмотрю на него!

– Базаралы болен, в постели лежит. Поэтому и зовет...

На что Далбай, в один момент взъярившись, стал замахиваться на старика плетью. В это время Сержан, подойдя сзади, перехватил камчу и с силой рванул за рукоять. Крепкий ремешок петли, больно впившись в кисть руки, потянул за собой, и атшабар упал навзничь на землю.

Аткаминер Дуйсен с криком ярости кинулся к Сержану, но его схватил за ворот Абди, встряхнул с силой и бросил наземь. Сержан успел только сообщить:

– Базаралы велел, чтобы мы притащили налоговых шабарманов к нему, – и, насильно подняв с земли Далбая, стал подталкивать его в сторону юрты Базаралы.

Оглушенного Дуйсена джужий Абди потащил волоком. Молодой, тихий джигит Салмен перепугался насмерть и, не произнеся ни слова, покорно следовал за всеми.

Базаралы не стал тратить много слов, лишь сказал:

– Знаю, что вы со вчерашнего дня рыщете по аулам, как волки. Довольно! Будет с вас. Теперь, джигиты, заголите им зады и



всыпьте как следует! Абди, Сержан, ну-ка, возьмите в руку камчу!

На Далбая и Дуйсена дружно навалились Аскар и еще три джигита, уложили на пол лицом вниз. Абди и Сержан, поплевав на ладони, встали с плетками в руках над шабарманами налоговиков.

При виде тяжелых плеток в руках здоровенных джигитов, шабарманы завопили, прося пощады у Базаралы. Он же, подмигнув джигитам, все еще не давал команды начать порку. Повременив, достаточно послушав мольбы и вопли шабарманов, Базаралы с кровати свесил голову над ними и молвил:

– Как бы я ни поступил с вами, все для вас будет мало, собаки! Е! Никто не придет к вам на помощь, если я даже буду убивать вас!

– Акетай! Отец родной! Не убивай нас!

– Прости, агатай! Мы виноваты!

– Еще появитесь в этом ауле, чтобы забирать последних козлят у людей?

– Нет, нет! Будь я проклят!

– Кафиром¹ буду, если еще раз появлюсь здесь!

– А властям будете жаловаться на нас?

– Не будем! Молчать будем!

– Никому ничего не скажем, что видели, что знаем! Только пощады, не бей! Клянемся жизнью, не скажем.

– Еще бы! Прикажу вас бить, – все равно этой жизни лишитесь! Подохнете, как собаки! Какую клятву дадите, что будете молчать?

– Ойбо-ой! Любую дадим! Хотите, поклянусь на Коране, прижав его к груди? – вопил Далбай; ему вторил Дуйсен.

Базаралы, однако, не торопился им поверить. По-прежнему перемигиваясь с джигитами, он продолжал допрос:

– А как следует с вами поступить, если сейчас поклянетесь, а потом нарушите клятву и пожалуетесь начальству? Напустите на нас его гнев?

¹ *Кафир* – безбожник, неверный.



- Быть нам навеки опозоренными!
- Быть проклятыми!
- Е, вам веры мало! Неужели завтра придется ночью прийти к вам и зарезать вас в ваших домах?
- Приходи и режь, если мы окажемся такими неверными псами!
- Тогда прижмите Коран к груди и клянитесь!
- Поклянемся, апырау!
- И больше не придете в аул за недоимками, за карашыгын?
- Не придем, ойбай-ау!
- Тогда принесите Коран! – велел Базаралы присутствующим в юрте.

– Уа, какой может быть Коран в нищем ауле? – начал было Абди, но Базаралы жестом руки остановил его.

– Коран есть, не говори так. Вон там возьми, за уыком!

Сержан быстро смекнул, в чем дело, и вытащил из-за выгнутой жердины верхнего остова юрты довольно пухлую рукописную тетрадь. Подал ее Базаралы. Это был не Коран, а стихи Абая, переписанные прошлой зимой, которые Базаралы читал вслух молодежи жатакского аула. И неграмотный Далбай даже и не подумал, что протянутая ему тетрадь – вовсе не Коран. Да и старшина Дуйсен, с отчаянной готовностью протягивающий руку к тетради, чтобы скорее прижать «Коран» к груди и произнести клятву, ничего не заметил.

Произнеся слова клятвы, поцеловав «Коран», оба незадачливых посланца от налоговой службы поспешно уехали восвояси, спасая свои души.

Таким образом, благодаря находчивости Базаралы, единственный аул жатаков остался в стороне от всеобщего вымогательства властей города и степи. Чиновники налогового ведомства так и не дошли до этого аула. Их обвели стороною и повезли дальше.



Вскоре огромный обоз и конфискованные стада подошли к землям иргизбаев. Сборщики налогов прошлись по аулам Такежана, Исхака. Впереди ехали самые рьяные налоговики, ведомственные из города и местные, от степных властей, урядники Кокшолок и Сойкин, аткаминер Утеп, атшабар Далбай, Кабанкарин и другие.

В окружении таких биев, как Жиренше, Такежан, крестьянский начальник Никифоров покойно продвигался на степном тарантасе вслед за передовой группой хищников и фискалов. В иргизбаевских аулах семьи Кунанбая особенно не задерживались. Проскочили дальше, выхватив со двора Жумыра серую кобылицу, пять коз у Канбака, единственного годовалого стригунка у Токсана и серую коровенку старухи Ийс. Весь скот ретивые атшабары погнали вперед, скорее вон из аула, торопясь присоединить к ушедшему вперед огромному стаду угнанных животных. Плачущие в голос бедняки бежали следом, не в силах отстать от своего угоняемого скота.


Когда приставы и атшабары, уводившие корову Ийс, выгоняли скотину за край такежановского аула, истощный крик старухи достиг соседнего аула Абая. Услышав этот крик, Дармен, выезжавший оттуда вместе с Баймагамбетом, свернул с пути и галопом прискакал в аул Такежана. Он увидел, как малолетние сироты Исы, громко ревя, идут с двух сторон увлекаемой за веревку, понуро шагающей коровы, держа ее за рога. Дармен знал семью покойного Исы, куда в прошлом году посылал его Абай, чтобы устроить достойные похороны отважного пастуха. Увидев Дармена, старая Ийс вскричала еще громче, заплакала отчаяннее.

– Родной, заступись! Что будет с нами, светик мой?

Дармен, спрыгнув с коня, бегом устремился к Далбаю.

– Кровопийцы! Отдайте корову! – яростно крикнул Дармен. – Не видите – дети?!

– Пошел прочь! – рявкнул Далбай и замахнулся камчой.



Дармен быстро выхватил нож из ножен и одним махом перерезал веревку, за которую, в общей связке с другой скотиной, тащили серую корову. Она, словно быстро сообразив, повернулась назад и бегом побежала обратно к аулу. В это мгновение, жутко матерясь и размахивая плетками, кучей наскочили урядники и атшабары: Утеп, Жакай, Кабанкарин. Кабан хлестнул плетью Дармена по голове. Дармен тоже стал отмахиваться плетью. Однако он был пеший, противники же на конях. Лицо Дармена окрасилось кровью. Увидев это издали, Баймагамбет с места рванул галопом и, примчавшись на помощь, закрыл собой джигита. Но его стали оттеснять в сторону Утеп, Жакай и другие. Увидев, что ему не справиться со всеми, Баймагамбет поскакал к аулу Абая, в виду которого происходила эта схватка.

А уже навстречу ему неся во весь опор Абиш, размахивая над головою камчой. Заметив кровь на лице Дармена, Абдрахман весь побелел от ярости. Подскакав к Кабанкарину, он перехватил за кнутовище его камчу и с такой неожиданной силой дернул в сторону атшабара, что тот вылетел из седла и грохнулся на землю. Увидев перед собой джигита в военной форме, Кабанкарин совершенно растерялся, изрядно струсил и стал отползать в сторону.

Пристав Сойкин издали увидел потасовку, из-за которой движение растянутого стада задерживалось, и, хрипло матерясь, отведя для удара руку с зажатой в ней плетью, помчался в сторону дерущихся степняков – усмирять, бить, приводить в порядок. Поравнявшись со старой Ийс, которая кинулась бегом вслед за своей коровой, пристав с ходу ударил старуху. В тот же миг на него наехал Абдрахман, схватил его коня под уздцы.

– Свинья! Ах ты, свинья! – бешено крикнул Абиш.

Услышав слова на русском, увидев перед собой человека в юнкерской форме, Сойкин растерялся. Но быстро опомнился и хрипло проревел:



– Кто такие?! Откуда бунтовщики! Я вам покажу сейчас!
В это время подоспел Абай.

Одновременно подъехали Никифоров на тарантасе и сопровождавшие его верхом бии. Набежала и большая, шумная толпа плачущих женщин, разъяренных мужчин. Со всех сторон, окружив повозку, степняки стали с угрозами подступаться к начальству и своим биям, Такежану и Жиренше. Абай прикрикнул на них:

– Не видите? Сейчас разгорится пожар. И первыми сгорите вы! Уносите ноги, пока живы! Скорее! А с чиновником буду говорить я!

Абай яростно напирал на биев, и, увидев его в таком гневе, Жиренше и Такежан стали заворачивать коней. Никифоров, наблюдая это, изрядно перепугался. Толпа разъяренных кочевников все ближе подступала к нему. Увидев гнев Абая, слыша его крики, толпа возбудилась еще больше. И тогда Никифоров громким окриком стал осаживать своих людей – Кокшолока, Сойкина, Кабанкарина. Атшабары отступили...

Абай давно был знаком с Никифоровым. А прошлой ночью они в ауле Такежана успели поговорить за ужином.

Разговор в основном шел о том, чтобы сбор налогов в степи прошел законным образом, без нарушений и местнического произвола. Обычно уверенный в себе, властный чиновник Никифоров в этот раз держался крайне сдержанно, даже нерешительно. Ему не нравился разговор, не по душе ему был и сам Абай, но, не желая ссориться с сильным родом Кунанбаевых, чиновник согласился заночевать в ауле Такежана. Действуя тайно, через урядника Сойкина и старшину Жаманкарина, он мог бы отхватить от черных поборов немалый кусок, и ради этого готов был закрыть глаза на то, что вместе со сбором царских налогов местная власть собирает и «черный» налог, устанавливая его размеры по собственному произволу.



Но открытое заступничество Абая за бедное население испугало и насторожило нечистого на руку чиновника.

В ночном разговоре Абай добился ясности в том, что от черных поборов освобождаются все неимущие, и поборы перекладываются на богатых. Никифоров пообещал это, опасаясь решительных выступлений Абая против него уже в городе.

И сегодня, во время назревающего бунта, Никифоров остановил своих урядников и конвой, готовых приступить к расправе над отчаявшимися ограбленными бедняками.

К тому же немедленно был остановлен «налоговый гурт» и возвращен малоимущим хозяевам весь отобранный скот.

Но чиновник, трусивший перед Абаем, как только они расстались, написал и отправил в город донос на него, обвиняя Абая в разных незаконных действиях...

Прошло несколько дней. В последнее время Абаю все чаще хотелось уединения, он сторонился людей и проводил время в тишине очага Айгерим, читая книги. И сейчас он сидел возле кровати, с раскрытой книгой на коленях, но не читал, а о чем-то думал, уставив печальные глаза в неведомое пространство.

Айгерим занималась по домашности, неслышно передвигаясь по юрте. Она поглядывала на мужа спокойно, без какой-либо тревоги, видя его за его обычным занятием, с книгой в руках. В последние два дня он несколько раз просил ее принести ему карандаш и бумагу, что означало время рождения нового стихотворения. Любящая, внимательная Айгерим давно уже научилась понимать подобные его состояния и благоговейно относилась к ним. Она оберегала его творческое уединение и, храня его душевный покой, не допускала в дом посторонних людей. И даже молодежи из поэтического круга Абая мягко, но решительно заявляла: пишет стихи, собирайтесь без него, в другом месте.

Одинокие бдения Абая проходили в глубоких, печальных, безутешных размышлениях. В прошлую ночь он не сомкнул глаз, до утра ворочался в постели, то и дело тяжело вздыхая.



В иные дни, не находя себе покоя, он по утрам, а иногда и по вечерам, один уходил из аула за прилежащие к нему холмы. Покидая постель раньше всех стариков, мучимых бессонницей, бесцельно бродил по степи, иногда возвращался уже в глубоких сумерках.

Все чаще настигало его душевное безвременье. Печаль его была безысходна. И только приезд Абиша нарушил этих скорбных дней череду. Сила радости в душе Абая на какое-то время взяла верх над его неизбывной печалью.

Но сейчас – вновь с головою его накрыла скорбная волна. В продолжение уже немалого времени она несет Абая в потоках горестных размышлений, и они излились во всех стихотворениях последних лет.

Его переживания были – о людском горе. Безысходная, тяжкая доля людей, пребывающих в невежестве, в нищете, в позоре бесконечных унижений... Такие мысли и состояние души вернулись к Абаю сразу после событий третьего дня, в ауле брата Такежана. Беспощадное противостояние и вражда между богатыми и бедными, обездоленными еще раз явились перед ним во всей непримиримости.

Безысходность, беспомощность бедного народа, впавшего в отчаяние от карашыгын и царских налогов, предстала и перед сыном Абая, Абишем, и лишила его сна и покоя в прошлую ночь. Днем он зашел к отцу и откровенно поделился своими мыслями, давно тревожившими его. По мнению Абиша, бунт и насилие тесно связаны между собою, – так же, как и угнетенные и насильники. К насильникам относятся все толстосумы, а так же и чиновники, осуществляющие царскую власть. В России их произвол испытывает на себе тьма крестьянского народа. И там ежедневно происходят крестьянские бунты, столкновения с властями. Петербургский рабочий Еремин, старый человек, рассказывал Абишу, что непримиримое противостояние между богатыми и бедными уже скрыть невозможно. Таким противостоянием теперь охвачен весь мир.



Абиш рассказал отцу о Еремине. Тот приходился старшим братом хозяйки квартиры в Петербурге, где Абиш прошлым летом снимал комнату во время каникул. Поэтому они имели возможность часто встречаться и беседовать со старым рабочим, который принимал участие в организованной тайной борьбе против царизма.

И Абдрахман наедине поведал отцу:

– Старик Еремин рассказывал, что за последние семь-восемь лет в России произошло более трехсот бунтов, в шестидесяти одной губернии. Крестьяне Киевской, Черниговской, Полтавской губерний отказались платить налоги и недоимки, вступили в схватку с властями. Так и вчера – наши табунщики и пастухи были готовы к тому же... Я думаю, ага, что если бы и у нас какой-нибудь достойный человек встал на защиту обездоленных и призвал их к борьбе, то многие перестали бы жаловаться и лить слезы, а сразу нашли в себе силы и смелость выйти на борьбу. Однако такого человека нет, и наш народ не прозрел и не готов дать отпор своим мучителям. Еще не пробудились мы для борьбы.

Абай слушал сына с великим вниманием. Ему досадно и мучительно жаль себя, что жизнь его проходит вдали от страны, где народ как раз пробуждается. Абай чувствовал в себе особенные силы, которые он мог бы отдать на борьбу, – именно потому он и страдал, что невозможно было отдать эти свои силы народу.

Единственным человеком, с которым Абай делился всем самым сокровенным в себе, являлся Ербол. Его он и призвал и раскрыл перед другом свою душу.

– Ербол, айналайын, меня мучают, раздирают тяжелые мысли. Они связаны со вчерашними событиями.

– Поэтому ты и осунулся весь, шырагым! Но переживают об этом и другие люди. И Абиш только и твердит об этом с утра до вечера. Но ты, Абай, чего переживаешь, – ведь тебе удалось вытащить из огня многих несчастных?



Ербол с жалостью смотрел на друга, на его посеревшее, осунувшееся лицо с впалыми глазами. Голос у Абая дрожал.

– Уа, это была всего горстка людей... Но разве можно помочь всему бедному народу, на всех джайлау? Я вчера столкнулся с самым отвратительным, жалким и печальным, что только можно увидеть в нашей жизни. Несчастливых людей, бедных, беспомощных, терзают чудовищно, безжалостно... Плач стоит во всей казахской степи, Ербол.

– Оно так, конечно. Но что поделаешь...


– Но это же наш народ, Ербол... наши братья-казахи! Их беспомощность гнетет меня. А как я могу им помочь? Какой могу дать совет? – сказав это, Абай надолго замолк, невесело глядя перед собою мрачно сверкающими глазами; вдруг глаза эти округлились, и он вскричал: – А ведь с юных лет мы старались бороться со злом, говорили, что так завещали нам предки! А кого мы побороли? Какое добро прочно утвердили в нашей жизни? Где плоды наших трудов? Как найти правильный путь для своего народа, если и для себя самого я так и не определил его? «Мечты по-прежнему вдали, жизнь коротка!» Ербол, помнишь ли ты это мое стихотворение?

Друг помнил эти стихи.

– Там еще говорится о том, что человек – это бесконечное одиночество, – начал Ербол, и потом продолжил:

*В скитаниях я одинок,
Нет друга, нет счастья ни в ком...*

– Дни проходят за днями в этой жизни, и ничто не ново под луной. Беды, вражда, унижение, злоба изъедают сердца людей, как черви. А тут еще, словно стаи волков, налетают хищники, властители, вымогатели и грабят бедный народ, сея в нем страх и сумятицу... Не буду говорить о многих, чужих, – но одним из главных виновников вчерашнего разбоя явил-



ся не кто иной, как начальник нашей волости, мой младший брат Оспан. Выходит, за шиворот и в рукава насыпали мне зло, содеянное моим родным братом! Плюнули мне в самую душу мои же родственники! – Так сетовал Абай, обращаясь к своему другу Ерболу, и лицо у поэта было сумрачным, руки дрожали.

И в эту минуту в дом вошел Оспан, которого позвал старший брат. Абай не ответил на его салем. Удивленный Оспан не успел еще присесть на тор рядом с Ерболом, как Абай резко бросил брату в лицо:

– Эй, Оспан! Ты волостной голова, и я спрашиваю у тебя, где ты был вчера, когда враги грабили твоих людей?

– Астапыралла! О каких врагах ты говоришь, брат?

– Эти чиновные барымтачи вволю поиздевались над бедняками, ограбили голодных старух, – разве это не враги? И я снова спрашиваю: где ты был вчера?

– Был на сходе родовых старшин в Сак-Тогалаке.

– Что, Оспан, у тебя мало своего скота? Зачем принес жертву волкам, – разрешил черные поборы? Для кого ты их собирал?

– Ойба-ай! Ты что? Разве я собирал для себя?

– Тебе мало, что дерешь с бедняков царский налог и недоимки! Так ты еще и делаешь вид, что не знаешь, что карашыгын делят меж собой старшины, бии, толмачи и атшабары? Хочешь соврать мне: не знаю даже, для кого собирал?

Ерзая на месте и колыхая всем своим гороподобным телом, Оспан потерянно мялся перед Абаем, робея перед ним больше, чем перед уездным начальником. Оспан был напуган гневом старшего брата настолько, что не стал даже рассказывать про одно обстоятельство. Накануне сборов недоимок и налогов Никифоров нагрязнул в его волостную контору в административном ауле и с самым грозным видом приказал, чтобы сборы недоимок и черного налога были проведены с применением самых жестких мер и в срочном порядке. Оспан начал было гово-



ритель, что народ ослаб от ежегодных податей и сборов недоимок, но взглянул в лицо Никифорову и сразу опасливо смолк. А тот кликнул урядника Сойкина, и они вдвоем крепко насели на Оспана.

– Ты плохой волостной голова! Не способен даже собрать царские налоги! Да ты знаешь, что с тобой будет, если мы напишем на тебя жалобу самому губернатору? Да он тебя немедленно снимет с должности да еще и отдаст под суд за твое противление сбору налогов! Так что подумай хорошенько! – говорил ему Никифоров.

После этого Оспан сдался и послушно поставил подпись на решении о полном сборе налогов и недоимок, а также и черных поборов. Однако когда пожаловался брату Такежану, что ему вовсе не по душе участие в таком деле, и он «хотел бы держаться подальше от всего этого», Такежан услужливо ему подсказал:

– Е! Зачем тебе присутствовать? Хватит того, чтобы вместо тебя будет бий, а с начальником разберемся мы с Жиренше! А ты уезжай в Сак-Тогалак, там ведь назначен сбор родовых аткаминеров.

Именно так и поступил Оспан, тем самым избежал участия в налоговом разбое. А теперь рассказывать об этом было стыдно, и Оспан молчал, отводя глаза. Наконец буркнул невнятно:

– Волостным стал я недавно, раньше никогда на этой должности не сидел... Мне сказали, что будет сход аткаминеров в Сак-Тогалаке, мне надо его проводить. Ну, я и поехал туда. Как мне сказали, так я и сделал.

– Выходит, решил слопать свою долю, стоя в сторонке?

– Ойбай, говорю тебе, ничего я для себя не хотел! Эх, брат, почему ты мне не веришь, все городишь на меня всякую всячину? Откуда мне было знать, что будут делать эти собаки? – молвив это, Оспан крепко выmaterил неизвестно кого.

– Эй, выругай сначала самого себя!



– Апырай! Ты меня, батыр, совсем хочешь в землю вогнать! Лучше посоветуй, как исправить мне свою вину... Кого схватить за шиворот, чтобы недоимки заплатили?

– Взыщи, прежде всего, с богатых. Бедняков не трогай. Попоспособствуй тому, чтобы этим несчастным вернули все, что у них забрали.

– У кого брать скотину?

– Прежде всего, у себя самого. Потом у меня возьми. У Такежана. И возьми с тех, кто годами не платил своим работникам и «соседям» за их работу. Верни долги батракам, сиротам и старухам. Будь хоть ты честным человеком, Оспан! Разве мало в народе обиженных, плачущих, голодных? И немало тех, кто обворовывает несчастных и беспомощных, не замечая стонов и слез. Вот таких и наказывай!

– Как их наказать? Подскажи.

– Тебе придется проводить родовые съезды. Преврати эти съезды в суды, карающие беззаконных насильников.

– Е! Это хороший совет! – возликовал Оспан. – А то ведь что получается? Ругаешь меня, душу из меня вытрясаешь, за ворот хватаешь, опомниться не даешь, – сам же толком не скажешь, что делать. Ну а теперь другое дело! Знаю я всех этих злыдней, о которых ты говоришь. Уж я теперь на них насяду, увидите! Оспан не будет держаться за должность волостного, а если ее лишусь, то пусть люди скажут потом: «Бедняга отдал все силы, пострадал за народ!» Ну а вы, злодеи, набившие сумки воровскими деньгами, держитесь! Давить буду всех подряд, никого не пропущу! Сгребу в кучу самых знатных, самых спесивых – и враз обрушу удар на них!

Абай смотрел теперь на брата потеплевшими глазами. Тот был полон решимости немедленно приступить к исполнению своих угроз.

– Пусть сбудется все, что ты сказал, Оспан, брат! Дай мне порадоваться, что мы с тобой родились от одной матери! А



если с должности придется тебе уходить, – уйди достойно, как честный человек.

– Все ясно, будет с меня! Говорить больше не о чем. Я пошел! – сказал Оспан.

Огромный, грузный, он легко вскочил с места и вышел из юрты.

ГОРЕЧЬ

1

Кое-что в степной жизни давно удивляло Абиша, и сегодня, когда они с отцом отдыхали в уранхае, он решил, наконец, сказать ему об этом.

– Степь располагает человека к праздности, – начал он. – В городе жизнь совсем другая. Я и в себе это чувствую: сам становлюсь праздным...

Абай рассмеялся:

– Это оттого, что здесь иное чувство времени. Степь как песня: ее не измерить в часах и минутах. Она тянется, словно караван верблюдов, движется, словно отара овец. Степь существует сама по себе, ей не нужно никакое измерение временем. Поэтому тебе и кажется, будто твои часы остановились.

– Да здесь не только часы, – сказал Абиш, – сама жизнь замерла без движения, на долгие века!

Но Абай думал иначе о жизни в степи. Он возразил сыну:


– Здесь, как и всюду, есть праздные люди, но ты не из их числа. Не кори себя – ведь ты не работать сюда приехал, а отдохнуть, успокоиться. Вот и не думай зря о своей праздности, лености. Но, в общем-то, вся жизнь здешних людей проходит в постоянном труде. Он почти незаметен, именно потому, что труд кочевников не измеряется часами, как в городе, у оседлых людей. Вот, к примеру, пастух – он просто работает весь день, от восхода до заката. Он живет вместе со своей отарой, заботится о ней. И ночью надо проследить за ней. Его собственный сон, завтрак или обед зависят от того, что надо сейчас овцам.



Возьмем, например, тех, кто пасет лошадей и верблюдов, кормит и поит их. Все эти люди вкладывают много труда в свое кочевническое ремесло. Они всегда настороже, ни на миг не забывают о бедах, грозящих скоту на каждом шагу. Это беспрестанный труд, труд без перерывов, не различающий дня от ночи, тяжкий труд.

Отец и сын уже не в первый раз заводили разговор о жизни кочевников. Однажды они долго говорили о лихих людях, преступниках-барымтачах. Поводом к этому разговору послужило совершенно неожиданное обстоятельство: зашел как-то Абиш к отцу, а у него сидят трое угрюмых людей. Одного из них Абиш, вроде, помнил, да и тот почтительно поздоровался с ним. Одет он был бедно, не носил головного убора и сидел ниже других. С удивлением Абиш узнал в нем матерого барымтача, известного на всю округу вора. Двое других сидели повыше – худой чернявый джигит с впалыми щеками, но видом весьма решительным, и полная его противоположность – бородатый, спокойный старик с маленькими серыми глазками и большим носом. Последние были из рода Мурын в Тарбагатае и приехали сюда издалека, чтобы Абай рассудил их запутавшуюся тяжбу. Оказывается, местный барымтач угнал у людей Мурына целый табун вместе с вожак-жеребцом. Вот уже месяц, как путники скитаются из аула в аул в поисках пропавшего скота, который они нажили якобы честным трудом, и теперь, наконец, настигли виновника.

По их словам, вор, сидевший здесь, был хорошо известен среди аргынов и найманов. За последние пять лет он трижды угонял скот в Тарбагатае, что привело два рода к усобицам и взаимной барымте: теперь люди Мурын просто обязаны воровать скот тобыктинцев. «Пусть он вернет нам наш скот, – продолжали гости. – Мы обошли здесь многих известных людей, совсем извелись, сетуя перед ними о своей беде, но не нашли ни одного сильного человека из тобыктинцев, который бы сладил с этим шайтаном. И вот, пришли теперь к вам, полагаясь



только на вас одного! Кто, как не Абай, может пресечь такую напасть? Если вы не найдете управу на этого пса, мы всем расскажем, что тобыктинцы не могут сладить со своим разбойником. И тогда наши честные люди будут вынуждены стать барымтачами и воровать у тобыктинцев ответно!»

Абай сильно рассердился, услышав такие речи, ему было стыдно и за свой род, и за самого вора, и он только что отругал его. Теперь Абай сидел молча, глядя на крупного, кряжистого барымтача. В тот момент и вошел в юрту Абиш. Отец вдруг улыбнулся и сказал сыну:

– Ты только посмотри на этого неугомонного вора! Его имя – Мынжасар¹ Назвав его так, родители желали долгих лет жизни своему чаду. Как же они должны быть теперь несчастны! Их недостойный сын даже имя свое предал горькой насмешке. Это позорище на весь наш род, на сам язык наш, если даже благородное слово не могло спасти этого человека от его злодеяний...

Абиш знал, что прошлой зимой Мынжасар обокрал еще несколько аулов, но нынешний волостной глава Оспан отобрал у него весь украденный скот и жестоко наказал вора. Мынжасара избили до полусмерти и бросили голым в степи, и он всю ночь пролежал в беспамятстве. Он мог заболеть или даже умереть от холода и побоев, но ни один человек не подошел, не пожалел его.

Наконец Абай провозгласил свое решение: трое во главе с Баймагамбетом пойдут вместе с людьми из рода Мурын к Мынжасару и отберут угнанный скот. Услышав слова Абая, Мынжасар, который только что отпирался, врал, клялся Кораном и самим Всевышним, внезапно притих: он волком глянул на Баймагамбета и молча вышел из юрты. Путники из рода Мурын невозмутимо покончили с кумысом, который пили все это время, встали и удалились вместе с Баймагамбетом.

Тем же вечером в доме Абая собрались его молодые друзья, и Абиш снова зашел к отцу. Все были изрядно разгоря-

¹ *Мын* – тысяча, *жасар* – молодежь, обновляться, а также – жить долго.



чены кумысом, громко разговаривали, спорили и шутили меж собой. В разгар вечера Абиш по какому-то поводу вспомнил о Ломброзо.

– Кто он, этот Ломброзо, – спросил Абай, – мудрый ли он человек?

Абиш ответил, а затем поведал сидящим одну странную мысль, которую он прочел у Ломброзо: «Если человек украл или убил, то это значит, что он вор или убийца по своей природе, с самого своего рождения».

– Мысль несуразная, но знаменитый врач и ученый говорит, будто у всех разбойников какое-то особое строение черепа, даже телосложение. Выходит, их всех можно угадать заранее, потому что подобный человек рождается уже с явными преступными наклонностями. Ни воспитание, ни семья, ни сама его жизнь, то хорошее или плохое, что он испытал, вовсе не имеют значения... Коль уж он родился злодеем, то неизбежно пройдет путем злодейства и злодеем умрет, – закончил Абиш.

Внимательно выслушав сына, Абай лишь молча покачал головой.

– Что ты об этом думаешь, отец? – спросил Абиш.

– Думаю, твой Ломброзо заблуждается, – не сразу ответил Абай. – Хоть он и ученый, но это его суждение не принесет людям пользы. Да оно просто вредно! Я не буду рассуждать о людях вообще, какие у нас у всех черепа, но даже Мынжасара, которого сегодня я сам и наказал, готов от этого Ломброзо защитить!

Гости даже заерзали на месте – таким интересным казался начинающийся спор. Абай меж тем спокойно продолжал:

– Что заставляет Мынжасара идти на воровство? Разве он такой от природы? Вовсе нет. Все вы знаете, какой он сметливый, а уж храбрости ему не занимать. Кроме того, не по примеру нынешней молодежи, Мынжасар просто отчаянно честолобив! Вот почему он никогда не будет обивать пороги байского дома, как это делали его родители. Ведь работа на богатеев не



просто тяжелый труд. Это, прежде всего, – унижение. Чисто человечески ясно, что гордые казахи, бедняки без гроша за душой, терпят великое душевное страдание, когда голод и нищета заставляют их искать работу в чужих домах. Кем бы теперь был Мынжасар, не стань он вором? Таким же, как все его предки до последнего колена, сородичи с гордым огнем в груди, вынужденные принимать это нравственное унижение. Но как ему избавиться от нищеты и насилия, которое всегда сопровождает вековой наемный труд? Никак. Вот и стал Мынжасар вором, как видите, не только из нужды, но также из гордости.

Абай помолчал, отпил кумыса и продолжал, несколько возвысив голос:

– Да такому крепкому, сильном джигиту, как Мынжасар, под стать железо гнуть! Он не ленивец какой-то, не лежебока. Думаете, легко одному целый месяц идти в далекий Тарбагатай к мурынам? Нет, это не ремесло лентяя – днем и ночью пробираться крадучись, словно голодный волк, узнать холод, усталость и мучения, переживать опасности и, наконец, угнать целый табун лошадей! Так может вести себя только смелый и сильный человек. Где ж еще ему приложить свою силу в наших краях, если тут нет ни торговли, ни земледелия, ни фабрик и заводов? Как ему заработать на хлеб? Разве что и вправду пойти в слугималаи или пасти чей-то скот. Мынжасар, как и многие другие казахи, просто задавлен голодом, нищетой.

Слушатели переглянулись: похоже, слова Абая задели их за живое.

– Именно оно – это безысходное, беспросветное существование и толкает кочевников на воровство, – продолжал он. – Что и позволяет обвинить в преступных наклонностях сразу весь наш народ. Бездушные городские чиновники, чьего ума только и хватает на то, чтобы брать взятки, говорят: казах – барымтач, казах – конокрад, казаху только и надо – украсть. И жандарал, и каждый, кто сидит в конторе корпуса, бездумно этому верят. Они хоть раз задумались, отчего так происходит? Могут ли они хотя



бы на миг понять горькую правду степи, которой правят? Нет, не посочувствовать, не разделить нашу боль! А просто узнать истинное положение дел. Неужто одним лишь воровством полна казахская степь? Разве его не предостаточно и в других краях, где процветают города, а в городах – ремесла, фабрики и заводы? Разве мало на всем свете тюрем и каторг? Все они, всюду – полны преступниками.

Абиш неотрывно смотрел на отца. Это были сильные, смелые слова. Он сам не раз думал об этом холодными петербургскими вечерами. Что там европейские лекари, мыслители? Что они знают об этой жизни, дороже которой нет ничего на свете?

Меж тем отец продолжал:

– Я не говорю о тех достойных людях, которые жизнь положат, чтобы бороться с этой жадной властью. Но ведь не только они сидят в далеких острогах, а больше – простые воры да разбойники. Не те же ли это самые Мынжасары, если задуматься? Не от тяжести ли жизни, не от ее несправедливости стали они Мынжасарами? Ну а цари да акимы только и знают, что судить и наказывать этих отчаявшихся людей. Нет ни сановника, ни закона, желающего понять, каковы истинные, глубинные причины их преступлений. Вот почему мысль, высказанная Ломброзо, будто бы и с научных высот, меня рассердила! Если бы так сказал какой-нибудь бессердечный торе, это было бы ясно. Но к чему сей якобы просвещенный муж, да от имени самой науки, невежество пополняет невежеством, а жестокость – злом?!

Так закончил Абай свою длинную и страстную речь. Пока он говорил, Абиш не раз менялся лицом, ерзал на месте, то ставил свой кумыс на дастархан, то снова брал его в руки, быстро поднося пиалу к губам. И теперь, словно объясняя свои горячие, порывистые движения, он разразился внезапной шуткой:

– Итак, сегодня, на джайлау в ауле Оскенбая знаменитый врачеватель и философ Ломброзо получил самый тяжелый, самый сокрушительный удар в своей жизни. И нанесли ему этот



удар двое: казахский акын – Ибрагим Кунанбаев и матерый казахский вор – Мынжасар, – торжественно объявил Абиш.

Абай крепко обнял сына и прижал его к груди – он был рад столь вольной шутке.

Абай давно заметил, как тяжело Абишу сидеть без дела в ауле. Дармен, также понимая это, посоветовал ему отправить сына куда-нибудь на несколько дней: пусть, например, съездит с друзьями посмотреть пещеру Коныр-аулие, что по ту сторону Чингиза. Посещение столь дикого и загадочного места должно бы помочь джигитам развеяться и отвлечься. Перед самым отъездом Абиш зашел к Абая, попить на дорогу кумыса. Сейчас же, собираясь в путь, он уже был в легком чапане и в тобык-тинском тымаке. Абай с нежностью посмотрел на сына и его душу переполнила отцовская гордость. Тут же вспомнились ему собственные, когда-то давно сочиненные стихи:

*Учись, мой сынок, – завет мой таков –
Для блага народа, не для чинов...*

Видать, не зря он написал тогда эти строки: Абиш – настоящий сын своего отца! Теперь уже ясно, что юноша оправдает его надежды. «Дай Бог ему здоровья! Пусть он порадует не только меня, но и станет гордостью всего нашего народа. Как знать, может быть, он будет первой ласточкой нового поколения, сильного и честного, которому суждено принести свет знания в неграмотную степь!» – с такими мыслями Абай ласково посмотрел в лучистое, красивое лицо Абиша, словно благословляя его.

«Я был бы самым счастливым отцом на свете, – продолжал он радоваться про себя, – если мой сын честно станет трудиться на благо своего народа, а мне суждено будет дожить до тех дней, когда он заслужит славу на этом поприще. Вот истинное счастье в жизни – быть отцом такого сына!»

Все эти мысли озарили его душу, словно лучом внезапного света: счастливый и радостный, вышел Абай из юрты, бодро шагая рядом с сыном, чтобы проводить его.



Был самый полдень хорошего, солнечного дня. Невдалеке уже стояли джигиты, Магаш и другие, – каждый возле своего коня. Прекрасно объезженные скакуны нетерпеливо перебирали ногами, остро поблескивали стремяна. Увидев Абиша, юноши разом запрыгнули в седла, и вот уже кони тронулись скорым шагом, быстро переходя на укороченную рысь. Абай долго смотрел вслед быстрым всадникам, исчезающим в белой пыли.

Прошло часа два или больше – пестрая группа верховых джигитов скакала на запад, в сторону Коныр-аулие.

Выходя на ровное место, юноши не упускали случая посоревноваться в скачке, с криками подстегивая коней. Вскоре перед глазами поднялось каменистое взгорье, заросшее арчей. Достигнув его гребня, путники увидели далеко внизу большой аул, его многочисленные юрты рассыпались на просторном густом разнотравье.

Едва почуяв вдали при ауле других лошадей, своих полудиких собратьев, холеные кони под джигитами тотчас навострили уши. Самые молодые, еще не забывшие табун, даже тоскливо заржали. Конь Абиша, золотистой масти, выделялся своей необычной, черной как смоль гривой, он шел грациозно, то становясь поперек дороги, то переступая ногами и закусывая удила. Голову юноши покрывал легкий черный тымак, какие носят юноши-джигиты, на плечах красовался просторный серый чапан из дорогой, тонкой материи, с воротом, обшитым широкой полосой коричневого бархата. По совету отца Абиш уже снял и спрятал в сумку шинель и картуз, а белый китель юнкера не был виден под чапаном, но его все равно выдавали блестящие хромовые сапоги и звонкие шпоры, часто мелькавшие на солнце.

Абиш невольно замешкался, когда перед его взором открылся чужой аул, но по всему было видно, что Акылбай и Кокпай, возглавлявшие группу, уже решили не объезжать его. Абиш оглянулся на джигитов, подстегнул коня и крикнул через плечо:

– Едем дальше!



Магаш, Дармен и Какитай отозвались одновременно: похоже, они еще раньше сговорились насчет незнакомого аула.

– Давайте-ка и мы спешимся тут, да попьем кумыса, а там и поедем! – услышал Абиш.

То, что они видели перед собой, трудно было назвать единым аулом: слишком уж он был большой и необычный, прежде всего, тем, что здесь стояло великое множество просторных белых юрт.

В тех аулах, что прежде видывал Абиш на джайлау, богатые белые юрты можно было по пальцам сосчитать, а жилища простых казахов – все сплошь серые или даже черные, убогие. Здесь же эти печальные лачуги скотников и пастухов были разбросаны по окраинам аула, растянувшегося вдоль реки на расстояние целого перехода жеребенка-стригунка. В середине селения красовались большие белоснежные юрты, их было много – семи-восьмиканатных, стоящих близкими рядами, а то и попеременно, чистые, будто накрытые недавно, в один и тот же день, одним и тем же дорогим войлоком. Казалось, все эти юрты состязаются в своей белизне, то ли друг с другом, то ли с самими облаками. К тому же, все они, словно брачные отау, были украшены по боковине разноцветным сукном и бархатом. Станный, доселе не виданный аул!

Приблизившись к аулу, джигиты заметили про себя, что был он как-то по-особому гостеприимен. На каждой коновязи стояли по пять-десять коней под седлами. Ясно, что в ауле гостит множество людей, со всех сторон света прибывших разными группами, и теперь они сидят где-то в белых юртах, трапезничают и пьют кумыс.

Абиш так и не смог понять, куда они прибыли, пока, наконец, его не нагнал Дармен и тихо, будто бы кто-то чужой мог услышать, сообщил:

– Это ногайский аул, Абиш, аул самого Махмута!

Абиш удивился: зачем же тогда спешиваться в этом ауле?

– Здесь живет Магрипа, та самая, о ком говорила Дильда-апа! – сказал Дармен, с лукавой улыбкой глядя на него.



Абиш покраснел и ничего не сказал в ответ; он заметил, что в глазах Дармена мелькнула легкая зависть.

Знал бы он, на какую затею пошли его друзья! Вся их поездка, якобы к пещере Коныр-аулие, была лишь поводом для того, чтобы завлечь Абиша сюда. Именно Дармен и придумал это Коныр-аулие, он же и посоветовал Абаю отправить сына посмотреть пещеру.

Едва они вернулись из аула Дильды, Дармен замыслил некую уловку. Посоветовавшись с Магашем и Какитаем, он понял, как добиться того, чтобы Абиш, вроде бы случайно, встретил Магрипу. С этой мыслью он разыскал своего ровесника, балагура и весельчака Утегелды из ногайского аула. Сказал ему по секрету, как джигит джигиту:

– Давай-ка сделаем с тобой одно доброе дело... Мы скоро будем проезжать твой аул вместе с Абишем. Ты обязательно будь там в эти дни. Без тебя мы вряд ли сможем разыскать Магрипу в столь многочисленном ауле. А ты постарайся нас задержать, найди повод, чтобы мы заночевали. Пусть Абиш поглядит на Магрипу! Я сам видел ее и скажу откровенно: среди казахских девушек нет равной ей по красоте. Ну а кроме Абиша, разве найдется в этих войлочных юртах джигит, достойный ее? Нет еще такого, да, видимо, и никогда не родится!

Утегелды, на всю округу известный весельчак и балагур, свой человек в ногайском ауле, мог устроить все как нельзя лучше. Верный привычке любое дело превращать в шутку, он переменился лицом и смачно чмокнул и выпятил губу, изображая острую на язычок женге из аула, где сватали девушку.

– Ойбай! Это что же? Кто здесь джигит, кто драгоценное чадо истинно великого казаха? Не этот ли несуразный солдат, похожий на стриженного серкеша? И ты хочешь сказать, что вот он – сын самого Абая? Да за десять заходов ему не подойти к нашей Магыш! О, моя Магыш, кровь с молоком, лунолика красавица, – он не стоит ее!.. Так тебе скажут тетушки, помани мое слово, Дармен, еще наступит день, и сам убедишься! Но коли без



шуток, то подарок от каде теперь мне причитается, ибо свахой являюсь теперь я! Запомни, Дармен-посредник, сполна получу от тебя! Погоди, еще заставлю взвыть, за ноги буду таскать, в огонь и в воду кидать! – наконец закончил свои не совсем уместные шутки Утегелды.

Несмотря на то что он всячески шутил и балагурил, да и сам Дармен вдоволь потешался над его ужимками, Утегелды в конце концов согласился, говоря языком женге, быть «подружкой» невесты в этом деле – ее посредником.

И вот сейчас Дармен, который верховодил в сегодняшней поездке, как бы случайно привел Абиша в аул Магрипы. На самом деле, он заранее повернул джигитов на то поросшее арчой взгорье, за которым открывался большой аул белоснежных юрт. Подле одной восьмиканатной юрты, почти в самой середине аула стояла группа рослых и крупных, красиво одетых мужчин. Среди них у длинной керме хитро улыбался не кто иной, как весельчак Утегелды.

Дармен обогнал Абиша и сам повел всадников по краю длинного аула, вдоль берега реки.

– Держитесь за мной! Сюда поворачивайте! – командовал он, коротко оглядываясь, ловко направляя своего коня в узкие проходы между белыми юртами, пока, наконец, вся группа не достигла тех стоявших людей, что ждали у коновязи.

Абиш и его друзья учтиво поприветствовали их – чернобородых карасакалов средних лет и юных джигитов с едва пробивающимися усами. Последние тотчас подскочили к гостям и переняли поводья их коней. Путники спешили.

Краем глаза Абиш заметил, что к коню Дармена подскочил Утегелды. Помогая Дармену сойти с седла, весельчак шутил, изображая старую сваху:

– Е, долгожданный деверь мой! Вижу, сдержал свое слово, приехал! Но что поделаешь, у нас незадача, – золовка моя луноликая сегодня уехала в гости!

Дармена насторожили эти слова.



– Правда? – растерянно спросил он, разглядывая смеющегося балагура, чьи постоянные шутки всегда было трудно отличить от дельных слов. – Тогда скажи, позови ее! Пусть возвращается домой!

Восьмиканатная юрта, куда проводили гостей, изнутри казалась еще больше, чем снаружи, – настоящий круглый просторный зал, высокий, прохладный, и в то же время достаточно уютный. Здесь царил спокойный, торжественный, красно-коричневый полумрак. Пол был с порога до тора застелен коврами, а стены украшены тонкими шелковыми занавесками, отделаны шкурками бобра, обвешаны тускиизами. Всюду были расстелены толстые шелковые корпе, по всему кругу лежали большие белые подушки с городским узором. Гостям предложили почетное место на торе, а хозяева расположились ниже – они сели по обе стороны, перед двумя кроватями, украшенными разноцветным орнаментом из кости.

Это были сами хозяева ногайского аула – трое из пяти детей покойного Махмута, который возглавлял аул прежде. Ближе всех к тору сидел старший из братьев – Жакып, выделявшийся среди других своим необычайно крупным телосложением. За ним расположился Муса – полный, рослый, с широким лицом, обрамленным рыжими волосами, но с неожиданно черными бровями и бородой. Самый младший, хозяин этой восьмиканатной юрты, также рыжий, с пригожим лицом Мусабай, от своих братьев не отставал по дородности. Он сел на торе третьим. Дальнее место занял Нуртаза, молодой джигит, это был жиен¹ хозяев, и родственная кровь придала ему те же черты, что и братьям – крепкое телосложение, значительный нос и большие черные глаза.

Все хозяева были одеты нарядно и даже щеголевато; не отставали и гости: Акылбай, Магаш и Какитай в своих бешметах и чапанах, сшитых городскими портными, выглядели безукоризненно, а бобровые тымаки еще пуще добавляли им солидности.

¹ *Жиен* – племянник по женской линии.



Вот принесли большую деревянную чашу кумыса, стали его разливать. Протягивая свои пиалы и устраиваясь поудобнее, хозяева и гости разговорились, начиная знакомство и осторожно расспрашивая друг друга о том о сем. Несмотря на свой внушительный вид, хозяева аула были улыбчивы и приветливы, как дети. Гости, почувствовав к себе достойное уважение, сразу поняли, что в этой семье прежде всего ценятся учтивость и деликатность.

Пришла пора отпустить остывших коней, чтоб те спокойно попаслись, и Алмагамбет с Дарменом вышли наружу. Вернувшись, они принесли новую весть.

– Похоже, здесь нас не просто накормят, но и вряд ли отпустят без ночевки, – тихо сказал Абишу Дармен.

– Там уже закололи молочного жеребенка и разделяют тушу! – добавил Алмагамбет.

Над гостями главенствовал Дармен, а аульными, Мусабаем и остальными, верховодил неугомонный весельчак Утегелды. Он-то и сказал Мусабаю, когда тот вышел из юрты после чаепития:

– Желанных гостей ты привечаешь. Вот бы хорошенько развлечь их!

Мусабай было поколебался, но в это время из юрты вышел его старший брат, богатырь Жакып. Он слышал этот разговор и, уходя домой, наклонился к Мусабаю:

– Утегелды прав. Хорошие джигиты, пусть останутся на ночь.

Утегелды окончательно уговорил Мусабая, сообщив, что Абиш превосходный скрипач. Тут же выяснилось, что весельчак знает, где найти скрипку: оказывается, инструмент есть в ауле Шубара, и можно послать туда человека. Никто не догадывался, в чем была затея Утегелды, а ведь он убивал сразу двух зайцев – ведь именно в близкий аул Шубара жена Мусабая уехала сегодня с собой Магрипу!

Весть о скрипке полностью убедила Мусабая, и он немедленно согласился с предложением Утегелды. Дело в том, что



Мусабай, который сам не умел ни петь, ни слагать стихов, ни играть на инструментах, чрезвычайно любил тех, кого Аллах наделил разного рода талантами: не только акынов и музыкантов, но и просто искусных рассказчиков, весельчаков, балагуров и шутников. Зимой и летом он собирал подле себя всякого рода людей веселья, с радостью водил с ними дружбу и подолгу не отпускал из своего аула, что, впрочем, радовало и самих весельчаков, таких как, к примеру, Утегелды. Этот последний и младшего брата с собой привел, Баймурына – также человека общительного и охочего до развлечений. Именно Баймурын и оказался, как нельзя кстати, тем самым джигитом, которого и послал Мусабай за скрипкой. Когда Баймурын был уже в седле, Утегелды, как бы вспомнив что-то, сказал Мусабаю:

– Есть у меня дело к одному человеку в том ауле. Пожалуй, пойду, передам через брата.

«Дело», о котором якобы вспомнил Утегелды, было все то же: подбежав к керме, он положил ладонь на колено Баймурыну и тихим голосом передал жене Мусабая послание: пусть вместе с Магрипой побыстрее возвращаются в аул, поскольку сюда прибыли важные гости.

– Скрипку, конечно, тоже не забудь, – добавил Утегелды.

Баймурын привез скрипку после полуденного намаза. К тому времени уже сварилось мясо. Вскоре в аул въехала повозка: в ней сидела жена Мусабая и ее подруги – молодые замужние женщины и девушки. Магрипа была среди них. Гости знали, что Мусабай женат на сестре Азимбая, и рослая молодая женщина, которая быстро вошла в юрту и учтиво поздоровалась с гостями, была удивительно похожа на своего брата: румяные, горящие здоровьем щеки и упрямо вздернутый нос. Следом появилась девушка-прислуга, также приехавшая с нею, она внесла корпе и чапан. Когда служанка на мгновение распахнула кошму в дверях, Абиш издали увидел Магрипу: она медленно шла к себе, держа ладонь на отлете, будто рвала высокие цветы. Ее большая белая юрта стояла на самом краю аула, красноречи-



во свидетельствуя о стремлении Сулеймена, отца Магрипы, к уединению и покою.

По традиции не принято сразу уезжать из аула, где специально для гостей режут жеребенка, – следует остаться на ночь. Вдоволь наевшись свежего мяса и напившись чаю, гости вышли наружу. Длинный летний день уже клонился к закату. Керме была пустой: всех коней уже отогнали на пастбище, а упряжь и седла сложили в большую кучу у гостевой юрты, что стояла тут же, по соседству. Обо всем этом позаботились Мусабай, Нуртаза и другие джигиты. Добряк Нуртаза, особо славившийся своим гостеприимством, доводился Мусабаяу племянником, но был при этом почти ровесником своего дяди.

В тот поздний час, когда все жители аула закончили вечернюю трапезу и приступили к долгому чаепитию, в совсем уже сгустившихся сумерках зазвучали первые песни: в просторной юрте Мусабая началось веселье. Весь этот большой аул, едва успокоившись после дневного шума, слушал звуки скрипки. Ее нежный, протяжный голос возвещал о начале праздника. Было видно, как от юрты к юрте перебегают молодые джигиты и девушки-служанки, чтобы сообщить о том, что подошло время юкя – пора сладкозвучных песен. Жена Мусабая тотчас послала девушку ко всем своим абысын¹ сказав, что их зовет младший из братьев. Приглашение от имени Мусабая было передано и Магрипе.

А скрипка тем временем звала сама по себе: из юрты доносились красивые и нежные, в темноте таинственно звучащие русские вальсы – сначала «Лесная сказка», затем – «Над волнами»... Вот торжественно и бодро взмыл военный марш, а после – поплыла над аулом нежная, чарующая, обворожительная мелодия мазурки.

В чьих же внимательных руках так проникновенно пела скрипка? Музыкантом был, конечно же, Абиш! Он играл, сидя у стены юрты, откинувшись к высоко сложенным стопкам одеял и

¹ *Абысын* – жена старшего брата или старшего родственника.



подушек, так как почел за неучтивость для незнакомого, щедрого на гостеприимство аула играть, стоя в самой середине тора.

Но не только музыкой был полон летний вечер. Четверо джигитов, хранивших общую тайну, слышали снаружи за войлочной стеной звуки, происхождение коих не вызывало сомнения... Это был тонкий, тихий и мелодичный звон, как бы подыгрывающий скрипке Абиша. Так может звенеть только один предмет на земле – девичья шолпа из чистого серебра! Дармен и Магаш, Какитай и Утегелды переглянулись и заговорщически подмигнули друг другу. Вскоре за стеной послышались тихие голоса, сдержанный смех. Джигиты напрягали свой чуткий слух, понимая особое значение всех этих звуков, и часто поглядывали на дверь. И вскоре в юрту стали входить... Сначала появились дети – подростки и совсем маленькие: старшие вели их за руку. Лицо ребенка яснее всего отражает черты нации. Все они были несколько иные, нежели казахские дети – волосы рыжие или русые, глаза большие, лица светлые, веснушчатые, с задорными, вздернутыми носами. Кровь предков дала хорошую молодую поросль, столь же красивую, как и их отцы, столь же стройную и крепкую.

Следом за детьми вошли девушки. Та, что шла впереди, была самой высокой, самой светлолицой. Настоящая красавица! Серые глаза сияли на ясном румянном лице, в окружении черных волос, а густые брови и длинные косы делали ее еще пленительней. На подбородке обозначалась едва заметная, волнующая ямочка. Длинные пальцы, казалось, были созданы для нежнейших музыкальных инструментов.

Другие, что шли за нею следом, хоть и походили своим родственным обликом на нее, выглядели все же просто-напросто красивыми подростками, обычными девушками на выданье из ногайского аула – терявшимися в тени истинной большой красоты.

Это была Магрипа... Абиш тотчас опустил скрипку, и в юрте воцарилась тишина, нарушаемая лишь мелодичным звоном



серебряных шолп. Абиш заметно покраснел, раскланиваясь у стены, неловко задел локтем подушку... Тут же все заговорили, вразнойой приветствуя вошедших. Молодая жена Мусабая и сам хозяин, его жиен Нуртаза, весельчак Утегелды и остальные аульные люди вскочили со своих мест, проводя гостей на тор. Магрипа казалась смущенной оттого, что все глаза были устремлены на нее. Белоснежная улыбка ее сверкала в свете ламп, словно жемчужное ожерелье. Абиш увидел, как гибка и красива ее неторопливая походка, когда она шла на тор, усаживаясь рядом с Мусабаем. Другие девушки не стали проходить к тору и, разделившись на два разноцветных ручейка, сели ниже нее.

Едва девушки успокоились на своих местах, устроившись удобнее, как в юрту вошли четыре немолодых женге – их матери. Гости на торе с готовностью потеснились.

Эти женщины были больше похожи на казашек, чем дети и молодые девушки, – не такие рослые, как они, но все же дородные, круглолицые и крепкие. Черноглазые, чернобровые, лишь некоторые рыжеватые – все как одна повязали на головы белые кимешеки, щедро украшенные позументом с богатой вышивкой. Это были жены, взятые татарами из казахских аулов.

«Ай да зорек был тот ногайский купец! Не скажешь, что не заметил он самых видных казашек, – подумал Магаш, украдкой разглядывая женге и находя в их лицах все больше казахских черт. – Похоже, все здешние торговцы хорошо справились с выбором наших степных красавиц!»

Тут Утегелды, помнящий свою роль шутника и балагура, принялся развлекать вошедших:

– Е, байбише! Вот уж расстроили все наше веселье эти почтенные байбише! Неужто они напугали нас, бесстрашных джигитов, что так хорошо и скромно тут веселились? Даже скрипка наша замолкла! – сказав так, он притворно нахмурил брови и якобы сердито посмотрел на полную, розовощекую Турай, то-кал рыжего Мусы.



Байбише Турай не осталась в долгу и, снисходительно улыбувшись, чуть показав свои чудесные белоснежные зубы, сказала:

– Айналайн, Утеш, не трепещи от страха! Пусть и скрипка ваша опять наберется храбрости! Ведь ее прекрасная музыка и вела нас сюда через весь аул. В чьих же руках трепетала она? Уж не в твоих ли, голубчик мой, милый Абиш? Что ж – сыграй нам еще! – закончила Турай, одновременно прося и повелевая.

Она имела полное право так по-матерински шутить с гостями, поскольку считала их всех своими торкинами¹ – ведь она был не кто иная, как дочь Байторе из рода Торгай.

Утегелды, в свою очередь, тоже мог назвать Турай матерью.

– Алакай², джигиты! Давайте сыграем, коль просит наша апа, – и, сидя на корточках, он прикинулся, будто играет на скрипке, снизу вверх глянув на Абиша, чем изрядно рассмешил и гостей, и хозяев.

Все это вместе – и шутка Утегелды, и последующий всеобщий хохот – окончательно сломило ту неизбежную неловкость, что всегда возникает в первые минуты большого собрания. Абиш, на которого все теперь смотрели с радостным ожиданием, объявил, что музыканту сподручнее играть, стоя в самом центре. Испросив разрешение у почтенной публики, он шагнул на тор и встал прямо напротив Магрипы... Мелодия, которая тут же полилась из его скрипки, была ритмична и трогательна, виртуозна красотой своих переливов и то же время – проста и чувственна, легко проникающая в самые глубины души.

Все слушали, затаив дыхание, многие с трудом сдерживали возгласы восторга, замороженные музыкой, словно колдовством. Тишина продолжалась несколько мгновений после того, как мелодия смолкла, оставляя томное эхо, и вдруг весь этот круглый зал взорвался благодарственными возгласами:

¹ Торкины – родственники по отцовскому роду.

² Алакай – возглас, выражающий радость, восторг, ликование.



– Вот так мастерство! Неслыханное чудо! Сказочная игра! – шептали девушки, с восхищением глядя на Абиша, а со стороны, где сидели старшие, донеслось:

– Вот так и надо играть! Долгих лет жизни тебе, сынок!

Абиша просили играть еще и еще. Он знал наизусть достаточно мелодий, и теперь решил сменить темп. Вместо спокойных и торжественных мотивов, с продолжительными припевами и глубоким смыслом, которые все слышали прежде, его скрипка принялась петь игривые, танцевальные темы, простые и понятные для всех. Быстрые, искрометные ритмы сменяли друг друга, словно сами звуки, став видимыми, танцевали в воздухе. Порой, сильно увлекшись, Абиш забывал обо всем и словно улетал куда-то. Возвращаясь, мгновенным взглядом окидывая все вокруг себя, внезапно весь заливался пламенным румянцем. Он играл красиво, искусно, ловко перебирая самые трудные аккорды. Его длинные пальцы плясали на струнах, мелькая в желтом свете лампы, будто олицетворяя здесь и сейчас те самые слова, что говорят люди о мастерах, – золотые руки! И все как-то разом увидели, насколько этот юноша красив... Чистый высокий лоб, гладкие волосы, прямой нос, тонкие губы и черные, как у Абая, брови несли память его рода и в то же время делали Абиша совершенным его представителем. Он был высок ростом и строен, в нем чувствовалась сила, но выглядел он, видимо, от утонченности костей, хрупким и нежным.

Слушая скрипку, люди вскрикивали от радости и не могли сдержать счастливого смеха, когда очередная мелодия заканчивалась. Но тотчас звучала новая...

Вместе со всеми радовалась и порой хлопала в ладоши Маргрипа. С тех пор, как она вошла, Абиш все чаще с волнением поглядывал на эту большеглазую, стройную девушку. Он давно заметил, как вспыхивали различными оттенками и ее румяные щеки, то сгущаясь до красноты, то нежно рдея светло-розовым, словно подчиняясь тем властным звукам, которые исторгали его вдохновенные струны.



Сам же Абиш то краснел, то бледнел, когда его взгляд падал на Магрипу. Раз, когда одна мелодия закончилась, Дармен, сидевший с нею рядом, спросил:

– Хороша музыка?

Быстрый взгляд ее серых, лучистых глаз и смущенная улыбка сказали Дармену о многом: музыка, безусловно, нравилась Магрипе, но и не только музыка...

– И музыкант тоже хорош, – сказал Дармен, заметив, как долго и пристально девушка смотрит на Абиша.

Сказал и сразу пожалел об этом, потому что Магрипа нахмурилась, и щеки ее запылали смущением. Это была неуместная шутка, и вряд ли он заслужит благодарность за нее... Дармен положил руки на грудь и виновато склонил голову в знак того, что просит прощения.

«До чего же дивные глаза!» – подумал он, досадуя на себя. Наверное, эта скромная красавица еще ни перед кем не раскрывалась, и дерзкий вопрос так смутил ее, что теперь она и вовсе не глядела на Абиша. А тот тем временем принялся за казахские песни. Все оживились, едва узнав знакомые наигрыши «Бурылтай», недавно появившейся в здешних краях, а Алмагамбет тут же подошел к скрипачу и звонким, молодым голосом запел слова новой песни, которые он знал наизусть.

Теперь слушатели были заморожены не только музыкой, но и пением: голос Алмагамбета был на удивление звонок и чист. В сопровождении скрипки юный сэре исполнил еще несколько казахских песен. Наконец, хозяин аула попросил сыграть песни Абая. Маленький, плотный певец с радостью спел «Я знаю, ты мне послан богом...», а затем – второе письмо Татьяны.

– Что же это за такие необыкновенно красивые слова? – спросил Дармен Магрипу.

– Второе письмо Татьяны к Онегину, – серьезно ответила Магрипа, еще не понимая, что джигит проверяет ее.

– И кто же написал такое хорошее письмо? – не унимался Дармен.



– Пушкин, неужто не знаете? – с недоверием спросила Магрипа и вдруг рассмеялась: – Не можете не знать, ведь на казахский язык эти стихи перевел наш Абай-ага!

– Как? – вновь притворно удивился Дармен. – Вы и самого Абая читали?

– Читала, – сухо ответила Магрипа, больше не желая поддерживать чужую шутку. – У меня есть стихи Абая-ага, и я знаю их наизусть.

Дармен, хоть и понимал, что выглядит глупо со своей проверкой, в глубине души ликовал: в этой степи у Абая есть не только благодарные слушатели, но и замечательные ученицы!

Абиш давно заметил, что Дармен беседует с Магрипой, порой заставляя ее смеяться. Делая вид, что кивает в такт музыке, он подмигнул Дармену, радуясь, что его друг развлекает девушку. Самому ему уже давно казалось, что он играет только для нее одной.

Исполнив последнюю мелодию, Абиш низко поклонился публике, скромно принимая ее шумную благодарность.

– Молодец, Абиш! Славно потрудились! – доносилось со всех сторон, но особенно было приятно услышать слова, которые сказала мать Магрипы, высокая светлолицая байбише:

– Спасибо тебе, сынок, ведь такая музыка – большая честь для всех нас, старых и молодых!

Эти слова услышал и Мусабай.

– Честь оказать – тоже труд нелегкий. Иди к нам, Абиш, сядь повыше, отдохни, – сказал он, отодвигаясь и освобождая место подле себя, но проворная Магрипа невольно опередила его, также отодвинувшись. Абиш почел неудобным занять место девушки, в то время как сам хозяин аула первым предложил ему сидеть рядом с собой.

– Нет, нет... спасибо, не беспокойтесь! – обратился он к Магрипе. – Я, пожалуй, сяду возле Мусабая.

Передвигаясь по тору, Абиш вдруг оказался лицом к лицу с девушкой, ощутив легкий запах цветов. Тут он увидел на ее



губах короткую улыбку, адресованную ему одному... Что это – простая благодарность или знак? В этот миг будто горячий ветер обдул его лицо – так взволновало его столь близкое дыхание нежности и красоты. Абиш чувствовал себя настолько взволнованным, что, может быть, даже изменился лицом, побледнел, и теперь она и все остальные увидят... Вот Дармен наклонился и что-то шепнул ему на ухо, какую-то шутку... Абиш даже и не понял, что сказал его друг.

Всю ночь шло веселье в большой юрте Мусабая, и лишь с первыми лучами нарождающегося дня гости начали расходиться.

Абиш и Дармен также вышли на воздух. Странное смятенное чувство, переполнявшее Абиша, не давало его ногам покоя. Дармен вскоре отстал и опустился на камень у самой воды, чтобы на месте подождать разогнавшегося друга, но Абиша влекло и влекло вдоль берега, он шел один в утренних сумерках и никак не мог остановиться. Вода в реке была чиста и прозрачна. Изредка на пути попадались молодые березки и кусты черемухи. Эта маленькая река, петляя, огибала невысокое, но обширное зеленое взгорье. На другом, низком берегу, словно поставленные в честь ярмарки, нескончаемой вереницей тянулись ногайские аулы. Ветер доносил оттуда бляение ягнят, уже проснувшихся с первыми лучами солнца, и ленивый, неохотный лай собак, которые как раз к рассвету только и решили утихомириться... Все эти звуки были едва слышны, словно кто-то большой и далекий пробовал скрипичную гамму. Это было само дыхание степи, тихая музыка ее обычной жизни.

И душа Абиша отозвалась навстречу этой мелодии... То, что происходило в груди юноши, было неизвестным, доселе не ведомым. Что это за безымянное чувство? Будто меняется, превращаясь во что-то другое, сама его душа... Одно он знал твердо: то, что с ним сегодня случилось, – это надолго, навсегда! Он шел с открытыми глазами, ничего не видел перед собой, будто не идет он берегом реки, а спит, и снится ему – Магрипа. То не



прозрачные струи бегут навстречу, а колышутся длинные волосы Магрипы. То не гладкие камешки поблескивают под водой, а розовые ноготки Магрипы. То не солнечные лучи показались из-за холма, а светлые глаза и алые губы. И звенит где-то вдали, в сизой дымке над ногайскими аулами ее смех, складываясь в слова, что говорила она.

Абиш верил и не верил тому, что происходило с ним. Эх, броситься бы, как в воды бурной реки, в это удивительное чувство! «Но где же выдержка? Надо обуздать это, если ты настоящий мужчина! Здесь нужно не что-нибудь, а простое терпение. Что-бы многое понять, о многом просто-напросто узнать. Что она за создание? Думает ли она о нем так же, как и он о ней? А он сам – хочет ли он жениться вообще? А если жениться – захочет ли девушка степи стать избранницей Абиша?»

Но не эта мысль более всего мучила его! С некоторых пор у Абиша появилась одна тяжелая тайна, которую он не мог раскрыть никому, даже родным и, может быть – прежде всего, родным! Это была страшная тайна о его собственной жизни, зловещее чувство, знакомое только больным да глубоким старикам, мысль о возможно близком ее конце. С нынешней весны, еще в сыром и холодном Петербурге, Абиш почувствовал, будто что-то странное происходит с его телом. Что-то менялось глубоко внутри, будто разъедало его незаметное сердцевинное тление, совсем не видимое снаружи.

Один столичный доктор рассказал ему все начистоту. Именно он нашел у Абиша некие признаки малокровия, но это было далеко не главным, поскольку с малокровием живут. Настоящей слабостью его тела была болезнь легких, грозя перерасти в чахотку. «Если не будете заботиться о себе, ограждать себя от легкомысленных поступков, присущих юности, полностью не отречетесь от спиртного, не будете разборчивы в пище, то дни ваши сочтены», – сказал врач. Абиш спросил, а можно ли ему жениться? – вспомнив, что в своих письмах Магаш и Какитай затрагивали эту тему. Доктор пожал плечами, ничего не сказал



прямо, но осторожно намекнул: «Женитьба ваша в таком состоянии невозможна, это может быть опасно и для вас, и для вашей будущей супруги».

Думая об этих словах, Абиш чувствовал смертельную тоску. Последнее время она всегда нападала на него, едва он оставался один.

Вот и сейчас, бредя вдоль реки и любясь цветущим, здоровым ликом Магрипы, который плыл перед его глазами, он вдруг остановился на полушаге, вспомнив свою скрытую печаль. Кровь отлила от его лица, он как-то осунулся и будто постарел в один миг.

«Нет! – подумал Абиш. – Все эти мечты напрасны». Он повернулся и пошел обратно, быстро, решительно ступая по прибрежным камням.

Увидев на пути Дармена, который так и сидел у реки, ожидая его, Абиш не остановился, а лишь тихо бросил на ходу:

– Пойдем-ка спать!

До гостевой юрты они дошли молча, не сказав друг другу ни слова, улеглись.

Проснувшись поздно, все гости, отобедав на дорогу, покинули ногайский аул и двинулись дальше...

Теперь они ехали гораздо быстрее, нежели вчера, стремясь наверстать день, проведенный в праздности, и поскорее попасть к своей цели – пещере Коныр-аулие.

Как всегда, соревнуясь, едва открывалась ровная местность, ко времени малого бесина¹ они проехали значительное расстояние, пока не оказались на берегу большого озера с темной водой. Здесь стоял богатый аул, где было немало больших белых юрт, а вокруг плотными табунами паслись лошади.

Казалось бы, ничто не мешало спешиться здесь, чтобы попить кумысу, несмотря на то что аул не был знаком Абишу. Он не сомневался, что Магаш обрадуется такому предложению, но его младший брат вдруг нахмурился.

¹ *Малый бесин* – первая (малая) молитва.



– Мы не будем здесь спешиваться, даже умирая от жажды! – сказал он и подстегнул коня, будто укрепляя этим жестом свои слова. – Это аул Оразбая из рода Есболат, – пояснил он. – Нынешней весной он поставил его здесь, у озера Карасу.

Не мешкая, всадники проехали вдоль протяженного жели, где было привязано с полсотни жеребят, и вскоре миновали аул. Абиш понял, что в общей смуте, захвативший теперь казахскую степь, этот Оразбай стоит на враждебной стороне, и спросил брата, виден ли у смуты какой-то конец.

– Все наши беды от аткаминеров, – сказал Магаш. – Ладно бы они между собой грызлись, так ведь все их проблемы становятся бедой простого народа. Никак не сорваться с этого аркана, даже если откочевать подальше. Вот и наш ага связан по рукам и ногам нынешней безысходностью. Я же вижу, как часто он хмурит лоб от горьких дум!

Абиш удивился: кого-кого, а Абая уж можно бы как-то оградить от этой напасти! Магаш с грустью покачал головой, сказав брату, что тот не видит всей глубины этой вражды. Чтобы объяснить суть происходящего, он повернулся в седле к Абишу и начал рассказывать о том, что происходило вокруг родного аула последнее время:

– Вот этот аул Оразбая – один из очагов беспрестанной вражды против нашего отца. Именно Оразбай был тайным подстрекателем жигитеков, еще в тот год, когда они угнали и забили лошадей Такежана. Наши иргизбаи поняли, что именно он натравил на нас жигитеков, и словно связал хвосты двух коней. Сам же Оразбай выскользнул, как змея, сбежал, ввергнув жигитеков в бесконечную вражду с нами. Теперь тот давний спор утих, но Оразбай снова вместе с Жиренше. Ясно, что он готов не пить, не есть, только бы как-то навредить нашему отцу. Пусть бы он воевал только с одним Такежаном, таким же охочим на всякие напасти, как и он сам! Так нет, думает, что разделался с ним сполна, когда забил его табун. Теперь говорит, что его злейший враг – наш ага, и покоя себе не находит, чтобы



только насолить отцу. Все знают, что главный враг Оразбая – это Оспан-ага, но он не смеет действовать против него, так как Оспан – волостной глава. Оразбай не может пойти на него прямо, вот и строит козни нашему отцу, родственнику Оспана. В годы открытой вражды, когда Кунту успел улизнуть в другую волость, Оразбая удалось удержать за ногу. Дети Кунанбая не дали ему уйти, понимая, что в чужих краях он вполне может окрепнуть, и тогда с ним не справиться...

Абиш мало что знал обо всех этих причудливых деталях давней вражды, дерзких поступках и хитрых кознях. Магаш меж тем продолжал:

– Как только Оразбай понял, что не сможет откочевать подальше, он договорился с Жиренше, и они замыслили новые козни, чтобы столкнуть людей в наших краях, поселить междоусобицу среди детей Кунанбая. Ведь Такежан теперь во вражде с нашим ага. Он не может простить отцу, что тот не поддержал его, не вышел с соилом и не расправился с жигитеками, с Базаралы. Хотя Такежан потерял свои табуны по наущению Оразбая, в последнее время он пытается найти с ним общий язык. Теперь Такежан и его сын Азимбай все свое зло направили на нашего ага.

Слово за слово, ровно держа своих коней рядом в ритме дорожной рыси, братья перешли от разговора о давней вражде к нынешнему положению дел в степи.

– Теперь врагами нашего отца стали как власть имущие, так и толстосумы, – продолжал Магаш. – В этой компании выделяется Такежан, он говорит: «Власть вершить буду только я сам, и никто не может воспротивиться моему владычеству. Я и есть вчерашний хан, правитель этих людей, избранный Богом». Добавляет: «Все должно быть по мне. Кто согласен с моим правлением, тот мне самый близкий друг. Меня не беспокоит, кем будет мой человек, только бы использовать его!» Оразбай же пытается надавить другим способом, он не рвется в акимы, но верит в силу своего богатства: «Все нуждаются в деньгах, в них



и есть моя власть! Чем больше у меня денег, тем легче мне гнуть свое». Оразбаю все равно: нужно будет хотя бы на день – заплатит власть имущему или даже вору, но все равно купит их. Он всеяден. Ему нужна пища, только пища. Сегодня Оразбай самый богатый человек в степи. Если кто-то пойдет поперек него, уличит в несправедных делах, он тут же попытается его уничтожить – назовет безбожником, изгоем, злейшим врагом. На этом пути он безжалостен, да и нет таких средств, чтобы остановить его. И Такежану, и Оразбаю не дает покоя слава нашего отца среди тобыктинцев, оба они сгорают от черной зависти. Ненавистно им и то, что наш ага пишет с сочувствием к простым людям. Не могут они простить ему, что Абай-ага открыто выводит их на чистую воду, безжалостно разоблачая их коварные уловки. Они жалуются и сановнику, и аткаминеру, науськивая: «Абай – опасный человек, Абай – подлый человек, он и есть самый страшный из ваших врагов, вам не видать хорошей жизни, пока не покончите с ним». Еще они говорят, будто Абай грубо нарушает обычаи, традиции наших предков, отдаляет нас от веры, от наших наставников – святых покровителей. Говорят: «Он хочет извратить и нынешнее, и подрастающее поколение, сделать нас всех русскими...»

– И все это, несмотря на то, что они сами ненавидят русский народ да и саму Россию! – воскликнул Абиш.

– Правду говоришь, брат! – согласился Магаш. – Они спят и видят, как бы посадить отца в тюрьму или сослать его за тридевять земель, а для этого им все средства хороши. Они называют Абая врагом казахов, не понимая, что можно взять у русских много хорошего. Они оба – ненасытные хищники, которые творят всякие напасти и враки! Ни дня не знают покоя, науськивая, натравливая жалобщиков, скандалистов на нашего ага. Вот, в последнее время хотят перетянуть на свою сторону Такежана, им кажется, что с его помощью они легко возьмут верх над Абаем. А перетянуть Такежана на свою сторону им ничего не стоит: достаточно дать ему побольше скота, вот и весь разговор.



Оразбай все посылает к Такежану своих людей, хочет стать его сватом. Будто бы хочет сосватать одному из своих внуков дочь Азимбая, которая еще в колыбели. Вроде бы пообещал дать сто голов верховых лошадей!

Здесь Абиш не удержался и перебил брата:

– Вот подлые пройдохи! А что говорит об этом Оспан-ага?

– Уловок Такежана он пока что не замечает, – проговорил Магаш, – но о том, что Оразбай и есть настоящий подстрекатель нескончаемой вражды с жигитеками, хорошо знает и, верно, разобраться с ним решил напоследок. Ты же знаешь его: если руками ухватится, то готов даже рук лишиться, зубами вгрызется, то и зубы потерять ему не жалко! Пока что не выпускает Оразбая, сделал его зависимым, не дает бумагу об отделении в другую волость. Оспан все еще рассчитывает на Такежана, не думает, что тот может отложиться от него и тем самым уронить свою честь. Узнав о том, что Оразбай накрепко опутал Такежана, Оспан понял, что, если они сойдутся, то границы злодеяний только расширятся. Волостной для кочевников – беда известная, но Оспан-ага пока еще не был замечен на лихоимстве и взятках. Думаю, что именно он может одолеть Оразбая, если, конечно, захочет! – завершил Магаш.

То, что он говорил, покачиваясь в седле, было сущей правдой, но джигит, по молодости своей, знал ее не до конца. Например, о том, что Оспан собирался насильно изъять у разбогатевших баев их долги перед бедным людом. Или о том, что Оразбай, уже давно стоявший во главе межродовых интриг, не желал подчиняться воле прежних волостных глав. Его вору пригнали ему более тысячи лошадей, от родов Керей, Сыбан, Уак, Бура и Каракесек. И ни один из обворованных родов не мог поднять руку на него, в надежде когда-нибудь вернуть свое добро. Не мог Магаш знать и о замысле Оспана, который намеревался в ближайшее время созвать волостной съезд старшин, чтобы судить Оразбая.



Оспан, хотя и имел тяжелый характер, никогда не причинял зла другим. Слыша сетования людей на Оразбая, решил волостной голова, пока еще тайно, созвать всех биев, задержать в среде тобыктинцев людей, прибывших в поисках украденного скота, и созвать съезд аткаминеров. Конечно, на этом съезде Оразбаю пришлось бы вернуть значительную часть наворованного. Он прекрасно знал, насколько силен Оспан, как крепка его хватка. Поэтому и решил перехитрить Оспана. Когда люди уже начали собираться на съезд, Оразбай, передав: «Не могу быть на съезде», сбежал в город. Узнав об этом, Оспан принял этот поступок как сигнал к открытой вражде.

Не зная всех тонкостей дела, Магаш все же рассказал Абишу о том, что слышал: Оспан сам отправился вслед за Оразбаем в город, со словами: «Пусть хоть сквозь землю провалится, найду его, пригоню!» До того самого дня, когда Оспан сел в седло, воскликнув: «Я покажу ему, как измываться над людьми!» – были лишь интриги, противостояние издали. Это было похоже на закрытую воспаленную рану, которая долго ныла, но сейчас уже готова лопнуть.

– Всякие напасти сваливались на голову нашему отцу, – с грустью сказал Магаш. – Он тяжело переживал их, а они продолжались всю зиму и лето. Жизнь в кочевьях сложна и запутана, любая маленькая беда разрастается, словно степной пожар, и отец не может не замечать этого огня. Как мы ни пытаемся оградить его от всего этого, он сам не может сидеть спокойно: такова натура истинного казаха. Кроме того, нас мало, его сыновей, мы словно подлесок в непроходимой чащобе векового бора, среди чужих недобрых людей. Хотя бы на год оставили его в покое, чтобы он мог заниматься своим любимым делом!

По мере того, как Абиш слушал брата, в душе его нарастало негодование. Он сидел в седле, опустив голову, порой горестно вздыхал. Так стремиться в родной край, чтобы встретить отца и братьев, и узнать, что маленькая кучка злобных людей творит здесь такое великое беззаконие!



– Верно, Магаш, – сказал он. – Пусть только все эти напасти не мешают нашему отцу. Нельзя допустить, чтобы он постоянно был в плену одних лишь горьких размышлений. Жизнь – это борьба, и его окружают зло и коварство, и он, конечно, не может на это спокойно смотреть, но мы должны любыми силами, любыми путями защитить его великое дело. Я скажу и тебе, и Какитаю, и всем остальным: боритесь за нашего ага, боритесь нещадно, насмерть! Помни, что великая правда на вашей стороне! – закончил Абиш, и голос его прозвучал неожиданно громко и сильно в вечерней тишине.

Солнце уже ложилось на горизонт, когда путники увидели вдаль большой аул, тот самый, куда и стремились попасть до заката. Теперь они перешли с дорожной рыси на спорый шаг, подойдя к самому берегу реки Шаган, чье извилистое русло огибало подножия гор Чингиз, глубоко вгрызаясь в их белый суглинок. Чуть дальше, за отвесными берегами, расстилались серые каменные россыпи, а за ними – золотистый, щедро освещенный вечерним солнцем луг, у края которого и стоял гостеприимный аул.

Кокпай придержал коня, подождав, пока Абиш нагонит его, и указал кнутом на ослепительно сверкающую гору за рекой.

– Это и есть гора Коныр-аулие, а там и пещера! – сказал он. – Завтра хоть целый день будем там ходить.

Быстро въехав в аул, всадники оказались в самой гуще его обыденной жизни, в разноголосице блеяния, ржания и лая, будто бы все местные ягнята, жеребята и псы разом приветствовали их. Это было владение Байтаса, где жили родные Еркежан – жены Оспана. Тут и остановились путники на ночлег...

Назавтра в полдень они уже встали возле отвесного горного ската, привязав своих коней на калмыцкий манер – голова к голове. Вытянувшись на узкой горной тропе в длинную цепочку, джигиты добрались до пещеры. Вход в пещеру смахивал на узенькую дверцу, здесь тоже пришлось выстроиться гуськом. Возглавлял процессию Кокпай, хорошо знающий Коныр-аулие.



Впрочем, проход вскоре расширялся, открывая высокий, просторный грот, где было свежо, сыро. Кокпай достал маленький факел, навернутый на степной тростник. Все остальные также принялись устраивать себе путеводный свет – заранее приготовленные лучины, масляные коптилки и факелы из пучков чия. То тут, то там в глухом мраке пещеры загорались огни, освещая чьи-то пальцы, половину лица... Шли врассыпную, будто неся в руках золотые звезды, осторожно ступали, внимательно осматривались по сторонам. Чем дальше продвигались, уходя под уклон, тем больше становилась пещера – шире и выше, а вместе с тем – холоднее и безмолвнее. Камни, мерцающие в ручном подвижном свете, напоминали мрачные надгробья, с которых кто-то стер письма, и мертвое молчание мазара царило вокруг. Казалось, что путников с каждым шагом затягивает загадочная страна, которая представлялась Абишу страной вечного сна.

Дармен, Алмагамбет и Какитай, также никогда не бывавшие в пещере, хоть и пытались порой шутить, продвигались вперед с большой опаской, теснясь друг к другу. Плоский камень под ногой, ничуть не похожий на горные камни снаружи, уходя уклоном, ускорял их шаг, будто бы устремляя в глубокую западню. Магаш подталкивал Какитай вперед, стараясь держаться за его спиной. Кокпай и Абиш, уйдя далеко в глубь этой подземной страны, с тревожным любопытством смотрели вокруг себя и вдруг разом узрели впереди какой-то блеск... «Вода, вода!» – громко закричали они и остановились. Тяжелое эхо понесло под сводом пещеры ответные возгласы: «Вода... вода...»

Вскоре все сгрудились на каменном берегу водоема, чей противоположный край терялся в темноте, однако напоминал о себе громогласным эхом: стоило кому-то заговорить, как голос его тотчас возвращался. Впереди лежала прозрачная, чистая как стекло вода. Опустив свои лучины, путники всматривались в нее, не в силах сдержать возгласы восхищения. Дармен, дер-



жавший в руке длинную палку, пройдя по берегу, стал мерить глубину подземного озера.

– Это большая вода! Очень глубокая. Даже у берега такой коротыш, как Алмагамбет, легко может потонуть, – говорил он.

Будто не замечая обидных слов, Алмагамбет поднял небольшой осколок песчаника и со всего размаха кинул его в темноту. С силою брошенный камень где-то далеко плюхнулся в воду. Эхо возвратило удивленное восклицание Алмагамбета, его чистый и мелодичный голос. Какитай и Дармен последовали его примеру: вода руками по земле, нашли мелкие камешки, стали кидать их как можно дальше, но ни один не достиг противоположного берега. Подземное озеро, похоже, тянулось на большое расстояние, впрочем, как и сама пещера. Абиш вспомнил одну статью из петербургского журнала, относительно таких пещерных озер, и принялся как можно проще пересказывать ее. Молодежь окружила его, слушая с почтительным вниманием.

– Я заметил, что все мы чуть ли не дрожали от страха, как только вошли сюда. Многие думают, что в таких пещерах обитают всякие колдовские силы. Только представьте себе, что сейчас из воды выпрыгнет какое-нибудь чудище! – сказал он.

Больше всех робел Алмагамбет, он даже разговаривал сдавленным шепотом. Абиш хитро посмотрел на него и продолжил:

– Е! А ведь это будет не просто чудище, а нечто, хорошо нам знакомое, например, шайтан, как мы все его хорошо представляем. Кто-кто, а Алмагамбет, пожалуй, уж точно завопил бы, как козленок на заклании, появись сейчас сам шайтан из воды! Как знать, может быть, он сидит там и слушает, что мы говорим, и видит из-под воды огни наших лучин? – сказав это, Абиш неожиданно соскочил с места, ткнув пальцем в сторону: – Вон он, уже вылезает! – крикнув, Абиш дернулся, будто собираясь броситься наутек, и тут же все, кроме, разве что, Магаша, разом отпрянули назад.

Многие лучины потухли: в темноте, в толчее джигиты налетали друг на друга, падали на камни, Алмагамбет, конечно же,



упал прежде всех. Дармен повалился на него и стал его молча давить, будто и впрямь шайтан. Насмерть перепуганный Алмагамбет даже голос потерял от страха, отчаянно шепча: «Погибаю, спасите!»

Всех привел в чувство громкий хохот: храбрые джигиты поняли, что как-то неприлично бежать от пустоты. То смеялись Абиш и Магаш, и звонкое эхо, давно дружное со здешним шайтаном, весело вторило им. Какитай легко поднял с пола маленького Алмагамбета и, поддерживая его за шиворот одной рукой, шутиливо заметил Магашу:

– А ты-то что? Видать, страшно напугался, коль не побежал со всеми, застыл как вкопанный!

Магаш ответил громко, чтобы эхо подхватило его слова:

– Только такие невежды, как вы, пытаются спастись бегством от шайтана. Я же спокойно читал «Аятул курси», ради спасения всех вас, смертных.

Алмагамбет, только сейчас придя в себя, стряхнул с себя руку Какитая и, вновь обретя привычную манеру шутить, заметил:

– Е, айналайын, Магаш! Не забудь со страху эту самую молитву, пока мы не выйдем отсюда на свет!

Многие еще смеялись, вторя Алмагамбету, когда Абиш вернулся к прерванному рассказу, вспомнив известный миф:

– Шутки шутками, а в таких пещерных озерах кое-кто и вправду живет. Это существо может обитать только в глубокой темноте. Его называют рыбой пещерного озера, правда, оно не очень-то похоже на рыбу. Больше всего оно напоминает дитя человеческое, лет тринадцати-четырнадцати. И цветом оно розовое, совсем как ребенок. Он потому такой, что света божьего не видит! И глаз у него нет – также по этой причине!

– Астапыралла! – удивленно воскликнул Кокпай. – Какой еще ребенок? Это же ведь настоящее чудовище!

– Ой, не говори больше о нем! – сказал Дармен. – Не дай Аллах, чтобы такая нечисть водилась в этом озере!

Оба явно шутили, но Алмагамбет, и впрямь напуганный, неуверенно предложил:



– Думаю, мы достаточно насладились этим могильным мраком! Не пора ли джигитам выйти на свет божий!

– Да что ты! – ответил Абиш. – Мы ведь сюда на весь день пришли. В этой пещере много разных таинственных ходов. Вот и примемся обстоятельно осматривать их. Для чего, конечно, полезно было бы разделить по одному!

– В таком случае, – сказал Алмагамбет, – пусть Магаш читает свою светлую молитву «Аятул курси», а я буду держать его лучину! – и прижался к нему, как будто залезая в его объятия.

Какитай спросил Абиша, почему в названии пещеры звучит такой слог – «аулие»¹? Абиш будто ожидал этого вопроса. Он тотчас вскочил с места и, не выказывая никаких признаков усталости, широким взмахом руки пригласил джигитов в дальнейший путь, уже на ходу продолжая свой рассказ:

– Это и есть самая главная тайна пещеры. И сегодня мы ее, наконец, разгадаем! Пойдем, найдем этого загадочного святого. Не может быть, чтобы среди скал не осталось его следов! За мной, джигиты!

Пещера Коныр-аулие не заканчивалась берегом подземного озера – в высокой бугристой стене зловеще чернели глубокие ходы. В один из них и повел джигитов Абиш, высоко над головой неся масляную лампу.

Дармен без колебаний последовал за ним, Магаш и Какитай задержались, чтобы написать на скале свои имена. Абиш повернул в одно из боковых ответвлений пещеры. Он шел первым, и впереди была тьма, и в этой тьме, точно как вчера, на берегу реки, он видел большие серые глаза Магрипы. Она смотрела на него открыто, нежно, улыбалась так ласково, с таким доверием, словно увлекая его за собой не только в эту темноту, но и в самую глубину любви. Кажется, что красавица и вправду рядом, на расстоянии вытянутой руки, и лишь свет лампы мешает рассмотреть ее лицо... Абиш прикрутил фитиль и пламя

¹ Аулие – святой.



погасло. Теперь ему казалось, что стоит протянуть руку, как он тотчас дотронется до милого лица... Но тут позади раздался озабоченный голос Дармена:

– Абиш, у тебя что – огонь потух? Дай я запалю!

Зажигая лампу в неподвижной руке друга, Дармен не мог не заметить странного выражения его глаз, будто бы Абиш и вправду увидел в темноте какое-то существо... Дармен не знал, что образ Магрипы теперь всегда стоит перед ним, как если бы они и не расставались с вечера, проведенного в ногайском ауле.

– Апырай! – вдруг воскликнул Абиш. – Как же она хороша!

– О ком это ты? – удивился Дармен, проследив взгляд Абиша, но, разумеется, ничего не увидел.

– О Магрипе...

Произнеся имя девушки, Абиш опустил глаза, лицо его застыло, будто окаменев.

– А я еще вчера ждал, что ты заговоришь о ней! – первым нарушил молчание Дармен. – Сразу ясно, что она тебе понравилась.

– Не просто понравилась, но... – Абиш опять замолчал, и даже в сумраке горящего фитиля было видно, что краска залила его щеки.

– Е... Вон оно что! – засмеялся Дармен. – Значит, сбудется мечта Дильды-апа, и ее сын, наконец, женится! Вот повеселимся!

Вопреки ожиданию, Абиш даже не улыбнулся. Дармен с удивлением всматривался в его бледное, озабоченное лицо.

– Молчи, Дармен! Этому не бывать, не сбудется мечта нашей апа... – Абиш запнулся, затем, помолчав, добавил: – Никак это невозможно... пока.

– Почему же? – спросил Дармен.

Абиш медлил с ответом. Опять, как и вчера на берегу, толкнуло его в грудь сомнение, ему одному известная тяжелая тайна, вспыхнули перед ним слова петербургского доктора, как при-



говор судьбы, начертанный на камне огненными письменами: «Женитьба ваша в таком состоянии невозможна...»

Абишу бы рассказать все начистоту своему другу, и слова уже были готовы слететь с его языка, но он прикусил губу и молвил совсем другое:

– Да, это никак невозможно, я должен учиться. Не могу же я оставить молодую жену! Привязать к себе, а потом уехать...

Дармен пожал плечами: его не убедили эти слова. Он воскликнул:

– Е, да так и надо сделать! Сосватай ее, да и поезжай себе спокойно. Будет ждать уже невестой.

Абиш замотал головой, его лицо исказилось страданием.

– Я уже все решил, Дармен! Не отговаривай меня.

– Может быть, если... Твоя душа не лежит к Магрипе...

– Нет-нет! – воскликнул Абиш. – Если бы я хотел жениться, то кроме Магрипы никого бы и не желал на этом свете! Но сказал же, пока не доучусь, не могу! А ты, я вижу, со вчерашнего дня ждешь, что я скажу. Так вот мое последнее слово – нет! И не говори об этом больше! – резко закончил он.

Абиш знал, что эти слова дойдут до всех – до Магаша и Какитая, а главное – до его родителей. Пусть никто не досаждают ему. Он повернулся и пошел вперед, и вскоре, уже из-за первого поворота пещеры, донесся его бодрый и даже веселый голос:

– Эй! Идите скорее сюда! Я нашел святого!

Магаш, Дармен и Какитай ринулись на его зов. За поворотом пещеры они увидели Абиша: он стоял, освещая лампой длинный выступ скалы.

– Вот он, святой! – сказал Абиш. – Посмотрите на этот камень. Тут голова, а тут очертания плеча... А это его длинное туловище.

Какитай и Магаш, глядели на каменную фигуру, разинув рты: доверчивые по своей природе, они не сомневались в словах Абиша. Даже Дармен признался, что ясно видит длинную лежащую фигуру. Абиш поначалу шутил, но внезапно задумался. Странная мысль пришла ему в голову...



– Это и есть тайна пещеры Коныр-аулие, – серьезно сказал он. – Сия статуя не была сделана руками человека, но есть следствие работы воды. Наши предки, чье воображение ни в чем не уступало нашему, узрели в этом камне образ святого, что и породило легенду!

После этих слов все поняли, что путешествие закончено. Джигиты повернули назад, и маленький Алмагамбет оказался первым. Они шли, будоража звучное эхо то глубокомысленными словами, то веселым смехом. Вот впереди вспыхнул свет – круглый выход блистал вдали, словно золотой тенге...

Выйдя на воздух первым, Алмагамбет сел на камень, отряхиваясь и вытирая пот со лба. Когда из пещеры выбрались все остальные, он рассмеялся, обрадовавшись счастливому избавлению:

– Не хочу быть Ер Тостиком¹ который взял в жены подземную красавицу! Лучше добыюсь руки своей живой избранницы, девушки из рода Тобыкты. Она и станет моей настоящей сказкой, а мне впредь лучше не иметь дело с этим святым!

Отвязав коней, джигиты уже спускались с горы, когда Абиш вдруг увидел на склоне большое полуразрушенное кладбище. Он повернул в его сторону, и все повернули за ним. Могилы были похожи одна на другую, казалось, что люди, лежавшие под этими камнями, умерли в один день. Чуть поодаль стояли отдельные камни, Абиш наклонился в седле, чтобы прочесть знаки, высеченные на них.

Увидев Кокпая, подъехавшего с последней группой джигитов, Абиш спросил его, кому могут принадлежать эти старинные могилы. Тот сошел с коня и, проходя между камней, недоуменно цокал языком и покачивал головой. Наконец, он сказал, что знаки, которых он не замечал прежде, хоть не раз и бывал в этих краях, не принадлежат роду Тобыкты. То были «глаза», кос донгелек, – знак рода Аргын, «седелка», ашамай, – рода Керей и «черпак», шомиш, – рода Найман.

¹ *Ер Тостик* – герой сказки.



– Здесь покоится какая-то глубокая тайна... – задумчиво проговорил Кокпай. – Я никогда не видел кладбища, где были бы захоронены люди сразу из всех родов Среднего жуза!

Присев на корточки, Кокпай принялся нараспев читать молитву «Суннятян». Тем временем Магаш обнаружил что-то среди камней и жестом пригласил джигитов посмотреть. Все сгрудились вокруг провалившейся могилы. Там, на дне, в глубокой тени желтел человеческий череп, наполовину засыпанный песком. Во лбу зияла черная дыра. Кокпай провел руками по лицу и тихо заговорил:

– Слышал я одну старинную легенду... Жители Арки рассказывают о походе Аблай-хана, который вел долгую войну с калмыками. Однажды, когда воины Аблая бились с калмыками, преследуя их по всей Арке, калмыки придумали одну хитроумную уловку. Они видят в горах просторную пещеру и прячутся там. Беспечные воины Аблая, не найдя калмыков, решают, что они сбежали с поля боя. Тут калмыки выходят из пещеры и неожиданно нападают, чуть ли не уничтожают все войско Аблая. Опомнившись, казахи решительно вступают в битву и загоняют калмыков обратно в пещеру. Те закрепляются там, стреляют из луков, никак не желая сдаваться. Потеряв немало людей, разгневанный Аблай говорит своим батырам: «Если отыщется среди вас такой смельчак, кто сумеет уничтожить калмыков, то возведу его в полководцы!» И тогда вперед вышел Кабанбай из рода Каракерей. Он был тогда уже в весьма преклонном возрасте, с седой бородой. Отряд сражался днем и ночью, не выпуская калмыков из пещеры, не давая им головы поднять. Сидя в пещере, калмыки изнывали от голода и, наконец, сдались. И вот, во время тоя в честь победы, усадив рядом Кабанбая, Аблай и говорит ему: «Раз дал слово, то буду верен ему. Отныне в походах будешь во главе всего войска. И в честь твоего подвига впредь твое имя пусть будет Дарабоз!»¹ С тех пор во всех сказаниях Кабанбая так и называют – Дарабоз.

¹ Дарабоз – не имеющий равных себе.



Рассказав эту легенду, Кокпай замолчал, обведя взглядом джигитов. Они слушали, затаив дыхание, и, похоже, очень хотели узнать продолжение. Кокпай не заставил себя долго ждать и начал новый рассказ:

– В былые годы Аблай не раз ходил на калмыков. Самые знаменитые из его походов – Шанды шабуыл и Коржын каккан¹. Добился Аблай и самого длительного перемирия с калмыками, его называют *кандыжап*². Как знать – может быть, это странное кладбище неподалеку от пещеры как раз и осталось после похода Аблая?

С этими словами Кокпай быстро глянул в сторону Абиша и продолжал с вызовом в голосе:

– Я хочу написать поэму о хане Аблае, такую же большую, что пишет Абай-ага. Хочу, чтобы вы знали: я так напишу свою поэму, что все казахи будут почитать дух Аблая.

Абиш, от которого Кокпай, похоже, ждал какого-то возражения, лишь пожал плечами, но Дармен вдруг гневно взмахнул рукой.

– К чему казахам почитать дух давно умершего хана? Не лучше ли просто написать о походах Аблая, как есть? Разве о духах пишет свои поэмы Абай-ага?

– Не думаю, – холодно ответил Кокпай, – что наш ага будет против такой поэмы. Нет и не было воина, как хан Аблай! И кого, как не его, казахи должны почитать как святого?

Дармен уже не на шутку рассердился: Кокпай всегда уводил разговор в сторону от истины, настолько он был упрямым!

– Вы говорите – святой! – воскликнул Дармен, взмахнув уже сразу двумя руками. – А разве мы не разбираем по косточкам всяких там святых да вещей, как учит нас Абай-ага?

Тут и Кокпай рассердился:

¹ *Шанды шабуыл* – ураганная атака. *Коржын каккан* – битва до опустошения переметных сум врага.

² *Кандыжап* – остановить кровопролитие.



– Не задевай Аблая, Дармен, не заносись выше, чем сам можешь взлететь! Аблай – великий казахский хан, и я все равно напишу о нем поэму.

Сказав так, он отошел к своему коню, и Дармен, поглядев ему вслед, не смог сдержать смеха, впрочем, как и Абиш с Магашем. Было ясно, что последнее слово осталось за Дарменом, и он громко, чтобы слышал Кокпай, заключил:

– Е, коке¹! Вижу, что ваше необузданное вдохновение упрямо несетя вперед, закусив удила. Сидя верхом на таком скакуне, вы стремитесь воспеть тяжелую эпоху, давно канувшую в прошлое. Но, восхваляя хана-торе², сочиняя героическую поэму о его, может быть, и славных делах, не боитесь ли вы оправдать казахскую народную мудрость: «Кто идет за торе, тот тащит на своем горбу его седло»?

Кокпай хотел было ответить, но услышал, что все смеются, явно поддерживая Дармена, нахмурился и отвернулся, поправляя упряжь своего коня.

Вскоре тронулись в путь. Впереди скакал Абиш на своем золотисто-соловом коне, он мчался во весь опор, никому не давая спуска, если равнина располагала к состязаниям, торопя тем самым всю группу, – ведь дорога была дальняя, а солнце уже клонилось к закату. Так и успели к ночи вернуться в аул Абая.

Сам же Абай, еще третьего дня, когда джигиты выехали в Коныр-аулие, отправился к жигитекам, в аул Базаралы. Говорили, что Базаралы расхворался, и Абай решил проведать его.

Выехав пополудни, Абай и его спутник Ербол быстро достигли аула, который, после многих кочевок с самой весны, теперь подошел совсем близко.

Аул Базаралы был весьма беден – не более пятнадцати очагов его сородичей, а соседи были из числа близких друзей хозяина. Среди серых убогих юрт виднелись самые настоящие

¹ Коке – дядя.

² Хан-торе – великий хан.



лачуги, скроенные из лохмотьев войлока. Лишь одна юрта выглядела сносно, да и та принадлежала самому Базаралы, а ее наружность была обманчивой: войдя, гости сразу заметили, что здесь нет ни больших сундуков, ни даже необходимого количества корпе. Было ясно, что хозяин взял эту походную юрту по причине недостатка гужевого скота во время вынужденных, частых кочевок на джайлау.

Сам он сидел на убогой постели, расстеленной прямо на полу, и лишь тяжело поднял голову, когда вошли Абай и Ербол. Бессильно прислонившись спиной к кереге, он слабо улыбнулся своим старым друзьям. Обоих поразили перемены в его облике: глаза были затянуты печалью, по широкому лбу разлилась нездоровая желтизна, а в бороде появилось множество седых прядей – все это казалось явным отпечатком болезни и непомерно тягостной жизни. Приветствуя гостей, больной приподнялся, его крупное лицо налилось кровью, словно вспыхнув изнутри, но в тот же миг погасло и затем побледнело до синевы, а глаза будто подернулись льдом.

Так смотрит охотничий беркут, когда с него срывают томагу, – блеснет острым взором, словно огнем обожжет, и потом вновь остынут его глаза.

Горькая жалость охватила Абая, он не отрывал взгляда от лица Базаралы, когда-то такого здорового и полнокровного. Расспрашивая о его болезни, Абай никак не мог отвязаться от собственного сравнения: беркут, изнывающий под черной томагой, – вольный охотник, исхудавший в унижении плена, – Базаралы – пленник своей болезни.

Сквозь раскрытый полог Абай видел, как перед юртой, у земляного очага суетится жена Базаралы – Одек. Она была сухощавая, сморщенная, вся какая-то почерневшая, будто прокопченная в дыму очага. Войдя, Одек аккуратно постелила гостям кошму и одеяла, с почтением взглянув на Абая. Хлопоча, женщина весьма участливо расспрашивала Абая и Ербола о чадах и домочадцах – всех помнила, каждого называла по имени. Ба-



заралы поглядывал на жену с одобрением, радуясь, что она так хорошо принимает гостей. Выйдя наружу к очагу, она принялась готовить чай, тут подошел ее старший сын – Сары, и она о чем-то пошепталась с ним, затем позвала свою молодую рыжеволосую невестку, попросила принести воды и дров.

Отвечая на расспросы гостей, Базаралы рассказывал обо всех подробностях своей болезни, словно о долгом кочевье в степи.

– Кости ноют, локти-колени болят, от простуды, наверное, – закончил он.

– Вряд ли это простуда. Скорее, у тебя куян¹, – неуверенно заметил Ербол.

– А отчего бывает куян? От простуды и бывает! В тепле чувствую себя человеком, а чуть похолодает, испортится погода, так и сам начинаю портиться, словно бахсы-шаман, которого одолевают шайтаны! – пошутил Базаралы, будто подтрунивая над самим собой.

– Все дело в джайлау, – сказал Абай, сведущий во многих вещах, в том числе и в медицине. – Нельзя при такой болезни постоянно кочевать, жить на холоде.

– Не говори! Эти беспрерывные кочевки под проливным дождем и вовсе меня доконают.

– Е, почему бы тебе не осесть? Не так и велик твой табун, чтобы пастбище на твоём джайлау вконец оскудело.

– Оно, конечно, так! Но попробуй докажи это соседям... Не дают покоя: «Смотри, аул Байдалы уже откочевал!», «Вон, Жабай и Бейсенби откочевывают!» Так и твердят все соседи-сородичи. Честно слово, Абай, я, как заболел, все думаю: неужто мы вечно должны кочевать? И почему должны...

Ербол прищелкнул пальцами, будто поймав дерзкую мысль Базаралы, и решил разговорить его. Сказал:

– Значит, как ты думаешь, Даркембай разумно поступил, осев раньше всех?

¹ Куян – ревматизм.



– Конечно, разумно! Я сам нынче кусаю локти, что не пошел в оседлость вместе с ним, в его же ауле. И, кстати, локти бы теперь не болели! Живу в хвори и тяготах, и только злюсь и на себя, и на своих людей.

– Е, я вижу, ты хочешь, чтобы все кочующие казахи стали мужиками. Хочешь отбить их от ремесла предков?

– Это ремесло довело нас до бедности, до нищеты! – с горечью воскликнул Базаралы. – Кто в этом мире самый жалкий, самый униженный? Только казах! Вон, другие народы живут... У всех есть города, теплые дома, у каждой семьи – крыша над головой. А у нас – лишь бескрайняя степь, безлюдная пустыня! И носимся по ней, словно перекасти-поле, гонимые ветрами... То там мелькнем, то тут, пыль только поднимем, даже следа в песке не оставим. И, однако, называем себя хозяевами степи, считаемся единым народом. Но что от нас останется, кроме этой вот пыли?

Базаралы всего лишь обращался к Ерболу, это были вопросы, которые один человек задавал другому, заранее зная, что тот не сможет дать ему ответа, но Абай вдруг подумал, что в его словах звучит голос целого народа, причем обращенный и лично к нему. Ведь Абай был не простым сыном кочевников: он знал о жизни за пределами этой степи, и кто, как не он, мог что-то сделать, посоветовать?

– Базеке, твои слова, для меня как горький яд! – в сердцах воскликнул он.

– Не я его настоял! – ответил Базаралы. – Этот яд был выжат по капле из каждого, кто кочует по джайлау. И противоядие – в твоих руках!

– Что я могу поделывать? Я всего лишь пою песни, утешаю словом, вынашиваю в голове мысли...

– Е, и это немало! Окрыли меня, подними, найди самые сильные, нужные слова, – Базаралы посмотрел на Абая с надеждой в глазах, как больной смотрит на врача.

Вошла Одек, держа в своих сухих руках помятое медное блюдо с чайником и пиалами, гости подсели ближе к дастарха-



ну, хозяин остался в постели. Ербол протянул ему полную пиалу. Абай все думал над прозвучавшими здесь словами, молча потягивая крепкий чай.

– Ты хочешь сказать, Ербол, что нам так на роду написано – кочевать? – вновь заговорил Базаралы. – А как быть с теми волками, что берут с нас недоимку, карашыгын? Разве попались бы мы им на растерзание, если бы жили где-нибудь оседло? Разве не по своей воле мы угодили в ад, твердо стоя на своем и не желая покидать джайлау?

Все это Базаралы говорил, глядя на Ербола, теперь протянул ему свою уже пустую пиалу и обратился к Абаю:

– Помню, как ты отбросил этих злобных шакалов, хорошенько отхлестав их по мордам! Я с большим удовольствием на это глядел, но все же... Успели они таки поиздеваться над людьми! Бедный, несчастный народ, только и вопит, всполошенный, словно стая куропаток. Жаль, что я в те дни тоже был задавлен болезнью, а не то бы пошел с тобой, пусть даже пришлось умереть. Хотелось повести всех своих людей, чтоб разогнать эту черную стаю. Нет у Базаралы ни богатства, ни чего-то такого, что можно было бы потерять. Лучше хоть один день прожить, как подобает мужчине, чем заживо сопреть в этой постели! – воскликнул Базаралы, гневно хлопнув ладонью по одеялу.

Ербол посмотрел на него с восхищением:

– Вот так Базеке! Сам говоришь, что больной, а волю-то свою еще не потерял!

– Верно, – поддержал его Абай. – Нам, здоровым, еще далеко до Базаралы! Гляжу на него – радуюсь, а как о себе подумаю, то даже тошно станет.

– Не говори так, Абайжан! Кто я есть? Только лишь черный шокпар в руках настоящего воина. А кто ты? Тот самый воин, в чьих руках это оружие. Ты сеятель, хлебороб и жнец. Образованный сын своего народа. Ты и должен вести за собой таких, как я.



Казалось бы, сказанное в таком роде должно было порадовать Абая или, по крайней мере, – как-то приободрить... Увы, он не обольщался насчет своей судьбы, хорошо понимая: все, что он может сказать стихами, – в конечном счете и прежде всего – только слова...

– У меня была мечта, – сказал Абай. – Показать людям дорогу, ту единственную, по которой наш народ смог бы пробиться к свету. Может быть, я и показал ее... Но не смог дать им в руки оружия, тот самый шокпар, о котором ты говоришь, Базеке!

Пришла пора вечерней трапезы, затем медленно подступили сумерки, а друзья говорили все о том же – о народе и его судьбе, о безысходности и бессилии, но так ничего и не решили, так и не отыскивали тот самый заветный шокпар...

Наступила ночь. Абай и Ербол решили остаться в ауле Базаралы до утра. Было тепло и безветренно, и гости попросили Одек постелить им снаружи, у земляного очага. Хозяин, тепло укутанный в одеяло, также присоединился к ним.

Облокотившись на подушки, все трое молча любовались тихой ночью. Полная луна плыла невысоко над холмами Донконьса, освещая убогие юрты, – казалось, она была совсем близко, будто пожаловала в гости прямо в бедный аул Базаралы или же просто родилась в этих местах и только что решила отправиться в свое дальнейшее плавание. Абай долго смотрел в светлый лик ночного светила, вдруг ему показалось, что оно поет... Нет, это донеслась чья-то тихая песня с окраины аула.

Пели девушки, судя по голосам – девочки-подростки, совсем еще юные. Слышался смех, обрывки разговоров и шуток. Абай понял – то вышла в ночное молодежь, вернее, следить ночью за табуном было для нее лишь поводом, чтобы повеселиться. И правда: песня за песней исполнялась под скрип качели, будто бы отбивающей такт.

Под эти хорошо знакомые звуки Абай вспомнил свое, уже далекое, словно бы его вдруг обдало теплой и в то же время горькой волной, как если бы он ночью купался в соленом озере...



Вдруг хозяин аула, будто подслушав мысли Абая, мечтательно проговорил:

– Как же прекрасно было то время! Беспечная пора юности...

Абай с грустью вздохнул, легко дотронулся до плеча друга, сказал, как бы вслух завершая свои невеселые размышления:

– Ничего тут уже не поделаешь, Базеке. Все мы выросли, переменялись, главное – сами смирились с тем, с чем мириться было никак нельзя... Канула навеки эта пора.

Базаралы поглядел на Абая с теплой улыбкой, как смотрят самые близкие люди. Твердо проговорил:

– Это не про тебя сказано.

– Е, уж не хочешь ли ты сказать, что Абай все еще гуляет на том же алтыбакане, в старом Жанибеке? – пошутил Ербол.

– Точно так! Слышите, чью песню поют на качели? Твою песню, Абай! Ты сейчас не только здесь, с нами, но и среди них, – сказал Базаралы, указывая рукою в темноту.

– «Шлю, тонкобровая, привет!» – пропел Ербол, обнажая зубы в довольной улыбке.

Вслед за этой песней кто-то затянул «Письмо Татьяны», потом над ночной степью, будто поднимаясь прямо к полной луне, поплыли другие песни Абая. Друзья замолчали надолго, слушая пение – то звучный, сильный голос джигита, то нежный, мелодичный, явно принадлежащий чувствительной девушке. «Ты – зрачок глаз моих» – эти стихи были плодом давнего творчества акына, порождены любовными порывами молодой души... Абай чувствовал и гордость, и грусть. Внимательно посмотрев на него, Базаралы тихо заговорил, продолжая то, что начал:

– В душе ты такой же молодой, как эти джигиты, девушки. Вот почему твои песни и звучат у них на устах. Песни идут от самого сердца, они пришлись по душе всему народу, и старым, и молодым. Все они – и малые детишки-воронята, и мудрые старцы, на которых дети смотрят запрокинув головы, как на вершины гор, и бедняки, обитающие в этих серых лачугах, – живут



и ждут твоих песен, твоих правдивых слов. Вспомни, как в те дни, когда волчья стая выбивала из нас недоимки, ты вступился за всех, найдя самые сильные слова! Не говоря даже о других, скажу о себе. Ты был мне опорой и в дни моего здоровья, и теперь, в пору болезни. Ни с кем, кроме тебя, я не могу поделиться самыми сокровенными думами!

– О, Базеке! – воскликнул Абай – Нет у меня другой мечты, чем видеть тебя в добром здравии. Сейчас, поговорив с тобой, я словно расправил крылья. Коли мне подарили бы скакуна да верблюда в придачу, и то не стоило бы это твоих слов!

Абай давно не чувствовал себя так радостно и легко. В душе его зарождались новые стихи, и он знал, что посвятит их ни кому иному, как верному своему другу Базаралы, который будто бы и не только от себя говорил, а от всего народа, а значит, и стихи будут обращены не к одному Базаралы, но и ко всем казахам. По глазам своего друга Абай понял, что и он все знает, понимая даже то, что под словом «канатым» – крылья – поэт подразумевал свое творчество, свое вдохновение, и именно сейчас, ночью, на околице этого бедного аула, осиянной яркой луной, он нашел опору в сердце своего народа...

Уезжая утром из аула Базаралы, Абай увозил с собой не только утешительные слова от своего старого друга, но и новые силы, которые тот как будто бы передал ему от сердца к сердцу в эту ночь благодарственных откровений.

2

Тем временем в аул возвратились и джигиты. После поездки в Коныр-аулие они были радостно возбуждены и веселы, спешили у коновязи, о чем-то оживленно переговариваясь, весело смеясь... Но здесь же их встретил Абай и в нескольких словах поведал о новой беде. Виновниками очередной напасти были Оспан и Оразбай.

Не зная подробностей этого дела, Абиш догадался, что оно весьма серьезно: об этом говорил угрюмый вид отца. Его мрач-



ное лицо стояло перед глазами Абиша и в мягкой тьме юрты, когда он, ворочаясь с боку на бок, старался заснуть. Но сон не шел... Абиш снова встал и оделся. Кто-то должен был объяснить ему все до конца. Но кто же еще, если не его младший брат, который вчера, по дороге в Коныр-аулие, столь обстоятельно рассказал ему о положении дел на джайлау?

В юрте Магаша уже сидели Акылбай, Ербол и Какитай. Как только Абиш вошел, хозяин поставил на очаг уже остывший чайник. Было ясно, что разговор будет долгим. Так и вышло: молодые друзья Абая присидели до самого рассвета.

Вот о чем поведали, иногда взволнованно перебивая друг друга, Ербол и Акылбай.

Как уже было известно Абишу, волостной глава Оспан поехал в Есболат, в аул Оразбая, сына Аккулы, и не просто поехал, а прихватил с собой биев и пятидесятников-елюбасы, старшин-атшабаров и своего волостного писаря, в твердом намерении провести съезд. Оразбай, прослышав о том, тотчас ускользнул в город – не только для того, чтобы сорвать съезд, но и чтобы пожаловаться на Оспана семипалатинскому «жандаралу». Перед самым отъездом он, говорят, заставил двоих есболатовских старшин написать «приговор», удостоверенный их личными печатями. А жителям Есболата Оразбай строго наказал, чтобы они не позволили Оспану провести съезд.

Сплетая клубок хитроумных интриг, Оразбай даже не скрывал своих намерений. Он прекрасно знал, что люди донесут до Оспана все его слова. На грядущем съезде Оспан намеревался выставить на всеобщее порицание толстосумов, обогатившихся благодаря Оразбаю, тех, кто вовсе отбилась от рук в пору вражды, которая царила в Чингизе. От этой вражды, от этих раздоров все соседние роды – Каракесек, Уак и Керей досыта натерпелись насилия, гнета и разорения. Начать же Оспан собирался с главного злодея этого края – самого Оразбая.

На подобное дело прежние волостные решиться не могли и не хотели, но Оспан, еще до прихода на этот пост, клялся, что



справится с непокорными. А с кого же начать, как не с самого клыкастого? Ведь если удастся одолеть Оразбая, то и другие съезды, в других местах, должны пройти успешно. К тому же Оспану давно был не по душе Оразбай, а заодно и Жиренше. Их обоих он называл подлыми сутяжниками, а их среду – осиным гнездом беспрерывных напастей и бед, происходящих среди тобыктинцев.

Именно Оразбай и Жиренше раздули вражду среди жигитов, именно из-за этих двух смутьянов, по разумению Оспана, родственные роды восстали друг на друга, и в итоге вместе пали на землю, словно им подрезали жилы.

До сих пор Оразбай всецело полагался на свое богатство, упрямство и дерзость, никого не боялся, никого не слушал. Но Оспан был камнем твердой породы: он и раньше ни с кем не церемонился в своем стремлении к справедливости. Теперь, став волостным главой, он не на шутку решил взяться и за Оразбая, и за его приспешников, не считаясь даже со своим родным братом Такежаном, если тот окажется в стане врагов.

Оспан не так уж и стремился в кресло волостного главы, а потому и не боялся потерять его. Он не очень-то понимал, что, попав в число аткаминеров, сам оказался среди пройдох, каким принято быть на такой должности. Теперь все эти хитрецы и плуты, как бы они ни были сильны, побаивались его, своенравного по натуре, цельного по характеру. Да и вид у Оспана был устрашающий, под стать истинному великану – рослый, массивный, самый крупный среди всех тобыктинцев, а его большие черные глаза горели огнем, словно уже отражали блеск выхваченного из ножен, готового к бою клинка.

Все знали, какой силой обладал Оспан, и даже называли его *Туйе-палван*¹. В народе ходила легенда о том, как он одной рукой навзничь завалил быка-трехлетку, прижал его к земле, не давая разъяренной скотине даже пошевелиться. В другой раз,

¹ *Туйе-палван* – верблюд-борец.



когда на Оспана набросился бешеный пес, он крепко схватил его за морду и ударил оземь.

Был и такой случай. Как-то он спас большого верблюжонка – вытащил его из ямы, ухватившись руками за оба горба. Люди и боялись Оспана, и уважали его, любовались мощной статью ба-тыра. Богатырскую силу дополнял своенравный несгибаемый характер, и никто не желал бы встретиться с Оспаном на узкой дорожке.

В то же время среди всех владельцев Тобыкты Оспан считался самым приветливым и гостеприимным. Сородичи даже посмеивались за глаза над его чрезмерной щедростью. Говорили, стоит какому-то путнику не спешиться в его ауле, не попробовать еды в его очаге, как он тут же посылал людей догнать всадника в степи, а потом обращался к нему с подобной сердитой речью:

– Это чем же я провинился, что ты проезжаешь мимо, не погостив у меня? Чем не угодил тебе мой дастархан? Говори!

Такежан, Майбасар и другие посмеивались над Оспаном между собой:

– Все говорят: «Гости – одно разорение», так и трясутся, чтобы их часом не объели, а наш Оспан сидит и горюет, что мало еще к нему ходит гостей!

Приехав в аул Оразбая и не найдя хозяина, Оспан чрезвычайно разгневался и при стечении многих биев заявил: «Пусть он хоть сквозь землю провалится, притащу сюда его в путах и веревках, будет он у меня бляеть, словно козленок на закланье!» Младший брат Оразбая, Ыспан, которого тот поставил за себя в ауле, ни слова не возразил Оспану, даже сам подвел ему коня. Рассказывают, что, покидая аул Оразбая, Оспан был черным от гнева, его лицо налилось кровью, грозно поднялась щетина на щеках.

Ыспан же, едва проводив Оспана, тотчас отправил двоих срочных гонцов в город, чтобы передали брату угрозы волост-



ного главы. От себя же добавил: «Оспан озлился, словно клыкастый черный кабан. Попадись ты ему в лапы, тотчас бы растерзал. Вот и сам его не жалею, а то как бы не пришлось потом локти кусать!»

Оспан тем временем велел запрячь в повозку трех лошадей и прямо из Карасу Есболата отправился в город.

Оспан скакал без устали день и ночь, на каждом пикете меняя лошадей под упряжкой, для чего взял с собой группу верховых – ходких джигитов, под которыми бежали надежные, крепкие скакуны. На второе утро разъяренный волостной глава прибыл в город.

Оразбай был уже три дня, как в уезде. Все это время он только и делал, что разбирался с бумагами: писари и адвокаты составили ему челобитные да жалобы и перевели их на русский язык. Приехав в город, Оспан тотчас узнал, что Оразбай уже сидит в конторе уездного начальника Казанцева, и прямо с дороги, на той же повозке подкатил туда.

Казанцева в управлении еще не было. В полутемной приемной, крепко сцепив руки в замок и весь раздувшись от злости, сидел один Оразбай. В таком положении и нашел его Оспан – одинокого злого бая, тускло глядящего в глубину длинной неприветливой комнаты. И Оспан тут пошел на хитрость... Он учтиво поздоровался со своим врагом, выказав подобающее его возрасту почтение, расплывшись в самой что ни на есть приветливой белозубой улыбке.

Оразбай поглядел на него с большим удивлением: неужели Оспан забыл об их вражде? Или он настолько глуп, что ничего не смыслит в ее тонкостях? Оразбай на всякий случай тоже повел себя весьма любезно, улыбаясь и приветствуя Оспана. Тот сказал:

– Оразеке! Дошло до меня, что ты уехал в обиде! Что же, – гнев старшего брата только подтверждает вину младшего. Но я стал волостным недавно и еще ни в чем не провинился – ни перед законом, ни перед людьми. Знаю: у тебя за пазухой полно



всяких бумаг на меня, но и перед вельможей, к кому ты сейчас идешь, я тоже ни в чем не виноват, даже с женой его не ложился. Пусть же он рассудит нас, давай зайдем к нему вместе, – и дай руку на спор, с кем он заговорит в первую очередь – с тобой или со мной?

На спор Оразбай идти не стал, но изрядно размягчился дружеским тоном Оспана. А тот, весь светясь и улыбаясь, словно бы невзначай предложил Оразбаю выйти на улицу:

– Что-то здесь душновато, давай-ка пойдем на воздух. Есть у меня к тебе одно дело, считай его за просьбу младшего брата, выслушай! Я не для того приехал, чтобы тягаться с тобой перед начальством. И не потому, что тебя боюсь. Как узнал, что ты умчался, рассердившись, вот и пришлось нестись за тобой! Тут одно дело, говорю. Вот, порешим его, и я сразу поеду обратно.

Говоря так, Оспан взял Оразбая за руку и повлек к выходу. Продолжая шутить и улыбаться, поблескивая зубами и похлопывая Оразбая по спине, он довел его до своей повозки, которая стояла под густой тенью чинары; между прочим, проходя мимо, подмигнул своему кучеру Баймагамбету, чтобы тот был наготове. Когда они прошли двор, Оспан вдруг переменялся с виду, сгреб Оразбая в охапку, потащил к повозке, и грозным голосом прорычал:

– В бороду тебя... так и разэдак. Паршивый пес!

Оразбай, наконец, понял, что его одурачили.

– Омай¹ хитрый плут!.. Ты что это надумал... – начал, было, он нарочито громко, поглядывая на окна конторы, но Оспан чувствительно толкнул его в бок и отшвырнул к повозке:

– А ну, садись в арбу, пока душа в теле!

Оразбай было хотел позвать на помощь, хотя бы своего кучера, стоявшего на другой стороне улицы, но Оспан вдруг схватил его за горло и сжал, вместе с длинной бородой. Тут же он сгреб врага за шиворот и, подняв его над землей, как беркут зайца, бросил в арбу.

¹ *Омай* – возглас сожаления.



– Живо! Гони домой! – крикнул Оспан Баймагамбету, и тот немедленно хлестнул лошадей бичом, гаркнув по-русски: «Ну, поше-о-ол!»

Оразбай начал брыкаться, вскидывая ноги, но Оспан утихомирил его одним могучим подзатыльником, введя в беспамятство, и тот надолго затих.

Так миновали Иртыш, перейдя на другой берег бродом. Оразбай лежал в арбе молча, не шевелясь, словно барашек на закланье. Когда выбрались на большую караванную дорогу, ведущую в сторону Чингиза, Оспан слез с арбы. Во все стороны расстиралась безлюдная степь. Оспан выволок Оразбая из повозки. Сказал:

– И ты хотел, старый хрыч, тягаться со мной? Сейчас будет тебе за твои собачьи деяния, на всю жизнь запомнишь! Вяжи его к задку арбы! – приказал он Баймагамбету.

Вдвоем они привязали Оразбая спиной к задней решетке, накрепко опутав руки-ноги. Так, нигде не останавливаясь, с человеком, который был привязан к задку арбы, словно мешок с поклажей, следующей ночью они вернулись в свой аул, что стоял на джайлау в Шакпаке.

Никто не думал, что все будет именно так, что Оспан исполнит свою клятву так точно и жестоко, привезя Оразбая именно скрученным, словно козленка на закланье, унизив, насмеявшись над стариком. Многие были встревожены, напуганы – вот почему эта новость не вызвала большого шума среди аулов рода Иргизбай, располагавшихся в Шакпаке, Жыланды, Керегетасе, Ботакане. Говорили, что на такое способен только неистовый Оспан, что не было в их крае подобного наказания. Он всегда действовал напористо, словно с ходу юрту валил, часто не ведая, какое дело вершит, насколько благородно оно. Вот и пошли негромкие разговоры о том, что, дескать, такой поступок может привести к еще большей беде...

Абай не мог остаться в стороне, он призвал к себе Ербола и Акылбая и высказал свое суждение:



– Оразбай, конечно же, злодей, каких мало на земле, самый дерзкий из кровожадных волков, что не дают народу житья. Он давно измывается над людьми, и Оспан поступил правильно, желая взыскать с него. Но что же он сделал дальше? Вместо того чтобы наказать его на глазах у всех, заставить вернуть добро, что тот нахапал, Оспан просто-напросто свел с ним счеты, словно с личным врагом. Что мы увидели? Свару двух владельцев, которая теперь будет продолжаться, неся народу еще большие напасти! Что сделано, то сделано – Оспан проучил Оразбая. Теперь же пусть отпустит его!

Абай наказал Ерболу и Акылбаю тотчас ехать в аул Оспана и точно передать ему эти слова. Но, как вскоре выяснилось, это было уже не нужно...

В тот же самый день в аул Оспана въехал его старший брат Такежан. Никто не знал, что он замыслил столь предательскую уловку. Еще на окраине аула, трясаясь на крупной рыси в седле, Такежан разразился громкими проклятиями, правда, непонятно кому именно адресованными:

– О, проклятье! Какой срам, какой страшный позор!

Спешившись у керме, он миновал юрту Оспана, продолжая причитать, широко размахивая руками, дошел до уранхая, где сидел плененный Оразбай, и велел джигиту, сопровождавшему его, поднять кошму перед дверью. Тут уже люди, выглянувшие на шум, поняли, о чем так пекся Такежан, поскольку он все не унимался, стоя у раскрытой юрты:

– Где это видано, чтобы казах сотворил такое! Разве наши предки могли дойти до подобной злобы? Где же он? Где этот несчастный старик Оразбай?

Оразбай лежал посреди уранхая на старой шкурке жеребенка – скрюченный, свернувшись калачиком, словно больное дитя. Под головой не было и маленькой даже подушки. Услышав за войлочной стеной громкий голос Такежана, а затем и увидев его вошедшим, он даже не пошевелился – только смотрел на него своим единственным глазом, не отнимая сухой руки ото лба. С тех пор как Оспан пленил его, упрямый старик не произнес



ни слова: не только ни разу не попросил напиться, но и даже не принял глотка воды от своих мучителей, хотя в дороге Баймагамбет несколько раз протягивал ему полную флягу.

Голодный и угрюмый, лежа в чужом уранхае, Оразбай выглядел сухим и крепким, словно поваленный дуб, но злоба и ненависть душили его, разъедая изнутри, как сонмище древесных червей.

Войдя, Такежан велел своему джигиту-малаю принести кумыса. Оразбай злобно глянул на него и впервые за эти дни подал голос, оттолкнув руку Такежана с пиалой:

– Убери прочь от меня свою гнусную мочу!

Но Такежан молча, настойчиво протягивал ему питье, и пленник, помедлив, все же глотнул кумыса из его рук. Вытер рукавом губы, заговорил:

– Пусть сыновья Кунанбая убьют меня здесь, выпьют всю мою кровь! Оставьте в живых, до конца дней моих буду грызть ваши глотки. Оспан и Абай – вот главные мои враги. Тебя же, за то, что чашу поднес к моему рту, не назову больше врагом. Но и другом, братом – тоже не назову. Уходи, Такежан, нет у меня других слов!

Сказав так, он отвернулся и умолк, уткнувшись в грубый мех. Такежан подал знак своему джигиту, тот вышел. Наклонившись над Оразбаем, заговорил шепотом:

– Я тоже сын Кунанбая, но я не желаю сгореть вместе со своими братьями в этой вражде. Демеу передал мне весть, что ты послал, отправляясь в город. Задумался я над твоим кратким письмом. Пока не скажу больше, но помни: нет еще промеж нами последнего слова! Ведь не калмык же ты, не извечный мой враг? – вдруг громко выкрикнул он и продолжил, уже так, что было слышно всем, собравшимся снаружи: – Я не хочу больше терпеть это собачье издевательство! Пусть покажется тот раб божий, кто помешает мне сделать то, что я сделаю. Вставай теперь же, Оразбай! Садись на моего коня, бери моего атшабара и прочь уезжай отсюда.



С этими словами Такежан помог старику встать на ноги и нахлобучил ему на голову тымак. Поднял с пола ремень Оразбая и собственноручно подпоясал его. Быстро вывел наружу и усадил ослабевшего аткаминера на своего упитанного гнедого коня, громко приказал молодому атшабару-джигиту:

– Проводи Оразеке до его родного аула. Чтобы в пути не устал, спешивайся, где он пожелает, потчуй хорошенько, ни в чем не отказывай!

Так, освобожденный из плена не кем иным, как близким сородичем волостного главы, Оразбай отправился в Есболат. Такежан угрюмо посмотрел ему вслед и вошел в юрту Оспана, тут же выпроводил всех чад и домочадцев и строго отчитал младшего брата наедине:

– Что же ты такое натворил! Я говорил, что надо его припугнуть, но разве так это делается? Кто только научил тебя этому?

– Не бойся, – возразил Оспан. – Я не собираюсь сваливать эту науку на тебя.

– Может быть, это Абай науськивал?

– И его не обвиняй. Это я сам сделал, и только я!

– Я не слыхал, чтобы кто из предков сотворил такое!

– Так теперь пусть все узнают. Я сотворил, – твердо ответил Оспан.

– Зачем?

– Чтобы укротить смутьяна.

– И скольких смутьянов ты так укротил?

– Одного Оразбая на всех хватит. Проучу его, остальные сами научатся, – стоял на своем волостной глава.

– Тебе ли учить Оразбая? Может быть, это он должен тебя проучить?

– Я так решил! Пусть Оразбай не думает, что сильнее меня своим злодейством! Честность – не его пища, да и не твоя, как я погляжу. Вы оба даже на вкус не пробовали этого лакомства! И тебя, и его, и всех заставлю вернуть имущество соседям.



Не только бедного вора буду судить справедливым судом, не Мынжасара какого-нибудь, но вас, толстосумов! Грош мне цена, если не прекращу стоны обиженных в моей волости.

– Да пропади пропадом твое волостное правление! Честность, справедливость – это все Абая слова, не твои. То, что ты сотворил с Оразбаем, по-твоему и есть справедливость?

– Да, моя справедливость такова. Собаку следует наказывать по-собачьи, она не знает другого языка. А вот почему тебя это так задевает? Ведь только вчера ты сам был врагом Оразбая. Кто напустил на тебя жигитеков и среди бела дня разгромил твой кос? Оразбай. А сегодня ты виляешь, уловки ищешь. В чем причина столь скорой перемены?

– Пусть между нами и вражда, но Оразбай нужный мне человек. И я не намерен закрывать глаза на твои деяния, идти за тобой, чтобы потом тоже свалиться в пропасть. Я не играю в *сокыртеке*¹

Тут Оспан, наконец, ясно понял уловку Такежана. Кривотолки, дошедшие до его слуха совсем недавно, оказались правдой...

– Уай, Такежан! – воскликнул он. – Как ты приехал и в уранхай вошел, я не шелохнулся, думаю: вот, старший брат знает, что делает, пусть будет по нему. А ты взял, да и отпустил Оразбая, честь мою приторочил к его седлу. Слышал я, что Жиренше и Оразбай все подбираются к тебе. И меж нами, единоутробными детьми Улжан, клин хотят вбить. Теперь-то я знаю, что ты не просто так отпустил Оразбая, а потому, что твой поганый сынок Азимбай тешит себя кое-какими надеждами. Я о сватовстве его малолетней дочери за внука Оразбая говорю. Вот в чем, оказывается, дело! Вот для чего тебе и нужен Оразбай. Я и поступил так с собакой, чтобы проверить тебя. Так на чьей стороне будешь?

Такежан слушал, сжав губы. Оспан испытующе посмотрел на него и, не получив ответа, продолжал:

¹ *Сокыртеке* – игра в жмурки.



– Вот я и вывернул тебя всего наизнанку! С этого дня спуску не дам ни Оразбаю с Жиренше, ни тебе. Только попробуй теперь свяжись с ними! Пусть даже меня проклянут не только тобыктинцы, но и весь казахский люд. Сам убью, своими руками зарежу и принесу в жертву и тебя, и твоего сына-собаку! А теперь поди вон, я не желаю более слушать твои ничтожные слова!

Дико глянув на брата из-под густых бровей, Такежан молча встал и вышел, не смея ничего возразить. Все понял, все раскрыл Оспан!

Быстро дойдя по аулу до керме, Такежан вдруг остановился, пораженный одной мыслью: «А ведь еще один шаг, и моим врагом станет не чужой, а мой же сородич, родной брат!»

Раньше он все твердил: «Я сын Кунанбая» и думал, что мысли у всех кунанбаевцев должны быть под одну гребенку. Они сообща и вершили все дела тобыктинцев. Да хоть живьем бы съели всех тобыктинцев, кто же осмелится заступиться за них! Так было испокон веков. Теперь же народились те, кто забыл о Боге, предал обычаи предков. Сначала Абай, за ним – Оспан.

Раз так, то надо идти напролом, не смотреть, что они тебе братья. Не братья они – враги! И враги не только для остальных детей Кунанбая, но и для всего того древнего, исконного, что веками росло среди казахов. И значит, надо воевать с ними, поднимать против них шокпары – братья они или не братья! Что и делает Оразбай! А коль нужен ему некто – помощник и сторонник, то пусть им и станет он, Такежан. Только помощник невидимый, тайный. Не дай Бог, узнают об этом сородичи, другие дети Кунанбая!

Неспроста пришли в голову Такежана такие мысли. Было одно дело, которое Оразбай, прежде чем уехать в город, поручил своему сыну Демеу...

То был новый бес своего клана – хваткий, ловкий, способный в делах, да и обладающий хорошо подвешенным языком. Демеу прекрасно знал все уловки и хитрости отца. Как только тот



уехал в город, он послал человека к Азимбаю, передать «слова добрососедства и взаимного благоденствия». Вот что он передавал в послании: «Да изживем впредь непонимание между детьми Кунанбая и Аккулы, и предотвратим пожар новой напасти, что готова разгореться в народе. Пусть зачинателями этого дела станем мы – Демеу и Азимбай. Хочу я сосватать своему трехлетнему сынишке дочь Азимбая в колыбели. Пусть Такежан даст на то свое благословление, равно как и сам Азимбай. Завтра же пошлю *каргыбау*¹ в сто лошадей из табунов Оразбая».

Это тайное послание весьма заинтересовало Такежана, оно и послужило истинной причиной происшедшего, а главным в этих изысканных словах было не что-нибудь, а слово, обозначающее число.

«Сто лошадей из табунов Оразбая!» Именно с этими словами и вскочил с постели Такежан, словно его облили кипятком во сне, и тотчас помчался в аул к брату, чтобы вызволить оттуда Оразбая. Но Оспан раскусил его! Как же он, Такежан, объявит себя сватом в такую пору? Как теперь эта сотня замечательных, резвых, хорошо откормленных лошадей окажется в его руках? Такежан будто бы видел их перед глазами, как они бегут тесным табуном прямо к нему... А ведь аул Такежана сейчас переживает не самые хорошие времена, и сам хозяин чувствовал себя после встречи с братом, словно змея, огретая камчой.

Все эти события – пленение Оразбая, его внезапное освобождение, раздор Оспана и Такежана – стали той самой искрой, что была уже готова разжечь пламя новой вражды, и было уже вполне ясно, кто погорит с обеих сторон. Все без лишних слов понимали, что огонь, разоженный Оспаном, хотел он того или нет, теперь раньше всех обдаст своим пламенем Абая, что Такежан скорее найдет общий язык с Оразбаем, нежели с ним.

Такова была в целом обстановка на джайлау, когда Абиш и его друзья, возвратившись с Коныр-аулие, увидели родной аул помрачневшим, словно на вереницы его юрт надвинулась черная туча.

¹ *Каргыбау* – подарок сверх калыма от родителей жениха.



Всю ночь Абай лежал без сна, и пуховая постель Айгерим казалась ему каменной. Он так и не сомкнул глаз, ворочаясь и мучительно вздыхая. Наутро у керме спешился атшабар Далбай, быстро прошел к юрте Абая и вручил ему бумагу из волостной конторы. Это была повестка: уездный глава Казанцев приказывал Абаю явиться в качестве ответчика по делу неплательщиков недоимок в Чингизской волости.

Все в ауле всполошились, но сам Абай был на удивление спокоен. Он даже втайне обрадовался: ведь как раз пришла пора Абишу возвращаться в город...

– Готовьте мою повозку, – сказал он джигитам. – Я поеду вместе с Абишем. Будь что будет! Я готов держать ответ перед Казанцевым, да и сам, в свою очередь, кое-какие вопросы ему задам...

Вскоре тронулись. Абиш, расцеловавшись на прощание с Магашем и Какитаем, легко прыгнул в тарантас. Абай, в сопровождении Дармена и Баймагамбета, устроился в коляске. Оба экипажа, громко позванивая колокольчиками, двинулись в сторону Семипалатинска. Провожающие, а их собралась довольно многочисленная толпа, с тревогой смотрели, как быстро катятся повозки, совсем не поднимая пыли на высокой, ярко-зеленой траве этой старой неезженной дороги. Все аульные остались в мучительных раздумьях: как бы не вышло теперь какой беды...

Тем временем Оразбай уже снова был в Семипалатинске и, как бы в поисках напасти на свою голову, обивал пороги конторы Казанцева. Все городские чиновники, большие и не очень, знали его как матерого жалобщика, который был с ними на короткой ноге. Это и немудрено: после крепкого пинка, полученного от Оспана, он распорядился пригнать в город целые табуны лошадей, распродал их, а вырученные деньги принялся совать по карманам толмачей в канцеляриях уездного главы, «жандарала» и суда.

Дошел он и до самого Казанцева, пожаловавшись не только на Оспана, но и на многих других, в том числе – и на Абая. Ка-



занцев, делая вид, что глубоко посвящен в дела тобыктинцев, спросил:

– Ты что же, на всех Кунанбаев будешь жаловаться?

– Нет, – отвечал Оразбай, – не на всех. Вот на Такежана не буду, на бывших волостных, Шубара, Исхака – тоже не буду жаловаться. А на Оспана и Абая – да!

Глядя на Оразбая с изумлением, Казанцев понял, что этот скрытный человек затаил далеко идущие замыслы. Оспан собственноручно наказал Оразбая. Абай в этой истории был вообще посторонним, к тому же – не власть имущим. Будучи волчьего нрава, Оразбай не брезговал никакими средствами, в том числе и челобитными-жалобами, и сейчас сидел перед уездным главой, обращаясь то к нему, то к черноусому, рябому толмачу, который стоял рядом и переводил его слова на русский язык.

– В чем же прямая вина Ибрагима Кунанбаева? – строго спросил Казанцев.

Оразбай изобразил сильное удивление.

– Э, ваше высокоблагородие, разве вы не знаете? – заговорил он, теребя за рукав толмача. – Неужто вина Абая не проявилась во всей красе в пору сбора недоимок?

– По-твоему, Ибрагим Кунанбаев и есть настоящий виновник прошлой смуты?

– Он и есть! – воскликнул Оразбай, с явно деланным гневом. – Вспомните, какие беспорядки разгорелись именно на том джайлау, где стоял аул Ибрагима Кунанбаева? Разве на других джайлау, например, на моем, было столь сильное сопротивление сборам налогов для белого царя? Не было! Кто, как не Абай взбудоражил всю голь против волостного главы и ваших собственных чиновников?

Стараясь очернить Абая, Оразбай преследовал свою особенную цель: он хотел таким образом отвлечь Казанцева от Такежана и Жиренше. Его желание преуспеть в этом деле было настолько велико, что он даже обвинил Абая в неблагонадежности:



– Вы не думайте, что я один против Абая, против него – все достойные аткаминеры, весьма уважаемые аксакалы и такие карасакалы, как я. Все мы верой и правдой служим белому царю. Ну а Абай даже о его величестве, о самом царе говорит самые скверные слова! Которые я и повторить не могу.

Казанцев поинтересовался: могут ли все эти люди также написать жалобу на Абая и прийти в дуан? Оразбай понял, что сановник желает видеть побольше жалобщиков в своей конторе, чтобы просто отчитаться перед собственным начальством. Это также отвечало задумкам Оразбая, и он заговорил с еще большим жаром:

– Ваше высокоблагородие, о крамольных словах Абая Кунанбаева знаю не только я, их вам передадут и многие другие. Этот шакал не раз прилюдно очернял сановников степи, людей весьма уважаемых, а также самого царя! Его речи направлены против веры, обычаев предков, традиций-нравов наших...

– И жалобы могут подать? – нетерпеливо перебил Казанцев, даже не дав толмачу закончить перевод.

– Подадут. И не только в ваш дуан, но хоть и самому жандаралу! Ваше благородие, правильно ли будет, если они подадут свои жалобы во всякие другие места? Мол, среди нас, ваших благоверных подданных, имеется такой смутьян...

Казанцеву стало ясно, что подобным плутоватым вопросом Оразбай намеревается сделать его советником в своих кознях. Значит, если понадобится очернить такого человека, как Ибрагим Кунанбаев, то этот кряжистый карасакал, с острым злобным взглядом единственного глаза, не побрезгует ничем.

Уездный глава ответил Оразбаю не сразу, и ответ его был весьма туманным, впрочем, как и в прошлую встречу. Он дал понять просителю, что достойные люди, недовольные Абаем, конечно же, могут подавать свои жалобы, и намекнул, что кроме него имеются и другие вышестоящие конторы и сановники. Это была его уловка: во-первых, Казанцев хотел выявить как можно больше скрытых врагов Абая, во-вторых, снять с себя прямую



ответственность за возможные дела таких авторитетных людей, как Абай.

Несмотря на неясность выражений с обеих сторон, городской сановник и коварный степной бай расстались, прекрасно поняв друг друга.

Казанцев не стал торопиться с делом Абая, думая собрать как можно больше материалов, все досконально подготовить. Исходя из этих соображений, он даже не принял Абая лично, а лишь велел одному из своих пожилых, опытных помощников выслушать его ответы и записать их. Беседа была короткой: у Абая должно было остаться впечатление, что все обвинения против него ограничиваются вопросом черных поборов, по поводу которого его и вызвали в уезд. Если когда-нибудь придется подвергнуть Абая большому наказанию, то эта карта может оказаться козырной в руках уездного главы перед вышестоящим начальством.

Все это было так хитроумно сделано, что Абай, возвратившись с первого допроса, даже не заметил всей тяжести сгущавшихся над ним черных туч...

Все эти события, связанные с возней вокруг деяний Оспана, так и не позволили ни самому Абаю, ни родным-близким заговорить с Абишем о его женитьбе. Магаш, Какитай и Дильда, а также Утегелды, недавно приехавший в аул Абая, знали только одно – слова, которые Абиш произнес перед Дарменом в пещере Коныр-аулие. Эти слова, так и не получившие окончательного истолкования, дошли и до слуха Магрипы. Ей оставалось только ждать, смиренно храня молчание, и часто повторять про себя эти милые сердцу, сокровенные слова Абиша, переданные ей: «Если бы я хотел жениться, то кроме Магрипы никого бы и не желал на этом свете!»

СХВАТКА

1

И вновь на летние каникулы Абиш приехал в родные края. Но на этот раз по приезде он застал совершенно другой настрой жизни, чем прежде. Никогда раньше, с детских ученических лет, возвращаясь в родительский аул, он не видел своих близких, родных людей с такими сумрачными лицами. Тому причин было много.

Джайлау многих тобыктинских аулов в это лето расположилось не за перевалами Чингиза, а у подножий хребтов, на просторных пастбищах урочища Ералы. Здесь не было сочной зелени горных лугов, гремящих потоков чистых речек меж скал, – глазам Абиша предстали желтые, вытопанные скотом долины и холмы, покрытые белесым ковылем и бесцветной травой-типчаком. Абиш прибыл домой в начале июля, в самом разгаре знойного степного лета.

Прошлой зимою умер Оспан, и в аулах Иргизбая держали годовой траур по его смерти. Приехав к отцу, Абиш три дня пробыл рядом с ним, разделяя общую безутешную скорбь. В траурной скорби по Оспану пребывали все сородичи в многочисленных аулах тобыктинцев.

Оспан заболел прошлой зимою, находясь в Жидебае, родовом ауле, у своей старшей жены Еркежан. Великан с огромным тучным телом, Оспан в последние годы еще более располнел, и то была уже болезненная полнота. Вскоре он слег, и пока гадали-рядили, что же у него за болезнь, сделался страшный



жар, он стал впадать в беспамятство и тяжкий бред. По всей округе разнеслась весть – «Оспан тяжело болен».

Как только эта весть дошла до Абая, он тотчас выехал из Акшоки. На подходе к Жидебаю он увидел скачущего ему навстречу верхового. Это был гонец, с заводной лошадей в поводу, который, остановившись, сообщил Абаю о смерти Оспана. В продолжении пяти дней он не приходил в сознание, метался в бреду, и на шестой день скончался.

К приезду Абиша в отцовский дом, на урочище Ералы, во всех аулах иргизбаев, тесно окружавших аул покойного Оспана, готовились к его годовому асу. Народу прибыло великое множество. Вокруг траурного аула Оспана расположилось около тридцати аулов. Ближайшими были аулы Исхака, Абая, Такежана, Майбасара, Ирсяя, Изгутты, муллы Габитхана.

Старшей жене Еркежан полагалось совершать траурные обряды по мужу, находясь под шаныраком Большой юрты, унаследованной от Зере, Кунанбая и Улжан покойным Оспаном, их младшим сыном.

Во второй траурной юрте вела обряды Зейнеп, дочь хаджи Ондирбая, которую Кунанбай сосватал Оспану, когда уезжал на хадж в Мекку вместе с ее отцом. Зейнеп стала известной на всю округу певицей. У нее открылся дар исполнительницы и сочинительницы плачей на похоронах, и ее импровизации, удивительные по силе выразительности, потрясали слушателей и запоминались ими.

Третья жена, токал Торимбала, была намного моложе двух старших жен Оспана, никакими особенными талантами не обладала, а просто была тихой, кроткой, миловидной женщиной. Но она тоже должна была голосить в традиционном плаче по мужу. В трех траурных юртах звучали голоса жен, оплакивающих Оспана, и гости, наполнившие аул скорби, внимательно прислушивались к этим разным голошениям, сравнивали их.

И когда начинал звучать плач в траурном доме Зейнеп, не попавшие туда гости, женщины и дети аула сбегались к ее юрте.



Окружив ее со всех сторон, забравшись на пустые повозки, стоявшие рядом, устроившись на больших вьюках, лежавших неразвязанными возле дома, люди слушали плачи Зейнеп, одобрительно шепчась друг с другом.

Оказалось, что Зейнеп хорошо знает родословную покойного мужа, и это давало ей возможность сообщать своим плачам особенную притягательность для слушателей. Так, люди, особенно из молодых, узнавали многое об отце ее усопшего мужа, ходже Кунанбае, о его мудрости и величии. К скорби о почившем муже добавляла плакальщица и печали о тихом успении великой матери Улжан. Не забывала упомянуть о славных деяниях деда Оскенбая, воздавала хвалу пращуру рода – Иргизбаю. Супруга своего уподобляла этому богатырскому предку, который тоже был огромен, могуч и силен, смел и мужествен. Далекий предок Оспана носил прозвище Туйе-палван, так же люди называли Оспана. Она повествовала в траурном плаче, как в старину, во время состязания казахов с батырами великого Коканда, Иргизбай схватился с их знаменитым палваном и победил его. За что был удостоен награды слитком серебра в виде детской колыбели – бесик жамба.

Аксакалы и карасакалы Иргизбая остались весьма довольны пространными, красивыми плачами Зейнеп. Сказали, что «таких плачей давно мы не слыхивали», и внушали молодежи, чтобы они наизусть заучили все эти плачи. Плакальщица даже на тризне по мужу сумела возвеличить его род. Воздавая хвалу и славу Оскенбаю, Кунанбаю и самому Оспану, она внушала всему роду Иргизбай чувство гордости за себя.

Вслушиваясь в низкий, красивый голос невестки, Абай не переставал скорбеть в душе. Оспан, так неожиданно и так рано покинувший этот мир, заставил его пережить немало самых горестных часов раскаяния. Своими плачами Зейнеп бередила его глубокие душевные раны. И, невольно присоединяя свои стоны к стенаниям невестки, Абай плакал горькими слезами.



Оплакивая смерть брата, он не мог в душе своей избыть и чувство горечи и обиды за него.

Смерть взывает к великодушию по отношению к умершему. Смерть обязывает говорить о покойнике только хорошее, это всем известно. Но в душе Абая угнездилась жгучая досада на то, что его Оспан, редкостной чистоты души, прямооты, великой силы богатырского тела и духа человек, не смог использовать должным образом эти замечательные качества в своей жизни. И это при том, что обладал истинным мужеством, стойкостью, упорством – вцепится во что-нибудь зубами, ни за что не выпустит, если даже лишится их. Но он не был корыстолюбив, не был скаредным, друзей встречал с душой нараспашку. В этих качествах не было ему равных в семье, во всем роду... Вспоминая такого Оспана, старший брат скорбел с великой болью сердца. Нет, не смог он использовать лучших своих качеств ни для своего духовного совершенства, ни для степного сообщества родных казахов. Что он сделал для того, чтобы они безутешно оплакивали его безвременную кончину? Почти что ничего. Лишь однажды решительно и безоглядно, как мог только он, кинулся Оспан на борьбу с несправедливостью и злом... И тут все вышло так, что он больше навредил, чем помог делу. Своими безрассудными, буйными поступками только подлил масла в огонь и дал, в сущности, хорошее оружие в руки врагов. Задумав наказать Оразбая, он пошел на поводу у своего неистовства, снизился до личной мести и посеял непримиримую вражду между Абаем и Оразбаем, который был уверен, что безрассудного Оспана направляет его брат Абай. Все знали, что Оспана с детства воспитывал больше старший брат, нежели отец. И если бы кто теперь обвинил Абая: «Почему ты не направил великие силы своего младшего брата на благие дела всего народа?» – Абай не смог бы найти себе оправдания.

И чем больше задумывался Абай об этой своей жизненной вине, тем сильнее впадал он в молчаливую замкнутость и от-



чуждение от людей. Смерть любимого брата сбросила Абая в глубочайшую пропасть одиночества.

По приезде Абиша в траурный аул, туда прибывали все новые люди, чтобы совершить поминальную молитву-жаназа. Два дня подряд Абай не выходил из юрты Оспана, и в эти дни рядом неизменно находился Абиш, словно исполняя молчаливый наказ от отца – молиться и скорбеть вместе с ним. Сын имел возможность внимательнее присмотреться к отцу. В нынешнем обличье Абая наметились большие изменения. Его голова и борода заметно поседел. Лицо стало одутловатым, малоподвижным. Взгляд ушел в себя, словно после смерти Оспана душевное одиночество окончательно подавило его, и Абай погрузился в свои бесконечные, ни для кого не доступные размышления.

В дни аса по Оспану Абай и перед друзьями своими предстал в удручающем виде. Он казался угасшим, потерявшим свой дар высокого слова, несчастным человеком. Младшие его друзья и братья встревожились: «Неужели смерть и скорбь могли сломить Абая, погасить в нем огонь творчества?» Особенно сильно страдал за Абая Дармен.

Но, внешне выглядевший безжизненным, Абай-поэт мощно жил в душе, преодолев в себе Абая-печальника. Когда оплакивали Оспана, много произносилось речей в его светлую память, и время от времени вступал в этот ряд поминальных речей и Абай со своими стихотворными импровизациями.

Вспоминая о лучших, бесценных качествах души и натуры Оспана, Абай невольно оглядывался на своих здравствующих родичей, – и тоска об ушедшем брате начинала жечь его душу еще сильнее, напоминая, какую утрату пришлось понести...

Кто же теперь самый могучий в роду, кто самая крепкая опора? Неужели Такежан? О, эти «такежаны»... Они суть мерзость человеческая. Сверх всякой меры – жестокости, невежества и полное отсутствие доброты, человечности. Опереться не на кого. Утешиться нечем. Вор на воре, грабитель на грабителе. Зло наносят уже не отдельному дому или аулу, а всему наро-



ду. Как при этом сделать легче его жизнь? Тут сколько ни думай, а ничего не придумаешь. Полная безысходность, всюду тупик...

На третий день к вечеру Дармену удалось увести Абиша из траурного дома. Друзья вышли из аула, пройтись. Солнце близилось к закату. Западная сторона небосклона тонула в багровом мареве, расплавленные огненные облака растекались над горизонтом. Небо над просторами Ералы было охвачено беспредельной вселенской тишиной.

Прохладный вечерний ветерок веял над притихшей степью. После долгого бдения в траурной юрте Абиш вдыхал полной грудью свежий воздух родной Арки. Выйдя за пределы аула, джигиты направились в сторону реки. Они шли по ровному ковру белесого ковыля и зеленой луговой травы, на котором не было ни пылинки. Сапоги, намокшие в вечерней росе, порой скользили по сырому травяному покрову, но молодые люди бодро и уверенно шагали вдоль реки по высокому берегу, увлеченно разговаривая.

Вскоре перед ними открылся аул с многочисленными серыми юртами, стоявшими близко к реке, издали путникам показалось, что дома поставлены прямо на воде. Дармен увлек друга напрямик к этому аулу. Приближаясь к нему, они продолжали разговаривать. Говорил больше Дармен, которому было что сказать Абишу, тот же внимательно слушал, всем своим существом впитывая каждое слово друга и сверстника.

– Абиш, мы все очень ждали тебя. Ждали, надеясь, что ты привезешь целебное снадобье нашему Абаю-ага. Да и нам всем также! Ведь мы не смогли излечить его от недуга тяжелых переживаний! Нам это оказалось не под силу, Абиш. Только ты один сможешь теперь помочь агатаю. Я позвал тебя, чтобы сказать тебе об этом, Абиш.

Но Абиш не спешил поддержать разговор. Ему было неловко слышать от молодого, здорового джигита признание в своей



слабости, а также обсуждать с ним печальное состояние отца, в котором он находился. Абиш ограничился лишь замечанием:

– Дармен, я вижу, что ваши тревоги об отце возникли не на пустом месте. Вот и будем дальше думать вместе, как помочь ему.

Подобная сдержанность и спокойствие Абиша понравились Дармену. Он сам всегда стремился утверждать себя не словами, а делами и поступками. И ему также претило всякое пустословие.

На краю аула их с лаем встретили собаки, косматые черно-белые сторожевые псы. Выбежали навстречу трое-четверо мальчишек, уже давно заметивших пеших путников, свернувших к их аулу. Первым подбежал и поздоровался улыбчивый мальчишка лет семи. Дармен приветливо заговорил с ним:

– Рахимтай, дедушка дома?

– Нет, не дома. Он во дворе сидит! – вспыхнув от смущения, ответил мальчишка.

Ответ рассмешил Абиша, засмеялись и другие подбежавшие дети. Рахим смутился еще сильнее и, вспыхнув, потупился, чуть отвернулся в сторонку и стал рассматривать ногти на руке.

Бесхитростный, кроткий мальчик пришелся Абишу по душе. Он с явным удовольствием ласково смотрел на маленького своего земляка, кончик носа у которого сразу вспотел от волнения. Но скошенные в сторону черные глазки его с огромным любопытством глядели на гостей.

Дармен ласково обнял мальчишку, прижал к груди. Абиш нежно погладил его по гладко выбритой макушке.

– Рахим, чей ты сын? – спросил он.

Рахим тотчас ответил:

– Я дедушкин!

И опять все весело засмеялись – гости, аульная детвора.

Дети окрестных аулов слышали и знали о знатном, ученом ага Абише, но им еще не приходилось видеть его. Жгучее любопытство горело в их глазенках.



– Это самый младшенький у Даркембая. Единственный из его многочисленных детей, оставшийся в живых. Бог сохранил его на радость и в утешение старому отцу.

При этих словах малыш снова смутился. Выскользнув из объятий Дармена, он звонким голосом крикнул:

– Дармен-ага, скажу дедушке про вас! – и припустил в сторону своего дома.

Рахим побежал к небольшой серой юрте, с виду вполне добротной и целой среди множества других латаных-перелатаных, убогих лачуг жатаков.

– Надо отдать салем Даркембаю. Хочу раньше других навеститься к аксакалу и первым услышать от него, за чем следило и что заметило «всевидящее око» нашего степного мудреца, – с шутливой улыбкой промолвил Абиш.

Даркембай сидел в тени своей юрты на шкурке гнедого жеребенка и тесал топором длинную деревянную чурку. Часто взмахивая топориком-шапашот, в виде мотыги, заточенной в лезвие с широкой стороны, старик обтесывал березовое поленце, мастерил топорище.

Видимо, было ему в удовольствие, сидя в прохладной тени, совершать мирную работу, привычную для рук и милую для души. Инструмент словно сам собою взлетал вверх и опускался на изделие, весело и непринужденно водя рукою мастера.

Приветливо поздоровавшись с гостями, Даркембай вернулся к прерванной работе. Разговор вел, продолжая дело.

– Даже, вы все еще здоровы и полны сил! А здоровье – это ведь самый ценный дар жизни, – сказал Абдрахман.

– Айналайын, Абиш, ты говоришь то же самое, что твой отец, – отвечал Даркембай, с довольной улыбкой на лице. – Недавно сломалась арба у одного из наших жатаков, я починил колесо и потом ставил на место. За этим делом и застал меня заехавший к нам Абай, и сказал: «Барекельди! Молодец! Радуюсь твоей силе и бодрости!» И дальше сказал: «Старости не поддавайся!



Перед нею не скисай!..» А добрые пожелания хорошего человека всегда небесполезны, особенно для тех, у кого куча всяких забот.

Повернув березовое топорище другим боком, старик стал начисто стесывать с него топориком-шапашот тонкий слой дерева. Одновременно он спрашивал:

– Абиш, дорогой, завершилась ли твоя учеба? Ты насовсем вернулся или же опять уедешь?

Абиш ответил, что и в этом году ему придется уехать в Петербург, вернется на родину уже в следующем году, после окончания военного училища. Но и тогда ему не придется жить дома, ведь он будет направлен к месту службы.

– Значит, опять уедешь, – молвил Даркембай и надолго замолчал.

Старику явно было не по душе, что Абиш после учебы не будет жить в родных краях, а уедет в чужие.

– Конечно, я давно понял со слов Абая, да и сам думаю, что учиться полезно каждому человеку. Особенно полезна русская учеба, она открывает нам глаза на остальной мир и освещает душу человека. И руки ему удлиняет. В свое время Абай увез в город немало детишек из этого жатакского аула, и многие из них сейчас вышли в люди. Вон, сын Молдабая, Данияр, и сын Муздыбая, сын Омарбека из дальнего Шагана... – все они нашли свое место в жизни, выучив русскую грамоту. А есть и другие дети из жатаков, которых он направил к мусульманской грамоте, – это Садуакас, Касен, Самарбай, – так они тоже стали приносить немалую пользу себе и другим. Садуакас, собрав детишек нашего аула, – вон, вроде моего Рахимжана, обучает их читать и писать на арабском. Нам, казахам, любые знания нужны! И в грамоте, и в ремеслах. Вот я, старый человек, научился некоторым ремеслам – и до сих пор приношу кое-какую пользу в своем Жатаке, несмотря на свою немощную старость! – слегка подшутил Даркембай над собой.

Дармен, выходец из этого поселения жатаков, кое-что пояснил Абишу:



– Хотя Даже и посмеивается над собой, но в ауле и по всей округе он славится как мастер на все руки. Круглый год чинит арбы, сани, сохи, мастерит лопаты, топоры, серпы – все по земледельческому хозяйству. Также стал паяльщиком, лудит казаны, посуду всякую... Короче, стал мастером по металлу и по дереву. Радует, когда его благодарит народ. Про него сказано: «Старый пень вдруг обернулся скакуном!» Стараются изо всех сил, помогает людям в их жизненных передрыгах... Так что, Абиш, как видишь, казахам нужны не только высокие знания, но и всякое низкое ремесло.

Восприняв эту шутку, Даркембай одобрительно кивнул головой и улыбнулся в бороду. Так они и перешучивались, оживленно разговаривали, словно сверстники – трое разного возраста людей.

– Е, Абиш, айналайын! Чего уж там! А ведь немало казахов, которые про таких, как я, помахивающих топориком, теслом, – и слышать не хотят. Хотя, плохо ли, хорошо, а только моими стараниями появляются в степи новые арбы и сани... А ведь некоторым только искусство подавай, под которым они понимают одно – подпевать под домбру: «арий-айдай! бодай-талай!» – потешно пропел аксакал, подмигивая Абишу.

Молодые джигиты расхохотались.

– Нет, каково загнул! Старый скакун до сих пор строптив! Не подходи сзади – лягнет, мало не покажется! – сказал Дармен, любясь на аксакала.

А тот уже с серьезным видом говорил Абишу:

– Оно, конечно, хорошо – учиться. Но плохо то, что, окончив учебу, вы не возвращаетесь в родные края, а уходите на чужбину – без всякого сожаления. Вот, сын Молдабая живет теперь в Ташкенте, уехал туда по службе. И ты теперь, дорогой, собираешься поступить так же. Все это мне не по душе, скажу тебе прямо, сынок. Вас послали учиться родители. Люди ждали вас, как ждут плодов, когда они созреют. Почему бы вам не принести в родные края те знания, которые вы получите?



Разве то, что получили, чего достигли, вы оставите только для себя? А ведь позади вас наша неграмотная степь – ваши невежественные родичи и близкие, молодая поросль, обреченная быть необразованною. Айналайын, а почему бы тебе не вернуться в родную среду, не собрать вокруг себя тех, кто ищет знаний, не возглавить их, не передать им свет своих знаний? Ты погляди только на Абая-ага! Сколько света вокруг исходит от него только одного! Даже Баймагамбета возьми, – когда этот джигит, который не может отличить букву от простой черточки, заночует, бывало, у меня, то я выпитываю от него, бывшего нукера Абая, столько мудрейших историй, сколько течет воды в потоках реки Дарьи! Е, сынок, разве не становится подобным одинокому дереву в степи всякий образованный человек, если не разбрасывает вокруг себя семена своих знаний? Хочешь достигнуть в своей жизни какой-то высокой цели, – достигни ее вместе с людьми, с юной порослью, – один ты этой цели никогда не достигнешь. Как ни свирепы и хищны волки, роющие норы, чтобы прятать там своих детей, – разве они не обучают своих наследников звериным повадкам и охотничьим навыкам, чтобы волчата выжили и могли сами охотиться?

Абиша поразил последний довод старого жатака. Сраженный его несомненной правотой, юнкер согласно закивал головою. Абиш таил в себе мысли, которыми не делился даже с отцом. Одной такой мыслью было: «А что, если я вернусь в родные края и останусь здесь, чтобы готовить казахскую молодежь для учебы на русском языке?» Слова аксакала почти в точности совпали с этими мыслями Абиша.

В юрту прошла жена Даркембая с двумя ведерками, полными только что надоенного молока. Звали ее Жаныл, она была женщина средних лет, намного моложе Даркембая, родила ему сына Рахима. В прошлом она была невесткой в роду Бокенши, но овдовела, и ее сосватали за Даркембая, который тоже овдовел к тому времени.

У Даркембая от первой жены родилось несколько детей, но все они умирали в самом раннем возрасте. И вот Жаныл роди-



ла Рахима, которому уже исполнилось семь лет. В доме Даркембая, на склоне его лет, зажегся огонек новой жизни. Жаныл оказалась для него хорошей женой, она с уважением относилась к тому, что ее муж столь почитаем в сообществе жатаков и среди его сородичей жигитеков. Глядя на своего единственного сына, который благополучно рос среди босоногой детворы, Даркембай словно обрел вторую молодость.

Теперь он не походил на горестного старика, который, по словам Абая, мог только жаловаться на судьбу. У него появилась новая жажда жизни и стремление к созидательному труду. Он хотел жить и трудиться ради сына Рахима, ради Жаныл. Человек большой жизненной силы, могучий телом и душой, да и умом наделенный недюжинным, Даркембай перешагнул порог шестидесятилетия – и за ним обрел новый огромный интерес к жизни. Крепко затянув пояс, он бодро зашагал навстречу ей.

Все близкие друзья заметили возрождение Даркембая, славного жатака, мастера на все руки, и радовались за него, – особенно Абай и Базаралы. Поддерживая старика на его обновленном житейском поприще, Абай к тому, что ежегодно помогал с зимней заготовкой мяса – согымом, теперь стал передавать Даркембаю на все лето двух-трех дойных кобылиц и одну молочную корову...

С приходом в юрту жены Даркембай отложил свою работу, крикнул бодрым голосом:

– Жаныл! В твой дом пришли гости! Да еще какие гости! Вот, Дарменжан мой и с ним Абиш – зашли проведать меня. Пойдите вместе с Рахимом к стаду, приведите скотину. Приготовьте казан-воду!

Тотчас из юрты появилась Жаныл, подошла к мужчинам и тепло поздоровалась с ними.

– Что же вы на голой земле сидите! – воскликнула она. – Сейчас я вам постелю, а вы вставайте!

Быстро вынеся из юрты войлочную подстилку-сырмак, расстелила ее и усадила гостей.



– А за мною прибежал Рахим. Я доила овец, он прибежал и кричит: «Апа, быстрее! Дармен-ага привел с собой гостя! Заканчивай доить, пойдём домой!»

Смущенный Рахим крутился сзади Жаныл, прячась за ее юбку, тыча кулачком ей в спину: мол, не рассказывай ничего! Стеснительный мальчик так и не показал своего лица, прячась за мать.

Гостеприимная семья собиралась принять гостей от всей души, щедро и радушно. Однако Абишу, хорошо знавшему о скромном достатке семьи, не захотелось вводить ее в такие большие расходы,

– Нет, Даке! Нет, женеше! О том, чтобы скотину забивать ради нас, и речи не может быть! Рахмет, не утруждайтесь! – убедительно заговорил Абиш. – Нам, пожалуй, уже скоро возвращаться. Разве что чаю успеем попить да накоротке перекусить. Е! Не отказался бы я и от горячего молока. Иногда для меня овечье молоко лучше, чем мясо! – сказал Абиш.

Его поддержал Дармен:

– Даке! Женеше! Абиш прав. Со дня своего приезда он все время был на жаназа вместе с отцом, и они даже не поговорили, как следует, между собой. Сегодня вроде поспокойней было с гостями, и Абиш смог уйти. Но его уже, наверное, ждет Абай-ага. Достаточно будет, женеше, если подадите свежий овечий творог и добавьте туда густой сметаны. Получится наша славная казахская еда «аклак». Наверное, в Петербурге Абишу не каждый день приходилось кушать это блюдо!

Охотно соглашаясь с Дарменом, Абиш сказал:

– Нет ничего вкуснее этой еды! Но в Петербурге не то что каждый день – в году ни разу не выходило попробовать ее! Со скулил я по такой еде! Женеше, пожалуй, и правда, сделайте для нас сейчас аклак! – И говорил он это непринужденно, по-свойски.

Вскоре, когда вечерняя мгла стала поглощать окружающее пространство степи, мужчины зашли в юрту. Там в очаге пы-



лал яркий кизячный огонь, освещая дом изнутри, высокое пламя взметывалось до предельной своей высоты и жадно лизало дно подвешенного казана. На торе были постелены войлочные ковры и стеганные одеяла-корпе.

Даркембай продолжил разговор, начатый еще вне юрты.

– Свет мой ясный, Абиш! Люди этого аула снова оказались поставленными на колени. Разорили нас вконец, – настолько измучили за последние два-три года, что народу уже не подняться, – говорил Даркембай, сидя на краю устроенной на полу семейной постели.

Абиш сидел перед ним на сложенном одеяле-корпе. Внимательно слушая старика, Абиш неотрывно смотрел на него и пока что хранил молчание.

Вскоре он спросил о том, чем раньше мало интересовался:

– Даке, хочу спросить у вас вот о чем... Жатаки этого аула и все бедные жигитеки – как они повели себя в то время, когда происходил набег? Что говорили разоренные бедняки, когда была разгромлена стоянка Такежана и угнаны табуны?

В ответ Даркембай сначала ясными глазами, спокойно посмотрел на Абиша, после чего ответил:

– Если я верно угадал твои мысли, тебе хотелось бы спросить у меня: «Суть человеческая обнажается во время больших испытаний. Ты заметил, мол, как все это было?» – Старик поворошил палкой в огне очага под казаном, затем продолжил: – Хорошо, скажу тебе то, что я заметил... Сразу скажу, что я очень доволен тем, как вели себя жатаки. Затем скажу, что и жигитеки, та небольшая часть, что пошла за Базаралы, показали себя с хорошей стороны, совершили немало смелых поступков. Они шли в набег с кличем мести от всех обездоленных, оскорбленных, униженных. И позднее я понял, что в набег людей увлек не только Базаралы. Их толкнул на выступление собственный гнев, перехлестнувший через край. Страшен гнев кротких, мирных людей. Они схватились за соилы! – При этих словах глаза старого жатака воинственно сверкнули. – Таких извергов, как



Такежан, в нашей степи не один, не два. И вот прошел по степи клич разгневанной голытьбы: «Устроим невиданный погром, беспощадный, как злой зимний буран во время джута!» Я тогда не мог узнать многих из своих людей! Я еле удерживал их от безрассудства. Повсюду злой крик, угрозы, смута – в степи, в городе. Базаралы поехал туда один, решив ответить своей головой, чтобы месть властей не коснулась народа. Никому не позволил держать ответ вместе с ним, сражался в одиночку, ходил по лезвию меча. Он шел по адскому мосту, который мог рухнуть в любой миг... Понимая всю опасность, мы с Абылгазы еле сдерживали разгневанный народ. А ведь были отчаянные головы, которые заявляли: «Все предадим огню, и сами сгорим в нем! Лучше этим кончить, чем мириться с проклятой нищетой!» Среди жатаков с такими настроениями ходили даже дети, даже молодые невестки!

Абиш с большим вниманием выслушал старика. В его словах выражалось мнение неимущего люда, единого с Базаралы. Тогда Абиш рассказал старому жатаку, что в России крестьяне решительно вышли на противостояние с угнетателями, что в шестидесяти губерниях произошло свыше трехсот крестьянских восстаний. Даркембай при этих словах усмехнулся, одобрительно покачал головой.

– У нас о прошлогоднем событии говорят: «За сто лет в степи не было такого большого выступления бедняков!» И оно произошло в самом темном, глухом углу Сары-Арки! А что другое, подобное нам известно? Ничего. Мы считаем, что это событие в ряду самых крупных в степи. Ты же говоришь, айналайын, что шестьдесят *купирне*¹ восстали в России! А что такое одна *купирне*? Это же целое ханство! И все они с соилами и шокпарами наперевес триста раз выходили в набег, как наш Базаралы с джигитами! Это же так здорово! Соседняя Русь сильная страна, есть чему поучиться нам. Недаром наш Абай говорит: «искусство надо перенимать у русских», «русские научат нас доби-

¹ *Купирне* – искажен. губерния.



ваться успеха», «будущие поколения наши поймут это». Видно, Абай наверняка знает, о чем говорит, – завершил Даркембай свои слова.

Абиш спросил, как поживает Базаралы. В ответ Даркембай сначала рассказал о жигитеках в Шуйгинсу, оставшихся без скота и перешедших в состояние жатаков-земледельцев.

– Хотя они полностью расплатились по суду, но бедняков толстосумы не оставляют без своего подлого внимания, не прекращают злобствовать: «Е! Почему не пошли по миру с протянутыми руками?», «Вам в самую пору – прийти к нашим порогам и валяться в пыли, прося у нас милостыню!», «Не пора ли вам, жалкие изгои, разбрестись по белу свету и сдохнуть где-нибудь на чужбине?» Особенно изгаляются над бедняками Майбасар, Такежан, Азимбай и все их приспешники. Они и всемогущего Кудая не боятся, глумясь над людьми, и только на Абая озираются с опаской, открыто при нем не смеют издеваться над бедняками. Вот, ко мне Азимбай уже трижды подступал с угрозами: «Ты участвовал в нападении на мой кос! Не прошу тебе – приду и сожгу твой очаг со всеми твоими домочадцами!» До сих пор Азимбай нагло занимает наши пастбища, травит своими лошадьми наши посевы, косит траву на наших лугах. Хочет нас поставить на колени!

Вернувшись к вопросу о Базаралы, старик сказал:

– Ты же знаешь нашего бесноватого, по имени Оразбай? Ему до гроба не забыть унижения, которое нанес Оспан в прошлом году. Поговаривают, что он уже понял, кто ему самый главный враг среди Кунанбаевых, и теперь собирает лихих людей, чтобы отомстить ему... Рыщет по всему Чингизу, и по Бугылы, и по Шагану с той стороны – собирает в отряд крепких, готовых на все джигитов, которые станут боевыми шокпарами в его руках. Неустанно ищет таких в Коныркокше, и среди далеких, многочисленных Мамаев, и в среде мырзы Жокена. Ищет и среди своих, жигитеков, посылал своего человека и к Базаралы, хотел склонить его на свою сторону... Недавно ко мне приезжал



Абылгазы, ему Базаралы и рассказал о готовящихся вражеских замыслах... – сообщив это, старик понюхал насвай.

К этому времени Жаныл накрыла дастархан. Дармену хотелось, чтобы Абиш узнал от аксакала чрезвычайно важные сведения, касающиеся непосредственно Абая. И он попросил Даркембая продолжить разговор.

– Базеке близкий человек к Даркембаю. Если Базаралы общил ему о чем-то, что касается Абая, то наверняка знал, что Даке сумеет передать это самому Абаю, – сказал Дармен, обратившись к Абдрахману.

Даркембай был доволен сообразительностью Дармена.

– Ты верно подметил. В своем ответе Оразбаю наш Базеке рассказал его атшабару такую притчу. «Как-то вышли вместе в путь лис и обезьяна. Лис и говорит: «Давай держаться вместе, и какие бы испытания ни выпали на пути, будем преодолевать их вместе. И едой будем делиться поровну». Добро, согласилась обезьяна. Вот идут они дальше и видят: стоит настороженный капкан, приманка – кусок мяса. Лис говорит обезьяне: «Ты же у нас гостя! Бери первой мясо и съешь его!» Обезьяна не знала ничего о капканах, тронула лапой мясо, капкан захлопнулся. Лис хватает мясо и съедает. На вопли обезьяны: «Что же со мной теперь будет, с несчастной!» – лис преспокойно отвечает: «А будет то, что сказано в одном мудром назидании: «Счастье бывает двоякое. Одно сваливается на голову, другое падает на ногу. Вот, второе счастье и привалило к тебе, обезьяна! А еще говорят: «железное счастье, от которого даже пинками не отобьешься». Вот тебе также и железное счастье!» Похоже, Оразбай думает обхитрить жигитеков, как обезьяну в этой притче. Напрасно! Хотя железного счастья от таких, как Оразбай, досталось жигитекам немало! Все наши бедняки, – вот, и я сам, лежу, прикованный к постели, – все мы с этим счастьем. Но в меня не вселился дьявол, как в него, и я нахожусь в здравом уме. Передай Оразбаю, что мы с Абаем не враги. Немало испытали мы вместе с ним. Но никогда – ни делом, ни помыслом – я не



вредил ему. И впредь все останется так же. Пусть все сородичи, желающие ему зла, держатся от меня подальше!»

Разговаривая, Даркембай не забывал о своих обязанностях хозяина, придвигал к гостям аклак в чаше, подавал чашки с чаем. Когда приступили к чаепитию, старик завершил начатый им разговор:

– Вот что еще рассказал Абылгазы. Посылая ответ Оразбаю, Базаралы также велел передать ему, что жигитеки все равно не будут враждовать с Абаем, останутся его друзьями. Бейсенби и Абдильда, стоящие во главе рода, могут не поддержать Базаралы, но он хорошо знает, что остальные сыновья рода Жигитек не поддадутся их наговорам на Абая и сомкнутся вокруг него, как единый народ, вместе с другими людьми Тобыкты. «Я в это верю, пока жив, – и это мое завещание, если умру. Всю жизнь я видел, как вожди Иргизбая и Жигитека враждуют между собой и сеют вражду между нашими родами. А сейчас Оразбай и Жиренше видят опорю в Чингизском крае род Жигитек, и от своего имени призывают людей к вражде с Абаем. Но сегодняшний Жигитек – это не прежний воинственный Жигитек, и нынешние жигитеки – народ мирный, забывший о своих набегах. Они надеются только на свой труд. И эти люди – не враги Абаю. И они знают, что жатак Даркембай – его истинный друг...» Так говорил Базаралы, и эти слова – как наказ и для нас с Абаем.

Межродовые споры, раздоры, вражда – дела, известные в степи. Проникая зорким взором во все это, Даркембай, «всевидящее око», разъяснял Абишу сегодняшнюю злобу дня, зная, что сын передаст его слова отцу.

Абиш хорошо уяснил это. Когда, в час отхода ко сну, он вместе с Дарменом вышел из аула в лунную степь, и оба неспешно направились в обратный путь, то разговор о тех делах, которые затронул старый жатак, продолжался.

Вдали замерцали многочисленные огни вечернего аула. Ночь была беззвучна, огромна, безветренна. Но от росистого травяного покрова веяло над землю легкой прохладой. Над го-



ловой, почти в самом зените неба, светила круглая луна. Слабо мерцавшие сквозь ее яркое сияние звезды в небе рассыпались, как мелкие искорки. Вселенная распахнула свои беспредельные волшебные просторы. Словно, открываясь маленькому человеку, ночь делилась своими сокровенными чувствами и мыслями. Но они были столь высоки и величественны, что подавляли собой крошечную душу человека, и он чувствовал себя перед великой Вселенной почти невидимой пылинкой.

Сведущий в астрономии, Абиш знал, что каждая искорка-звезда может оказаться на самом деле таким же Солнцем, как и наше, и вокруг него могут вращаться такие же планеты, как и в нашей Солнечной системе. А ведь этих звездочек – миллиарды в пространствах мироздания! И что такое наша Земля среди этих неисчислимых миров! Ничтожная точка. И сколько же таких точек во вселенной? Какие люди населяют их? Каковы тамошние тобыктинцы?

С грустной, ироничной улыбкой на лице шел Абиш по осенней луною степи. Он прислушался к звукам ее ночной жизни, к далекому гвалту аульных псов, с разных сторон азартно перелаивающихся друг с другом. Порой пролетали в тишине человеческие голоса, – гортанный короткий окрик сторожа, охраняющего стадо, звонкие, высокие голоса перекликающихся молодых женщин. Редкая ночь Арки бывает столь дивной, синевато-жемчужной, полупрозрачной, как эта, – обычно ночь над степью темна и непроглядна.

Отсвечивая под луной серебристо-палевым сиянием, просторная равнина, покрытая ковылем и типчаком, предстала молодым людям, вольно шагавшим по ней, сквозь завесу легкой дымки. В полынном легком настое ночного воздуха дыхание порой улавливало освежающий, пряный аромат невидимой, стелющейся по земле травы-скрытницы.

Встревоженный долгим, непростым разговором с Даркембаем, Абиш не торопился возвратиться в аул. Он шел, оглядывая степные подлунные дали, и тихие невольные вздохи исходили порой из его груди. В минуты тоски по родине, на



чужбине, вспоминая весенний джайлау, лунные ночи в степи, подобные этой, он думал, что может больше не увидеть все то, что так сильно любил в этой жизни. Или если вновь увидит, то его тоскующую душу больше не взволнует родная природа. Однако все оказалось не так. И сейчас, если под ним был бы резвый конь, он подстегнул бы его камчой и поскакал во весь опор в степь, – погнался бы за таинственными туманами ночи, в душе смутно надеясь на какую-то чудесную встречу с кем-то, с кем-то...

Абиш спросил у молодого друга об одном обстоятельстве, давно беспокоившем его.

– Оу, Дармен, скажи мне, как Магрипа? Почему ты до сих пор ничего не рассказываешь о ней?

С ответом Дармен не задержался.

– Абиш, у Магрипы ничего не изменилось! Все по-прежнему. Я ничего не говорил, полагая, что ты все знаешь из письма Магаша.

– Но письмо от Магаша я получил в начале зимы. С тех пор прошло месяцев семь-восемь!

Дармен тотчас понял, чего опасается Абиш.

– Я думаю, не месяцы – годы могут пройти, а Магрипа будет все такая же! Замечу тебе, ага, – Магрипа верна и предана тебе одному! А всей ее надеждой и утешением является твое единственное слово, о котором в прошлом году ты поведал мне. Абиш, да она в тебе души не чает!

Выслушав Дармена, взгрустнувший Абиш тихо вздохнул.

– Но я, Дарменжан, пока не принял никакого решения. Я чувствую себя перелетной птицей, улетевшей в дальние края. Впереди еще один год учебы. Кто его знает, как повернет судьба... Заставлять девушку ждать, не давая ей уверенности, совершенно несправедливо с моей стороны... я это понимаю...

– Это правда! Родители ее, все близкие родственники озабочены тем, что Магрипа оказалась связанной без веревки. Но наши аулы не собираются упускать ее из рук. Не получилось



сватовства в прошлом году, получится в этом... Твои родители могли бы, конечно, дать благословение и в будущем году, как полагаешь ты. Но если этим летом не обменяешься с Магиш словом верности, то обречешь эту чудную девушку еще на большие мучения. Я давно хотел сказать тебе это – и теперь говорю! Абиш, подумай о Магрипе!

На все это Абишу нечем было возразить, он лишь молча кивнул головой. Но, приложив руку к груди, он только тяжело вздохнул. И ничего не сказал в ответ Дармену. Даже в том случае, если бы он был здоров, на вопрос о женитьбе он ничего не мог бы ответить. Ибо то, что он узнал в разговоре с Даркембаем, – о создавшемся тяжком положении народа, о душевном разладе постаревшего отца, о враждебном отношении к нему сильных родичей, – все это не позволяло Абишу заявить другу о своем немедленном согласии на женитьбу. Но какой-то ответ надо было ему дать.

Абиш взял под руку своего младшего друга.

– Апырай, Дармен, почему зло существует безнаказанно? Почему так несчастна и бесправна наша необъятная степь? Почему нашлось столько людей, вставших на сторону злого Оразбая? – спрашивал Абиш.

– Абиш, то, что ты услышал от Даке, это всего лишь часть целого. Всего, что происходит у нас, ты еще не знаешь.

Отбросив в сторону общие рассуждения, Абиш перешел к злобе дня.

– Кроме Оразбая, на Чингизе кто враждебно настроен против отца?

– Дальние и ближние.

– Кто дальний? Кто ближний?

– К примеру, дальний, – это Жиренше. Ближний – не кто иной, как твой дядя Такежан. Крыши его аула видны отсюда.

– А Такежан отчего не уймется?

– Его вражда к Абаю – дело особенное. И действует он скрытно. В разных местах расставляет свои силки, выжидает, устраивает засады... Усердствует не меньше Оразбая и Жирен-



ше. Слышал я, что твой дядя Такежан замышляет что-то очень подлое и коварное... Мне трудно говорить об этом, потому что я ничего доказать не могу.

– О чем ты, Дармен?

– Словом, в этом траурном году, до годового аса по Оспану, было бы Такежану позорно выставлять на люди свою враждебность к Абаю. Но, с другой стороны, Оразбай, Жиренше торопят его, подталкивают в спину: «Действуй скорее. Цели наши одинаковы. Если немедленно не присоединишься к нам, то считай, – ты не получил свое и пролетел мимо». Чтобы угодить им, Такежан стал искать повод, чтобы окончательно порвать с Абаем. И сейчас, говорят, он уже нашел такой повод.

– Что за повод? Какой? Поясни.

– Он касается того, чтобы выставить все достояние покойного Оспана на дележ.

– Что?! Какой дележ? Ведь и года не прошло после смерти Оспана-ага! Перед глазами у всех стоит еще его незабвенный образ!

– В том-то и дело. Ведь говорится: «Коварный друг, который хочет свалить товарища с коня, садится позади него». Словом, Такежан хочет возложить на Абая какую-то тяжелую вину, а потом, разорвав с ним, открыто перейти на сторону Оразбая, Жиренше. Возможно, все прорвется на днях – словом или делом. Ты сам увидишь все. – Сказав это, Дармен окончательно замолчал.

Да и Абиш ни до чего не стал докапываться. Он решил, что об остальном подробно расспросит у брата Магавьи и у отца.

2

Пора осенняя. С джайлау из-за Чингиза возвращаются на Ералы аулы, занимают привычные для них стоянки, просторные осенние пастбища.

В траурный дом Оспана между тем продолжали приезжать люди из прикочевавших на осенние пастбища аулов – близко



расположенных к аулу Кунанбая и дальних. Всем хотелось выразить скорбь по кончине Оспана, помолиться в траурной юрте за упокой его души. И с прибытия первых кочевий на осенние пастбища дней десять в траурном ауле не было покоя от многочисленных посетителей.

Сейчас аул Оспана расположился в урочище Ойкудук, на своем обычном стойбище, и вокруг него находились аулы Такежана, Абая, Акберды, Майбасара. Табуны холостых кобылиц паслись отдельно от остальных косяков, и вместе с ними разошлись по равнинным пастбищам очаги Азимбая, Ахметжана – сына Майбасара, Мусатая – сына Акберды, а также и других байских сыновей, – отдельным очагом от родительских. Гоня табуны многочисленных лошадей, большей частью молодняка, эти байские отпрыски откочевали на обильные водой пастбища Малого Каскабулака. Их стоянки располагались недалеко от Ойкудука, в лоцинных складках хребтов Сарадыр, Шолпан.

И однажды в тех местах произошло неожиданное событие. Случилось это в поселках земледельцев, что находились за горами Шолпан, Сарадыр.

Еще за день до этого ничто не предвещало надвигающейся бузы. В бедняцком ауле, наоборот, царило радостное настроение. В осуществление жатакской надежды созрел хлеб на посеянных участках. Благодаря обильным дождям, излившимся летом, на богарных полях поднялся небывалый урожай. Особенно густым и тучным уродился хлеб у подножий гор Шолпан, Каскабулак и вокруг старинного колодца Тайлакпай.

Здесь было распахано около шестидесяти небольших делянок, принадлежавших двадцати очагам. В этом году засеяли поля Базаралы, Абылгазы и другие жигитеки, подавшиеся в жатаки. Было немало крохотных лоскутов этих новоявленных жатаков – из тех бедных кочевников, которых разорил судебный штраф за угнанные табуны Такежана.

Поля созрели, налились яркой желтизной, пора жатвы уже была близка. Но опытный жатак Даркембай сдерживал нетер-



пение голодных земледельцев: «Подождите еще дней десять, пусть колос пожелтеет, как золото».

Но изголодавшимся беднякам не терпелось попробовать зерно нового урожая. В большинстве семей имелись только истощенные коровы без молока и яловые овечки, переставшие доиться. Не в силах больше ждать полной зрелости хлебов, отощавшие семьи срывали спелые колосья, собирали их в полы одежды и дома, растирая их в ладонях, получали хлебные зерна. Затем прожаривали их всухую, без масла, и толкли в ступах. Полученным толокном кормили старух и стариков. Детям давали прожаренную пшеницу.

В эти дни в каждом очаге горел огонь, в раскаленных казанах с треском жарилась пшеница. С грохотом в ступах толкли прокаленное зерно. Женщины, подростки шли на поля, брали с собой и маленьких детей – все рвали колосья и носили домой пропитания ради.

На своем поле трудились маленькие внучата старой Ийс, Асан и Усен. Им бабушка разрешила собирать зрелые колосья с края их небольшого надела. В этом году Асану исполнилось семь лет, Усену – пять. Лица, босые ноги, ручки детей были коричневыми от загара. На Асане были широкие штаны-дамбалы и рубашонка, Усен же был в одной рубашонке.

Перед тем, как зайти в поле, Асан озабоченно наставлял братишку:

– Будем брать только спелые колосья. Но ты их не трогай! Я знаю, я сам буду их собирать, а ты подставляй рубашку.

– А я что, не буду собирать? Аже и мне велела зерно собирать.

– Нет, ты не понимаешь в зрелых колосьях! Ты будешь рвать зеленые, а потом их нельзя будет кушать! – волновался Асан.

– А ты покажи мне, и я буду рвать спелые! – не сдавался Усен.

– Говорю же тебе – нет! А то в следующий раз не возьму тебя с собой! Ты же еще маленький! Вот, как я говорю, так и делай,



слушайся меня, Усентай, айналайын! Держи свою рубашку, а я буду класть туда зерна! Хорошо?

– Ладно, хорошо!

Братья, наконец, договорились и вместе осторожно вошли в высокую пшеницу. Асан, который только вчера еще собирал вместе с бабушкой колосья, сегодня уверенно справлялся с работой. Он сорвал спелый колос и передал его братику. Дети без умолку разговаривали.

– Не будем топтать пшеницу! Бабушка сказала, если испортим стебли, будет плохо. Ни одного стебелька нельзя ломать! Ты иди вслед за мной по моим следам, Усентай! Если хоть один стебелек сломаем, бабушка больше не разрешит нам ходить на поле!

– Е, бабушка дома еще пожарит пшеницы! Как вчера. – Усен хотел потихоньку сорвать один колосок, но Асан, заметив это, грозно посмотрел на него: «не трогай!», – и Усен быстро отдернул руку, затем снова заговорил, как ни в чем не бывало. – Бабушке мы растолчем зерно, как вчера, а она заправит его молоком! Как вкусно! Разве не вкусно было, Асанжан?

– Вкусно, – сдержанно буркнул Асан, вспоминая вчерашний талкан, полученный от бабушки на ужин. – Через десять дней начнем жатву, так сказал сам Даркембай-ага, – с важным видом сообщил Асан то, что услышал от старика при его разговоре с бабушкой Ийс.

– Тогда к нам опять приедет Дармен-ага! – воскликнул малыш Усен.

– Обязательно приедет! Сказал бабушке, что приедет и сам пожнет и сам свяжет в снопы весь урожай!

Дети говорили о Дармене с такой теплотой, словно это был их родной отец. После той беды в ауле Такежана, когда погиб отец этих детишек, Дармен, приехавший от Абая хоронить Ису, привык к этой семье и души не чаял в его мальчишках. У самого Дармена не было еще ни семьи, ни детей, но к двум сироткам он привязался, как к родным детям.



«Они ведь такие несчастные! А я вот, здоровый джигит, руки-ноги на месте, – почему мне не стать опорой для них?» – решил он еще в прошлом году, после похорон Исы.

И вот недавно, во время стычки из-за черных поборов, он уже за этих детишек и кровь пролил – стеганули по лицу нагайкой, остался шрам на щеке. Зато корова возвращена в очаг и кормит детей!

Тогда же Дармен увез из аула Такежана старуху Ийс с детьми и поселил в ауле жатаков, рядом с Даркембаем. Выделив из того, что он заработал, Дармен в прошлую зиму передал в ее семью для согыма, зимних припасов мяса, годовалого теленка и трех овец. Съездив на заработки в Белагаш, где прошло его сиротское детство, привез из долинного края пшеницы. Нанявшись, как в юные годы, к русским крестьянам косить их урожай, он и заработал это зерно. Значительную часть заработанного передал Даркембаю и старой Ийс. На всю зиму обеспечил сирот необходимым пропитанием. К тому же, оставив кое-что на семена, он весной засеял для них участок пшеницей и, частично, – просом.

Собирая колосья на пшеничном поле, мальчишки вдруг заговорили об этом:

– Хорошее коже готовила бабушка из проса! – вспомнил Асан.

– У нас будет коже из проса! – радостно воскликнул Усен. – На молоке! Вкусно!

Дети разговаривали о еде, как обычно говорят люди, часто переносившие тяготы голода.

На соседних делянках собирали спелые колосья такие же, как они, круглоголовые стриженные мальчишки и девочки с короткими косичками. Среди них были и дети новоявленных земледельцев – Канбака, Токсана, Жумыра, – жигитеков, которых в прошлом году разорили судебными штрафами Азимбай, Манике и другие баи.

На поля вышли и дети из очагов аула Базаралы. Был и Рахим, сынок Даркембая, быстро набивший хлебом свою торбоч-



ку. «Натолку зерна для отца. Накормлю его талканом», – говорил он другим мальчишкам, которые тоже несли домой колосья в подолах рубашек, в торбах или завернутыми в снятые чапаны. Их лица светились довольными улыбками. Они не знали другого счастья, как быть сытыми и благополучными – именно сегодня. И сейчас они были вполне счастливы.

Радуюсь тому, что хлеба на родительских полях уродились, дети шли мимо крохотных наделов, со счастливыми лицами оглядываясь на них, звонкими голосами переговариваясь между собою.

– Скоро начнется жатва! Пшеницы будет много!

– Какое же вкусное коже из пшеницы!

– А у нас будет коже из проса! – лепетал Усен. – Тоже вкусное!

Просо было засеяно только на участке старухи Ийс, дети знали это.

– Пшеница лучше проса! – ревниво провозгласил кто-то из них. – На что оно годится, просо! Коже из пшеницы вкуснее.

Это крикнул маленький Айтыш, сынок Токсана, теснясь возле Асена.

– Из пшеницы получается мука, а из муки пекут бятер¹ – улыбаясь, с важным видом сообщила маленькая девчушка Урумжан.

Она не сказала, что еще из пшеничной муки жарят баурсаки и пекут на масле шелпеки², потому что в ее родительском очаге масло давно не употреблялось ввиду его отсутствия. Смышленная девочка не хотела перед другими раскрываться в этом, хотя в их юртах вряд ли обстояло лучше.

– Е, а моя бабушка из проса варит кашу на молоке! Знаете, какая вкусная каша! – не сдавался Усен, отстаивая свое просо, которое было только у них.

Развеселившиеся дети запели, первым начал Рахим, вслед за ним подхватили другие.

¹ *Бятер* – лепешка без закваски.

² *Шелпек* – испеченная на жире тонкая лепешка.



Дети пели шутовскую песню взрослых, которая казалась им забавной. Распевая ее во весь голос, они то и дело заливались смехом.

*Эй ты, черноногий сынок, не спи!
Нашу пшеницу клюют воробьи!..*

Рыжеволосая девчонка Жамал, несущая полный подол колосьев, так и норовила задеть кого-нибудь своими насмешками. Тараторила: «Вот он, черноногий! И этот черноногий! А ты совсем черноногий!» – и наезжала плечом на маленького Усена.

Малыш Усен, рассердившись, крикнул:

– Ты сама черноногая!

Дети засмеялись, а Жамал выбежала вперед, обернулась и, пятясь по дороге задом наперед, подняв выше подол рубахи, стала показывать всем свои тоненькие ровные ноги. Они оказались намного светлее, чем у остальных.

– Ну и у кого ноги черней? – приставала она к Усену.

Пристыженный, Усен, глядя на свои дочерна загорелые ноги, шел молча, надувшись от обиды. Лишь коротко проворчал в сторону Жамал:

– Омай, какая озорная девчонка!

Так, с веселыми шутками, с песнями возвращались с полей дети жатаков. Приблизившись к своему аулу, состоявшему из множества убогих юрт, детвора была поражена необычайной картиной.

Перед аулом, возле колодца Тайлакпая, стоял длинный караван крытых повозок. Первым заметив их, семилетний Рахимтай воскликнул:

– Е! Это не казахи! Ойбай, это же русские, я знаю! Вон, ходят их беловолосые «матушке»! Я знаю от дедушки! Это они!

Остальные дети тоже увидели, остановились, настороженно взирая на чужой караван. Повозки стояли, задрав оглобли. Кони выпряжены. На повозках устроены кибитки. Всюду ходят



длинноволосые, длиннобородые мужики. Женщины с непокрытыми головами, лишь на плечи некоторых накинуты были куцые платочки. Не похожие на казахских женщин, одетые по-другому. Возле них бегают дети, такие же светловолосые мальчишки и девчонки.

Маленькие жатаки оробели и, боязливо оглядываясь, робко переступая босыми ногами, неуверенно побрели мимо каравана к своему аулу. Самые младшие, испугавшись, стали всхлипывать и, не смея повернуться к пришельцам спиной, ступали задом наперед. Рахимтай, самый смелый из ребятишек, начал их стыдить:

– Чего боитесь? Это же люди, орыс называются! Смотрите – совсем такие, как мы... Дармен-ага ездил к ним, зерно от них привозил. У них есть хлеб, могут нас угостить... А если будете их бояться, они обидятся и рассердятся!

Успокаивая малышей, Рахимтай пошел впереди них.

Длинный караван был составлен из крестьянских телег. Просторная стоянка у колодца Тайлакпая была известна зелеными лугами, множеством источников и колодцев с самой чистой водой, которой с избытком хватало для всего огромного аула некоевых жатаков.

Из шестидесяти очагов поселка вблизи того места урочища, где остановился крестьянский обоз, расположилось около половины домов, – в трех слободках, очагов по двенадцать-пятнадцать в каждой. И самый большой колодец с питьевой водой находился в середине между этими слободками. У этого колодца как раз и разбил лагерь русский обоз. Коней выпрягли и пустили попасться. В разных местах задымили костры, на которых готовилась пища. По летнему теплу, многие из мужиков, баб и детей ходили по лагерю босыми, давая ногам подышать, и простоволосыми.

Маленькие же степняки, увидев взрослых босых джигитов и женщин с непокрытыми головами, были бесконечно удивлены.



Стоянка у колодца Тайлакпая находилась рядом со столбовой дорогой, поэтому остановка русского обоза переселенцев на этом месте не была каким-то особенным событием. Но дети впервые видели русских людей, и их так было много, – это произвело на казашат огромное впечатление.

Юрта старухи Ийс находилась как раз по ту сторону обозной линии, и маленькие Асан и Усен, вместе с Рахимом и смешливой девчонкой Жамал, вчетвером направились через обозный лагерь. Вдруг из-под одной повозки выглянул лохматый, бородатый мужик, прятавшийся там, в тени, и, увидев детей, несущих пшеничные колосья, весьма заинтересовался этим и стал подзывать их:

– Эй, ребятки, постойте, подите сюда! Никак, пшеничка у вас? Знать, она растет здесь? Ну-ка, ребятки, покажите пшеничку-то! – кликнул он по-русски.

Маленькие степняки его не поняли. Тогда мужик, поднявшись, направился к ним, оцепеневшим со страху. С взлохмаченной, нечесаной гривой и бородою, огромного роста, с большой головой, русский человек показался детям страшным и свирепым.

Асан вскрикнул: «Бежим!» – но Усен и девчонка Жамал, остолбенев со страху, не в силах были сдвинуться с места. «Он хочет поймать нас!» – захныкала девчонка, и малыш Усен захныкал, глядя на приближавшегося косматого великана. Понимая, что им не убежать от него, малыши стояли на месте и плакали. Но тут он увидел, что дети испугались его, – и лицо его раздвинулось в широкой, доброй улыбке.

– Не бойтесь, касатики! Я ведь что? Пшеничку только хочу посмотреть. – И мужик показал рукой на торбочку Рахимтая, набитую колосьями. И только тут, немного придя в себя, смелый Рахим выпрямился и, тоже улыбнувшись робко, сказал по-казахски:

– Это наша пшеница.

Тогда русский мужик, подав знак рукой, мол, «постойте тут», быстро сбежал к телеге и вернулся обратно к детям, неся полную



шапку сухарей. Это были сухари из белого хлеба. Увидев это, казашата несколько успокоились и стали с большим доверием смотреть на косматого мужика и прислушиваться к нему. Видя, что его все равно не понимают, русский мужик осторожно взял с полы рубашонки Усена горсть колосьев, потом насыпал туда сухарей. Он раздал поровну сухари и остальным трем – Асану, Рахиму, Жамал. Это совсем успокоило и обрадовало детей, они стали весело улыбаться.

– Вам сухарики, а я хочу посмотреть, какая растет пшеница в этих краях, – бормотал себе под нос мужик и большими, сильными руками стал растирать пшеничный колос.

От большой арбы с кибиткой подошли две пожилые женщины, без головных платков, и стали заговаривать с детьми на ломанном казахском:

– Сють, сють бар? (Молоко есть?)

В их руках появилось по половине большого калача. Быстро сообразив, что предлагается обмен калачей на молоко, Рахимтай и Асан закивали головами и в один голос ответили:

– Сут бар! Сут бар!

– У бабушки есть молоко!

– Айда, сут бар, вон наш аул...

После переговоров дети повели русских женге к аулу. Глядя на них, догадавшись, что происходит, со всех концов обоза стали подбегать и другие русские женге. Вскоре, возглавив целую группу русских женщин, дети повели их за собой к своему аулу. Вслед за ними зашагал лохматый мужик, к нему присоединилось еще несколько пожилых крестьян из обоза. Все с усами, и бородами, закрывающими рты, они продолжали казаться детишкам страшноватыми, диковинными.

Последовавшие вслед за детьми и женщинами мужики были вожаками в обозе переселенцев. Старшим из них был косматый, громадный Афанасьич, который первый заговорил с детьми. С ним вместе пошли с богатырской грудью, широкоплечий Федор и сухощавый, хмуроватый на вид, с глубоко посаженными глазами, седобородый старик Сергей.



Приведя целую толпу чуждедальних путников в аул, дети разбежались по домам, взхлеб рассказывая взрослым:

- Просят молока... Взамен обещают дать хлеба.
- Сукар дадим, говорят. Бабушка, дай им молока!

В ауле жилищ много. Кое-где хозяйки выносили молоко, потом смешивались в толпе с русскими простоволосыми женщинами. Среди русских особенно выделялась баба средних лет, крупнотелая, со множеством мелких морщин на лице, статная, с властным видом, большими руками и огромной грудью. По сравнению с другими она выглядела более загорелой, смуглой. Все обращались к ней почтительно, называли ее «матушка Дарья». Именно эта Дарья повела с казашками более непринужденный, чем остальные, разговор и первую стала обменивать хлеб, сухари на айран и свежее молоко.

– Меники-сеники, твое-мое! – уверенно заговорила она, считая, что объяснила по-казахски все очень понятно и хорошо.

Старуха Ийс и жена Базаралы – Одек, и жена Даркембая Жаныл, глядя на Дарью, добродушно улыбались, – и действительно ее отлично понимали.

Старуха Ийс сказала по-казахски:

- Берите молоко даром. Вы ведь гости!

Некоторые бабы стали вытаскивать деньги и совать в руки хозяйкам аула. Однако Жаныл, воркующе засмеявшись, стала отмахиваться и отрицательно покачала головой.

– Не нужно денег... ойбай, зачем деньги! Разве мы торговцы, чтобы за молоко деньги брать! – говорила Жаныл и снова махала руками, показывая, что гости все могут забирать даром.

Поясняя делом, Жаныл стала наливать в кувшин русской женщины молока из ведерка с носиком, одновременно отталкивая ее руку, протягивающую деньги.

– Жок! Жок! – говорила она, продолжая качать головой. – Нет! Нет!

– Ты погляди! А сами-то бедные!.. И денег не берут. Это у них, должно быть, так заведено. Нас считают гостями. Кыргызы,



слышь, любят гостей. Добром встречают. Так ли, нет, моя милая? – обратилась Дарья, ласково глядя на старую Ийс.

Жаныл, Одек тоже налили русским молока, но ни хлеба, ни денег не взяли за это.

Бородатые мужики, одобрительно покачивая головами, соглашались со словами Дарьи. Однако у них были свои серьезные вопросы, которые надо было задать. Афанасьич сделал попытку заговорить по-казахски:

– Аул казах джигит есть?

– Что говорит этот человек? Ты поняла что-нибудь, Одек-апа? – спросила Жаныл у жены Базаралы и выжидательно замерла, в некой растерянности.

– Кажется, он спрашивает, где наши мужчины, – предположила Одек.

Афанасьич утвердительно закивал головой. Этот человек знал жизнь в казахской среде. Год назад побывал ходоком на Жетысу, прожил там некоторое время, затем вернулся домой, – и сейчас вел переселенцев на заранее им обследованные места. Афанасьич научился понимать и кое-как изъясняться по-казахски.

Женщины, теперь сообразившие, чего хотят чужаки, сказали Афанасьичу, что в юрте лежит больной Базаралы, и он говорит по-русски. Вспомнили, что где-то в ауле должны быть Даркембай и Абылгазы. Назвав мужчин аула по именам, осмелевшая Одек, махнув рукой, позвала за собою русских людей:

– Айда за мной! Джигит там!

Когда трое переселенцев ушли вслед за Одек к юрте Базаралы, то пожилые женщины в белых жаулыках, молодые келин в платках и дети – единой толпой с пришелицами пошли по аулу. На ходу казашки и русские разглядывали друг друга, и каждая сторона на своем языке выражала вслух свои впечатления.

– Ойбай, у них даже старые байбише ходят с непокрытой головой! Как же так? – удивлялись казашки.



Проходя мимо юрт, мимоходом заглядывая в распахнутые двери, русские женщины также выражали свое удивление увиденным.

– Господи, бедность-то какая! – говорила пожилая Дарья, опытным взглядом быстро оценивая крестьянское благосостояние очагов. – Юрточки у них рваные, латанные... Внутри один хлам, обстановки никакой. Одежонки сносной на детишках нет...

Видя возле юрт сидящих у наружных очагов старух или молодых келин, прожаривающих в широких казанах зерно, русские бабы жалостливо качали головами и говорили:

– Неужто еда у них – одна пшеница?

– И масла, видать, ни капли нет! Готовят постно, всухую!

– Скоромного, видать, ничего не едят, кроме молока!

– Видно же – впроголодь живут. Бедуют! А денег не берут!

– Такая вот кыргызская деревня, значит!

– И здесь нищета, почище чем у нас под Пензой! Будь оно все проклято! – вдруг резким, жестким голосом прокляла кого-то Фекла, баба такая же крупная и могучая, как Дарья, но моложе нее.

– Нищета, бабы, везде одинакова. Что у них, что у нас.

Толпа женщин и детей подошла к юрте Базаралы. Здесь собрались и русские мужики, и жатаки из аула – Даркембай, Канбак, Токсан, Жумыр. Усадив гостей, аульчане окружили их кольцом и вели с ними разговор с помощью Базаралы.

Он все еще был прикован к постели болезнью. Болел Базаралы, как сам себе определил, ревматизмом, который казахи называли «куян». Все внутри у него было в порядке, грудь не болела, только поясницу разламывало, не давала она двинуться с места. Он лежал и, приподняв голову с подушки, переводил Даркембаю то, что говорил Афанасьич. Его он называл «Апанас».

– Выехав из Семипалатинска, мы, должно быть, заблудились. Нам бы держаться казенного тракта, с верстовыми стол-



бами, с пикетами, а мы направились по этой дороге. Теперь помогите нам, выведите на столбовой тракт, выделите человека, а мы заплатим.

Вступил в разговор Даркембай:

– Человека мы найдем, придадим к вашему обозу... Да вот, хотя бы Канбака возьмите, он сейчас ничем не занят... Пусть поедет, к началу жатвы вполне успеет вернуться.

Увидев, что Канбак выразил свое согласие, трое переселенцев, поблагодарив хозяев, договорились об оплате за услугу.

– Апанас... кайда пайдом? – напрягшись и припомнив русские слова, спросил Даркембай.

– Куда мы едем? – отвечал Афанасьич. – Семирек... Семирек едем.

– Какой Семирек? – не понял Даркембай. – Может быть, Акирек? – старик имел в виду известное стойбище у соседнего рода Сыбан.

– Лепса... Лепса... – начал пояснять Афанасьич, и только сейчас у Базаралы прояснилось.

– Он имеет в виду Лепсы... – и переспросил у мужика, – Лепсы, Шубарагаш, Капал?

– Да, да, Капальск... Лепса, Капальск...

– Е-е! Да они же в Семиречье едут, в Жетысу! Астапыралла! Это же на краю света! А сами-то откуда едут?

На вопрос Базаралы об этом, Афанасьич широко махнул рукой и ответил:

– Россия, россейские мы. Я из-под Пензы. Сергей из-под Тамбова.

Через Базаралы было выяснено, что люди кочуют из самой глубинки России и находятся в пути уже два месяца.

Даркембай, сочувственно покачав головой, задумался на некоторое время, потом спросил:

– Почему переселяетесь? Ведь там же ваши места, где вы родились и жили. Что за напасть заставила вас откочевать с родины ваших предков?



Поняв вопрос старого казаха, русский старик Сергей ответил:

– Там было нам совсем худо... Голодали мы.

– Что, земли было мало?

– У кого-то земли было много, вдоволь, а у нас ее было с ладонь! – стал отвечать Афанасьич-Апанас и показал свою раскрытую руку. – А бедованья было – с этот мой зипун! – И Апанас растянул в стороны полы своего кафтана.

Это рассмешило Базаралы. Даркембаю перевел слова Апанаса. Старый жатак тоже посмеялся, затем сочувственно промолвил:

– Апырай! Бедняга, как он метко сказал...

– Да, лучше не скажешь, – прогудел низким грудным голосом Абылгазы. – Это и есть бедность... Когда достатка с ладошку, а нужды – с целый чапан.

Апанас опять невесело пошутил:

– В твоём доме, хозяин, не такое ли богатство?

– Сам видишь. А нужды, пожалуй, еще больше, чем у тебя, – шуткой ответил Базаралы.

– Я решил переселяться, когда нужды навалилось больше, чем даже этот твой дом со всеми его бедами, – завершил Афанасьич и смолк.

– Теперь вижу, парень, что и у тебя достатка с ладонь, а нужды – выше крыши...

Базаралы посмотрел на Апанаса с нескрываемой симпатией.

– Барекельди! Да он же из богатырского племени! Шутит, глядя суровой правде в глаза. Этот с пути истинного не собьется. Не будет трепать лживым языком: мол, «мы потомки великого народа».

Сказав это, Базаралы откинулся на подушку и полежал молча, что-то обдумывая. Наконец, принял решение, подозвал к своей постели байбише Одек, Даркембая и Абылгазы.

– При побеге с каторги, пробираясь через Сибирь, мне пришлось съесть немало русского хлеба-соли, – начал он, обра-



щаясь сразу к троим. – Благодаря помощи таких вот бедных, полунищих людей, которые прятали у себя и кормили меня, я остался жив и добрался до родных мест. Теперь они у меня в доме, утомленные дорогой, измученные путники. Их печаль, их слова из самой души – мои слова! Есть у нас с Одек несколько овечек из раннего приплода. Думал, сохранить на тот случай, когда зайдет в мой дом очень дорогой гость, тогда и зарезать их. И сейчас, пожалуй, настал такой случай. Следует зарезать скотину и пригласить путников. Абылгазы, вели пригнать скотину и займись делом! – распорядился Базаралы, и все присутствующие молчаливо одобрили его.

Одек тем временем поставила чай. Базаралы сказал Апанасу, чтобы они теперь никуда не торопились, а свободно располагались, как гости.

Базаралы дал еще несколько коротких распоряжений. Сначала, поговорив с Апанасом, из всего обоза в тридцать человек пригласил еще пятерых стариков. Поручил сходить за ними Федору. Потом, обратившись к Токсану, Канбаку и остальным, сказал:

– Покажите им наши посевы. Мы же толком не знаем, как сеять хлеб, лучше всего управляемся с граблями. А вот Апанас и его люди – настоящие пахари и сеятели. Они не жалуются, что на земле работать тяжело, они жалуются только на то, что «земли маловато». А мы плачем – «ох, работы невпроворот!» Поведите их на посевы, пусть посмотрят землю. Хорошенько разузнайте у них, как пахать, как сажать семена, – наставлял Базаралы своих жатаков.

Апанас с Сергеем сами загорелись посмотреть местные поля. Днем они беседовали с Базаралы, который подробно рассказывал о бедствиях своего рода, о насилии властей, об унижениях со стороны богатых баев. К вечеру русские переселенцы во главе с Афанасьичем побывали на полях жатаков. Свои деланки показали им Даркембай и Абылгазы.

Старик Сергей, самый умудренный в крестьянском деле земледелец, разглядывал богато уродившийся хлеб и толь-



ко удивленно покачивал головой. Апанас же, в свою очередь, тоже удивлялся богатому урожаю, видя совершенно неумелую, дурную обработку земли. Апанас поднял с поля огромный ком ссохшейся земли, показал Даркембаю и Абылгазы:

– Джаман! Плохо! – крикнул он. – Джалкау! Ленивый! Вы ленивые!

Невесело улыбаясь, он бросил на землю глиняный ком, укоризненно покачал головой.

Ругал хозяев поля и Федор – Шодыр, как звали его казахи, человек могучего телосложения, с необъятной грудью и широчайшими плечами. И духом он был такой же сильный, характер имел цельный, прямой. Он ткнул кулаком в бок Абылгазы, джигита такого же могучего, как и сам Шодыр, и, не все понимая из того, что выкрикнул «по-казахски» Афанасьич, повторил за ним:

– Джаман! Джаман! – и смачно сплюнул на землю. – Чего уж там джаман! Плохо! Ох, как плохо сеете! Абылгазы! Тебя, парень, бить надо! – гудел он и потряхивал за плечо новоявленного земледельца, в недалеком прошлом охотника с беркутами, следопыта и от рождения – боевого джигита, воина.

Но, несмотря на скверную вспашку и неумелый сев, на всех двадцати делянках жатаков поднялся и вырос небывалый урожай. Хлеб стоял ровный, густой. Русские крестьяне долго стояли на краю поля, любовались им. Каждый из них растирал землю в руках, разглядывал, даже нюхал ее, словно драгоценную муку.

Позже, когда переселенцы Апанас, Шодыр и Сергей вернулись в юрту Базаралы, они долго указывали на многие упущения и недоработки в обработке земли неумелыми земледельцами. Земля вспахана на мелкую глубину. Плохо обработали ее бороной.

– Однако ваш Бог милостив! Одарил-таки щедрым урожаем за ваши ленивые труды, – подшутил Апанас.

Говоря о том же, седой старик Сергей продолжил шутку:



– Видать, земляца плодородна! Воткни в нее вон ту оглоблю, так вырастет из нее телега!

Базаралы такими словами довел до своих земляков высказывания своих гостей:

– «Не истинными своими трудами вы получили такой урожай, а благодаря щедрости Кудая. Плодородная сила земли так велика, что стоит воткнуть оглоблю, из нее вырастет целая арба!»

Абылгазы и другие кочевники-крестьяне признали в душе правоту гостей, но вслух виниться не стали. Однако от их имени взялся объяснять причины Базаралы:

– Вот послушайте. На шестьдесят домов всего две бороны у нас. Для многих коней гужей не было, впрягать не могли в сохи. Лошади никуда не годились, после зимы исхудали, еле стояли на ногах. Чтобы пахать, приходилось впрягать верблюдов, даже стельных коров. Откуда тут быть хорошей пахоте!

В этот вечер, угостившись на славу, попрощавшись с Базаралы, мужики-переселенцы толпой возвращались к своему обозу, громко обсуждая прошедшую встречу с неожиданными друзьями. Крестьяне собирались рано на рассвете тронуться в путь. Проводником к ним должен был приехать Канбак. Он взялся вывести их на верстовую дорогу, сопроводить караван до самого Джетысуйского – Семиреченского тракта. Канбак обещался на рассвете подъехать к обозам.

Даркембая вечером не было в доме Базаралы. Тому была причина. Показав русским свои посевы, Даркембай, садясь в седло, бросил взгляд за дальний взгорок со стороны Ойкудука – и вдруг увидел приближавшиеся от Малого Каскабулака табуны лошадей. Встревоженный, Даркембай оставил возле полей Абылгазы с гостями, а сам скорее отправился навстречу завидневшимся вдали табунам.

Стояла уже предвечерняя пора. Табуны выгоняли на водопой, потом в ночное. Неторопливо продвигались косяки нежеребых кобылиц. Двигались лошади неспешно, на ходу паслись.



Шли рядом, не смешиваясь, табуны разных аулов. Возле табунов не видно было табунщиков и караульщиков. Только один молодой джигит и попался на глаза Даркембаю – дневной табунщик. К нему-то и подскакал старик.

– Айналайын, джигит! Здесь недалеко находятся посевы жатаков. К жатве приступят через несколько дней. Упаси бог, чтобы ночные пастухи задремали и выпустили лошадей на поля бедняков! Шырагым, светик мой, передай другим табунщикам – ради Аллаха, не допустите потравы!

Молодой джигит заверил, что он поставит в известность об этом всех других табунщиков. Сам он, по виду, вполне сочувствовал волнению старика и обещал ему, что потравы не допустят. Даркембай уже ночью вернулся домой.

Тем временем, в час вечернего водопоя джигит передал просьбу старого жатака всем табунщикам, сидевшим кружком у родника, передал и Азимбаю. Тот, мгновенно ошестившись, посерев лицом, стал подробно расспрашивать его о разговоре, как будто держа в голове какой-то недобрый умысел. И вскоре, скомандовав самолично, погнал лошадей в ночное, – направляя табуны в сторону тех отлогих взгорий, где располагались богарные посевы жатаков. На этот раз Азимбай выехал в ночное сам. По обыкновению, в теплую пору осени он выезжал в ночное вместе со своими ровесниками – конюхами, табунщиками. Аулов рода Иргизбай у этих родников было в эту осень немало, и оттуда сыновья баев, такие же владетельные и знатные, как Азимбай, также сами выходили с косяками нежеребых лошадей в ночное.

Сегодня многим из них он послал весточку: «Садитесь на коней, выезжайте в ночное, наскочемся вдоволь, есть чем повеселиться». И в сгущающихся сумерках с десятков больших табунов потянулось в сторону отлогих холмов предгорий Шолпан. Азимбай в ночное взял с собой только двух джигитов, то же самое сделали и другие байские отпрыски – Мусатай, сын Акберды, Ахметжан, сын Майбасара, молодые сыновья Осера – вздор-



ный крикун Мака и забияка Акылпеис, а также вор и конокрад Елеусиз из Таншолпана.

Итак, более десятка байских сыновей сошлись в ночном на равнине Каскабулака. При них были нукеры, бессловесное оружие, живые шокпары, готовые действовать в любую минуту по велению хозяина.

В эту ночь Азимбай, созвавший своих друзей, замыслил недоброе. Жатаки, которых всей душою ненавидел Азимбай, расхвастались, что у них вырос небывалый урожай: «Нынче жатак будет завален пшеницей». Голодранцев следовало хорошенько наказать...

К полуночи табуны были подогнаны к пастбищам близ колодца Тайлакпая. Дни и ночи напролет перетиравшие в зубах сухую, жесткую степную траву, кони почуяли свежую зелень луговой отавы и в молчаливом возбуждении двинулись вперед. Возглавлял ход тысячного табуна Такежана гнедой с белой отметиной во лбу, могучий вожак. Словно наверняка зная, что скоро ожидает их небывалое великое кормление, жеребец вышагивал, не задерживаясь, высоко подняв голову на крутой шее. Увидев это, Азимбай отъехал из табуна в сторону, подозвал к себе других молодых мырз.

– Оу, теперь мы можем отдохнуть. Слезайте с седла, полежим на травке. У коней нет пут, слов они не разумеют. Пойдут своими ногами туда, куда захотят. Мы им мешать не будем. А наутро их всех соберем! – сказал Азимбай и зловеще засмеялся, тем самым открывая для своих дружков, что он задумал.

Все они молчаливо одобрили. Лишь один из молодых нукеров Такежана осмелился сказать:

– Е, а ведь там посевы! Жалко ведь...

На что Азимбай, сначала обложив джигита матом, отозвался руганью:

– Ты! Лежи себе и помалкивай! Из-за каких-то там посевов наши кони не должны пастись, что ли?

Кичливый Ахметжан и горластый Мака также стали ругаться.



– Тайири! Нашли себе занятие – граблями махать, землю царапать! Наши предки никогда такой пакостью не занимались! – распалился Мака.

– Стыдно жить рядом с этими жатаками! Выселить бы их куда-нибудь, проходимцев! – поддержал его Ахметжан.

– Е, надо им сказать: «Негоже рыть землю, как собака лапами, накликать беду!» И пару раз сделать так, чтобы их дело пошло псу под хвост, – они и сами откочуют, куда подальше! – сказал Азимбай, сойдя с коня и развязывая пояс.

Остальные последовали его примеру. Освободив коней от узды, расседлав, пустили их попасться. Сами, положив седла под головы, улеглись на землю.

– Не то, чтобы откочевать, – побредут пешочком эти голодранцы, которые сейчас жужжат у нас под ухом, покоя не дают! – добавил свое Акылпеис.

Выразив удовлетворение глубоким вздохом, Азимбай пробормотал что-то, потом тихо засопел, погрузившись в сон. Остальные вскоре тоже уснули. Но мирный ночной сон их по истинному значению был страшнее поджога, ужаснее дневного преступления, совершаемого над слабыми, беспомощными людьми. Этот спокойный сон десяти молодых баев вскоре должен был породить неслыханную жестокость, – хуже убийства человека или грабежа мирного аула.

А что же ночной табун, отпущенный пастись на свободе? Конь – воистину благородное существо, не умеющее замышлять зло!.. Знали бы эти славные, добрые животные, что сейчас их превратили в орудие вражды и ненависти, в беспощадный степной пожар... Табуны коней широко разошлись по хлебным полям, представляя собою тысячеголовое прожорливое чудовище, надвинувшееся необъятным черным телом на высокие хлеба и грызущее своими неисчислимыми зубами хлеб надежды голодных стариков и детей. Впереди табуна по-прежнему находился могучий вожак с белой звездочкой на лбу, и это белое пятно светилось в темноте, как единственный глаз чуди-



ща, вторгшегося в поле. Темно-гнедой гигант-жеребец, словно вождь, привел на влажные от ночной росы густые хлеба двадцати делянок тысячное войско нежеребых кобылиц и годовалых стригунков. Но было что-то воровское в поведении коней, совершающих потраву на ночном хлебном поле. И жеребцы, и кобылицы косяков, и юные стригунки – пожирали хлеба, не издавая ни единого звука. Не было слышно даже обычного пофыркивания лошадей, пугливого ржания жеребят. Порою в темноте звучало лишь утробное конское храпение, выражавшее полное довольство от столь обильной еды. Казалось, кони переговариваются между собой об этом.

Одни поедали только верхушки злаков, обрывая колосья, другие опускали свои головы и хватали пшеницу за середину стебля, выдергивали целый пучок из земли. А молодые кобылы и годовалые стригунки, впервые увидевшие такую пищу, хватали зубами у самых комлей и выдергивали стебли с корнями, с землей. Слегка пожевав свежую соломку, они выплевывали ее на землю и втапывали туда копытами зрелые колосья. Но, несмотря на огромное ночное кормление, над полем стояла тишина.

Но вот прошло время, и кони насытились. Входявшие в поля с одного края, широкой лавой, они оказались где-то на их середине. Молодые упитанные жеребцы, наевшись до отвала, начали играть. Теперь они не старались беречь тишину, а с визгом наскакивали друг на друга, лягались, начали носиться по полю. Некоторые стригунки, расшалившись, валились на землю и перекатывались с боку на бок. И нежные колосья, накануне днем бережно обойденные руками детей, теперь оказались на земле, втапываемые тяжелыми копытами лошадей...

Люди из переселенческого обоза, поднявшись на рассвете и приготовившись тронуться в путь, ждали проводника Канбака. Он же, не сразу найдя свою лошадь, далеко ушел от дома и немного задержался. Выйдя на пригорок возле посевов, Канбак увидел весь творившийся на них ужас – и беспамятно завыл, зарыдал в одиночестве.



В это время из аула в сторону полей направился Даркембай, поднятый с постели смутным беспокойством. Вслед за ним на дороге появилось несколько старух, среди них Ийс. Они решили набрать немного пшеницы к утренней трапезе. Когда толпа старых людей вышла за край аула и направилась к полям, вдруг они увидели стремительно несущегося навстречу им человека. Он кричал, подвывая, в нем узнали Канбака. И все поняли, что случилась какая-то беда.

Вскоре толпа с криками устремилась назад к аулу. Из двух соседних жатакских слободок выбегали навстречу люди. Аулы сразу наполнились криками и плачем детей, которые первыми чуют большую беду. Отчаянно ревя, цепляясь за подола, дети бежали вслед за матерями. Громкие крики и плач, отчаянные проклятия, угрозы звучали над аулом.

- Изверги! Чтобы Кудай вас покарал!
- Смерти мало для этих зверей!
- В огне сгореть бы вам, иргизбаевским отродьям!
- Проклятые! Чтобы все кони ваши сдохли! Чтобы умылись слезами ваши потомки!
- Захлебнитесь, кровопийцы, слезами сирот!
- Это же враги! Только лютые враги способны на такое злодейство!

К Базаралы пришли Даркембай, Канбак, Абылгазы и другие мужчины. Ярость и гнев переполняли всех.

Базаралы лежал одетым, словно собрался в дорогу. Но встать с постели он не мог. Исхудавшее лицо его было безжизненно бледным. Долго он не мог вымолвить ни слова.

Когда вошли главенствующие джигиты аула, он укрепился духом и непреклонным голосом сказал:

- Бедный мой народ! Чтобы кровью умылся твой враг! Но хватит причитать и плакать! Придите в себя, несчастные! Абылгазы, а ты что согнулся весь? Очнись скорее!

Обведя решительным взглядом круг крепких джигитов перед собой, Базаралы приподнял голову с подушки, преодолевая боль.



– Возьмите поводья-уздечки, арканы-веревки и, пока кони еще на потраве, поймайте тридцать самых лучших лошадей и приведите сюда, – стал он распоряжаться. – Жа! Сегодня такой день, когда уже не поймешь, – лучше быть живым или мертвым... Нам отступать некуда. Двадцать делянок было у нас, на шестьдесят очагов. Каждая делянка стоит полторы лошади. Значит, кун за потраву всех делянок составит тридцать лошадей. На две семьи – одна лошадь. Это самое меньшее, на что мы пойдем, когда будем судиться. Идите быстрее за лошадьми! Они нам еще очень скоро могут пригодиться. Думаю, дело не обойдется без драки. Абылгазы, идите захватите лошадей! Если вы этого не сделаете, то больше не называйте себя людьми!

Даркембаю такое решение пришлось весьма по душе. Быстро собрав людей, кинулся к полям, – и вскоре тридцать крепких коней стояли на привязи возле юрт жатаков. Не расхолаживаясь, ожидая худшего, Даркембаю распорядился оседлать захваченных лошадей.

Это произошло так быстро, что над аулом еще не перестал звучать шум отчаяния, женские причитания и детский плач.

Пришли в аул Апанас и остальные русские мужики, долго ожидавшие проводника Канбака, так и не дождавшиеся его. Они услышали крики людей из аула и решили проверить, что случилось. Зайдя в дом Базаралы, узнали обо всем. Весть об ужасной беде, свалившейся на гостеприимный аул, дошла до обоза. Не было предела возмущению у переселенцев, услышавших страшное и для них слово – «потрава». Искреннее чувство жалости, горячее сопереживание вызвала эта весть в крестьянских душах.

– За потраву наказание большее полагается, чем вы назначили, – сказал Апанас. – Баев, владельцев скотины, надо судить. Мы напишем бумагу в суд, все подпишемся!

Русские люди еще были в ауле, когда прискакали туда многочисленные верховые. Это были молодые мырзы, хозяева табу-



нов, совершивших потраву. Возглавляли их Азимбай, Ахметжан. Вместе с баями были их нукеры и табунщики. На их запястьях висели длинные соилы, концами волочившиеся по земле. Они ворвались в аул с воинственными криками.

Улегшиеся ночью спать, чтобы не останавливать табун, молодые баи проспали до самого рассвета. И мырза Мака, проснувшись первым, поднялся на ноги и увидел, как ловят и уводят с потравленных делянок лошадей. В панике заорав: «Аттан! Аттан!» – Мака разбудил товарищей, и они увидели, как гонят целый табун коней.

В ту же минуту, вскочив в седла, Азимбай и его люди поскакали по близлежащим аулам Иргизбая – собирать дружину для нападения на Жатак. Собрали человек сорок, и все, вооружившись соилами и шокпарами, полетели к аулу жатаков, чтобы устроить в нем жестокий погром.

До самого аула неслись безостановочно, прискакали быстро. Хотели с ходу показать свою силу, нагнать страху. Ворвавшись в первый, стоявший на его пути аул, Азимбай, сидя в седле, рявкнул во всю глотку:

– Е! Жатак! Выходи! Кто из вас смелый?

С разных сторон аула к нему вышли Абылгазы, Даркембай, Канбак, Токсан и другие. Как только они показались, Азимбай крикнул, стараясь придать голосу самый повелительный тон:

– Сейчас же отвязывайте моих лошадей!

Базаралы из своей юрты слышал эти крики, но выйти наружу он не мог, не в силах подняться с постели. Мучаясь страшной болью, стиснув зубы, несколько раз попытался встать, но победить боль не смог.

В его доме находились русские, Афанасьич, Федор, Сергей, когда раздался шум набега, конский топот снаружи.

– Прискакали, должно быть, виновники потравы!

– Это они, господа баи!

– Пойдем, ребята, посмотрим, послушаем!

Все трое вышли из юрты и отправились пешком по аулу.



Между тем в словесной перепалке схватились Даркембай и Азимбай.

– Даже лютые враги так не поступают! – кричал гневно старик. – Ты что наделал? Заставил слезы проливать голодных детей и стариков, всполошил бедный люд, словно горных куропаток? Даже во время нашествия калмыков не было такой жестокости и такого подлого удара в спину!

– А ты сам-то чист?

– Скотина не понимает слов, идет туда, куда ее гонят, или туда, куда сама захочет. Так вы что? Решили прикинуться скотиной?

– Прекрати трепать языком! Отвязывай моих лошадей!

Заговорил Абылгазы:

– Будете возмещать за потраву? Или на вас писать жалобу? Азимбай занес камчу для удара, вскрикнув:

– Вот тебе возмещение!

Ударить он не успел, ибо охотник Абылгазы как барс кинулся на него и в прыжке перехватил плеть, рванул на себя и вырвал ее из рук бая. Ответно замахнулся ею на Азимбая, но в этот миг на голову Абылгазы обрушился удар соилом, который нанес Акылпеис. Это был тот момент, с которого началась всеобщая ожесточенная схватка.

На седого старика Даркембая посыпались удары камчи. Били соилами. Завопили женщины, дети, стоявшие в дверях юрт. Абылгазы, отмахиваясь плетью от наседавшего на него Акылпеиса, громовым голосом крикнул: «Аттан!» И вдруг из-за каждой юрты выбежало множество жатаков, вооруженных кто куруком – арканом на длинной палке, кто соилом или шокпаром. Оказалось, что Абылгазы заранее подготовил пешую засаду, ожидая прибытия в аул врагов.

Раздались яростные крики:

– Бей!

– Круши!



Среди атакующих были и те, что ходили в набег вместе с Базаралы и Абылгазы, – отчаянные, бесстрашные джигиты.

Абылгазы сначала отбивался сразу от нескольких верховых, кружившихся возле него, но, почувствовав, что враги одолевают, отступил и быстро побежал, пригибаясь, по узким проулкам между жатакскими лачугами. Навстречу бежали еще жатаки из засады. Подбежав к своему дому, Абылгазы схватил шокпар, засунутый в ограду, вскочил на гнедого коня из тех, которых они захватили, и ринулся в бой.

Он вылетел навстречу погромщикам Азимбая, которые, держась вместе, крутились посреди аула и расправлялись с пешими, дрались с конными жатаками. Последних было вдвое меньше, чем карателей, которых прискакало около сорока соилов. Абылгазы с устрашающим криком вломился в самую гущу схватки, взмахивая черным шокпаром и нанося резкие, точные удары. Он упорно прорывался к Азимбаю.

Даркембай еще в самом начале схватки был исхлестан плетьюми и брошен на землю. С окровавленной головой, он был поднят Одек, которую выслал к нему Базаралы, и она отвела старика домой. Увидев в раскрытую дверь, как расправлялись с Даркембаем, лежавший на корпе Базаралы с досадой вскричал:

– О, Кудай! Кудай! Лучше бы ты забрал меня, чем обречь на такие муки! – и, с трудом перевернувшись на грудь, пополз к двери.

Одек, к тому времени вернувшаяся домой, попыталась остановить мужа, но он сурово прикрикнул на нее:

– Отойди! Умру в схватке с врагом. Подай мне шокпар!

Выдернув черную дубинку из-за решетки кереге, жена передала мужу. Волоча его за собой по земле, Базаралы с криками ярости выползал наружу.

– Бей! Круши! Растаскивай их, бей насмерть! Мечь! Мечь! – страшным голосом кричал Базаралы, лежа на земле.



В юрту к Даркембаю, сидевшему с окровавленной головой на полу, откинувшись спиной на решетку кереге, вбежал его малолетний сын Рахим. Кинулся к старому отцу, припал к нему и горько заплакал. Вслед за Рахимом вбежали в дом внуки Ийс, Асан и Усен. Молча, со слезами на глазах, остановились братья возле раненого агатая Даке и плачущего у него на груди друга.

Еще в начале, на улице, когда какие-то люди начали избивать отца, Рахимтай бросился к нему с криком: «Не трогайте его! Ему больно!» Но мальчика оттащили женщины.

Старый отец прижимал сына к груди и успокаивал его:

– Свет мой ясный, не плачь, не бойся, айналайын! Раны мои пустяки, баурым!

Старик подозвал ближе малышей-сирот Исы, плачущих от жалости, нежно погладил каждого по голове. Малыши послушно подставляли его рукам свои обритые гладкие макушки.

Перестав всхлипывать, Рахимтай сказал:

– Отец, я вырасту и тоже дам соилом по голове этому плохому Азимбаю!

Асан с чувством поддержал друга:

– Подождите, проклятые, вы еще увидите, как мы вырастем и отомстим за нашего агатая!

В это время жутковатый шум уличной битвы вдруг приблизился вплотную к юрте Даркембая. Схватки шли посреди аула, прямо во дворах и в дверях юрт, защищаемых хозяевами. Середина большого жатакского аула стала единым полем битвы. Конники с дубинами в руках сшибались на проулках, кто-то из них вылетал из седла и грохался оземь. Это мог быть налетчик-иргизбай, мог быть и жатак, захвативший верхового коня. Всюду звучали крики, проклятия, боевые возгласы:

– Держись! Не отступай!

– Бей! В землю вгони!

– Не жалей их! Круши всех до конца!

Такие крики все яростнее звучали со стороны иргизбаев, видно, они начали одолевать. И тогда Базаралы, с великим трудом



поднявшись на ноги, поддерживаемый женой Даркембая, Одек, стоял на месте и, не в силах приблизиться к врагу, размахивал над головой шокпаром, зычно давая команды своим джигитам.

– Не отступай! Стаскивай их с коней!

И в эту тяжелую для жатаков минуту к ним пришла неожиданная могучая помощь.

Переселенцы во главе с «Апанасом», бывшие с утра у Базаралы, увидели набег потравщиков на аул бедных земледельцев, быстро прибежали назад к обозу, стоявшему наготове в путь. Афанасьич, Федор и старик Сергей разбежались по своим обозам.

– Выпрягай коней!

– Пойдем на помощь! – разлетелось по обозу.

Этих слов было достаточно. Переселенцы быстро выпрягли лошадей, сняли с телег по оглобле и, вскочив на своих саврасок и гнедуч без седел, понеслись в сторону гостеприимного аула. Могучие Дарья и Фекла, а вместе с ними и те бабы, что были вчера в кошмянном поселке у киргизов, услышали доносившиеся оттуда крики, плач женщин и детей, – и не смогли удержаться – похватили топоры, лопаты, вилы и тоже побежали помогать своим мужикам.

Взяв оглоблю наперевес, поперек седла, могучий Федор первым ворвался в аул и подскакал на своем мерине к юрте Базаралы, где дрался Абылгазы сразу с несколькими противниками.

Увидев огромного бородатого русского, Акылпеис понял, что это помощь жатакам, и рванулся на коне навстречу ему. По боевой степной выучке хотел нанести удар в висок, но промахнулся и попал противнику по плечу. Федор, разминувшийся с ним, повернул назад свою лошадь и, широко размахнувшись оглоблей, шарахнул ею Акылпеиса в поясницу. Тот пошатнулся, но удержался в седле. После этого силач Федор пошел орудовать оглоблей, бил всех подряд, без всяких затей, для верности нацеливая удар по пояснице. И от его чудовищных



ударов оглоблей противник не мог удержаться в седле, мгновенно слетал на землю. Только один громадный Акылпеис, которого Федор ударил впопыхах, усидел на коне.

Прискакали и другие русские мужики, вместе с Афанасьичем, сходу втянулись в битву. И в рядах жатаков, которых налетчики изрядно потрепали и начали теснить и загонять в юрты, раздались ликующие крики:

- Аттан! Русские! Орыс пришли!
- Айналайын, орыс!
- Бисмилла! Счастья вашим детям!

Похватав палки, из юрт выскочили женщины, старухи и с воинственными криками бросились на помощь своим мужчинам.

Русские же мужики разошлись вовсю и, тесня вместе с жатаками погромщиков, в боевом воодушевлении, грянули победное: «Ура! Ур-ра!»

Подоспели Дарья, Фекла и еще несколько смелых женщин из обоза, с дрекольем в руках, стали набрасываться на добротнo одетых верховых, верно полагая, что это и есть враги бедного аула. Визгливые бабьи голоса выкрикивали непонятные казахам слова:

- Антихристы! Звери окаянные!

Лихо пролетая на коне между ними, верткий Мака огрел по спине Феклу. Она же не испугалась, живо метнулась вперед и схватила его коня под уздцы.

– Ах ты, сукин сын! Вот ужo проучу тебя, анчихрист! – и дюжая Фекла перехватила Мака за пояс.

– Омай, чего это она никак не отцепится! – в страхе завопил Мака.

В следующий миг Фекла одной рукой стащила его с седла. Так и «не отцепилась» от поверженного наземь Мака и поволокла его за шиворот. Затем швырнула на землю и, приподняв юбку, принялась босой пяткой месить вопящего Мака по голове, приговаривая:

- Сукин сын! Вор, барантач!



При этой невиданной картине казахские женщины словно с ума сошли от восторга.

– Ойбо-ой! Ты погляди на Шоклу!

– Шокла! Ты ему пяткой рот заткни!

Так кричали и хохотали казашки, забыв про свое горе.

И даже маленький Усен, заплакавший со страху, глядя на свирепую битву взрослых, стоя в дверях и выглядывая из-за бабушкиной юбки, – сразу перестал плакать и звонким голосом возвестил позор Мака:

– Вот, так тебе! Получи! Так тебе и надо, проклятый враг!

Восхищенная, как и другие казашки, подвигами Феклы, позабавленная словами внучонка, стояла в дверях своей юрты старая Ийс и весело смеялась. И это она смеялась впервые с того времени, как умер ее единственный сын Иса.

Она даже крикнула неузнаваемым повеселевшим голосом:

– Айналайын, Шокла! Всяких благ тебе и твоим детям! И от твоих детей пусть тебе будет одно благо! Иншалла! Теперь и помирать будет легче, увидев подобное! Есть же такие люди!

С прибытием русской помощи ватага Азимбая была изрядно потрепана, часть ее растащена, свергнутые с седел погромщики валялись по дворам. Их привели в полную непригодность женщины, аульные и русские, обезоружившие их и позорно выпорвавшие плетями.

Сражение переместилось к самой юрте Базаралы. Десять мырз держались вместе, все еще были на конях. На них наседали конные жатаки и Афанасьич со своими людьми, на обозных сивках и саврасках.

Базаралы крикнул зычным голосом:

– Истребляй нечисть, всех до единого! Налетай, беднота! Бей жирных собак!

Он все порывался кинуться в бой. Набежало еще много пешего жатакского воинства, иргизбаев стеснили в кучу. Обрушивая на них удары соилов, шокпаров и таранные тычки оглобель русского обоза, молодых мырз стали сшибать на землю, одного



за другим. И Базаралы продолжал поддерживать ратное усердие жатаков криками:

– Истребляй собак! Никого не упусти! Навались дружно! Сразу со всех сторон!

Одним из первых был выбит из седла бай Ахметжан. Вторым – задиристый Акылпеис, третьим – драчун и вор Елеусиз, успевший с самого начала схватки, воспользовавшись неожиданностью нападения, избить в кровь многих жатаков. Когда Абылгазы и его боевики увидели свой явный успех, они пошли в яростное наступление, – и трусливые мырзы кинулись в бегство.

Однако Шодыр-Федор только разохотился, он все метил схватиться с главным, Азимбаем, но конь под тем был намного резвее, чем буланка под Шодыром, и ему удавалось ускользнуть от лохматого, бородатого великана. Вот и сейчас, когда Федор-Шодыр открыто рванулся к нему, Азимбай пригнулся к шее своего коня и дунул прочь от аула жатаков. За ним понеслись его боевики, явно поредевшие в своем составе.

Шодыр и Абылгазы долго преследовали их. Но иргизбаи не дали их догнать. Конь под Абылгазы оказался слишком жирен, не мог выдержать долгой скачки. Не очень быстроногим оказался и конь Шодыра. Еще в начале схватки с русскими коварный Елеусиз заметил, что главная опасность таится в этом бородатом русском батыре, решил подпортить ему коня – ударом шокпара в висок. Буланчик на землю не пал, но в дальнейшем все заметней убавлял в своей прыти. Итак, выдворив иргизбаев за гряды холмистого пригорья, задав им страху, Шодыр и Абылгазы вернулись в аул.

К их возвращению в ауле уже были пойманы и привязаны все вражеские кони, носившиеся без седоков. Самих же налетчиков, кое-как пришедших в себя, Базаралы приказал по юртам не разбирать, а выгнать их из аула и пешком отправить восвояси.



У жатаков раненых также оказалось немало. Домочадцы перевязали им раны, утешили лаской и дали покой.

Сегодняшняя схватка показала обездоленным людям, что их объединенная ярость страшна для наглых владельцев степи. Конечно, жатакам помогли устоять перед богатыми мырзами русские переселенцы, такие же бедняки и люди труда. Но как бы там ни было, в руках у них осталось больше тридцати отборных коней, которые вполне могут возместить нанесенный земледельцам урон. Своим произволом богатые иргизбаи возвели вину и долг перед жатаками, долг же платежом красен. Накоротке обговорив, Даркембай, Базаралы, Абылгазы стали успокаивать людей, вселяя уверенность в полной своей правоте перед всеми законами – царскими и степными.

– А если у кого голова разбита – не беда, сохранилась бы только эта голова под шапкой. Вот и моя старая голова разбита. Но ведь жив остался! И вы не робейте! Крепитесь, жатаки! Впереди еще немало схваток!

Даркембай обошел все три слободы большого жатакского аула, призывая в будущем действовать столь же сплоченно, как и сегодня.

В двух-трех юртах варили мясо и угощали русских друзей. Апанасу, Шодыру, Дарье, Фекле и всем, кто помог отбиться от безжалостного и жестокого нападения богатых иргизбаев, выражали благодарность и стар, и млад. Во всех домах было много смеху, живых воспоминаний о недавних событиях. Особенно много было смеха, восторгов по тому случаю, как дюжая Фекла отпинала верткого Мака.

– Его пинают в голову, а он вопит со страху: «Чего это она никак не отцепится от меня!» – веселились женщины.

Весь этот день от изгнанных противников не было ни слуху ни духу. Апанас и Базаралы, переговорив, составили бумаги – свидетельские показания о потраве. Подробно расписали о площади посевов, об их урожайности, о том, как они были растоптаны и потравлены тысячными табунами байских аулов.



Были перечислены поименно все десять баев, кому принадлежали табуны. После чего было подробно описано, как после потравы, в отместку за задержанных на потраве лошадей, их хозяева устроили разбойное нападение на аул земледельцев. Посторонние люди, проезжие переселенцы, ставшие невольными свидетелями, от своего имени написали «приговор» Семипалатинскому уездному начальству обо всем увиденном.

Под свидетельством подписались все мужчины и женщины из переселенческого обоза. Составленные в двух экземплярах, документы были вручены жатакам, и Апанас наказал, чтобы один экземпляр был отправлен в город, а второй они держали при себе.

Наконец, сказав, что им уже больше задерживаться негоже, переселенцы стали готовиться в путь. Получивший кровавые раны в голову, Канбак все равно не отказался проводить обоз.

На проводы обоза к колодцу Тайлакпая пришли люди со всего аула. Прощание было шумным, трогательным. Всем не хотелось расставаться. Благодарности с обеих сторон не переставали звучать.

Только в сумерках тронулся обоз.

Хорошо понимая, что байские аулы не пощадят их, не оставят в покое, земледельцы-жатаки собрали всеобщий сход и на нем приняли два решения. Первое – написать «приговор» о потраве и нападении и отправить его вместе со свидетельством русских переселенцев в Семипалатинск. С бумагами ночью должен был выехать расторопный джигит по имени Серкеш, у которого в городе были хорошие знакомые, знавшие нужных людей.

Следующим решением было – Даркембаю и Абылгазы немедленно ехать к Абаю, из первых уст сообщить ему обо всем, что случилось.

Послав гонцов в две разные стороны, аул стал ждать.

Когда Даркембай и его спутник добрались до аула Абая, у того в доме еще не селились за вечернюю трапезу. В гостях очага Айгерим находились трое – Абай, Магаш, Дармен. После



того, как прозвучал сале́м с обеих сторон, Айгерим велела развернуть дастархан и подать кумыс.

Для полной уверенности Абай послал на поля жатаков Магавью и Дармена. Они должны были точно определить размеры нанесенного ущерба, обойдя все двадцать делянок. И обнаружили: на всех участках хлеб потравлен, пшеница повалена, колосья втоптыны копытами в землю. Зерно на всех полях собрать уже было невозможно. К тому же, хлеб был потравлен еще недозрелый. Джигиты вернулись и доложили Абаю:

– Уничтожено все подчистую.

Перед их поездкой Абай наказывал джигитам: к жатакам не заходить. Надо было оставаться в стороне, чтобы при разбирательстве со стороны властей не было обвинений в сговоре и предвзятости от свидетелей. Именно на позициях стороннего свидетеля и решил держаться Абай.

Когда Магаш и Дармен, вернувшись, подробно рассказали об увиденном, Абаю стало невыносимо тяжело. С острой горечью еще раз он ощутил отсутствие рядом Оспана. Сидя в унынии и молчании, Абай тяжело вздыхал и вспоминал покойного брата: «Он был моей силой, моей несокрушимой опорой. Порою в гневе бывал безрассудным, сам не знал, что творил. Но ему бы сейчас ничего не стоило приволочь сюда этих подлых мырз и для начала выпороть их плетями. Да так выпороть, чтобы мерзавцы запомнили это на всю оставшуюся жизнь. Он бы сказал: «Со зверями надо и поступать по-зверски». И в данном случае был бы совершенно прав.

А я, печальник народа, увы, стою все там же, откуда начинал свою жизнь. Сражаюсь со злом, а оно, словно семиглавый дракон: срублю одну голову, на ее месте тут же вырастает другая. Куда, куда ведет меня моя одинокая дорога? Будет ли конец моим мучениям? Неужели в подобном тяжелом бреду и пройдет вся моя жизнь? И не распознанной уйдет, отлетит какая-то главная мечта? А что мой народ? Избавлюсь ли я когда-нибудь от стыда за его слабость? До каких пор будет давить меня, под-



катив комом к горлу, эта боль? Кто снимет с моего сердца камень, от которого я изнемогаю?»

Заметив особенно угнетенное состояние отца, Абиш под вечер намеренно пришел к нему один, чтобы говорить наедине. Оказалось, и Абай его ждал.

– Отец, на этот раз те, что совершили злое дело, все принадлежат к нашему роду. Вам стыдно и вы мучаетесь, что зло исходит от вашего старшего брата. И вы все переживаете молча в своем сердце... Но я, отец, хочу вам сказать вот что... – Абиш умолк, и отец, медленно подняв голову, выжидательно посмотрел на сына, словно ожидая от него единственно верного совета и помощи.

– Вы всегда говорили, что будете защищать простых, добрых, кротких людей нашего края от злой воли богатеев и местных властителей. За это ваши враги и беснуются, выходят из себя. Те, что напали на жатаков, намеренно поступили так, чтобы задеть и вас. Разве не так?

– Я соглашусь с тобой...

– Ваши постоянные слова: «я с народом»... – произнес Абиш и сделал паузу, словно не решаясь говорить дальше.

– Да, я не откажусь от них. Готов умереть, но буду стоять на этом. Считаю, что в этих словах не порыв моей души, но твердая клятва...

– Если так, отец, то выходите на решительные дела! Вы можете пробудить народ, подтолкнуть его к действию! В русском обществе все достойные люди, думающие о простом народе, принимают участие в его борьбе, себя не жалеют и ничего не жалеют! Поступки их самые решительные и открытые! Отец, вам бы тоже так поступить на этот раз!

– И что посоветуешь делать? Взяться за соил и садиться на коня?

Абай усмехнулся: давал сыну знать, что время таких дел у него давно прошло. Но сын не был с ним согласен.

– Если понадобится, надо пойти и на это! – решительно сказал он. – Насилие и жестокость могут отступить только в том



случае, когда получают решительный отпор. Базаралы, Даркембай и другие уже пошли по этому пути. Отец, вам нужно призвать народ, чтобы он поддержал жатаков. К вашему призыву прислушаются все!

Молча согласившись с сыном, Абай отпустил его, остался один и стал думать, на какие решительные действия он мог бы пойти. С этими раздумьями его и застал Даркембай. Разговор между ними был недолгим. Все было ясно – отступить теперь некуда, надо противнику противостоять до конца.

– Сейчас поешьте и возвращайтесь домой, аксакал. Какая беда ни свалилась бы на ваши аулы, я буду рядом с вами. Всю силу свою и все знания приложу к тому, чтобы защитить вас.

Придав к ним трех человек вместе с Дарменом, Абай отправил жатаков домой, наказав им: через шабармана постоянно оповещать обо всем, что происходит, что слышно и чего ждать – прямо с завтрашнего утра.

В это же время в ауле Такежана собирался сход представителей малых и больших родов Иргизбая. Прибывая в течение всего дня, они сходились, как большая волчья стая.

На следующий день в аул жатаков прибыл бай Акберды. С ним было пятеро джигитов. Говорил он коротко, жестко, словно отдавал приказы:

– Сход Иргизбая повелевает: «Или сегодня вечером жатаки возвращают всех уведенных лошадей, а сами склонят перед нами головы, – или пусть выберут место схватки, которая должна состояться завтра утром. Все иргизбаи будут в седлах. Не явятся жатаки с повинной, – мы нападём на их аул, обрушим шаныраки, устроим погром».

Акберды спешил к юрты Базаралы. Оставив его в стороне, Даркембай, Базаралы и Абылгазы отъединились и переговаривали между собой, совсем коротко. Возвратившись к Акберды, от имени всех заговорил Базаралы:

– Эту бузу заваривали не мы. Мы только ответили, постояли за себя. И вот наш ответ: «Мы не станем ждать милости от тех,



кто вырвал еду из наших ртов. Пусть захотят убить нас, но мы не умрем покорно, а погибнем, хватая их за ворот! Сами на них не пойдем, но если решатся напасть, то пусть попробуют. У нас слишком много людей, которым в тягость их существование. Смерти никому не миновать. Однако умирать будет веселее, если кое-кого удастся прихватить с собой на тот свет!» Иди и передай своим эти слова!

Услышав такой ответ, иргизбай опять поскакали во все стороны, всю ночь собирали большую дружину для нападения.

По приезде в аул жатаков, Дармен остановился в лачуге старухи Ийс. Туда заходили люди, которых он знал с детства, со многими был в дружбе. Еще в детстве сироту Дармена приютили жатаки. Его друзьями были не только старшие, взрослые, как Даркембай-ага, Базаралы, но и более молодые джигиты и сверстники – Абди, Канбак, Сержан. О, это были все стойкие люди, способные стиснуть зубы и преодолеть любую беду.

Весело смеялись они над рассказом старой Ийс про то, как пинала босой ногой крикливого Мака русская баба Шокла. И даже в этом веселье джигитов Дармен видел, что уже пробудилось в них чувство уверенности в себе и достоинство.

Даркембай рассказал ему, как вчера малыши Асан и Усен увидели его раненым, жалели его и плакали. Подозвав к себе Асана, Дармен приласкал его и, похлопывая по спине, наставлял его:

– Айналайын, мальчик! Вырастешь, станешь хорошим человеком, настоящим джигитом! Твой отец Иса был батыром. И ты вырастешь, станешь таким, как он. Будешь добрым, щедрым и никого не будешь бояться!

Недовольный тем, что говорят об одном Асане, его братишка Усен просунул голову под руку Дармена и, постучав ладошкой его по колену, выразил свой протест:

– Дармен-ага! А как же я? Думаете, только Асан может стать батыром? Я тоже буду джигит и батыр, как мой агатай Иса! – говорил Усен, глядя снизу вверх на Дармена сердитыми глазами.



Дармен только теперь заметил, что и вправду малыш очень похож на отца: тот же нос, брови, глаза.

– Айналайын, Усентай, верно говоришь, ты обязательно будешь батыр! Я хотел об этом сказать тебе отдельно, потом, баурым!

Был бы жив Иса, – как бы он пригодился во вчерашней схватке жигитеков! Черный шокпар его пришелся бы к месту и в будущей схватке, на которую вызывают иргизбаи жатаков. Узнав об этом, Дармен тотчас отправил гонца с сообщением к Абаю. Джигиты, приданные Дармену, несколько раз приносили сообщения Абаю-ага.

Узнав о ночных сборах воинской силы иргизбаями, Абай немедленно приступил к ответным мерам. Велел собраться у него Ерболу, Акылбаю, Магавье, находившихся рядом, и всех своих соседей.

– Поезжайте во все соседние бедные аулы, передайте людям весть от меня. Пусть в эту ночь, до самого рассвета, бедняки едут в аул жатаков и собираются там! Если кто сам не в состоянии добраться, пусть соберутся у меня, в моем ауле. Иргизбаев много, но бедного люда намного больше. В этом злодеи еще убедятся! Пусть бедняки вооружатся, чем могут, садятся верхом на любую скотину и прибудут в указанные места!

Посланцы Абая разъехались – и в эту же ночь в предрассветной темноте с Ойкудука, Киндикти, Корыка, Шолпана, Ералы потянулись через степь караваны бедноты. Кое-кто ехал верхом на лошади, другие оседлали верблюдов, ехали на быках. В руках у этого разношерстного народа было исконное боевое оружие степи – шокпары, соилы, – и не было среди них ни одного богато одетого человека.

Вот каким образом – неожиданно, сказочно, неисчислимо увеличилось войско сторонников жигитеков. Когда Базаралы узнал, как откликнулись люди на призыв Абая, то болезнь бывшего каторжника словно отпала от него.

Иргизбаи же к полудню следующего дня стали садиться на коней. И взрослые, и молодые мырзы были полностью воору-



жены – теми же неизменными соилами и шокпарами. Тех, кто хотел в свое удовольствие помахать соилами, набралось человек сто пятьдесят. Среди мырза-баев были и те, которых изрядно поколотили недавно у жатаков. Эти мырзы и баи опасливо осведомлялись, не остался ли в ауле обоз русских переселенцев. Ибо в душе у каждого из тех, кто попробовал на себе силу ударов оглобли Шодыра, затаился непобедимый страх.

Согласно вчерашнему посланию иргизбаев – «укажите место схватки...» – и в соответствии с тем, что место не было указано, густое конное воинство иргизбаев двинулось прямо к колодцу Тайлакпая. Будучи уже на подходе к аулу жатаков, нападающие плотно связали веревочки на ушах тымаков, взяли под мышки длинные дубины соилов.

У жатаков, не имевших достаточного количества коней, воинство, в большинстве своем, состояло из пеших вооруженных джигитов. Верховые же, готовясь к сражению, возвышались в седлах, зажав под мышками соилы или шокпары. Было много верблюжьих всадников, которые тоже были готовы к схватке и стояли в боевом строю. Все разномастное воинство жатаков выстроилось на подходах к аулу, на пустыре прямо перед юртами Даркембая и Базаралы.

Малочисленность верховых конников, невзрачная разношерстность пеших бойцов, верблюжья кавалерия – вся эта пестрота казалась нелепой и смешной, – перед плотной лавой хорошо вооруженных всадников-иргизбаев, надвигавшихся на аул.

Вдруг, в последнюю минуту, с той стороны, где за отлогими холмами находились посева, – выехало на рысях около сотни вооруженных всадников. Они явно спешили к ополчению жатаков, чтобы пополнить отряд бедноты.

Когда сотня, набегавшая со стороны мелкой рысцей, достаточно приблизилась к жатакам, среди скачущих впереди всадников люди узнали Абая.

По всему бедняцкому ополчению грянуло вразнобой:



– Абай!

– Абай с нами!

– Иншалла, Абай! Всех благ тебе, родной! – с этими словами навстречу Абаю выбежал из пеших рядов Даркембай.

– Даке! Я с тобой! Пусть теперь сунутся к тебе враги! – громгласно крикнул Абай.

И крик ликования народного прозвучал ему в ответ.

Увидев прибывший на помощь жатакам отряд, иргизбаи в замешательстве стали придерживать коней, их стремительный натиск захлебнулся. Вперед выдвинулись Акберды, Такежан, Исхак, стали в крик переговариваться между собой:

– Кто это?

– Абай, кто же еще!

– Тайири! Потому и пролежал тихо, затаившись!

– Апырай! Что же это получается? Сыновья Кунанбая вышли друг на друга? – хриплым от ярости голосом прокричал Такежан, в сторону Абая.

Абай спокойно тронул с места коня и двинулся навстречу иргизбаям. За ним следовал отряд конных жигитеков во главе с Абылгазы. Приблизившись к главарям Иргизбая, с Такежаном впереди, стоявшим в ожидании, Абай придержал коня и звучным, отчетливым голосом произнес:

– Не зарывайся. Поворачивай назад. Если ты иргизбай, то перед тобой весь народ Тобыкты. Это и мой народ, мои родичи, мое племя. Не позволю тебе их губить, уходи, пока цел. Иначе ты, называющий себя сыном Кунанбая, будешь иметь дело со мной. Я тоже сын Кунанбая.

В кучке всадников, сгрудившихся за спиной Такежана, раздалась возмущенные возгласы:

– Омай! Какой позор!

– Этот Абай готов голову сложить ради жатаков!

– Не будем мы первыми начинать междоусобицу! – Этот выкрик означал, что у нападавших пропало всякое желание сражаться.



Заметив такое настроение у своих сородичей, Абай круто обрушился на них с обвинениями. Но в голосе, на лице его не было выражения ненависти. Если и проявлялся гнев, то это был гнев праведного судьи, произносящего суровый приговор.

– Эй, Иргизбай! Посмотри на этих людей! Они умрут, но не сдадутся! Я им посоветовал держаться до последнего! Если начнешь битву, кичливый Иргизбай, то проиграешь и опозоришься! Зачем тебе возвращаться домой с красной от крови тюбетейкой, с клеймом от камчи на заднице? Я велел этим людям, обиженным вами, встретить вас самым достойным образом, с оружием в руках! А сейчас немедленно уходите! Но прежде вышлите к нам трех переговорщиков! – заявил свои условия Абай.

Никто от иргизбаев не решился ответить Абаю. В полном молчании главари стали поворачивать коней и удаляться в сторону своего воинства. Однако, отъехав на некоторое расстояние, они остановились, накоротке переговорили и, выбрав из своего числа трех переговорщиков, отправили их назад. Это были Исхак, Акберды и Шубар.

Увидев это, Абай слез с лошади, стал поджидать. Отступили назад верховые жатаки из его сопровождения. Остались рядом лишь Даркембай и Дармен. Подъехавшие переговорщики, все родня Абаю и все младше него, заметно робели перед ним. Первыми почтительно отдали ему салею, сойдя с коней. Абай встретил их улыбкой, беззлобной, но убийственно ироничной.

– Абай еще не выходил против вас на боевом коне, с соилом в руках. Е! Думаете, что только вы одни джигиты! Но вы докатились до такой низости, что пришлось мне взять в руки оружие, сесть в седло. Ваше сегодняшнее гнусное намерение меня бы заставило из могилы выскочить! Астапыралла! Лучше бы мне не жить, чем видеть ваш позор, ваше бесчестие, это грязное бесчинство над бедными людьми. Не знать мне покоя, если не накажу вас! Исхак, Шубар! Первыми произнесите слова примирения! Сами назовите размер возмещения нанесенной потравы! Не смейте хитрить, лукавить, не выгадывайте! Говорите с



людьми прямо, коротко и понятно! И все скажете вот тут же, на этом самом месте! – крикнул Абай властным, непреклонным голосом.

Эти начавшиеся переговоры исподволь перешли в долгий спор, продолжавшийся до самого вечера. Однако на этот раз Абай, твердо решивший ничего не спускать своим бесчинствующим родственникам, не отступил ни на шаг.

Согласно обоюдному решению, принятому уже в сумерках вечера, тридцать задержанных иргизбаевских лошадей оставались в ауле жатаков – в возмещение потравы.

Эти тревожные события, приведшие к кровавому столкновению внутри родового существования тобыктинцев, не на шутку переполошили аулы Кунанбая. И все произошло перед самым началом годового аса по случаю кончины Оспана.

3

Рано утром в юрту Оспана приехал атшабар от исполняющего должность главы волости с целой кипой писем, казенных пакетов. Временным волостным по смерти Оспана был его заместитель, кандидат в будущие волостные на выборах – Шаке. Его атшабар, молодой, долговязый, смуглый джигит Бегдалы, передавая бумаги Абаю, дал знать ему, что имеется некое устное послание от самого волостного акима.

В юрте Еркежан кроме нее находились и другие женщины, рядом с ними сидела зеленая молодежь – Пакизат, Аубакир.

Магаш, сидевший рядом с отцом, подал знак атшабару: «можешь говорить», после чего Бегдалы сказал:

– Абай-ага, аким велел передать послание прямо в уши вам, без посторонних.

Абай молча накинул чапан, надел шапочку из белого каракуля и вышел из юрты. Отошли в сторонку, присели на землю, Абай молча уставил на атшабара черные большие глаза.



– Абай-ага, Шаке наказывал мне особо сказать про бумагу, в которой приглашение вам в канцелярию уездного акима. Было еще и отдельное письмо волостному, в котором ему и толмачу приказано «обеспечить явку» Абаю-ага в город и «проследить за этим». Шаке велел передать. «Поскольку на Абая есть жалобы в контору уездного главы, то мне думается, что усы сановника обернуты в сторону жалобщиков»...

Когда Бегдалы закончил говорить, Абай, все так же молча, поднялся с места и ушел в дом. Бегдалы остался на месте – в большом недоумении: «Ни единого слова не сказал! Или за многие годы успел так притереться к городскому начальнику, что тот уже ему не указ... Или просто со мной не хочет говорить?»

К тому времени как Абай вернулся в юрту, Абиш успел уже просмотреть всю почту, все казенные бумаги, как ему и поручил отец. Сын доложил ему:

– Есть бумага от Семипалатинского уездного начальника. Остальное – письма. Одно из них – от Федора Ивановича. Еще одно его письмо – для меня.

Услышав о письме Павлова, Абай посветлел лицом, улыбнулся. Но, вспомнив переданные ему атшабаром слова волостного Шаке, решил сначала прочитать послание от уездной канцелярии. Попросил Абиша, чтобы он прочел, тут же переводя на казахский язык. Чтобы не привлекать внимания домочадцев, Абиш подсел поближе к отцу и вполголоса прочитал ему письмо на ухо.

Уездный начальник пожелал в очном допросе получить от Ибрагима Кунанбаева ответы в связи с некоторыми последними обстоятельствами. Именно этого требовала и канцелярия губернатора. Кроме того, напоминалось Абаю, что он признан виновником за срыв сборов по недоимкам. Это уже было из прошлого года: три раза Абай вызывался в город к уездному главе на допросы. Было заведено следственное дело. Теперь дело было передано в ведомство самого «жандарала» – и через уездного начальника предписывалось Абаю явиться в Семипа-



латинскую канцелярию генерал-губернатора. Еще в прошлом году знакомый чиновник предупреждал Абая, что его дело затребовано в Омск в генерал-губернаторский корпус.

Пятого сентября на ярмарке в Карамоле состоится чрезвычайный съезд с участием Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Зайсанского уездов. «Кунанбаев обязан туда явиться, отказ невозможен».

Федор Иванович писал, что ему стало известно: на Абая подано очень много жалоб. Сам Павлов побывал, по своим научным интересам, в нескольких уездах по Иртышу, вернувшись из поездки, узнал о жалобах на Абая. Говоря о них, Павлов писал: «Мне представляется, что степные сутяжники и губернские чинуши хотят получить от вас, вместо священной жертвы Аполлону, – хорошую взятку! Но я хочу посоветовать вам, какое приглашение – от чиновника любого ранга – ни последует вам, не уклоняйтесь! Явитесь сами, говорите открыто и смело, как вам это свойственно. Уверяю вас: ваш авторитет среди людей степи очень высок. В этом я убедился, встречаясь с вашими соплеменниками в Зайсанском, Усть-Каменогорском уездах. Признаюсь, это меня весьма порадовало, и польстило... Народ ваш – с вами. При жизни нет памятника превыше этого. Ну а насчет всего остального, – мы с вами, кажется, хорошо понимаем, что жизнь – это вечное противостояние, борьба...»

Прослушав письмо, которое прочитал ему Абиш, Абай испытал необычайное воодушевление и радость. Он словно пробудился от спячки, в продолжение которой неимоверная тяжесть кошмаров угнетала его, лишая его всякой радости жизни.

Павлов словно крепко поддержал его под локоть, – как в прошлом, – своим светлым чувством искренней дружбы, своими смелыми, умными мыслями. Его философия, высокий, мудрый взгляд на жизнь – все это, кажется, способно победить любое злое, все нехорошее в этой жизни. Дружба такого человека помогает подняться над подлостью, низостью, скверной окружающей действительности – и смотреть на все свысока. И эта



дружба сейчас, в пору тяжелой душевной угнетенности, осветила душу Абая ярким светом надежды!

Абиш зачитал и письмо Павлова, адресованное ему. В нем Федор Иванович писал о последних изменениях в своей жизни. Рухнула, наконец, разделявшая его и невесту Сашу стена, возведенная надзорными органами жандармерии: после многих лет запрета им разрешили жениться. Саша была сослана в одно и то же время с Федором Ивановичем из того же Харьковского университета. Пройдя через ужас тюрьмы и через все лишения каторжной жизни, Саша осталась стойкой революционеркой, не пала духом, в испытаниях еще больше окрепла.

Находясь уже в ссылке, в Тобольске, они подружились, полюбили друг друга. В дальнейшем Павлов, прошедший уже через две ссылки в Сибирь, подвергался еще нескольким пересылкам.

И сейчас, в степи, в среде степной молодежи, отзывчивой на все хорошее, звучал пространный рассказ Абиша о любви двух русских ссыльных, о преодолении самых горестных, тяжелых преград – ради того, чтобы любовь устояла и влюбленные могли, наконец, соединиться. Все оказалось пустяками, рассыпалось в прах перед силой этой любви, – рассказывал Абиш братьям и друзьям, в назидание им – и как пример стойкости духа этого замечательного русского человека.

Магаш был удивлен:

– Может ли быть два наказания за одно преступление? За что Федора Ивановича сослали второй раз?

– После убийства царя Александра Второго на трон возвели Александра Третьего. Потребовали, чтобы все верноподданные нового царя принесли ему присягу. Павлов тогда отбывал первую ссылку, и ему тоже полагалось принести присягу, но он отказался. Зачем, мол: я человек несвободный, молодость моя прошла в царской неволе, к тому же новый царь не освободил меня. Почему я должен давать присягу, если новый царь точно



такой же, как и прежний? Вот после этого Федора Ивановича второй раз и сослали...

– Апырай! Чего же он, бедняга, говорил так неосторожно...

– Нет, он сказал то, что хотел сказать. Не многие значительные русские люди тогда посмели отказываться от присяги. Но был такой хороший писатель – Короленко, который отказался, за что и был отправлен в Сибирь. Павлова из Тобольска переслали в Омск, оттуда – в Семипалатинск. Невеста Саша оставалась в Тобольске. Ей не разрешили быть вместе с ним, царская власть надолго их разлучила. Когда же срок наказания у Саши кончился, она тотчас же приехала к нему в Семипалатинск. Недавно они получили от жандармского управления разрешение на брак и обвенчались в церкви.

Рассказ Абиша глубоко тронул его друзей. Все были восхищены верностью и силой чувств невесты Саши, которая выбрала себе столь необыкновенную судьбу.

Приняв во внимание серьезность бумаг из уездной канцелярии, Абиш хотел поговорить об этом с отцом, но Абай предпочел вновь говорить о Павлове.

– Что могут знать всякие Оразбаи, строчащие жалобы на меня, о таком человеке, как Павлов? За кого они его принимают? Для них он – такой же вор, барымтач, как Саптаяк, Кусен, Мынжасар, Серикбай, которых эти нечестивые баи сами и прикрывают. Себя же они считают лучшими людьми, хотя не стоят и мизинца того же Павлова, которого называют вором и разбойником.

Абай говорил энергично, с пробужденным былым огнем в глазах.

– Благослови Всевышний таких сыновей русского народа! Когда-то наша степь, – после нашествия джунгар, – измученная, обескровленная великим бедствием, пришла под покровительство белого царя. Пришла со своим кротким, мирным народом, с беспредельными просторами степей. И первым послом степи в Россию был Алтынсарин... Я не связан с русскими узами сва-



товства, не приобретал дружбу с ними за взятки. Но я доверился искренней дружбе настоящего русского человека!

Молчаливо впитывая в себя каждое слово отца, соглашаясь с ним, Абиш кивал головой.

– Нет большей награды за мои труды, если они поставят меня во главе каравана моего народа, направляющегося в сторону благодатного края. Но благо дается непросто, добро достигается через преодоление тягот, это должны знать все. Разве легко было тем из русских, которых мы знаем и любим? Чего только не пришлось испытать поэтам Пушкину, Лермонтову, которых я считаю своими самыми первыми русскими друзьями. А Герцену? Чернышевскому? Даже наш друг Павлов и ему подобные, мало кому известные русские люди, свою тяжкую долю воспринимают спокойно, без всяких жалоб, словно переданное им от предков наследство.

– Я, скорее всего, не доживу до тех дней, когда в нашу степь придет совершенно иная жизнь. Когда мы будем жить по новым законам, справедливым для всего народа. Когда страна наша станет полностью независимой. Если мусульманские мудрецы столетиями обещают нам «конец света», «судный день», – то мне представляется, что будущее обещает нам «разумное грядущее», которое наступит «в недалеком счастливом будущем».

Молодежь из круга Абая слушала своего учителя в глубоком молчании. Сегодня они усвоили одни из самых значительных его слов назиданий.

Абай завершил свою речь. Достал и, встряхнув черную табакерку-шакшу, высыпал из нее на ладонь щепоть табаку. Заложив насвай за губу, молча оглядел добрыми глазами свое окружение. Дармен, Магаш, Какитай также молча переглянулись меж собой, и глаза их сияли радостью и благодарностью. Уже давно им не приходилось слышать от учителя таких горячих, значительных, страстных речей.



– Пусть исполнятся все добрые желания Федора Ивановича! Своим письмом он вдохновил Абая-ага, и мы услышали слова, каких не приходилось слышать уже давно! – воскликнул акын Какитай.

– Ага, ваши слова достойны того, чтобы записать их для грядущего... – сказал Абиш, учтиво подсказывая отцу, чтобы он писал не только стихи...

Весь круг молодых акынов согласился с Абишем – сверкающими взглядами, кивком головы, порывистым взмахом руки. На что Абай ответил сдержанно:

– Не я первым сказал об этом. Абиш, ты же знаешь стихи Пушкина:

*Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья... –*

прочитал Абай наизусть, по-русски.

– Е, у русских подобные слова звучали из уст многих людей. Но у нас, казахов, еще не было человека, который посвятил бы будущему своего народа такие пламенные, прекрасные, сокровенные мысли! – И опять Абиш ненавязчиво выразил свое желание, чтобы Абай начал записывать свои мысли, высказанные в беседах, в кругу друзей, или приходящие к нему в часы уединения.

Абай ничего не ответил на это. Но Абиш, не желая отступать от своей мысли, взглянул в страницу письма Павлова и продолжал свое:

– Обратите свое внимание на то, как Павлов тоже прекрасно развивает мысль, которую недавно высказал наш ага. – И дальше Абиш стал читать письмо, сразу переводя его на казахский. – «Ибрагим Кунанбаевич, ваши сегодняшние труды, в особенности труды поэтические, создаются ради будущего. Они останутся жить в веках. В грядущем послужат на благо народа. И этому грядущему ничто не может помешать – никакие угрозы,



преграды, наказания. Готовьте молодежь к встрече со своим будущим!»

– Прекрасно сказано! – восхитился Абай.

Он еще не брал в руки письма Федора Ивановича, теперь принял его от Абиша и стал внимательно вчитываться.

Вечерние сумерки этого дня застали Абая на пути к его аулу. Он приехал туда уже в темноте, спешил к своей юрте, привязал коня. Подойдя к двери, приподнял полог, согнулся и, открыв дверь, заглянул в дом Айгерим. В юрте стояла кромешная тьма, никаких признаков присутствия человека. Да и снаружи, когда он подъехал, никто не подбежал к нему, чтобы взять повод коня. Просунув голову в проем двери, Абай позвал:

– Айгерим!

И тотчас, словно вспорхнув со стороны постели, сквозь темноту долетел до него ее мелодичный голос:

– А-а-а-бай! О, Аба-ай! Это вы? – и этот радостный голос отозвался столь быстро, словно Айгерим стерегла в темноте тот миг, когда в ее доме появится Абай.

Стремительно перешагнув порог, Абай пошел вслепую, раскрыв руки для объятия, порываясь навстречу теплу родного дыхания. Жаркое мгновенье, – и вот его рук коснулись ее нежные руки, в перстнях и браслетах.

– О, Алла... Айгерим, как я соскучился по тебе! – страстно заговорил он в темноте, обняв супругу. – Как нежно звучит твой голос, жаным! Как душа моя истосковалась по тебе, песня моя! Утешь меня скорее, отогрей мое сердце своим сладким дыханием, лекарь ты мой!

Тихим, звенящим от напряжения счастья, нежным голосом отвечала Айгерим – в той же кромешной темноте ночной юрты:

– Солнышко мое! Я тоскую, стыну без тебя, жаным! – Она спрятала лицо на груди мужа.

Со дня смерти Оспана все вокруг и они оба были в постоянном трауре. Оспан был любим Абаем и Айгерим больше всех остальных людей на свете. Немало времени проводила она в



траурном доме, рядом с Еркежан. Когда издалека прибывали на поминальные молитвы родственники, Айгерим читала молитвы и пела плачи вместе с ними.

Долгое время у Абая не сходило с лица выражение безысходной скорби. Казалось, никогда уже не проявится радостью его наглухо замкнутая горем душа. Но все равно – между ним и супругой не остывал невидимый жар души. И, словно во время уразы, – набравшись великого терпения, они лишь взглядами передавали супружескую нежность, добрым выражением лиц поддерживали друг друга. И чувства любви, преданности, нежного обожания, которые они сдерживали в траурные дни, не только не угасали в них, но, наоборот, вспыхивали еще более высоким пламенем.

Однако появилась какая-то щемящая, неизбывная тоска по далекому прошлому, когда Абая и Айгерим связывало с Оспаном молодое, горячее, безбрежное чувство братской любви... И эта неутешная тоска всецело одолевала Айгерим в последние дни, она лежала по ночам, в уединении своего дома, и сон бежал ее очей.

Она рано отпускала женскую прислугу, оставалась в юрте одна и рано укладывалась в постель. И вспоминала дни прошлых разлук, когда она так же лежала одна и думала о муже... А потом он приезжал – безмерно истосковавшийся по ней...

Теми разлуками проверялась их любовь, как испытывается истинная вера искушениями. И ту пору в их сердцах не было и тени сомнения друг о друге...

В соседних аулах старухи и болтливые абысын, жены старших родственников, начали судачить, строить всякие предположения о вдовах Оспана. Но, пожалуй, тема эта завладела жадным вниманием соседей не только в близлежащих аулах, – по всему тобыктинскому краю праздные старички и дряхлые сплетницы обсуждали ее.

По степному обывательскому представлению выходило: «Если у Оспана осталось три жены, то, в самый раз, братьев у него осталось тоже трое. Вот каждому из них и достанется по



одной из этих жен. Тут никакого спора нет. Однако которая из жен какому из братьев достанется? Вот вопрос!» С приближением годового аса вопрос этот звучал все громче в тобыктинских аулах.

Эти досужие разговоры не могли не дойти до слуха Айгерим. Однако она, с улыбкою на своем белом, полном, без единой морщины, еще молодом лице, пропускала такие разговоры мимо своих ушей, будто и не слышала их. Она по-прежнему не сомневалась в Абае. Ничто не могло бросить тень на их устоявшую в годах любовь.

Вот и сегодня вечером, когда она встретила, наконец, с Абаем, ничего другого кроме огромного чувства радости, благодарности за ласковые слова и нежные объятия супруга не было у Айгерим. И ее ответное нежное слово «куним» – солнышко, было самым искренним выражением того, что она чувствовала: над нею словно взошло яркое солнце! И то, что он со словами «айналайын, жаным» прижал ее с особой бережностью к своей груди, словно ребенка, было для нее чем-то новым, – но еще более укрепляющим ее надежду и веру к нему.

После первого порывистого всплеска чувств, смывших с их сердец всю тоску разлуки, супруги успокоились и тихо повели разговоры о делах насущных.

– Айгерим, через некоторое время к нам пожалует молодежь. Я пригласил Магаша, Абиша и других из нашего круга. Хотим побыть одни, без чужих, поговорить в непринужденной обстановке. Ты сейчас пойдешь, светик мой, и распорядись, чтобы готовились к встрече гостей. Пусть зарежут барана, принесут кумыс, поставят чай, – попросил Абай.

Айгерим уже засветила большую керосиновую лампу, поставила широкий стол перед мужем, усадила его на сложенное вдвое корпе, подложила две большие подушки ему под локти. После этого собралась выйти. Однако Абай задержал ее.

– Принеси мне книгу Лермонтова, – попросил он.



Эта зачитанная пухлая книга была для Айгерим привычной, как любая повседневная вещь домашнего обихода. Взяв ее из рук жены, Абай открыл на нужной странице и погрузился в чтение.

Молодежь вошла в дом оживленной толпой, сразу наполнив его бодрым шумом, веселыми шутками. С довольным видом, расположившись в ее кругу, Абай попил чаю, приняв чашку из рук Айгерим. В последние годы Абай старался ради здоровья как можно меньше употреблять жидкости. Так посоветовал ему Павлов: беречь сердце, не так много чаевничать, как это принято в степи у казахов.

Магаш с утра был озабочен вызовом Абая к уездному начальнику, хотел поговорить с отцом по этому поводу, но как-то все не выходило. Вот и сейчас, когда все пришли, полагая, что Абай хочет поговорить, посоветоваться с ними именно об этом, – разговор пошел совсем о другом. И начал его сам Абай.

– Вот, дорогие мои, хочу рассказать вам об одном послании, которое получил я утром. Принес его шабарман Есиркеп, отправляли Такежан и Исхак. Один из них, как вы знаете, мой старший брат, другой – младший. Так вот, договорившись между собой, они хотят теперь обработать меня с двух сторон, – сказав это, Абай замолк, будто осекся...

Среди молодых гостей был Какитай, сын Исхака. Но с детства он воспитывался в доме Абая, был ему как родной сын, поэтому на все дела и поступки Исхака, родного отца, Какитай смотрел глазами Абая-ага. И постоянно тревожился и опасался, как бы Исхак не сделал что-нибудь плохое для Абая. И сейчас Абай заметил, как напряглось и побледнело красивое лицо юноши... Успокаивающе глядя на него, Абай продолжил:

– После сшибки с жатаками, я думал, мне теперь надо ожидать от братьев только ругани да всяческих поношений... Однако я получил послание, достойное доброго внимания всех нас. Выношу его на всеобщее обсуждение, потому что дело касается всего нашего аула и каждого очага в нашем роду.



Такежан и Исхак говорят о желании провести ас по Оспану раньше, чем пройдет год...

– Е, чего они так торопятся? – с недовольством проговорил Магаш, которому хотелось быстрее вернуться к вопросу о вызове отца в город. – Год и так уже скоро пройдет.

Абай окинул спокойным взглядом сына, других и заговорил, обращаясь ко всем. Он объяснил, чем вызвано предложение его братьев.

Конец траурного года наступит в декабре, когда люди будут сидеть в своих тесных зимниках. Справить многолюдный ас в таких условиях невозможно. Да и какую будет зима, одному Богу известно, а ехать людям придется издалека. Сейчас, к концу лета, народ ничем особенным не занят, – можно провести ас дней через пятнадцать-двадцать. Если затянуть дольше со сроком – могут начаться осенние дожди, непролазная слякоть на дорогах. С водой-топливом будет туговато. И люди уже начнут разбредаться по своим зимникам. Так что есть основание подумать, чтобы провести годовую тризну по Оспану на три месяца раньше.

Абай закончил излагать дело, все присутствующие в доме призадумались. Хозяин терпеливо ждал ответа. Наконец, покряхтев, откашлявшись, заговорил первым Кокпай.

– Е, Абай-ага, по-моему, они дело предлагают. Называть можно «годовщина» или «поминки» – это ведь одно и то же. Справлять все равно надо. Я тоже не нахожу времени удобнее, чем теперь, чтобы провести ас.

С Кокпаем согласились и Абиш, и Какитай. Не был против и сам Абай-ага. После его одобрения не стал возражать общему решению и Магавья. Назначили Кокпая на завтра ехать гонцом к Такежану, сообщить ему согласие абаевского аула.

Но мягкий характером, деликатный Магаш вдруг выступил с неожиданным для всех личным соображением:

– Ага, решение это правильное, – начал он, спокойно глядя на отца. – Но не лучше ли будет, если обсудить его спокойно в



семейном кругу, а не посылать гонцов друг к другу? Я думаю, что было бы хорошо – собраться всем старшим в доме Оспана, и в присутствии его трех жен, а также приемных детей – Аубакира и Пакизат, обсудить все это!

Абаю не приходило на ум такое соображение, но оно ему понравилось, и он ласково посмотрел на сына. Существенное упущение в деле было поправлено.

Тонкий, хрупкого телосложения, бледнолицый, с едва заметно пробивающейся бородкой, Магаш был человеком большого сердца, кроткого нрава. Он всегда чутко воспринимал страдание другого человека. За это его любили и ценили – и отец, и родные, и все те, которые его знали.

Разговор по поводу аса был завершен, и, наконец, Магаш мог перевести его к вызову отца в город.

– А теперь – не заслуживает ли нашего внимания бумага от уездного головы? – произнес он.

Чуткий Абиш заметил, что по прочтении бумаги Абай весь день пребывает в беспокойстве и напряжении, но старается все это удержать в душе. И теперь, желая успокоить отца, Абдрахман взял непринужденный тон:

– Вот и мне хотелось бы узнать, – я не услышал ни слова, – что думает по этому поводу сам ага? – сказал и выжидающе поднял глаза на отца.

И тут Абай заговорил, сразу взяв решительный, деловитый тон:

– Е, чего там особенно думать. Разве не услышали вы решение в письме Федора Ивановича? Поеду к уездному голове, поеду и на собрание чиновников в Карамолу, встречу с ними лицом к лицу, послушаю, в чем они обвиняют меня. Со всеми кляузниками и жалобщиками встречу в схватке там, где они назначат. Вот вам мое решение.

Услышав это, Магаш облегченно вздохнул. Лицо его оставило выражение тревоги и озабоченности.



Оказалось, что и другие из круга молодых были в душе озабочены вызовом Абая к начальству. Услышав спокойный, уверенный ответ Абая-ага, все одобрительно закивали, с успокоенным видом переглянулись.

Абай решил вступить в борьбу с большим злом. Он стряхнул с души тягостное оцепенение перед его беспредельным всемогуществом, решил не обнажать перед юными, чистыми сердцами своих душевных ран. Он хотел явить перед ними свою решимость и волю к борьбе. Пусть увидят они, что он не упадет и не отступит перед злом, каким бы оно ни казалось им огромным и страшным. И он не хочет переложить на их неокрепшие плечи тяжесть грядущих испытаний. Он не может спрашивать у них совета в делах, для них непосильных. Ему надо думать о том, чтобы молодая поросль вокруг него сохранила чистоту души, исподволь воспитанную ими его уроками. Казалось, учитель решил: «Не буду отравлять им душу, заставляя думать их о подлостях мира. Пожалуй, не стоит мутить их чистые, прекрасные души!»

Кокпай, смотревший на Абая, как зачарованный, словно прочел эти мысли учителя.

Эта чуткая, любящая молодежь подозревала некий скрытый злой умысел в действиях Такежана, Исхака и иже с ними, направленный против Абая. Он чувствовал, что молодежь многое понимает, – но сознательно не хотел вызывать их на разговоры об этом. Пусть потом сами все увидят и утвердятся в правде.

В связи со своим решением ехать в город, Абай лишь высказался:

– Все правильно. Ас по нашему Оспану лучше справить до моего отъезда в Карамолу. Времени до этого – целый месяц. Вполне успеется...

Это предположение Абая прозвучало как продолжение его некой скрытой мысли. Абиш первым заметил это и высказал:

– Ага, эти два события имеют связь? Каждое из них будет иметь какое-то продолжение?



– Продолжение? – задумчиво посмотрел Абай на сына. – Хорошо, если бы это не имело никакого продолжения. Не хочу я, чтобы моя тяжба с недругами отразилась на вас, дети мои... Пусть хотя бы у вас будет спокойно на душе.

На следующий день в траурной юрте Оспана состоялся сход всех его родственников. Участие приняли все его жены, двое приемных детей, из старшего поколения – Такежан, Абай, Исхак. Из молодого поколения дозволили присутствовать только Абишу.

Еркежан и Зейнеп, вдовы Оспана, вначале посчитали неприемлемым предложение Такежана и Исхака, но когда Абай объяснил им, чем оно вызвано, женщины приумолкли. В этот день Абай встретился с Такежаном впервые после нашумевшего дела жатаков. Со стороны казалось, что два брата уже забыли об этих событиях. Такежан и бровью не повел, ни единого слова не сказал по тому случаю. Но чем искусней тот скрывал свое подлинное отношение к Абаю, тем он настороженнее приглядывался к своему старшему брату. Зная, что Такежан не способен на искренность и прямоту, что за его внешним благодушием кроется что-то совсем иное, Абай постарался ничем не выдать своего недоверия. И снова он с острой тоской вспоминал Оспана. Только он один в семье был искренен в чувствах приятия и откровенен в проявлениях неприятия. Только рядом с Оспаном испытывал Абай подлинное братство, – остальные братья и близкие родичи казались ему людьми из чужого племени, с неведомыми душами. Но ничего не поделаешь – надо сидеть рядом и спокойно обсуждать общие семейные дела. Сход родственников принял решение провести поминки Оспана через двадцать дней.

Решили называть поминки не «аса», что означает – годовая тризна, а «жылы» – годовщина смерти.

Древняя традиция проведения годовой тризны – аса, в последние времена стала забываться в степи. Так, уже много лет назад, не проводилось аса по смерти хаджи Кунанбая.



И тогда было много нареканий к Абаю, который не приложил усилий к этому. Но именно с кончиной Кунанбая в роду Иргизбай не проводилось аса по смерти знатного соплеменника.

Поскольку был объявлен вместо аса – жылы, то уже на другом, более скромном уровне, определялись число приглашаемых гостей и количество убойного скота.

И все равно, ввиду того, что Оспан имел огромное влияние на весь род Иргизбай и его покровительством пользовались очень многие, все его богатые родственники изъявили готовность понести немалые затраты на жылы. И общее число приглашенных было огромное. На забой должен был пойти скот как из имущества самого Оспана, так и из стад многочисленных аулов Оскенбая и всех кочующих тобыктинцев, считающих себя иргизбаями.

Абай и жены Оспана не были против такого изобилия на его поминках. Но Абиш высказал свое отдельное мнение:

– Это же так неуместно! Столько скота будет забито, чтобы съесть его за один день! Не лучше ли было бы использовать этот скот ради какого-нибудь хорошего, полезного дела?

Такежан даже не был удивлен словами Абдрахмана: «Это у него от русского воспитания. Ничего не понимает!» – посчитал он, с улыбкой снисхождения глядя на племянника.

– Е, голубчик мой! Что может быть более полезного, чем исполнить дело, угодное духу наших предков? Ради такого дела вполне уместно израсходовать сколько угодно скота. Так было всегда! И это вполне одобряется шариатом! – поучал Такежан.

– Шариат предписывает, чтобы еда с поминок попадала к голодным и бедствующим, – возражал ему Абиш, давая знать, что он сведущ в шариате. – Но у вас-то что получается? Вы заваливаете мясом сытых, заливаете кумысом уже захмелевший от него праздный люд! Я понимаю дело так: весь щедро выделенный на поминки скот не надо использовать полностью, через силу поедать за один день, – а передать весомую его часть



в живом виде тем, у которых совсем нет скота. Именно такое ваше деяние пойдет во благо духу усопшего, а не в похвалу и хвастовство его рода.

Абаю захотелось уточнить пожелание Абиша, и он спросил:

– Кому следует, по-твоему, передать часть жертвенного скота?

– А хотя бы тем же неимущим жатакам. Или мало других, доведенных до отчаяния нуждой и нищетой? Они ведь многие годы трудились на этот аул, работали скотниками, пастухами, были прислугой. Почему бы именно сейчас, по случаю поминок, не поддержать своих бедных соседей?

Речь Абиша явно не понравилась Такежану и его окружению. Однако никто Абишу и не возражал. Его слова были убедительны. Отцу же, Абаю, они показались просто замечательными. Он за этими словами услышал голос нового поколения.

Такежан не испытывал никаких враждебных чувств к Абишу. Но его «неприличная прямота» была воспринята дядей как признак легкомыслия и пустопорожней болтливости. И посему, коротко хихикнув, Такежан пренебрежительно заметил:

– Абдрахман, голубчик, с чего ты заладил одно: жатаки-матаки! Черт с ними! Если ты говоришь о бедных, то предостаточно их можно откопать и среди наших соседей. Кому надо – тому и поможем! – и, отвернув голову в сторону Исхака, подмигнул ему.

Исхак же не собирался придавать хоть малейшее значение словам Абиша, он даже не слушал его, уделяя внимание только словам старших. Но сейчас, желая окоротить говорливого племянника, Исхак коротко подытожил:

– На поминках предусмотрен скот и на пожертвование, и на подаяние бедным. Придет время, – посмотрим, что к чему. А сейчас незачем об этом говорить.

Здесь Абай промолчал.

С наступлением вечера родственники, обговорившие все вопросы, стали расходиться.



Абай, взяв с собой Абиша, направился к своему аулу. Они решили пройтись пешком, вели своих коней в поводу.

Положив руку на плечо сына, Абай шагал неторопливо, вспоминая недавние слова Абиша.

– Ты говорил правильно о жатаках, нищих и обездоленных. Но я хочу тебя вот о чем спросить... Ты говорил это, начитавшись умных русских книг, или же сам стал понимать, отчего такое положение у жатаков?

– И книг начитался, отец, и сам увидел то, как живут жатаки.

– Ты разве бывал у жатаков?

– Гуляя пешком, заходил к ним в аул.

– Что, и Даркембая видел?

– Да.

– Это хорошо, сынок. Даркембай – мудрый человек. То, что вычитываем мы из книг, он берет из самой жизни.

– И пробует на собственной шкуре.

– Да, и это правда. Если сумеешь аксакала расположить к себе, то услышишь от него назидательное слово самого народа... Но я хочу поговорить с тобой вот еще о чем. Ты хотел бы, чтобы часть жертвенного скота мы раздали неимущим жатакам. Ну хорошо, мы распылим скотину по одной, по полутора голов... Это будет неплохая подмога многим беднякам на целый месяц. Но, астапыралла... знаешь ли ты, как огромна масса нуждающихся в одной только нашей тобыктинской степи? Для них такая благотворительность – как клочок старой шкурки. Сможешь ли ты таким образом помочь своему несчастному народу, Абиш? Станешь ли ты лекарем от нищеты для бедного люда? – спросив это, Абай испытующе посмотрел на сына.

Абиш смутился, не нашелся сразу, что ответить. Потом, опустив голову, тихо молвил:

– Отец, я ведь еще не закончил свою учебу...

– Да, не закончил. Но скоро закончишь. И таких, как ты, будет уже немало на нашей земле. Казахские дети получают сейчас русское образование. Уже известна учащаяся молодежь из Кар-



каралинска, Омска, Караоткеля, из еще более дальних мест – Оренбурга, Троицка, из среды обитания Младшего жуза... Вы будете первыми ласточками новой эпохи. Как перелетные птицы из настоящего в будущее.

– Ага, но казахская молодежь из тех мест, что вы перечислили, получает не такое уж хорошее образование...

– Знаю. Им приходится довольствоваться малым. Они поголовно становятся толмачами, писарями. И многие из них вместо добра приносят своим людям одно зло, занимаясь вымогательством, беря взятки. В лучшем случае, они могут стать исправными чиновниками.

– Мне встречались люди, в Петербурге и Омске, которые читали ваше стихотворение «Учатся в интернате». Они лестно отзывались об этих стихах.

– Ну, в таком случае, можно считать, что это мыслящая молодежь, – улыбнулся Абай. – К таким относишься и ты, мой сын. Вот и скажи мне, от себя и от всей мыслящей молодежи, как вы представляете свое будущее?

– Ответ один: закончим учебу, начнем работать. Постараемся быть полезными людям, находясь на своей службе.

– На службе при канцелярии «жандарала» или в конторе уездного начальника? Толмачом в суде? Для народа пользы будет немного, сынок... А найдется ли среди вас человек, который захочет послужить своему народу в самом высоком смысле? Как лучшие русские мыслители?

– Из подобных людей среди казахов я знаю только двоих.

– И кто же они? – спросил Абай.

– Один из них – Чокан Валиханов, умерший совсем молодым. Второй – Ибрай Алтынсарин, выходец из Оренбургской земли, – ответил Абиш.

Абай знал об Алтынсарине, слышал о нем много хорошего. Про Чокана знал мало. Абиш охотно стал рассказывать отцу о них. Он слышал от многих известных людей Сибири про писателя Чокана Валиханова.



– Мне, к сожалению, не приходилось читать его книг, – сказал Абиш. – Но каждый, кто читал, высоко отзывался о них. И еще говорили мне, что после него оставалось много рукописей, которые куда-то исчезли.

Абай и Абдрахман с сожалением говорили о ранней смерти Чокана, о пропаже его рукописей.

– Алтынсарин тоже писал книги, сочинял стихи. Он также открыл первую русско-киргизскую школу. Вот кто своими знаниями послужил казахской молодежи в самом высоком смысле! – воскликнул Абиш.

– Барекельди! Это достойный пример для всех. Его школа – великое начинание! Если бы все казахи, получившие хорошее образование, вернулись в родную среду и открыли в своих уездах такие же школы! – рассуждал Абай.

– Отец, а я ведь хочу поставить перед собой именно такую цель! – вдруг взволнованно заговорил Абиш. – Прошу выслушать и не судить меня строго...

Отец при всех встречах всегда выказывал ему беспредельное доверие, был откровенен с Абишем, до конца искренен во всем. Благодарный сын отвечал отцу тем же. Но все равно ему было трудно сейчас сделать свое признание.

Абиш признался, что артиллерийское училище, куда он поступил волею случая, стало ему в тягость. Военная школа воспитывала и муштровала учеников только в одном направлении, – готовила из каждого юнкера орудие, инструмент для защиты и поддержания царского престола, короны. На всю жизнь оставаться бездушным, тупым исполнителем чуждой воли – не хотелось...

– Думаю, – надо все оставить и приехать сюда, в Ералы, построить школу и обучать русской грамоте окрестных детей. Недавно мне Даркембай говорил: «Не увози за пазухой полученные знания... Неси свет науки в родные края. За твоей спиной – родная поросль, детишки. Дай им русское образование!» И мне показалось, отец, что это пожелание не только одного Дар-



кембая... Сегодня, в разговоре с нашими аксакалами, я не стал раскрывать перед ними все свои мысли. А подумал я, что хорошо бы часть скота, собранного для поминок Оспана-ага, потратить на постройку школы в среде жатаков... Сейчас, после разговора с вами, я окончательно утвердился в своей мысли. Что скажете на это, отец? – волнуясь, спросил Абиш, завершив свое признание.

– Айналайын, мой Абиш, ничего я не могу тебе сказать, кроме того, что счастлив я слышать твои слова и благодарен тебе за них безмерно!

Слова благодарности Абая потрясли Абиша. Сын словно увидел раскрывшуюся душу своего великого отца, в которой жила беспредельная любовь и забота о своем народе. Чувство радости, гордость и восхищение переполнили сердце Абдрахмана.

Их пешая прогулка подошла к концу. Ведя за собой коней в поводу, отец с сыном приблизились к своему аулу. Подходя к дому Айгерим, Абай завершил разговор о поминках Оспана:

– Завтра, когда мы втроем, Такежан, Исхак и я, будем распределять скот для подаяния бедным, я выскажу, в нужную минуту, твое предложение. Своею волей посодействую, чтобы жатакам досталось как можно больше скотины. Чтобы подать пример, я пожертвую своего скота больше, чем каждый из братьев.

Уже возле самых дверей юрты Абиш, словно споткнувшись, пошатнулся и остановился, схватившись рукою за грудь. Абай обеспокоено спросил, что с ним. Сын, невольно скорчившийся от боли, убрал руку с груди и выпрямился.

– Уай, что-то кольнуло в груди. Вчера ночью спал, не укрывшись, вот, наверное, грудь и застудил. Колики напали.

Что бы там у него ни было, но выразился Абиш так, как мог бы объяснить свое недомогание любой степняк из народа... Со дня приезда в родные степи его болезнь не подавала еще столь явного признака... Однако его простонародное объяснение успокоило отца, сняло с него вдруг появившуюся на сердце тревогу.



С того дня прошло около недели. Вдруг в полдень приехал Утегелды, джигит из ногайского аула. Он решительно был настроен откровенно поговорить с Дарменом и Абишем. Никто ему не поручал это сделать, послания никакого не отправил с ним. Он выехал самостоятельно, единственно по той причине, что уже никакого не было покоя у него на душе – от сочувствия к девушке Магрипе, исстрадавшейся в гнетущей неизвестности. Но страдала не только одна Магрипа. Взрослые ногаи, главы большого аула, старики и старухи-родственницы пребывали в состоянии неопределенности и выжидательной настороженности. Все окружающие казахские аулы были отнюдь не прочь породниться с ногайским, богатым и сильным, с красивыми невестами, и засылали туда сватов довольно часто. И к Магрипе этим летом уже дважды приезжали свататься. Но сватам было отказано, ибо сдерживало родичей девушки тайное послание Дильды к матери Магрипы: «Пусть не отвлекаются на других женихов, наши намерения не изменятся. Всевышнему будет угодно, так порадуемся, соединив Абиша и Магрипу. Просьба только одна: потерпите. Храните спокойствие».

С тех пор ничего не изменилось. Магрипа сидит, словно без веревки связанная. В этом году и отцам ногайского аула пора было заполучить ясность насчет ее сватовства. Задержка с ним могла быть объяснена только одним: смертью Оспана в роду Кунанбая. «Видимо, глубокая печаль, охватившая Абая, не позволяет ему без задержки заслать сватов. А потому нельзя их винить в том, что не сказано следующего слова после первого, обещанного».

Молодые женщины, подружки-невесты, сочувствующие Магрипе, закручинились о том, что с тех пор, как побывал в ауле и уехал Абиш, не было от него ни единой весточки. Утегелды хорошо прознал обо всех этих женских переживаниях и пересудах в ауле, однако от самой девушки он не услышал ни слова жалобы. И ему, столь постаравшемуся ради первых шагов их встречи и знакомства, была известна секретная причина тер-



пения и спокойствия Магрипы. В начале прошлой зимы Дармен и Утегелды, встретившись, «написали», поочередно диктуя Магашу, якобы письмо от него старшему брату. В письме было с чувством поведено о состоянии души красавицы Магрипы, в чем-то крепко обнадеженной Абишем. И, получив это письмо, Абиш написал братишке ответное письмо из Петербурга. В нем были строчки, обращенные напрямую к Магрипе. Письмо было передано через Утегелды девушке в ногайский аул. Он и те, которые ждали от далекого джигита прямых и ясных слов: «мол, хочу немедленно жениться на тебе», были сильно разочарованы. Ибо он написал: «Милая ровесница! Я не забыл вас. В моей душе хранится великое уважение и почтение к вам. Посылаю свой привет, чтобы вы знали и помнили об этом».

Утегелды даже и предполагать не мог, что пишутся такие письма, напищенные столь мягкотелой деликатностью.

– О чем тут настрочил твой умный торе? – забушевал Утегелды. – Почему Кудаи не вложил ему в уста такие хорошие, крепкие слова: «Сгораю от любовной страсти по тебе! В скором времени в ваш аул прискачет атшабар от меня! Передай с ним свое слово верности мне!» Или у Абиша, если он скажет откровенные слова, коня отнимут, чапан стянут с плеч? Отчего же уклоняться ему? Какие-то проволочки устраивает, жилы тянет! Мне поехать к Магыш – и что сказать? Намерен он ее брать или не намерен? Омай! Или сказать мне, что свататься пока еще не собирается, а посылает свой скромный привет?»

Но когда Магрипа получила в руки то письмо Абиша, она была бесконечно счастлива. Веселый, звонкий смех ее несколько дней доносился до юрты Утегелды. Девушка целыми днями пела нежным своим голосом разные песни. Утегелды только руками разводил.

В ее голосе звучала надежда, которую Абиш сумел ей переслать из Петербурга в степь – прямо в ее сердце.

Но чем больше слушал трепетный голос Магыш джигит Утегелды, доверенный от предполагаемого жениха, тем больше простодушный ногаец возмущался в душе на этого жениха.



И вот теперь он приехал с намерением своими устами, открыто высказать Абдрахману, что терпению его пришел конец. Но сначала Утегелды об этом высказал Дармену. Тот уговорил ногайца не горячиться и оставил его у себя ночевать. Вечером того же дня Дармен пошел к Абдрахману и, наедине с ним, искренне выразил ему свое мнение, – такое же, как у ногайца Утегелды.

На этот раз Абиш не ушел от разговора.

– Приехал Утегелды? Магрипа, говоришь, ждет от меня одной весточки? Знаю. Но и ты должен знать: у меня также есть тайна, которую она должна узнать только от меня... Передай Утегелды, что я не доставлю Магыш никаких неприятностей. Даже нечаянно... Будет у меня к нему и к тебе одна просьба. На днях мы с тобой вечером тайно отправимся в ногайский аул. Сделайте так, чтобы мы с Магрипой встретились где-нибудь, хотя бы на часик, – попросил Абиш.

Дармен немедленно передал просьбу Утегелды, тот уехал, не задерживаясь. По приезде домой поговорил с Магрипой и с женой Мусабая, они втроем составили ответ Абишу: «Пусть приезжает, встретитесь в доме Утегелды».

На третий день, как было условлено, в час отхода ко сну, на каменистой тропе, за небольшой горой перед ногайским аулом Абиша и Дармена встретил Утегелды.

Все пространство прохладной осенней ночи было залито лунным светом. Путники выезжали из Ералы под вечер, после возвращения овец с пастбищ. Им не хотелось встречаться с людьми на дороге, ибо приближались поминки по Оспану, и всякие досужие разговоры по поводу сватовства невесты были недопустимы для Абиша. И сейчас, уже подъезжая к ногайскому аулу, путники были довольны тем, что никто не увидел их на пути, при свете яркой луны.

Когда в тишине ночи послышался звонкий топот копыт, Дармен успокоительно поднял руку: «Едет!» И вскоре впереди показался Утегелды, одетый в серый чекмень, на коне серой ма-



сти – чтобы сливаться с мглой ночи. Этот джигит был опытным человеком в делах устройства ночных свиданий и всяких других джигитских проделок, когда нужно было быть невидимым.

Абиш давно слышат цокот копыт коня по камням, – но увидел всадника внезапно, словно тот возник из воздуха перед самой головой его лошади.

– Омай, Утегелды, ты ли это? Появляешься из ниоткуда, как привидение!

Утегелды припал к гриве лошади, распластался на ней и во все слился с нею. Снизу искоса глядя на Абиша, стал балагурить:

– Гляди, чем я не ночной вор? Никакая собака меня не заметит! Ни одна сука в ауле не твякнет! – шутливо похвалялся он, горделиво выпрямившись в седле, поводя плечами. – Теперь отсюда держитесь прямо на ту звезду. Подъедете к заметному утесу с острой макушкой. Оттуда до аула рукой подать, там и подождете немного. А я сейчас отправлюсь назад, всех подготовлю к встрече и подъеду за вами. – С тем Утегелды и ускакал.

Спустя примерно час, привязав коней на калмыцкий манер, голова к голове, джигиты направились пешком к аулу.

Место встречи, по последнему выбору Магрипы и ее женге, было назначено не в доме Утегелды, как договаривались раньше, а в юрте-отау для молодых, стоявшей рядом с Большой юртой Мусабая.

К приходу Абиша и его спутника в юрте был поставлен круглый столик, на торе расстелены корпе для гостей, горела яркая лампа. Магрипа и ее женге Турай стояли перед высокой кроватью с костяной инкрустацией, находившейся справа от тора. На девушке был расшитый камзол, сверху накинут бешмет из крашеной черной чесучи. Головку ее накрывала тубетейка-такия в позументах, украшенная пучком перьев филина. Эту шапочку с особенным волнением рассматривал Абиш, – она была на девушке в первое их знакомство... Там, далеко за снежными вью-



гами зимы, он не раз представлял ее именно в этой шапочке... тогда лицо ее было безмятежно прекрасным, сияющим.

Теперь на этом лице читалось напряженное волнение. Девушка была бледна. Она показалась Абишу сильно похудевшей, утратившей пылкую радость юной женщины, осознающей всю силу своей незаурядной красоты, – как было в прошлом году...

Но вместо этого, – другая, еще более могущественная и притягательная красота воссияла на ее лице, излучалась в блеске ее огромных серых глаз. Это была красота пробудившейся чудесной души, осиянная светом зрелого разума.

Сначала, когда в юрту вошли гости, Магрипа стояла скованно, без кровинки в лице. Но когда Абиш подошел и, на русский манер, протянул ей руку для приветствия, она вся вспыхнула, словно ее накрыло горячей волной.

Жена Мусабая была взята из рода Иргизбай и приходилась старшей родственницей Абишу, она встретила его тепло. В доме уже закипал самовар. Женге сама взялась прислуживать гостям, разливала чай, потчевала и Магрипу, и Абиша с его друзьями.

За чаем почтенная, обстоятельная байбише начала расспрашивать у Абиша, сколько времени он пробудет в ауле, сколько ему осталось учиться у русских, где он собирается жить после учебы. Умело налаживая непринужденную беседу, ловкая байбише сумела преодолеть общую скованность первых минут встречи.

В ее вопросах не было ничего предосудительного, излишнего по отношению к гостю, ибо она приходилась ему родственницей и резонно могла пожелать услышать многое из того, чего еще не знала. Задавая свои вопросы, хитроумная женге заставляла Абиша высказать все, что интересовало ее подопечную Магыш. Итак, справившись со своими задачами посредницы, женге Турай удалилась.

После чаепития Утегелды и Дармен, заявив, что идут проверить коней, также вышли из юрты.



Оставшись наедине с девушкой, Абиш разволновался еще сильнее, заговорил с дрожью в голосе:

– Магыш, я очень хотел увидиться с вами. Благодарю, что вы не воспротивились этому.

Магрипа на это ничего не ответила. Смущенно улыбнувшись, бросила мимолетный взгляд в его сторону и сразу же опустила ресницы. Молодая, чистая, хорошо воспитанная красавица-ногайка, никогда еще не остававшаяся наедине с молодым джигитом, не столько стеснялась его, сколько была в недоумении от его поведения и речей. Однако, ничего не отвечая ему, она сидела к нему вполоборота и, – по всему виду ее, – вслушивалась не столько в его слова, как прислушивалась к тому, что говорило ее собственное сердце.

– Айналайын, Магыш, я приехал в этот раз, чтобы просить у вас прощения... – наконец высказался он определенно.

Магрипа продолжала молчать, ощущая в душе сильнейшее недоразумение: «Просить прощения?! За что?» Как бы услышав эти слова, Абиш опустил голову и тихо произнес:

– За то, что заставил слишком долго ждать... Без веревки связал вас.

Магрипа сидела, прикрыв ресницами глаза, и спрашивала себя: «О, Аллах... Да разве я винила его за то, что ждать пришлось?..»

Мгновенно лицо ее вспыхнуло от стыда, покрылось пунцовым румянцем. У джигита, наоборот, оно побледнело, нахмурилось, стало отчаянным, лицо его истинно представляло все, что происходило у него в душе.

– Также заранее прошу прощения за то, что хочу я вам сегодня сказать... признаться... Никогда не поздно, как говорится, сделать благое дело... Я приехал открыть вам тайну, которую не открыл ни отцу с матерью, ни братьям. Вся недобрая правда в том, что я вовсе не собирался сегодня объявить свое окончательное решение для нас двоих... – Так говорил Абиш, и голос его не раз прерывался.



«Но тогда зачем, зачем он приехал?» – Магрипа на этот раз вся похолодела, и лицо ее сразу стало натянутым, побледнело.

– Магыш, увидев вас в прошлом году, я понял, что встретил на этом свете самого дорогого для меня человека. Это так, Магыш... Но есть одна тайная причина, которая не дает мне возможности поклясться в верности вам и просить своих родителей: «сватайтесь!» И я никак не решаюсь теперь приоткрыть перед вами завесу тайны...

Бесконечная печаль пала на сердце Магыш. Она сразу подумала, что это за тайна может быть у такого чистого душой, открытого для всех джигита. Эта тайна, наверное, – данное уже кому-то слово, которое он не может нарушить. Есть у него другая возлюбленная. Что тут удивительного? Разве только я одна могу изводиться из-за такого джигита? У него обещание, которое он дал той возлюбленной, – вот и вся «страшная тайна». А иначе – что может быть?

И снова, услышав ее невысказанный вопрос, Абиш тихо ответил:

– Это болезнь, Магыш... Я имею в виду мою болезнь...

– Какая болезнь? – невольно вскрикнула Магрипа, впервые за все время встречи подав свой голос.

И вновь ее лицо запылало, раздумянилось. Сумасшедшая радость охватила ее: значит, не соперница? Ну а болезнь... Что за болезнь? О, разве болезнь может иметь какое-то значение! Ведь Абиш для нее – все, и вместе со своей болезнью.

– Еще с прошлого года врачи в Петербурге нашли у меня больные легкие. Ничего не буду скрывать, Магыш. Очень хороший доктор сказал мне, вполне откровенно: я не должен обзаводиться семьей. Девушке за меня нельзя выходить, потому что, если болезнь пойдет дальше, она может передаться жене... Как видишь, моя радость, я очень болен, в этом и вся моя тайна. Вот я и приехал, чтобы открыть тебе, душа моя, всю горькую, недобрую правду.



– Абиш, и это все?

Короткий этот ответ мгновенно открыл Абишу многое. Ее серые большие глаза, блестя набежавшими слезами, неподвижно смотрели на него. В этих глазах он читал ее, Магрипы, сокровенную тайну. Она была в том, что ногайская красавица всем сердцем своим любит его, верит ему, что уже давно все свои помыслы о беззаветном супружестве и привязанности на всю жизнь связала с ним. И если была бы другая, более спокойная и соответствующая обстановка для признания, то девушке было бы труднее выразить все это. Пораженному джигиту показалось, что она даже благодарна ему за его откровенное признание.

– Оу, но я же сказал, что болезнь передается... Неужели вы не поняли, что это не дает мне никакой надежды... Видно, не судьба быть вместе. Она оказалась жестокой к нам.

Удивительно повела себя дальше ногайская красавица. То, что она с таким спокойствием восприняла известие о страшной болезни Абиша, вначале насторожило его: не легкомыслие ли девичье проявилось при этом? Но в следующую минуту, услышав ее ответные слова, высказанные со всей искренностью и страстью любящего сердца, джигит снова был потрясен ее словами:

– Абиш, мне тяжело слышать, что вы больны. Но если вы думаете, что любая болезнь, пусть самая страшная, станет преградой между нами, то я скажу вам, что это не так. Для меня ясно давно, что я с вами готова разделить все радости и все горести, Абиш. Искренне любящие друг друга люди должны ведь так и поступать... У меня нет другого желания, кроме того, чтобы связать свою судьбу с вашей и вместе пройти через все испытания жизни.

– Магыштай, жаным, неужели вы так сильно любите меня? Могу ли я поверить?

– О, я ничего не боюсь! Что бы ни стало на моем пути к вам...



– Магыш, айналайын, до конца ли вы понимаете, что говорите? Если болезнь усилится, можете заболеть и вы. Ведь между нами стоит смерть! Смерть, моя любимая! Вы понимаете?

– Всего лишь смерть?

– Да, смерть! Я уйду и тебя заберу с собой... Зачем нам это?

– Ты умрешь, – но день вечной разлуки с тобой для меня станет последним днем моей жизни, родной мой!

Магыш заплакала, крупные слезы переполнили глаза, хлынули по ее лицу. Не помня себя, джигит обнял плачущую девушку и стал покрывать поцелуями это прекрасное лицо, эти плачущие глаза. Не противясь ему, Магрипа отдалась поцелуям, сомкнув свои длинные нежные руки на его шее.

Их молодая, сильная взаимная страсть возникла сразу и внезапно, в минуту самую горькую и трудную для них обоих. И в том была порука истинности их чувства. Прежде чем оно родилось на берегах этой жизни, они успели вместе познать и преодолеть такие роковые преграды, как «разлука», «судьба», «болезнь», «смерть». Теперь все эти мучительные преграды позади, – и жаркое солнце великой любви воссияло над ними.

Бесконечно длилось их безмолвное, беспмятное объятие. Надолго замерли они, не отрывая глаз друг от друга, любясь друг другом, тихо торжествуя.

Но пришло время расставания. Абиш объявил невесте свое решение:

– Скоро справим поминки Оспану-ага. После чего в аул к вам приедут свататься мои близкие люди... Но уже отныне и навсегда, Магыштай, – ты самый близкий и дорогой мне человек, ты моя радость и счастье, единственная любовь и спутница моей жизни!

Эти слова вознесли Магрипу в сияющее поднебесье счастья.

Наутро, собираясь садиться на коня, Абиш поведал о своем решении Дармену и Утегелды. Последний не уезжал с ними, оставался в ногайском ауле.



– Тебе и Дармену – вам обоим от всей души моя благодарность за все! Теперь Магыш будет моей супругой. Иншалла! Мы уже все решили.

– Е! Зятек! Айналайын, хвала твоим устам! Давно бы так и сказал, по-нашему, по-простому. А то ведь было не понять – то ли по-казахски, то ли по-русски... Иди ко мне, дай обниму тебя!

– И Утегелды крепко прижал к груди Абиша.

Абдрахман и Дармен уехали из аула радостные, веселые, – чтобы в следующий раз вернуться туда уже за невестой.

В ОКРУЖЕНИИ

1

В поминках по Оспану участвовали все аулы Кунанбая, и родственники изрядно переутомились, принимая многочисленных гостей, обеспечивая коновязью и кормом великое множество их лошадей. Стойбище аульное было истоптано и замусорено, надо было перекочевывать на другое место.

Откочевала на новую стоянку и хозяйка очага Исхака, женщина властная и надменная, державшая мужа под каблуком. Звали ее Манике. На новой стоянке рядом с ее аулом располагался аул Такежана. И теперь жены двух братьев, да и сами братья, могли в любое время встретиться и обсудить все насущные дела. Каражан устроила ерулик, угощение по поводу прибытия на джайлау новых соседей, созвав всех родичей из их аула и многочисленных соседей.

После обильной трапезы гости разошлись, а Такежан и Исхак пошли ставить временный уранхай. Оставшимся женщинам и нескольким мужчинам, особенно никуда не торопившимся, властная Манике бесцеремонно заявила:

– Е, все из нашего аула! Вам что, неохота уходить из дома моего ахкема¹? Поели как следует, попили, – пора и честь знать. Расходитесь по своим делам!

Дом Каражан опустел, остались только две абысын – старшие жены братьев. Похудевшая с возрастом, с плоским черствым лицом, Каражан смотрелась старухой. Манике же, не намного моложе, полная, круглолицая, с двойным подбород-

¹ Ахкем – старший деверь.



ком, имела цветущий вид и одета была щеголевато. Во всей округе не было женщины, которая столь тщательно следила бы за своей внешностью, облачалась бы в такие нарядные кимешек, так умело крахмалила и подсинивала свое белое одеяние. На ее чесучовом камзоле пуговицы были отделаны драгоценными камнями.

Манике рожала мало, – всего одна дочь выжила, и ни одного сына. Она была второй женой Исхака, у которого от покойной первой жены было два сына, Какитай и Ахметбек. Когда умерла их мать, появилась в доме красивая Манике, стала в нем полновластной хозяйкой и любимой, избалованной супругой Исхака.

Она подчинила мужа своей воле не только в силу надменного характера, злоязычия и властности. Она пристрастилась курить опиум, к чему приучила и мужа, и он в последнее время полностью подпал под ее тлетворное влияние. Приобретая опиум и анашу в проходящих по тракту ташкентских караванах, она вовлекала Исхака в домашние опиумные «увеселения», после которых он становился еще более безвольным и послушным. Она могла дерзить ему как угодно, держалась с ним надменно, словно он приходился ей не супругом, а кем-то из незначительных, подчиненных соседей.

Начала вести себя настолько дерзко и заносчиво, что ее стала бояться вся родня – весь Иргизбай, Олжай. Мужчины сторонились Манике, убегая от ее злого, ядовитого языка. И только один Оспан, когда был жив, мог бесцеремонно осадить бабу и поставить на место:

– Взяла верх над мужем и остервенела. Твое бесстыдство не знает равных по всей степи. Однако, айналайын, поделись тайной, – какое у тебя происхождение? Вот все мы – казахи, считаем себя детьми человеческими. А ты у нас кто? Не гурия ли небесная, изящная да нежная? В таком случае – чем ты какаешь? Неужели тем же самым, что и все грешные создания?



Или то, что у нас смердит и воняет, из твоего райского тела выходит самым нежным благоуханием?

Еще перед одним человеком зубы ее злословия оказывались мелковаты, – не смела она их обнажить перед Абаем. И как бы он ни был Манике не по душе, но ей всегда приходилось склоняться перед ним, пряча глаза, ибо он был просто умнее ее, остроумнее, не говоря уже о том, что он приходился ей старшим родственником.

Но на стороне, вдали от него, Манике не стеснялась распустить свой язычок:

– Ойбай, не говорите мне про Абая! Меня тошнит от него. Когда я слышу, что он умный мужчина, то мне становится дурно. Неужели таких убогих, как наш ахкем Айнеке, называют мудрыми, образованными? Оказывается, бродят по свету и такие мудрецы!..

Айгерим приходилось слышать от посторонних людей, как высмеивает невестка Манике своего шурина. Выслушав такое, Айгерим только лишь заливалась звонким смехом. Но однажды, покраснев от стыда за грубую родственницу, все же высказалась шутивно:

– Видно, двум умным людям трудно поместиться в одном роду Иргизбай, как двум бараньим головам в одном казане. Хотя бедняжка Манике, я слышала, никак не могла назвать имя предка рода Иргизбай.

Сейчас эта самая Манике сидела рядом с Каражан в ее юрте, и две почтенные абысын перемывали косточки мужчинам. Доставалось их мужьям, попадало и Абаю. Домашний же суд шел вокруг наследства Оспана.

Надо было рассудить, как, согласно древнему степному закону аменгерства, распорядиться судьбами трех вдов Оспана. Несомненным было, что их должны разобрать три родных брата Оспана, взять себе по токал. Согласились на том, что выбор новых жен будет предоставлен самим аменгерам – Исхаку, Такежану, Абаю.



Помимо этих старших женщин – скрытым корнем колючих интриг являлся сын Такежана, Азимбай. Однажды он так высказал Манике:

– Женеше-ау! Много ли мы знаем, а? Вот уже пора бы прояснить, – каким это образом так глубоко укоренился в Большом доме Абай? Не тем ли, что два его ребенка, внук и внучка, отданы были в усыновление Оспану? Теперь Абай днюет и ночует в доме Еркежан. Засел там со всеми нукерами, со своими сыновьями и внуками, и не выходит оттуда! Женеше, как вы думаете, – почему это? Не потому ли, что они втайне договариваются меж собой, без нас, как провести дележ имущества?

– Е-е-е! Астапыралла, да ведь я так и знала! Абай плетет свою паутину, а Еркежан, видно, только рада туда попасть! Тот же, – она всю зиму не вылезала из своей юрты!

Азимбай поддакивал ей, хвалил ее прозорливость:

– Хотя бы Кудай надоумил нашего Исхака-ага! Ведь он такой наивный, честный, ни о чем не подозревает. А не останется ли он завтра валяться на земле, у чужого порога, с оскаленными от голода зубами? И все из-за своей честности и чистоты! Ведь уйдет богатство из ваших рук, женеше, потом лишь локти будете кусать!

Манике не очень-то поверила таким словам Азимбая, как «честность», «наивность», которыми он разукрасил портрет ее мужа Исхака – они приличествовали, скорее, Абаю и его окружению, нежели Азимбаю. Сварливо накинута на него:

– А тебе-то какая выгода, заикаться об этом? Ну, уйдет богатство из наших рук, а ты-то причем? Давай-ка лучше прямо растолкуй мне, что к чему, куда ты гнешь...

Пришлось Азимбаю осторожно объяснять своей женге, что он опасается того, что его мать Каражан ни за что не разрешит отцу, Такежану, взять в токал старшую вдову Оспана – Еркежан. А ведь по праву старшего аменгера именно Такежан



имел право первым выбирать себе жену из трех оставшихся после брата вдов. Если так не получится, то на Еркежан может жениться Абай, и тогда он станет хозяином большого дома и всего имущества Оспана.

Дело в том, что аменгер, не взявший в жены вдову своего родного брата, не имеет права дотрагиваться до наследственного имущества покойника. И опасения Азимбая, что если его отец Такежан не женится на Еркежан, побоявшись своей байбише Каражан, то имущество Оспана уплывет от него, были не без основания. Азимбай же спал и видел, что все немалое достояние покойного Оспана должно перейти, в конце концов, через отца в его собственный дом. Но его родная мать, Каражан, могла помешать всему этому.

И сын Такежана задумал настроить самонадеянную Манике, которая недолюбливала Абая, чтобы она уговорила Каражан – разрешить отцу взять токал. И это Азимбай устроил, чтобы Манике пришла к его матери и осталась с нею наедине. Сам он сел снаружи юрты перед входом, начал строгать ножом длинный шест под арканый курук. Кликнул свою жену, толстую смуглую Матиш, и приказал ей:

– Никого в этот дом, к нашей апа, не пускать! Пусть ни одна душа не пройдет к ней, не помешает разговору, поняла?

С большой головой, с широким плоским лицом, багровыми щеками, обросший угольно-черной бородой, Азимбай словно караулил возле настороженной ловушки, стругая свою палку для курука. Думая о каких-то невероятных хитросплетениях и тайных ходах в ведомой им интриге, Азимбай хитро и торжествующе улыбался. Ему виделись тысячные табуны кунанбаевских светло-рыжих, темно-гнедых скакунов, которые проходили перед его внутренним взором бесконечной вереницею, как бы смиренно говоря ему: «Мы – твои!»

А в это время в юрте Манике всю обрабатывала его мать Каражан.



– Женеше, а что думает наш ахкем – Такежан? Собирается ли начать разговор о разделе вдов? – вкрадчиво спрашивала она.

– Думаю, что нет. Опасается твой ахкем, что матери и жены рода осудят его: мол, еще года не прошло, а уже хотят аменгеры разделить вдов покойника.

– Вот оно что... Хотя я и сама подумала: больно уж кроткие люди мой деверь и твой деверь – ни за что не решатся пойти против молвы и пересудов. Поэтому наши мужья, женеше, – эти боязливые шайтаны, могут остаться, в конце концов, без всякого наследства...

– А что, келин, наши мужья могут быть обойденными?

– Вполне, если ничего не станут делать. Ведь в доме Еркежан теперь настоящим хозяином – Абай! Перетянул на свою сторону всех соседей, работников, малаев. Поселил на правах наследников внука и внучку. Скоро возьмет дом в кольцо из своих детей, друзей, нукеров – и ни одна морда не сунется туда снаружи! – забушевала Манике, упершись кулаками в бока.

– Однако среди них находится и твой сын, Какитай! – упрекнула Каражан невестку.

– Омай, тетушка, так ведь он еще суций ребенок! Откуда ему знать, что за человек этот хвастливый Абай! Попал под его влияние, дружит с его детьми, несчастный глупец!

– И наш покойный младший деверь Оспан тоже преклонялся перед Абаем. Не раз поддакивал ему, размахивал соилом, вступаясь за него. Так может поступить и Какитай... Будь осторожна, келин, – как бы он не выступил против своего же родного отца!

Об этих опасениях надоумил Каражан ее сын, Азимбай. Манике на какую-то минуту пригорюнилась. Сидела молча и Каражан. Но вот она подняла голову и объявила свое решение.

– Если наши мужья объединятся, они возьмут верх над Абаем. Испокон веков было «светлых» двое и «темных» двое.



И пара всегда сильнее, чем один. А в эти дни «темная» пара потеряла одного и перестала быть парой... Так вот, невестушка, все сказанное тобой – правда. Без всякого сомнения, – деверь наш Абай стережет большой дом. Но из пары «темных» он остался один, и ему не взять верх над нами. К тому же, если самый старший захочет воспользоваться правом аменгера, кто сможет воспрепятствовать ему? – Этим самым Каражан дала ясно понять, что она не будет препятствовать супругу брать Еркежан своей второй женой.

Услышав это, Манике вздохнула с облегчением. Дело в том, что интриган Азимбай, действуя в своих корыстных интересах, сначала в секретных разговорах с тетушкой, тайну которых она умела хранить, убеждал ее склонить свою мать, Каражан, не отказывать отцу в осуществлении права аменгерства. Вместе с тем убеждал саму Манике, что если, кроме Такежана, и Абай откажется жениться на Еркежан, то останется младший аменгер – Исхак, и ему уж точно придется выполнить волю старших и жениться на Еркежан. И тогда она, такая богатая, молодая еще, красавица собою, – захочет сесть выше всех остальных женщин у очага. Она сумеет понравиться любому мужику, привяжет его к себе, отобьет его от любой другой женщины...

Эти доводы сильно подействовали на Манике.

И вот она, думая, что действует в своих интересах, на самом деле стала орудием в руках коварного Азимбая. Его слова были убедительны:

– Младшие жены Оспана-ага – Зейнеп и Торимбала в сравнение не идут с Еркежан. Если кто и возьмет какую-нибудь из них младшей женой, то она такой и останется, и не будет вылезать из-за спины старшей жены.

Здесь был жестокий намек Азимбая на то обстоятельство, что у самой Манике своих сыновей не было, и если бы Еркежан стала женой Исхака и привела в дом своего приемного сына, то она сразу бы отодвинула далеко назад Манике.



И для Азимбая – в том случае, если отец вильнет в сторону Торимбалы или Зейнеп, надежда заполучить через него Большой дом и все его огромное достояние – рухнула бы окончательно.

Между тем в юрте разговор старших жен подходил к концу.

– Теперь, для ясности, хотелось бы мне услышать от вас, женеше: кто кого возьмет, все-таки? – вкрадчиво спрашивала Манике у Каражан.

– А ты как полагаешь, милая? – отвечала та, вызывая Манике на откровенность.

Но та не могла говорить без влиятий:

– Не знаю... Апырай... Если бы нашим мужикам дали волю выбирать, они бы, может, выбрали кого-нибудь из двух младших жен. Но это никакой выгоды для них не принесло бы. Весь сыр-бор, женеше, идет из-за Еркежан! Кому она достанется, у того и будет достояние Большого дома. Ну и скажите мне, женеше, какой аменгер для этой бабы определяется по старшинству, как не наш ахкем, то бишь Такежан-ага? Никто другой не может потягаться с ним.

Высказав все это, Манике выжидательно уставила свои выпуклые овечьи глаза на Каражан. Эта же, чувствуя какой-то тупик, ловушку, сидела молча, явно помрачнев, вся кипела внутри. Наконец, задала вопрос, стараясь уцепиться за призрачную надежду:

– Е, но если не брать Еркежан в жены, а взять и поделить весь скот и все ее достояние между братьями?

Манике замахала на нее руками.

– Ойбо-ой, женеше! Что вы такое говорите? У младших жен тоже есть кое-какое имущество, и немало скота. С ними все это и отойдет к новым мужьям. Но делить скот и достояние Еркежан – этого никто не позволит! Скорее решат: «Пусть будет общим!» – и все оставят, как есть. А потом хозяином всего станет приемный сын Аубакир. Ну, а это значит, что владельцем общего достояния станет его дед Абай!



– Думаешь, только так и может быть? – с мрачным, каким-то даже тоскливым видом, спрашивала Каражан.

Она сидела, подперев одной рукой висок, другую подхватив локоть этой руки, и тихо раскачивалась из стороны в сторону. И вдруг тяжело, безнадежно, по-старушечьи расплакалась... Ради чего же она всю свою длинную жизнь колотилась в трудах и заботах, стяжала, копила, забирала у других, была жестокой, проявляла жадность, осторожничала, хитрила – не ради ли мужа и не ради ли единственного оставшегося в живых сына? А теперь – придет другая женщина, молодая, богатая, сядет выше нее...

Изрядно поплакав, все еще не в силах успокоиться, всхлипывая и сотрясаясь всем телом, Каражан наконец заговорила сквозь слезы:

– Толстая байбише Кунанбая, покойница Улжан, как-то говорила, придя однажды в отчаяние: «Проклята наша доля женская! Будь хоть ласковой, будь хоть капризной, будь покладистой, покорной и послушной, – но как только мужчина охладет к тебе, то ты потеряешь всякую цену, словно выброшенная старая стелька! Когда твой муж отвернется от тебя и повернется к токал, тебя тут же забудут, как щенка, брошенного на старом стойбище. Ты будешь скулить, лить слезы в одиночестве, а он в это время будет любоваться румянцем на лице своей новой молодой жены!» Так говорила Улжан-апа, и она была права!

Манике молча пережидала, возбужденно сверкая глазами, ей хотелось услышать слова согласия Каражан... Пусть она попечалится, поплачет. Но деваться ей будет некуда. Все равно согласится. Толстая, красивая Манике была очень довольна этим. Она сидела с выражением торжества на своем круглом лице. Глядя на плачущую женге, разок даже презрительно скривилась и выпятила нижнюю губу. Этой женщине была свойственна дикая бесчувственность. Глядя на плачущего человека, видя его залитое слезами искаженное лицо,



она не только не сочувствовала ему, но сразу начинала злиться. Если умирал сосед или работник-малай, и в ауле начинался плач по умершему, байбише Манике не только не присоединялась к плачу, но подходила к юрте и принималась громко бранить какую-нибудь чересчур развопившуюся келин...

Пошла домой, на прощание невыразительно пробормотав: «Как бы там ни было, а приходится всем нам покориться...»

У Азимбая к тому времени курук был почти готов, березовый гибкий шестик выстроган и добела обглажен лезвием ножа. Услышав звуки плача матери, Азимбай понял, что здесь его план полностью удался. Он стряхнул стружку с колен, бодро поднялся на ноги и пошел провожать тетушку Манике. По дороге он слушал ее подробный рассказ о сходке двух байбише, состоявшейся в юрте.

Разговор же Такежана с Исхаком, происшедший в только что поставленном уранхае, не касался раздела женщин-вдов, об этом братья еще ни разу не упомянули. Обсудили вопрос, как воздействовать на Абая: самим ли напрямик обратиться или послать к нему посредников из почтенных людей. И если Абай заявит, как в прошлый раз: «Решать будем все вместе», то так тому и быть. А пока нужно выбрать толковых, доброжелательных людей и через их посредничество начать первые шаги, первые согласования.

Итак, два брата решили направить к третьему, Абаю, своими посредниками Шубара и Ербола. Последний был самым близким Абаю человеком, к которому не прислушаться он просто не сможет. Шубар же был допущен к кругу Абая, но являлся близким человеком Такежана и Исхака. Договорившись, они послали гонцов за Ерболом и Шубаром, с приглашением в аул Исхака.

На другой день, сидя за дастарханом с Такежаном и Исхаком, Ербол и Шубар внимательно выслушали все, о чем их просили братья Кунанбаевы. Оба приглашенных отправиться посредниками к Абаю не отказались. Ербол подумал: «Абая



не порадуют эти дела... еще одна рана для несчастного... Но как я могу отказаться от поручения его братьев? Возможно, я сумею в чем-то даже и защитить... чем-то помочь».

Прежде чем предстать перед Абаем, Ербол нашел нужным сначала зайти к Магашу в молодую юрту. Там находились братья – Акылбай и Магавья. Ербол сообщил им, с чем и от кого приехал к Абаю, и попросил братьев поддержать в этом тяжелом деле отца, присутствовать рядом с ним на переговорах. На что Акылбай сразу же стал отнекиваться, с присущей ему сдержанностью и кажущейся вялостью:

– Е, ни к чему это мне! Пожалуй, в этом деле Абай-ага сам лучше всех решит... Может, Магаш сможет ему чем помочь...

Огорченный за отца, Магавья воскликнул:

– Опять на голову агата сваливается новая напасть! Ну что у них за нетерпение, – затаскивать его на дележку имущества накануне поездки в Карамолу! Ведь там у него будет достаточно неприятностей.

Хотя Магаш высказался столь сочувственно к отцу, но сам тоже, как и Акылбай, не хотел вмешиваться в дела раздела наследства Оспана.

– Это касается старших. Нам ни к чему соваться в дележ скота, споры за раздел достояния, – сказал Магавья. – Пожалуй, меня и других из молодых лучше держать подальше от этих дел. Ербол-ага, взвалите груз вашего друга на свою спину! Будет там муторно и нехорошо, вопрос имущества – вопрос проклятый... Но вы, словно старый верблюд, знаете, как возить этот неприятный груз, а мы вам совсем никудышные помощники в этом деле, Ербол-ага!

В эти же дни молодежь собралась на сход акынов, проводила поэтические вечера. На них читались и обсуждались новые стихи, поэмы-дастаны.

Расставшись с Ерболом, Магавья и Акылбай присоединились к своим друзьям. В уранхае, где они собрались, шел громкий разговор, звучал молодой смех. В юрте царило веселое возбуждение.



Посредине в очаге ровным пламенем горел огонь. Варилось мясо. Легкое временное сооружение – уранхай, тем не менее, был богато обставлен. По всему кругу стены юрты были обвешены толстыми узорчатыми тускиизами, теплыми текеметами, шелковыми коврами. На пол были брошены, поверх кошм, подстилки из выделанных архарьих шкур, коврик-бостеки из белой мерлушки. В соответствии с временем года, молодые джигиты были одеты тепло, но не громоздко. На них были нарядные кафтаны-купи с подкладкой из шерсти верблюда, тонкие бешметы с подбоем из меха куницы, белки. Головы всех были под меховыми тымаками, ноги – в войлочных саптама.

Кроме молодых акынов абаевского круга в юрте находился гость – Федор Иванович Павлов, сидел рядом с Абишем. Павлов третьего дня неожиданно приехал из города, чем обрадовал всех, особенно молодежь, которая слышала много хорошего о нем от Абая и его сыновей.

Павлов так же, как и все присутствующие, был одет в меховую одежду, на нем был лисий тымак, сшитый по-тобыктински, на ногах – войлочные саптама, отделанные черным бархатом. Во все эти казахские наряды одели его уже в ауле.

За два дня пребывания здесь Абай и его друг Павлов переговорили о многом, уединяясь вдвоем. Абай узнал городские новости, об интересных людях, появившихся в Семипалатинске, расспросил о российских делах, о новых громких именах на российском общественном поприще. Подробно интересовался новыми поступлениями в Гоголевскую библиотеку Семипалатинска: о журналах, книгах, представляющих большую ценность.

Павлов повеселил Абая рассказами о семипалатинских хапугах и озверевших взяточниках, в духе Салтыкова-Щедрина. Затем подробно расспрашивал о положении новоявленных земледельцев в степи – оседлых жатаков. Также хотел узнать, какое количество бедных степняков Причингизья переезжает



на жительство в города, находя там работу пропитания ради. Интересовало Павлова, много ли казахских детей обучается русской грамоте, есть ли к этому сдвиги в сознании их родителей.

Слушая друга, Абай проникался к нему чувством горячей благодарности за то, что Павлов расспрашивал о казахских делах глубоко заинтересованно, выказывая недюжинное понимание самых насущных проблем степной жизни – и с горячим желанием отдать все свои духовные силы и знания для их решений. В этих вопросах мысли и желания городского русского человека и Абая, жителя просторной Арки, совпадали и текли в едином русле...

Хорошо перебродивший кумыс успел уже возбудить и завести участников поэтического схода. По краю большого круглого стола сидели акыны Какитай, Мукá, Дармен, Алмагамбет и другие.

Сегодня на сходе присутствовал и Баймагамбет, доморощенный пересказчик «русских книг», услышанных от Абая, и просто талантливый рассказчик сказок и легенд. Этим летом Баймагамбет совершил большую поездку по степным аулам, дома вовсе не показывался, – и в родных краях появился только вчера.

Баймагамбет в тобыктинских аулах был всегда желанный, любимый гость всей детворы, женщин и самой широкой простонародной публики. Прекрасный сказочник, рассказчик «русских романов» и восточных повестей, «хикая», услышанных от Абая, Баймагамбет был нарасхват, и он мог жить хоть все лето, переходя из аула в аул, из дома в дом. В свой же собственный он частенько забывал возвращаться, не помня о том, что там его ждут дети и жена.

Абай за подобное легкомыслие поругивал его, однако и не только за это, – Абай, долго не видя возле себя верного нукера, спутника многих дорог его молодости, попросту скучал по Баймагамбету.



Когда в этот раз он пришел, чтобы отдать салем, то был встречен Абаем несколько иронически. Обросший полуседой-полурыжей бородою синеглазый Баймагамбет вошел в юрту и произнес положенные учтивые слова приветствия, Абай никак не ответил на это и только молча, с озорными искорками в глазах, уставился на Баймагамбета. Потом, совершенно неожиданно, Абай громко, раскатисто засмеялся.

– Е! Почему вы смеетесь, ага? Почему? – спросил Баймагамбет, растерявшись.

Айгерим передавала чай в пиалах. Ее служанка и наперсница Злиха, рослая, красивая женщина, сидела у самовара и разливала. В доме кроме них никого не было. Видимо, поэтому Абай позволил себе атаковать Баймагамбета без всякой пощады.

– Бака, послушай меня, айналайын! Вот, совсем недавно, как-то я подхожу к твоему дому и слышу голос Каракатын. Сидит она у порога и поет песенку... Она у тебя настоящий акын, оказывается! Ты только послушай! Неплохой скорбный плач у нее получился.

*Меня мой родимый хвалил, баловал,
Да взял меня в жены обманщик-бахвал,
Когда порешил он очаг мой покинуть,
Зачем он желанной меня называл?
И бросил он, рыжий бродяга, семью,
Омыла слезами я долю свою.
Грешно, говорят, не оплакивать мертвых...*

Вот так голосила Каракатын, словно по покойнику, жалуясь на твое бродяжничество! – завершил Абай, прочитав вслух ее стихотворение.

При этих словах Баймагамбет насупился, рыжие волосы его бороды встали торчком. Глянув на него, Айгерим и Злиха звонко расхохотались, потом служанка, отвернувшись к две-



ри, подавила свой смех, но крутые плечи ее неумолимо вздрагивали. Абай тоже трясся всем своим дородным телом, смеясь, но смеялся он так, как смеется старший брат над озорством маленького младшего брата.

– Е! Не пойму я, что тут происходит? Астапыралла! И бабы надо мной смеются? – с преувеличенным возмущением воскликнул Баймагамбет. – Недаром говорится: «У тех, что носят борик, у всех единая честь». Неужели мне надо было ожидать, что бабы станут на моей стороне? Да ни за что на свете!

В ответ Абай выдал только что сочиненное шутовское четверостишие:

*– Что тебе шарият? Смелей!
Порадей о судьбе своей!
Каракатын, спал ли муж твой дома
Хоть одну из летних ночей? –*

Так бы я должен был ответить твоей жене, Баке, услышав ее плач, – сказал Абай. – А что ты сам думаешь?

– Е, что мне думать! Тут сам первый эфенди Абай слово сказал в пользу Каракатын, мне-то зачем думать! – ответил Баймагамбет.

Выпив всего одну пиалу чая, он перевернул посуду вверх дном и выскочил из юрты, явно обидевшись на Абая.

После этого он и пришел на поэтическую сходку к молодым акынам с намерением уговорить кого-нибудь из них сочинить достойный ответ на едкие стихи Абая и Каракатын. Однако, из осторожности, он решил не торопиться с просьбой, присмотреться и не делать достоянием многих свое тайное намерение.

В этом молодежном уранхае самым старшим и наиболее опытным по всем вопросам жизни был гость из города, Павлов. Но он сидел со скромным видом, с растроганной улыбкой на устах, с удовольствием наблюдая за всем, что проис-



ходило вокруг него. Человек с научными интересами, Павлов занимался сравнительной антропологией людей разных рас. И сейчас, оказавшись в самой что ни на есть подлинной казахской среде, Павлов с огромным интересом подмечал, какое же разнообразие этнических типов наблюдается в среде этого народа. В отличие от рыжебородого синеглазого Баймагамбета, Акылбай, старший сын Абая, был совершенно другого типа: с удлиненной головой, большим прямым носом, с темными бараньими глазами, с темной жидкой бородой, плоско ниспадающей с подбородка. И представителем совсем другого народа казался молодой Какитай, племянник того же Абая: круглолицый, скуластый, небольшой и подвижный, слегка курносый, круглоглазый, смуглый, – очень миловидный молодой джигит. И совсем молоденькая девушка Пакизат, бледнокожая, с тонким розовым румянцем, представляла совершенно иное, калмыцкого типа лицо.

Два джигита, Абдрахман и Магавья, из того же рода Кунанбаевых, казались представителями какой-то другой расы: оба высокие, изящные, белолицые, с узкими губами, с тонкими изогнутыми бровями, и оба почти безбородые.

А смуглый Дармен с густыми черными бровями, с черными большими глазами, с высоким прямым носом и щеткою коротко стриженных темных усов совершенно выглядел человеком кавказского типа.

Дармен как раз начал исполнять свою балладу, сопровождая мелодическую декламацию игрой на домбре, когда в уранхай вошли Акылбай с Магашем, стали быстро раздеваться и усаживаться на свободные места. Вслед за ними вошел Шубар, но проходить не стал, остановился у двери, даже камчу не отложил в сторону.

Красиво звучал голос юного жырау, поющего о том, что было известно и дорого всем присутствующим. На его плечи накинут чапан с толстыми бортами и бархатным воротником. На голове залихватски заломлен новый легкий лисий тымак.



Певец сидел, нависая над столом. Перед ним была раскрытая тетрадь с записями, он пел, заглядывая в нее.

*...В покое дни бесплодны, песни спят,
Но в скорбный час бегут за рядом ряд
И мечут жемчуг мысли, будто волны,
Слова, подобны молниям, блестят.*

*...Я видел смерти яростный оскал,
Я боль и стоны прошлых дней собрал.
Зло раскрывать и обличить пороки
Акын – учитель мой – мне завещал,*

*...Я видел муки дедов и отцов.
Минувшего я слышал властный зов.
Я помню: бий не пожалел младенца,
Угасшего под вечер средь холмов.*

*Я слышу плач влюбленных до сих пор,
И до сих пор им вторит эхо гор.
В их ледяных объятиях прочел я
Проклятие – и руки к ним простер.*

*Я помню бия-кабана, и вот
С тобой говорю, о мой народ!
Абай дал слову мощь, а песне – душу,
И голос мой в тебе не пропадет.*

Павлов попросил Абиша, чтобы он подробнее пересказал концовку дастана. Магаш, Какитай, Мукá и Алмагамбет наперебой выражали свое восхищение. Послушав Абиша, Павлов присоединился к остальным.

Один Шубар, стоявший у выхода, не выразил никаких чувств восхищения. Наоборот, он остался суров с виду, похлопывая



черенком плетки по ладони. Он не слышал дастана с самого начала, – но ему было достаточно и того, что он услышал. Показывая плеткой на Дармена, затем тыча ею в тетрадь, лежавшую на столе перед акыном, Шубар заговорил холодно, неприязненным осуждающим тоном.

– Это не искусство, а ядовитая отравка. Жестокий Бий-Кабан, о котором говорится в дастане, – ведь это святой аруах целого племени, глубоко почитаемый народом и в наши дни. Куда тебя заносит, Дармен? На что ты замахиваешься? Хочешь, чтобы содрогнулись сердца старых людей и чтобы в страхе согнулись совсем молодые, наша юная поросль? Абая-ага называешь своим учителем... Но ты понимаешь, что этой поэмой своей ты наносишь нашему Абаю непоправимый вред? Найдутся многие, – враги, недовольные его записанными «Словами назиданий», которые прямо обвинят агая в том, что это он надоумил тебя написать такую пакость... Нигде не надо читать подобный дастан, вот что я скажу!

Из всех присутствующих в уранхае акынов круга Абая Шубар самый старший, он уже был широко известен в народе, побывал во власти, в племенных делах слыл самым деловитым и расторопным. И в первую минуту не нашлось никого, кто мог бы возразить Шубару.

Но не стал отмалчиваться Абдрахман, который был совершенно не согласен с Шубаром. С досадою взглянув на него, Абиш резко возразил:

– Шубар-ага, ваши слова достаточно сердиты и жестоки. Хотелось бы мне знать, что так сильно задело вас за душу?

Шубар тотчас ответил:

– Да, задело меня, поэтому я и говорю сердито. В ваших стихах и дастанах сегодня поносите вы почтенных биев, а завтра начнете поносить ханов и султанов, потом и вовсе поднимете руку на святые устои ислама! И все это с присловьем: «Русское лучше! Русское истинно!», «Святая Мекка переместилась к русским!», «Все хорошее – у русских!». Ну и куда



мы ведем свою молодежь? Во что превратим наш исконный степной аул, стоящий на просторах Арки уже тысячелетия? Вы хотите погубить душу нации – наш аул?

Он выкрикнул это с большим чувством, – давно уже все это накопело у него на сердце.

Абишу было ясно, что обвинения Шубара направлены не на юного Дармена, а на самого Абая. И в душе Абиша вспыхнуло гневное пламя возмущения и протеста.

– Вот как! Восславляя древний аул Арки, вы наш аул, аул Абая, – считаете заблудшим аулом! – воскликнул он. – Вы считаете, что мы потеряли направление Мекки, что наш аул потерялся между исламом и русскими. А вам не кажется, что только наш аул сейчас знает, где находится для казахов их подлинная Мекка и священный Кааба? Вы хотите отпугнуть нас от русских... А сами что делаете? Вы ползаете перед ними, перед Никифоровым, Казанцевым, перед губернатором – чтобы только получить из их рук любую власть – и попользоваться ею ради своей выгоды.

– Нет! Власти мы хотим, чтобы просто выжить под русскими! Чтобы народ защитить!

– А кто вам угрожает? Таким, как вы, ничто не угрожает. А вот вы, властители в степных волостях, – вы-то и угрожаете существованию своего народа. Становитесь бедой для них!

– Омай! О чем ты говоришь?

– О том, что слышите! Ни у Оразбая, ни у Такежана еще и в мыслях не было – обвинять аул Абая столь коварно, клеветать на него так гнусно! – крикнул Абдрахман, побледнев от ярости.

– Е! Какая клевета? А ты разве сам – не орыс, не русак? Ты сам-то куда идешь?

Сказав это, Шубар не стал спорить дальше, спохватившись, что его слова могут дойти до Абая-ага. И, вспомнив поручение Такежана, с которым тот направил его сюда, Шубар быстро



повернулся и покинул юрту. Оставшиеся в уранхае джигиты и к словам, и к уходу Шубара отнеслись вполне спокойно.

Абиш только сейчас завершал устный перевод поэмы Дармена для Павлова. Тот выслушал с видом глубокого удовлетворения и, повернувшись к молодому акыну, взял его руку обеими своими руками, стал трясти ее и растроганно приговаривать:

– Джаксы, Дармен! Джигит, хороший акын! Молодец! – далее он говорил Абишу уже на чистом русском языке. – Именно так и должна звучать истинная поэзия! Смело, свободно, бесстрашно и правдиво!

У Дармена, которому Абиш перевел слова Павлова, вспыхнули глаза, молодое, красивое лицо просияло. Павлов добавил к сказанному:

– Дармен, Магаш, вам надо подумать и о том, чтобы писать песни и поэмы о делах сегодняшних, о событиях, происходящих вокруг вас. Например, – чем история Базаралы не тема для поэмы? Его прошлые подвиги, его борьба за жатаков...

– А ведь я прямой потомок Кодара! – воскликнул Дармен, горячо воспринявший слова Павлова. – Разве не будет правильным – именно мне воспеть гнев народа по невинно убитому батыру? Его ведь казнил Кунанбай...

Глаза Дармена горели все ярче, в них зрела великая решимость. Абиш, Магавья, Какитай – старшие друзья его с глубоким пониманием и с любовью смотрели на него.

Но с особенной теплотой и глубоким чувством благодарности смотрел на Дармена Абдрахман. Ведь именно этот с порывистой, нежной душой юноша пришел к нему на помощь и спас его счастье, когда Абиш был готов навсегда отказаться от него. Совсем недавно, сразу же после поминок по Оспану, Акылбай, Кокпай и Дармен съездили в ногайский аул и славно, вполне успешно, провели все переговоры по сватовству Абдрахмана. Молодые сваты, в качестве свидетельства ее чувств, привезли жениху письмо от невесты. Это послание



нежной души и целомудренной страсти было написано красивым, возвышенным слогом, словно песня, вылетевшая из самой глубины любящего сердца...

Памятуя недавние слова о том, что поэту надо писать и «о делах сегодняшних», Магавья стал рассказывать друзьям о начавшейся в аулах Кунанбая борьбе за наследство Оспана, о чем поведал Ербол-ага ему и Акылбаю. Рассказал Магаш и о том, что в эту борьбу и в интриги семьи рьяно вступили байбише Каражан и Манике.

– Спроси, Абижан, что думает по этому поводу Федор Иванович? – обратился Магавья к брату. – Представляют ли подобные дела интерес для поэзии?

Абиш, прекрасно владевший русской речью, стал живо, в подробностях рассказывать Павлову о сложившихся после смерти Оспана внутрисемейных обстоятельствах – в связи с древними степными законами аменгерства. Павлов слушал с живейшим интересом.

– Любопытно все складывается, весьма любопытно! – воскликнул он. – Вы как-то говорили мне: история степной жизни течет медленно, она почти не меняется. Но разве это так, Абдрахман Ибрагимович? Смотрите: разве осмелилась бы, еще во времена Кунанбая, какая-нибудь байбише вмешаться в семейную политику? Ну а в сегодняшней ситуации, как я понимаю, первейшая роль в этой политике принадлежит именно двум байбише! Конечно, все это происходит на приниженном обывательском уровне, в соответствии с умственным уровнем наших байбише, но сам факт говорит о многом! Ведь таких проявлений не было и не могло быть на протяжении многих эпох в Азии. Не напоминает ли это, – в смехотворном виде, правда, – смену династий в некоем великом ханстве, после которой большое государство распадается на ряд мелких? Но как бы там ни было, я считаю, что про интриги двух главных байбише написать стоит, пусть не драму или трагедию, но хлесткую комедию – вполне! Ох, до чего же в вашем казах-



ском обществе пригодился бы сейчас собственный Салтыков-Щедрин! Сколько великолепных образов для его сатиры!

Абиш перевел слова Павлова для своих друзей. Его с интересом выслушали, затем, переговорив меж собой, молодые акыны попросили Абиша рассказать гостю из города, что в среде казахов бытует немало самых остроумных и едких сатир на смешные и нелепые стороны их жизни. Какитай попросил передать, что осмеяние смешного стало для них истинным и почитаемым искусством.

Высказался и Акылбай, не часто вступающий в общий разговор, но всегда внимательно следящий за его общим ходом и знающий всю подоплеку.

– Е! Известно ли вам, что подстрекает этих двух байбише не кто иной, как сын Каражан, наш двоюродный брат Азимбай?

– Омай, да это же известный подстрекатель!

– Не спит, не ест – только и думает, кого бы с кем сравнить!

– Е! А знаете ли вы, кто его наставник в этом ремесле? Не знаете? Да это же сам Калдыбай.

– Кто таков? – спросил Абиш.

– Калдыбай – это Калдыбай! – ответил Какитай, улыбаясь, и продолжил. – Со стороны посмотреть на него – это тихоня, кроткий и смирный человек. Сидит себе в своей юрте, пьет чай с гостем из соседнего аула. А гость этот был безрассудный и дерзкий джигит, самого высокого мнения о своей силе и храбрости, то и дело вступавший в драки с кем попало. В это время Калдыбай слышит голос другого джигита, своего аулчанина, который подходит к его дому. И Калдыбай, сидевший до этого молча, попивая чай, вдруг поднимает голову – и в тот миг, когда сосед входит в юрту, громко кричит жене, словно бы сильно перепугавшись... сначала выкрикивает всего одну фразу, которую должны были услышать оба гостя:



– Апырай! Гляди, баба, как бы они не сцепились! Ведь это же враги, терпеть друг друга не могут!

Сидевший гость грозно бросает входящему:

– Эй, ты! Как смеешь войти туда, где я нахожусь?

А входящий был таким же бузотером и грубияном, как и сидящий гость. Он так и взвился с ходу:

– Е, тещу твою... отца твоего! С чего ты взял, что я не должен заходить? Знать тебя не знаю...

Тогда Калдыбай второй раз открывает рот и произносит:

– О, Алла... Говорил я тебе, баба, – сейчас эти двое драться начнут!..

Только успел сказать это, как двое джигитов кидаются друг на друга, словно бараны. И Калдыбай кричит третий раз:

– Жена, пай-пай! Скорее убирай чай-посуду, они же все разнесут! Ни за что не остановятся! Ведь оба неудержимые! Сама уходи, баба, из дома, скорее беги к длинноногому Мусе! Пусть придет и разнимет джигитов, мне их не разнять, здоровье не то! Скорее беги, баба, они же будут драться насмерть, никто первым не уступит!

Жена Калдыбая побежала за длинноногим Мусой, а Калдыбай спокойненько уселся в сторонке и стал наблюдать за дракой. Юрта Мусы находилась на расстоянии полуверсты.

Два джигита усердно работали кулаками. Первым, стало быть, никто из них уступать не желал. Иногда, правда, выбившись из сил, оба топтались друг перед другом, уже не обмениваясь ударами, выпучив налитые кровью глаза. Слегка передохнув, снова принимались махать кулаками. К тому моменту, когда, наконец, прибежал длинноногий Муса, чтобы разнять их, – оба стояли посреди юрты, надсадно хрипя, совершенно обессилев, держа друг друга за грудки.

И только стоило Мусе, перешагнув порог, крикнуть, согласно старинному обычаю, «Араша!» – призывая прекратить бой, как оба драчуна выпустили друг друга и с великим облегчением, радуясь избавлению, без сил пали на войлочный пол.



Впервые услышавший эту степную историйку, Абдрахман то и дело заходился смехом, и по окончании ее живо пересказал Павлову по-русски. Федор Иванович тоже посмеялся.

– Мистификатор! Ловкий мистификатор! – говорил он, смеясь и покачивая головой.

Вскоре присутствовавшие в уранхае заговорили о новых сочинениях акынов. Обсудили дастан Кокпая об Аблае. Затем перешли на поэму «Зулусы», которую уже давно сочинял многоумный Акылбай. Поговорили о «Мегат и Касым», дастане, который задумал писать Магавья.

А в это время одинокий Абай сидел в своей юрте, испытывая мучительные терзания в душе из-за новых свалившихся на него напастей. Их донес до него Шубар.

Слушая усердного посланника Такежана, Абай тяжелым взглядом смотрел на Шубара. Затем спросил:

– Ясно, что они могли понимать дело только так. Ну а ты как думаешь, дорогой?

Шубар хорошо знал нетерпимость Абая ко всякой скользкой велеречивости, – расправа и разоблачение лжи могли наступить незамедлительно. Помня об этом, Шубар постарался открыто выразить свои соображения.

– Ага, эти разговоры начались ведь сразу после поминок Оспана. Вы все спешили, и годовщину провели до срока. Эти разговоры обязательно должны были начаться – и вот они и начались... На три месяца раньше. Я думаю, тянуть с этим дальше не стоит.

Шубару показалось, что и Абай склонен считать так же.

– Ну раз так, то передай им... Пусть решают вдвоем, как они захотят. Всему, что решат они вдвоем, мне возражать будет неуместно. Пусть начинают разговор! – сказав это, Абай замолчал.

Острая жалость к ушедшему брату, покойному великану Оспану, захлестнула сердце Абая. Не успел еще остыть его след на земле, как принялись раздирать его имущество, де-



лить его земные привязанности, рассекать его честь. Это выглядело отвратительно.

Говоря откровенно, Такежан и Исхак, из одного и того же гнезда Кунанбая, что и Абай с Оспаном, были для них совершенно чужими людьми... Теперь нет Оспана. И что же? Они вспомнили о своем родстве и рвутся к его наследству, с холодным расчетом желая разделить его, каждый в свою пользу. С ними вместе и этот Шубар, сидящий перед ним... Абай вновь сурово уставился на него.

Среди родных и сородичей Абай чувствовал себя чужим, одиноким. Однако это его одиночество среди своих ничем не отличалось от чувства великого одиночества перед косностью всей окружающей жизни уходящей Арки. И осознав это, Абай смог быстро стряхнуть с себя навалившуюся на него новую тоску, и ясность мысли вернулась к нему.

– Значит так, родной! Передай им мое условие, – разговаривать будем только с глазу на глаз. Присутствуете и ты, и они оба, сначала и до конца разговора. Пусть присутствуют еще Смагул и Шаке, они тоже родственники Оспана и его наследники. – Так закончил Абай, уже спокойно глядя на Шубара.

В этот же день еще до вечера в ауле Оспана собрались все родственники. На семейном сходе Абай вел себя перед Такежаном и Исхаком отнюдь не столь напористо и решительно, как на жатакском противостоянии. Здесь Абай, когда братья многословно распинались о справедливости и законности при разделе скота, предпочел молчать. И в дальнейших разговорах, преследующих целью раздел имущества покойного брата, Абай оставался сдержанным и немногословным.

В начале схода первым говорил Такежан. Говорил многословно, пространно, мол, «живые должны жить», «мертвым это не надо, – а живым надо думать о хлебе насущном», долго распространялся о том, что по адату делить имущество умершего должно между его оставшимися живыми братьями, рожденными от одной матери. Давал понять, что тут нужно про-



явление доброго согласия между братьями, а оно есть между ним и Исхаком. Но так как Абай до сих пор не высказывался по этому поводу, хотелось бы послушать его.

Абай сразу предупредил всех: через неделю ему надо быть на Большом съезде в Карамоле, все вопросы по дележу наследства надо решить до его отъезда. А добираться в Карамолу надо два-три дня. «На наши переговоры остаются четыре-пять дней. Вполне можно успеть за это время, если говорить по делу и не очень долго».

Но от него ждали в первую очередь ответа на вопрос, как поделить главное наследное имущество – скот. Абай спокойно ответил Такежану:

– Я согласен на дележ. Как делить? Решай сам. Дели только все: и скот, и зимники, стоянки и пастбища, домашние вещи и всю ценную утварь.

В первый день родственники занялись подсчетом живого имущества: овец, лошадей, верблюдов, оставшихся в наследство от Оспана.

Три жены его владели – каждая своим зимовьем. Большой дом, поместье Еркежан, находилось в Жидебае. В Мусакуле, удаленном версты на четыре к востоку, находилось зимовье Зейнеп. В свое время Такежан, построив себе зимовье на Чингизе, передал Мусакул Оспану. В третьем зимовье, находившемся на западе, в урочище Барак, поселилась младшая жена Оспана – Торимбала. Это зимовье тоже располагалось недалеко – всего на одном дневном перегоне ягнят.

Наконец, было взято на учет все: зимники, весенние и осенние степные пастбища, нагорные джайлау – со всеми колдцами, источниками, реками и озерами, заповедными сенокосными угодьями.

Когда решения первого дня дошли до ушей Каражан и Манике, то обе байбише были весьма удивлены. «Как? Абай так и сказал, мол, пусть будет дележ, и Такежану передал, как самому старшему, право повелевать всем? Мыслимо ли это?»



«Искренен ли наш Абай, – или здесь какая-нибудь его хитроумная уловка? – мучились догадкой старшие абысын, Каражан и Манике. – Поживем, увидим... Во всяком случае, если Абай развязал руки Такежану, пусть завтра же ахкем Такежан начнет раздел скота и пусть возьмет себе самую большую долю, зачем стесняться? Ежели они втроем решили, что самый старший брат должен править, то пусть крепче держит вожжи в руках!»

При следующем утреннем разговоре Такежан, волнуясь, объявил, что он, как старший, должен получить самую крупную долю наследства. Абай не воспротивился этому.

Затем обсудили, какие весенние и осенние пастбища, какие нагорные джайлау должны отойти Такежану, какие – Исхаку. Спросили, наконец, у Абая, не возражает ли он, и какие земли хотел бы получить? На что Абай ответил:

– Пока что я не собираюсь брать свою долю наследства Оспана – ни скотом, ни землями. Большой дом – это очаг нашего отца, нашей матери. Его надо сохранить, не разоряя. Я допускаю, что наследие может быть разделено, и каждому пусть будет определена его доля. От своей доли я тоже не отказываюсь. Но забирать ее теперь я не буду, пусть останется она пока в сохраненном Большом доме. А вы берите себе все, что хотите, и тут можете не оглядываться на меня. Однако родовое гнездо должно быть сохранено.

На том и разошлись в этот день, не приняв окончательного решения. Но у себя дома Такежан получил от Азимбая следующий совет:

– Отец, если Абай настаивает на своем, то так и скажите ему: добро, тогда я сам въеду в Большой дом... Хотя, если вы не решите, как вам поступить с Еркежан, ваши слова ничего не будут стоить... – Коварный Азимбай настолько осмелел, что позволил себе открыто вмешиваться в щекотливые дела родителей, давая им свои предерзкие советы.

И на третий день переговоров Такежан вышел на полную откровенность:



– Абай, Исхак, если вы и впрямь признаете мое старшинство, то выскажу вам вот какое свое мнение. Главным при разделении остаются зимовья. А в них у своих очагов сидят вдовы. После Оспана осталось три вдовы. И нас, аменгеров, три. И пока не решится вопрос, кто из нас кого возьмет, дело не сдвинется с места. Пожалуй, поговорим теперь об этих вдовах!

Исхак заранее был того же мнения. Абай тоже не сказал слов возражения. Даже молвил с еле заметной улыбкой:

– Говорите. Назовите каждый, кого выбираете.

Такежан мешкать не стал: сразу же назвал имя Еркежан.

Шубар наблюдал за всем этим, думая лишь об одном: «Что же Абай? Чего он хочет?» Были в недоумении и Ербол, и другие. Но Абай и на этот раз их всех озадачил: «Ты старший. Право первого выбора за тобой», – сразу подтвердил свое согласие.

На том дело с вдовами было решено. Так как Еркежан была старшей женой Оспана, то вопрос о наследовании главной доли наследства Такежаном необходимо было обсудить с нею. Шубару и Ерболу было поручено сходить к ней на переговоры.

Но тут неожиданно вмешался молодой Шаке, до сих пор присутствовавший на совете родственников лишь как молчаливый слушатель.

– Омай, почему надо разговаривать с одной только Еркежан? Разве нет еще и двух других вдов? Они не должны остаться в стороне!

– Ту-у! Нечего разговаривать со всеми тремя бабами! Мужчины могут решить все и без них! – сердито вскричал Исхак, никак не ожидавший столь неуместного выступления от молодого Шаке.

Но тот не сдавался:

– Не говорите так, Исхак-ага! Они же не совсем посторонние люди! Вы хотите делить их, как нечаянно свалившуюся на



вас охотничью удачу. Разве они не люди, – каждая со своими желаниями и своей волей? Да и по возрасту они – не девушки на выданье, которым по семнадцать лет.

Шаке был одним из тех близких родственников Абая, для которых прославленный акын был человеком, достойным всяческого уважения. Два дня он молчаливо присутствовал на семейном сходе, на третий день почувствовал, что пришла пора и ему вмешаться. Доводы его были просты, понятны и убедительны настолько, что все – и даже Такежан, Исхак, Шубар – почувствовали себя смущенными и ничего не могли ему возразить.

Ербол подумал, взглянув на Абая, что эти слова могли бы прозвучать из его собственных уст, и поэтому смело поддержал Шаке:

– Барекельди! Правду говорит Шаке. Эти женщины всем нам известны как самые добрые невестки под этим шаныраком! О них можно сказать только все самое хорошее! Поэтому долг всех нас, сидящих здесь, поговорить с ними самым достойным образом. Решать дело надо только так!

Такежан посмотрел на Абая.

– А ты что скажешь?

– Скажу только одно: я против всякого насилия. Такежан, какое бы вы ни приняли решение, ты не можешь сделать это против их воли.

– Пусть так все и будет, – согласился Такежан. – Шубар, Ербол, ступайте к женщинам и передайте им наш разговор. Только обязательно доведите до них одно: этого требует путь шариата. Муж умер, аменгеры живы, и по адату должно быть так, чтобы вдовы выходили замуж за них... Первым делом, пусть каждая ясно выскажет свое согласие. Может статься, что они будут отнекиваться, кивая друг на друга, не желая первой высказать свое согласие. И здесь, я думаю, надо начинать с Торимбалы, она самая младшая, пусть выскажется первой и подает пример.



Шубар и Ербол отправились к вдовам. Но самая первая же из них, младшая токал Торимбала, озадачила посланцев от аменгеров. Она и слушать не захотела о том, чтобы ей первой решать и выбирать нового мужа. «Я младшая! Не желаю высказываться наперед Зейнеп и Еркежан! Дам свой ответ только после них! А пока – и не заставляйте меня!»

После такого разговора пришли джигиты к Зейнеп. Учтывая первую неудачу, Шубар начал издали, говорил пространно и внушительно, взывая к ее разуму, напоминая о древнем обычае аменгерства, лстя ее женскому самолюбию, говоря, что она является решающей фигурой в наступивших делах.

Но, слушая велеречивого Шубара, сидя к нему вполоборота, Зейнеп вдруг повернула к джигитам свое свежее, красивое личико и, не мигая, уставилась на них самым загадочным образом. «Е, а у нее такой вид, как будто она уже слышала все это! Может быть, за эти дни бабы собирались вместе и переговорили обо всем между собой? Если так, то она должна ответить, как Торимбала, и отослать нас к Еркежан!»

Но вот Зейнеп заговорила, – и опять у послов все не сошлось в голове. Она не стала отнекиваться, как младшая токал, отнюдь не отослала их к старшей жене...

Зейнеп искренне оплакивала весь год смерть мужа. Слушая ее плачи и причитания, молившиеся в траурном доме поговаривали: «Надо же! Как печалится Зейнеп!», «Скорбь в душе, слезы в глазах, слова печали на устах! Воистину являет преданность памяти усопшему супругу!», «Каждый уходит из этой жизни с несбывшимися мечтами. Но разве можно считать несчастным человека, которого так оплакивают после смерти, как это делает несравненная Зейнеп?». Она была против того, чтобы поминки по Оспану были справлены раньше годового срока... Не один раз и не два, но трижды на дню она пела свои все новые и новые плачи, удивляя всех и захватывая силою своей печали...

И вот, надо же! Сейчас Зейнеп насмерть удивляет джигитов-посланцев! Не успели они изложить ей все свои неотврати-



мые доводы, как вдова Быстренько, не раздумывая, отвечает им: «Не стану унижать законы предков послушанием. Мои родители! Пусть все будет по-вашему. Я согласна. Буду послушна во всем, слова данного не нарушу».

Шубар чуть не поперхнулся от неожиданности. И озорные, игривые мысли полезли ему в голову. «О, Кудай... Кудай! Что за чудное создание, эта вдова!»

Зейнеп еще сказала и такое, чего не ожидали аменгерские посланцы.

– Догадываюсь, с какими разговорами вы явитесь завтра, родственники. Будете спрашивать: «За кого ты выйдешь?» Вам я отвечу уже сегодня, заранее: за того, за кого угодно будет вам. Нас осталось три вдовы. Аменгеров тоже трое. Все они еще не стары, хотя и не очень молоды. А вдовы – тоже не цветущие розы, но еще достаточно свежи. Так что мне все равно, кого выберете – воля ваша.

Слушая ее, Шубар лукаво улыбался в усы. «Думали, артачиться будет, а она, видишь ли, наоборот, сама просится: возьми!» Но спохватившись, что Зейнеп заметит его насмешливое выражение, Шубар согнал улыбку с лица и степенно молвил:

– Айналайын, женеше, хвала вашему разуму! Как хорошо, что не стали ломаться, отказываться, а ответили сразу согласием!

Отъехав на приличное расстояние от аула Зейнеп, джигиты развеселились, ведя меж собой такой разговор:

– Ты гляди, как она сразу поддалась, затрусил передо мной, виляя бедрами! Не успел и слова сказать, как стала тербить меня: мол, давай скорее будущего мужа! Веди его поскорее сюда!

– Е, и вправду... решительная она.

– Я же вам говорю: забежала на холм и завилыла задницей перед аменгерами. Ну и лиса, настоящая лиса! Видел я таких на охоте...



У Еркежан разговор состоялся не менее неожиданный. Серьезная, сдержанная женщина, она приняла салем посланцев аменгеров весьма холодно.

Шубар и перед Еркежан принялся являть свое красноречие, напомнил о шариате, о старинном обычае аменгерства, – и вдруг она, совершенно неожиданно для него, отвернулась и заплакала, лия крупные слезы.

– Деверь мой, я давно поняла, к чему ты клонишь! – сказала она, горестно покачивая головой. – Можешь дальше не разливать скользким маслом! Все равно не смажешь кровавые струпы на моем сердце! – Сказав это, Еркежан упала лицом в подушку, лежавшую рядом с ней, и громко зарыдала.

Речь посла от аменгеров, красная Шубара, была решительно прервана – и надолго. Нескоро Еркежан пришла в себя, утерла платочком глаза и осевшим от слез голосом молвила:

– Я не искала и не стану искать другого мужа. С того дня, как угас кенже¹ я дала слово, что останусь верна ему. У нас с ним есть наши дети, которых мы лелеяли и растили с самой колыбели, – Аубакир и Пакизат. И я вам не бездетная баба, сидящая на краешке тора. Дала себе клятву: в оставшейся жизни буду верной хранительницей очага Оспана, подавлю все другие желания в себе. И не говори больше ужасных, отвратительных слов. Мои же слова передай тем, кто послал тебя: пусть даже выволокут меня из Большого дома, я ни за кого из них не выйду замуж. Будут меня неволить, – я объявлю этот дом священным очагом их матери, своей покойной свекрови Улжан, пусть тогда попробуют тронуть меня! Буду сидеть здесь, не шелохнувшись... посмотрю, что они посмеют сделать со мной.

Шубар так и не осмелился больше вымолвить ни слова. Джигиты вынуждены были уйти. В последний миг она сказала им вслед: чтобы больше не смели приходить к ней с подобными разговорами.

¹ Кенже – младший ребенок, имеется в виду Оспан, младший сын Кунанбая.



Уехав из Жидебая, посредники вновь заехали в Барак к Торимбале. Ничего не рассказав ей о разговоре с Еркежан, лукавый Шубар поведал молодой вдове лишь о встрече с Зейнеп и о согласии выйти за любого из аменгеров, по их выбору. Торимбала была молода и неопытна, она поверила Шубару и уступила перед его настойчивостью. Дала согласие на тех же условиях, что и Зейнеп.

Ответ вдов сильно озадачил Такежана, Азимбая, Исхака. Все их расчеты ломала одна Еркежан. Подозрительный Такежан стал все чаще посматривать на Абая. Наконец он напрямик спросил у него:

– Е, мы договорились поделить вдов. Я дал согласие, Исхак готов взять жену. Родные все знают. Ну а ты, Абай, почему молчишь? Скажи нам, кого из них хочешь взять.

Абай не заставил ждать с ответом. Спокойно глядя Такежану в глаза, сказал:

– Ни выбирать, ни оспаривать я не собираюсь. Разве я говорил, что хочу взять в жены вдову? И вот тебе ответ: никого не возьму.

– Е! Зачем ты так?

– Что это за ответ?

Загудели голоса, вслед за словами Абая. Такежан, Исхак, а также и Шубар, Смагул, Шаке – все были в великом недоумении.

Абай звонко, молодо расхохотался.

– Я хотел послушать, как будете делить доли. А вы подумали, что я сюда за бабой пришел? – с откровенной насмешкой произнес Абай.

– Прекрати свои шутки! Почему ты должен остаться в стороне, если мы согласны взять их в жены? Мы аменгеры, и это наш долг! Не смей больше повторять: «никого не возьму!»

Такежан говорил в нравоучительном тоне, как старший младшему. Абай снова рассмеялся.

– Барекельди! Ты, как вижу, собрался женить меня насильно?



– Если хочешь следовать путями предков, то отбрось всякое «наильно», «не по своей воле»! Обычаи надо исполнять! Отеческие устои поддерживать!

– Обычаи со временем меняются, устои расшатываются. Если бы ты придерживался одних лишь старинных законов и древних устоев, то давно бы захлебнулся кровью. Кровью были политы наши старинные дороги! Слава Всевышнему, многие из них забыты, другие неузнаваемо изменились!..

– Е, коли ты так заговорил, то не о чем нам тут рассусоливать... Абай, остерегись произносить слова, разрушающие наше общее гнездо!

– Не собирался разрушать ничье гнездо. Сказал ты мне: явись, будем делить земли, я и пришел. Сказал: баб будем делить, я тебе не стал возражать, – выбирай, дели. Сказал: буду первым выбирать, по старшинству, – разве я хоть слово сказал поперек? Так чего же это я стал разрушителем отчего гнезда? Ведь я все сижу молча, рта почти не раскрываю!

– Ну если ты такой добрый, – то, будь здоров, возьми вдову в жены!

– Нет, жаным, нет! В этом не могу подчиниться тебе по доброй воле. Абай не овдовевшая баба, которую надо выпихнуть замуж и, хотя бы насильно, положить в чужую постель. Только подумай, о чем ты говоришь!

– Почему не возьмешь бабу? Не понимаю я.

– Не возьму и все.

– Ну почему? Не ты первый, не ты и последний, – кто берет вдову брата.

– Пусть я буду первым, кто не берет вдову в жены!

– Апырай, в чем причина?

– Причина в том, что у меня есть любимая жена. Мне на оставшуюся жизнь не надо другой души рядом с собою. Если вы хотите взять себе вдов – берите на здоровье, выберите каждый по своему вкусу. А меня оставьте в покое.



После этих слов в юрте повисла неловкая тишина. Но Такежан уже не мог уйти от разговора про вдов, и вскоре начал снова:

– Е, Абай не хочет, это его дело. Но давайте покончим с этой заботой с бабами! Исхак, что ты думаешь? – обратился Такежан к младшему брату.

Исхак, поддерживая Такежана, начал говорить о том, что он не верит в слова Еркежан – врет она, что не желает снова выходить замуж. Исхак с Такежаном, говоря по очереди, убеждали всех, что баба на то она и баба, чтобы отнекиваться и брыкаться. Еркежан надо попробовать уговорить, а если она не поддастся, то можно ведь и заставить, против ее воли выдать замуж. Не все женщины выказывают свое согласие с большой охотой, бывает и так, что дают согласие, но при этом непременно должны поплакать...

И вдруг снова против всех выступил молодой Шаке. Он был за то, чтобы Еркежан оставили в покое. Его поддержал Смагул, тоже молодой родственник:

– Нельзя так обойтись с Еркежан-апа. Она не такая, как все другие наши байбише.

Абай вслух не высказался, но всем было ясно, что он поддерживает молодых родственников. И Шубар, присмотревшись, послушав других, присоединился к мнению Смагула: Еркежан трогать нельзя. «Если раньше допускалось насильно выдавать невест и вдов за аменгеров, то это были совсем молоденькие келин. А Еркежан – хозяйка большого аула и главного очага, под шаныраком Улжан и Кунанбая. Разве можно такую женщину, мать двух воспитанных ею детей, достигшую почтенного возраста, приторочить к чужому седлу, как некую добычу?» – сказал Шубар.

Так и остались при разных мнениях – Такежан, Исхак заодно, остальные родственники – против них. Такежан сразу замкнулся, потемнел лицом, перестал что-либо говорить. Собрание не завершилось каким-либо решением. На том разошлись, закончив сегодняшней семейный сход.



Всю ночь между домами Такежана и Исхака сновали гонцы. Эти братья, вместе с ними Азимбай и Манике, проворачивали неотложный вопрос, – памятуя о том, что уже послезавтра Абай должен уехать на Большой сход в Карамолу.

На следующее утро плохо выспавшиеся родственники и наследники попили чай, и когда приехали к ним Шубар и Ербол, объявили им свое решение.

Такежан и Исхак решили вести переговоры через посредников. С Абаем они не хотели больше встречаться, потому что Абай своим умением говорить и, главное, силою своего авторитета способен был склонить родственников на свою сторону. С ним способнее всего вести схватку издалека, через посредников. Так было безопаснее – уберечься от какой-нибудь неожиданной подножки Абая. Братья все свои пожелания изложили перед посредниками, Ерболом и Шубаром, и тотчас отправили их к Абаю.

Когда они подошли к жели, садиться на коней, там застали Азимбая, который тоже вроде бы собрался куда-то уезжать. Рядом с ним был молодой джигит, нукер, подводивший хозяину коня.

Шубар спросил у Азимбая:

– Куда собрался?

– Е, поеду к Демеу. После того, как мы стали приятелями, он обещал найти для меня хорошего беркута. Вчера передал мне салем и послание: «Беркут есть. Приезжай за ним». Вот и поеду.

Демеу был сыном Оразбая, непримиримого врага Абая, и небрежное сообщение Азимбая, произнесенное нарочито в присутствии Ербола, означало многое. Тот должен был обязательно передать Абаю о сем разговоре, а Абай должен был сообразить. если он не поддержит Такежана во всех его притязаниях на вдов и наследство, тот открыто перейдет в стан Оразбая.

Шубар, прекрасно понимавший Азимбая, осторожно намекнул ему:



– Омай, стоит ли торопиться? Узнаешь, как все решится в Большом ауле, потом поедешь за беркутом.

Но Азимбай ничего не ответил ему, сел на коня и уехал.

– Вот обидчивый! Уехал, нагрузившись обидами! – промолвил Шубар, выразительно посмотрев на Ербола.

Шубар давал знать Ерболу, что надвигается новый момент для серьезных распрей между Абаем и его врагами.

Встретившись с Абаем, Ербол не стал долго скрывать от него, что увидел и услышал. Но счел не обязательным разъяснять другу подоплеку всего происшедшего. Ербол знал о тонкой проницательности и незаурядном уме Абая, который мог сделать самые правильные оценки и выводы обо всех происходящих вокруг событиях.

Услышав об отъезде Азимбая, Абай лишь молча кивнул головой и на минуту задумался. Потом вскинул голову и спокойно спросил у Шубара.

– Расскажи теперь, чего хочет Такежан.

Сход круга Такежана ставил перед Абаем два условия. Первое – Абай должен поговорить с Еркежан и уговорить ее выйти за Такежана. Второе – если Абай не сделает этого, то сход родственников решит силой подчинить Еркежан воле аменгеров, и Абай при этом должен стать на их стороне.

Абай отклонил оба эти требования. После чего между аулами Такежана и Абая вновь засновали посредники.

Абай твердо стоял на своем:

– Брать в жены Еркежан не собираюсь, пусть Такежан успокоится. Может брать ее сам, но не насильно. Иначе я буду против. Насилия не допущу. Посылай людей, уговори ее, потом бери. Я согласен только на это. И с этим больше мне не надоедайте, оставьте меня в покое!

На это в ответ высказался Такежан:

– Между сородичами назревает вражда. Род Кунанбая ожидают раздоры и смута. Виновниками этого считаю Абая и Еркежан. Какие бы беды ни обрушились на их головы, – пусть



вину ищут в себе. Дай Бог нам как-нибудь еще увидеться в дальнейшем!

Совет родственников вокруг Такежана принял новое решение. «Если Еркежан не хочет выходить замуж, пусть она останется жить в Большой юрте. Но имущество должно быть достоянием всех детей Улжан и Кунанбая. Сейчас, когда вместе с Еркежан живут два внука Абая, мы не можем считать этот дом общим для всех, в нем властвует один лишь Абай. Пусть будет так, как хочет Еркежан, но детей она должна удалить из Большого дома. Пусть вернет Аубакира и Пакизат их отцу Акылбаю».

Абай пришел в ужас, услышав эти слова. Никто в ауле не считал двоих детей неродными Оспану и Еркежан – они воспитывали обоих с колыбели. Жестокость решения Такежана и его окружения поразила всех остальных родственников и соседей Большого дома.

Еркежан встретила это решение стойко, без слез. Она сказала: «Хотят, чтобы я покинула Большой дом. Хорошо, я уйду, поставлю отдельную юрту на краю аула и буду там жить, в сторонке. Я ведь была любимой женой Оспана, нашего кенже, пусть выделяют мне кое-что из общего имущества. И пусть я покину этот шанырак, но душу покойного кенже я не оставляю, не покину наш аул. А двух своих сироток, взлелеянных нами, я также не оставляю. Возьму их с собой, когда буду уходить из этого дома».

Большой аул, все родичи были за Еркежан. Аменгеры ничего не добились. Их словам никто не внимал. Такежану и Исхаку не удалось провести разделение наследства Оспана. О женитьбе на вдовах они уже не заговаривали. И вот посредники доставили Абаю последнее их решение: «Пусть аул Оспана останется, как был. Еркежан пусть живет в Большом доме. Но нельзя допустить, чтобы Большим домом владели только потомки Абая. Пусть потомки двух его братьев тоже живут там, управляют хозяйством аула. Для этого Еркежан должна усыновить детей Исхака и Такежана».



Этому решению Абай уже не стал противиться. Легко согласилась на него и Еркежан. Но она попросила, чтобы в усыновление ей обязательно отдали Какитай, сына Исхака. У Такежана с Каражан единственным сыном был Азимбай, и его мать не пожелала отдавать.

Споры о дележе наследия были отложены на более поздний срок. Какитай в качестве «хозяйского ока» перешел жить приемным сыном в дом Оспана.

Абай собрался ехать в Карамолу на съезд и накануне вечером созвал у себя молодежь. Наконец вернулось к нему душевное равновесие. Четыре дня отвратительной семейной свары Абай хотел бы поскорее забыть, и он ни словом не обмолвился об этом с детьми и друзьями. Лишь коротко сказал:

– Такежан в союзе с Оразбаем. Наш спор о делении наследства обязательно отзовется там, в Карамоле...

Утром Абай выехал в сторону Карамолы.

В тот же день, отправившись из аула Такежана, поехал напрямиком к Оразбаю и Азимбай.

2

С собой в поездку Абай взял Ербола, Кокпяя, Баймагамбета – из старших, и Магавью с Дарменом из молодежи. Это было весьма небольшое сопровождение. Хотели ехать и Какитай с Абдрахманом, однако Абай просил их оставаться в ауле.

– Айналайын, Какитай, мне пригодилась бы твоя помощь там, но ты лучше побудь здесь. Теперь ты приемный ребенок Оспана и Еркежан, переезжай жить в Большой дом. Будь хозяйским оком в ауле, веди все его дела. Тебе нельзя здесь сплеховать. Такежан и твой отец решили, что ты должен жить в Большом доме, и если ты сейчас поедешь со мной, могут возникнуть всякие пересуды. Так что оставайся, исполняй свое дело!



Абишу сказал ласково:

– Ты человек на отдыхе, сынок. Отдыхай! Зачем тебе все эти наши степные споры-раздоры, дразги, жалобы, ябеды! Такое в степи не вчера началось, душа моя, и не завтра кончится. Твоя помощь, как вода, принесенная на кончике ласточкиных крыльев, не сможет потушить этот пожар. Постараюсь сам на своих плечах вынести всю тяжесть, что навалит на меня.

Говоря это, отец не знал, что за последнее время Абиш, по совету Павлова, сделал очень много, чтобы обезопасить отца на предстоящих испытаниях. В этом помогали ему молодые друзья из круга Абая.

Абишу, как и Павлову, было понятно, какие опасные последствия могут возникнуть в ходе предстоящего допроса генерал-губернатором, «жандаралом», чему будет подвергнут Абай. И нужно было заранее заручиться огромным числом всяких оправдательных свидетельств, ходатайств, «приговоров», которые единственные для чиновничьих канцелярий имеют значение. Разумеется, там уже заведено дело на Абая и собраны вороха кляуз, жалоб и прошений, порочащих его. А народное доверие к нему, признанная всеми его честность и высокая порядочность – в чиновничьем мире хода не имеют.

Учитывая это, Абиш приступил к составлению заявления и собиранию тех бумаг, в которых были бы записаны случаи беззакония и произвола, допущенные властями в прошлом году во время сборов налога. В заявлении подчеркивалось, что Абай выступил только против незаконных черных поборов, что лишь вмешательство Абая предотвратило опасное столкновение между уездными властями и массой степной бедноты. В подтверждение этому были составлены «приговоры» от имени населения Чингизской волости. Подписать это должны были люди разных родов и аулов.

В Жатак с этой бумагой ездил Дармен. Он обошел все юрты, побывал у старой Ийс, у Жумыра, Канбака, Токсана, Серкеша и у других. «Приговор» подписали не только мужчины, но и



жещины. Подписывая бумагу, Даркембай, Базаралы, Абылгазы и остальные жатаки высказались: «Для Абая кровью своей можем подписаться!»

Поговорив с Дарменом, Даркембай решил послать в Карамолу расторопного джигита Серкеша, который часто бывал в городе и знал привычки русских чиновников. Также прозорливый Даркембай снарядил в Карамолу любимого Абаем акына, старого Байкокше.

Когда подписи под заявлением были собраны, Абдрахман отослал его с Алмагамбетом в канцелярию губернатора в Семипалатинск. Получилась увесистая пачка бумаг. Копию с них и со свидетельских показаний русских переселенцев о по траве отослал с акыном Байкокше на Карамолинский съезд, с просьбою – постараться вручить бумаги в руки «жандаралу».

Так Абиш, которого отец хотел отгородить от своих неприятных дел, потихоньку от него же оказал существенную услугу. Вообще-то сам Абай не привлекал молодежь к своим заботам по поводу взаимоотношений с властями, не разговаривал, не советовался ни с кем по этому поводу. Единственный человек, с кем он посоветовался, был Павлов.

Тот предварил вопросы Абая словами:

– Ибрагим Кунанбаевич, вам предстоит не очень-то приятная поездка... Не сочтите за назойливость, но нет ли у вас вопросов ко мне? Скоро расстанемся, времени у нас не очень много. Да и когда еще придется свидеться? Вы и ваш аул, степь ваша – стали для меня дороги. Жаль, что приехал к вам не ко времени, в пору, трудную для вас. Зато я впервые увидел поминки, узнал, что у вас в степи есть свои Салтычихи и Кабанихи! – рассмеялся Павлов, вспомнив про Манике и Каражан. – Жаль, что не мог участвовать при разделе наследства, потому что Федор Иванович Павлов не является одним из сыновей Кунанбая! Но в остальном, особенно перед вашей сложной поездкой в Карамолу, хочу быть полезен для вас. Спрашивайте!



Абай учтиво поблагодарил Павлова за добрые слова, затем стал спрашивать:

– На этот раз губернатор сам должен приехать на съезд в Карамолу. Что он за человек? Как мне с ним держаться? Я ведь раньше никогда не сталкивался с ним. Может быть, мне лучше обращаться к «жандаралу» через его чиновников? Или же самому встречаться и разговаривать с ним? Может, нанять адвоката? Ведь я предчувствую, сколько жалоб и лживых «приговоров» от моих врагов накопилось там, в канцеляриях.

Павлов тотчас стал отвечать, словно давно ожидал этих вопросов.

– Нынешний генерал-губернатор назначен к нам недавно. Мне приходилось слышать разное о нем в разговорах чиновников. Но у всех прозвучало единое мнение: у него нет снисхождения к человеку, который держится перед ним трусливо. А некоторые даже поговаривают, что генерал вполне благородно поступил с теми, кто вел себя открыто и смело. Примите это во внимание.

– Разумеется. Спасибо, что сказали об этом.

– Но имейте в виду, что, увы, – любой русский чиновник представляет киргиз-кайсацкую степь как дикую страну, населенную невежественными дикарями. И вам нужно показать, что в этой степи есть Ибрагим Кунанбаев! Непременно дать им узнать, кто такой Ибрагим Кунанбаев, родившийся и живущий среди кочевников степи! Сумейте предъявить доказательства этим чинушам, что вы человек высочайшей нравственной культуры! Явите перед ними духовную силу человека степи, свою силу, – которая в беспредельной честности, благородстве, в красоте поступков! Пусть через вас, Ибрагим Кунанбаевич, они почувствуют великую культуру и искусство вашей древней цивилизации! И дайте все это понять ему – со свойственным вам достоинством, деликатностью и уважительным отношением к собеседнику.

Федор Иванович разволновался, лицо его вспыхнуло румянцем. Из больших глаз его, казалось, сыпались красивые



синие искры. «Ссылный, скованный цепью неволи, – а ведет себя как свободный человек на празднике жизни!» – подумал Абай, любясь своим чудесным другом.

Но разговор их был внезапно прерван.

Раздались тяжелые шаги, забряцали шпоры, – по аулу шел, приближаясь к ним, здоровенный жандарм с красными витыми шнурами, свисавшими с плеча, с длинной саблей в отделанных медными кольцами ножнах. Настоящий блистающий жандарм – в ауле!

– Господин Павлов! По личному распоряжению его высокоблагородия господина полицмейстера Семипалатинска я прибыл за вами. Вы арестованы за самовольный выезд в киргизскую степь и будете сопровождены в Семипалатинск! Прошу немедленно следовать за мной! – обратился он к Павлову.

Абай был удивлен и сильно раздосадован. Павлов же спокойно, с неким даже насмешливым выражением, смотрел на жандарма. Федор Иванович словно не был удивлен появлением в ауле устрашающего вида служаки, явившегося по его душу в эту глухую степь.

– Немедленно следовать за вами я не могу, – спокойным голосом ответил Федор Иванович, явно разыгрывая жандарма. – У меня тут еще дела.

– Не могу задерживаться! Велено доставить вас немедленно!

– Ну и доставляйте! А идти за вами пешком сто верст до Семипалатинска я не собираюсь.

У жандарма сделалось совершенное растерянное выражение на лице.

– Позаботьтесь найти для меня лошадь под седлом или возок. Обратитесь за этим к людям этого аула, да будьте с ними пожебливее! Ну а я в последний раз выпью местного кумыса! Пойдемте, Ибрагим Кунанбаевич, надеюсь, вы не откажете мне в чашке кумыса?



Только в полдень жандарм подогнал к юрте телегу об одной лошадке, и Павлов уехал.

Абай крепко обнял и расцеловал друга. Молодежь с грустью прощалась с Федором Ивановичем.

Когда тележка с Павловым была уже далеко от аула, Абай со своими спутниками тоже отправился в путь.

Все эти дни Базаралы проводил в седле, объезжая на коне аулы. Он был теперь здоров. С того самого дня, когда во время схватки в Жатаке Базаралы сумел преодолеть себя и встать на ноги, чтобы кинуться в бой, боль в спине, после ужасного хруста, почти совсем ушла. Увидев, что он покинул постель и может передвигаться самостоятельно, Даркембай уговорил его сесть на коня и поехать вместе на урочище Гайлакпай, полечиться грязью. Там находилось соленое озеро Ушкара. Грязь со дна этого озера была самым лучшим средством против болезни поясницы и суставов. Даркембай пользовал лечебной грязью Базаралы две недели, укладывал друга в деревянное корыто, обмазывал ему ноги. Лечение помогло настолько, что вскоре Базаралы забыл о своих болях, и даже пошучивал:

– Зря я так боялся своей болезни, дрожал перед нею, как напуганный жаворонок, который прячется в траве от лисы. Оказывается, раньше, когда на меня валялись всякие беды, я не знал никаких болезней. Спасибо Азимбаю и Даркембаю: один излечил меня черной бедой, другой – черной грязью!

И вот теперь он беспрерывно мотался по аулам, не зная ни сна, ни отдыха. Он старался для Абая. Со дня приезда в аул жатаков Дармена, собиравшего подписи на заявлении в защиту Абая, Базаралы решил сам ездить по всем бедным аулам Жигитек, которым также помогло заступничество Абая во время черных поборов. Базаралы знал, что с прошлого года Абая обвиняют в том, что «тогда он призывал людей к неповиновению и сопротивлению». И это обвинение идет от



клики Оразбая, к которой присоединился и Такежан со своими людьми, что ненавидели Абая как вероотступника и разрушителя отческих устоев.

– Пусть говорят, что он откололся от Кунанбаев, ушел из стаи матерых волков, – правду они говорят. Абай ушел к народу, готов душу выложить за него. Но за это Кунанбаи и Оразбаи хотят его оклеветать и отдать под суд. Жа! Пора народу постоять за Абая! Сажусь на коня, поеду по аулам, соберу кучу бумаг и помчусь вслед за Абаем в Карамолу!

И Базаралы неделю без усталости ездил по разным осенним стоянкам многочисленных аулов. Он объехал земли пастбищ племен Мамая, Кокше, Жуантаяк, рассказывая о славных деяниях Абая и о том, какую клевету хотят возвести на него враги.

– Разве мало помогал народу Абай? – говорил везде Базаралы. – Но можем ли мы сказать себе, что когда-нибудь помогли ему? Этого не было, так давайте теперь поможем, когда он нуждается в нашем заступничестве!

И стар и млад в серых и черных юртах аулов всех племен, куда заезжал Базаралы, были рады увидеть его. Это был снова их веселый, сильный, умный и добрый Базаралы!

Собрав два полных коржуна «приговоров» и свидетельств в пользу Абая, Базаралы помчался в сторону Карамолы.

Выехавший с малым числом сопровождения, Абай не так уж и спешил скорее попасть на съезд. Ехал три дня, останавливался на обед и на ночевку в знакомых аулах, у своих друзей. На четвертый день путники добрались до окрестностей Карамолы, спустились к долине и двинулись вниз по течению реки Чар.

Близился вечер, но прогретый за день сентябрьский воздух все еще оставался теплым. Благостная речная прохлада смешивалась со степным веянием, порождая приятный для людей и коней вечерний ветерок. Неширокая, с частыми крутыми извивами, река Чар неторопливо катила свои прозрачные бесшумные воды. На пологих местах еще ярко зеленела



трава заливных лугов. Речная гладь казалась неподвижной, сквозь невидимые струи виднелось светлое песчаное дно. Лишь разливаясь на мелководье поймы, протекая в лугах, вода тихо колебала тонкие стебли речных трав и едва заметно журчала.

Прилегающая с обоих берегов реки Чар ровная степь была серебристо-палевого цвета из-за устилающего ее сплошным пушистым ковром волнующегося под ветром ковыля. Лишь отдельными яркими пятнами и полосками шла еще сохранившаяся степная зелень.

Выстоянные к осени кони шли бодро, лишь изредка косясь на прозрачные речные струи, негромко пофыркивая. Следуя по речной долине прямой дорожкой, всадники переходили реку вброд несколько раз. Наконец, выехав на длинный изволок, передние всадники, ими были старшие в группе, подвели остальных к широкому плесу. Коней завели по колена в воду, остановили их попить.

Байкокше, возглавляющий ватагу путников, приказал:

– Напоите коней, здесь мы переходим Чар последний раз.

Не слезая с лошадей, всадники разнуздали их. Громоздкий, тучный Абай нагнулся с седла, чтобы вынуть удила изо рта коня, но Ербол его опередил и, подъехав ближе, сам вынул трензель.

– Апырай, сейчас начнут издеваться надо мной: мол, сам не может напоить коня! – шутливо посетовал Абай. – Дружище, ты что, до самых седин все будешь заботиться обо мне?

– Вот, давно завел себе дурную привычку! – засмеялся Ербол. – Все кажется мне, что ты, бедняга, ни на что не способен сам, и надо тебя пожалеть!

Слова эти рассмешили всех, ибо чрезмерно располневший Абай хотя и казался менее подвижным, чем остальные, но еще был вполне джигит и управлялся с конем умело, ловко, как и любой казах.



Гнедой конь Байкокше зашел в воду дальше всех и пил самую чистую воду. Обернувшись на седле, старый акын с улыбкой смотрел на шутивших друзей. Глаза его искрились молодым весельем.

– Уай, как жалеете друг друга, словно двое калек! Подружились слепой да хромой, нашли опору друг в друге! А ведь впереди вас ожидают враждебные толпы, шумные битвы, придется пройти через огонь и воду! Где вы силы найдете, два батыра, коли так ослабли заранее?

Кони пили, отфыркиваясь, удила звенели, шутка старого седобородого акына была услышана всеми и приободрила джигитов, молодых и старых. Первым двинулся вброд через реку конь Байкокше, остальные последовали сзади, шумно разбрызгивая воду.

Абай обратился к Ерболу и Дармену, ехавшим рядом с ним, и спросил, указывая на Байкокше:

– Е, а вы ничего не заметили? Нет? Не думаю, что его одолевает наваждение, как шамана-бахсы, но полагаю, друзья, что скоро придет к акыну вдохновение! Вот увидите!

Дармен молча посматривал на Абая. Молодой джигит знал, по опыту прежних отношений, что Абай-ага во многом провидец и может с одного лишь взгляда на человека определить, что тот намерен сделать – и сделает в следующую минуту. И Дармен с затаенным волнением стал ждать появления песенного вдохновения у старого акына.

Дармен и сам знал, как это происходит. Знал и то, что ничего дороже и выше этого не бывает...

Байкокше, уехавший далеко вперед, вдруг остановился в ковылях и слез с лошади. Когда остальные подтянулись к нему, старик уже освободил гнедого от удил и, взяв на длинный чумбур, пустил попасться.

– Всем спешиться! Скорее слезайте с лошадей! – каким-то необычно властным для него голосом повелел старый акын.



И люди молча повиновались. Но, спрыгнув с седел и пустив лошадей пастись, тотчас встали вокруг Байкокше. А он, сняв с головы тымак, в щелочку прищурил свои раскосые глаза, поднял голову к небу и запел.

Необычная это была песня – без сопровождения домбры, монотонная, как молитва. Морщинистое лицо старика, его белая борода клинышком, задранная вверх, большой орлиный нос делали певца, исполнявшего странную песню, действительно похожим на предсказателя-бахсы. По сути, это была не песня, а песенный пересказ сна, который видел Байкокше накануне ночью. Но все равно акын начал его с традиционного почина: «Ахау!»

Он увидел огромную пустынную местность, затянутую туманной полумглой, а посреди этого пространства неподвижно стоял один человек. Это был Абай. Он словно настороженно ждал чего-то. И вдруг со всех сторон разом, с безобразным шумом стали набегать на него свирепые существа. Была чудовищного размера черная собака с поджатым голодным брюхом. Был громадного роста облезлый тощий волк с выпирающей решеткой ребер. Была облизывавшаяся бешеная лиса, словно почуявшая запах крови. Были другие свирепые хищники, похожие на гривастых темных гиен. Звери окружили человека и со всех сторон стали подступать к нему. Вдруг мгновенно сделалась страшная кутерьма, чудища кинулись на Абая одновременно. Все исчезло в мелькании звериных тел. Тьма накрыла пространство сна.

Рев, визги, глухие стоны – и стало тихо.

А когда снова развиднелось, пред очами Байкокше предстала другая картина. Посреди звериного круга Абая не было. Вместо него стоял могучий желтый лев-арыстан с бурой гривой. Лев сам кинулся на врагов и вмиг разметал их вокруг себя. Удары его громадных клыков и могучих когтей были сокрушительны, клочьями разлеталась шерсть, рвалась в куски звериная плоть, красная, как огонь, кровь залила все вокруг.



Мгновение – и вот уже хищные твари с переломленными хребтами, рассеченными лапами, с перекушенными окровавленными телами валяются мертвыми вокруг торжествующего льва. Стоит он один, словно на холме победы, и грозно оглядывается вокруг себя: «Есть еще кто-нибудь, кто хочет сразиться со мной?» Кривые острые когти его скребут землю, отгребая камни, он бьет хвостом себя по бокам. Ярости и мощи его нет предела.

– Вот что я видел во сне, джигиты! – изменившимся, молодым голосом воскликнул Байкокше. – Думайте сами! Разгадывайте! А теперь – все на коней!

И старый акын первым направился к своему гнедому коню.

Дармен, Магавья и остальные стояли на месте, все еще никак не приходя в себя. Первыми за старым акыном последовали Абай и Ербол.

Вечер уже подступил, а до города еще оставалось ехать не так уж мало. Байкокше, ехавший впереди один, подхлестнул своего темно-гнедого жеребца камчой и перешел на скорую рысь. Остальные подтянулись за ним.

Никто не видел на его лице лукавой улыбки. Четыре дня назад, когда он был в гостях у Даркембая, тот рассказал ему о новых напастях, свалившихся на голову Абая. Рассказал о вызове его в Карамолу, для допроса «жандаралом».

– Сбились в стаи кровожадные толстосумы в степи и хищные сановники в городе и хотят вместе навалиться на нашего Абая. В город на этот раз поезжай ты, ровесник. По мере сил своих постарайся придать ему воли и мужества для сражения с хищниками. Укрепи ему дух умными наставлениями. В час испытания кто поможет Абая, как не мы с тобой? Пусть наша дружба с ним не будет для него напрасной.

Байкокше в эти дни поездки не раскрыл перед спутниками одного своего секрета. В двух дорожных сумах, перекинутых через спину его небольшого темно-гнедого жеребца, лежали



толстые пачки бумаг – заявлений, свидетельств, «приговоров» и писем в защиту Абая, подписанных сотнями простых людей. Этот груз свой Байкокше берег, как зеницу ока.

Задача его была – пройти с этими бумагами к самому «жандаралу».

У всех в этой маленькой ватаге друзей были свои тайные мысли, желания, намерения, опасения и надежды, направленные только на одно – как помочь Абаю. С этим путники и прибыли поздним вечером в Карамолу. Остановились в гостевой юрте, которую поставил для них Айтказы.

3

Оразбай был уже в Карамоле, основательно расположившись в собственных юртах: при нем было достаточно людей и скота – как дойного, так и под нож.

Выехав на день позже Абая, прибыл на день раньше – двигаясь скорым ходом, без остановок, поскольку силы его удваивались от единственного, но уж больно крепкого желания: здесь, на чрезвычайном сходе, не гнушаясь ничем, собрав и тех, и других – казахов степи и чиновников города, – всех натравить на Абая, чтобы свалить его замертво.

Как ни рвался Оразбай на сход, как ни стремился поскорее выйти в дорогу, пришлось ему задержаться. Сидя в своем ауле, теряя покой, чутко улавливая любые слухи, он ждал вестей о вражде Такежана и Абая, вестей от тяжбы, что прошла недавно в Ералы – о дележе наследства Оспана.

Именно это коварное наследство и могло напрямик бросить Такежана в руки Оразбаю. Но Такежан не давал своего последнего слова, хотя Азимбай точно сказал: дети Кунанбая не на шутку повздорили.

Все это и держало Оразбая в ауле, не давало отправиться на сход... Вот, наконец, сюда пожаловал Азимбай, уже давно обещавший приехать.



Оразбай и Демеу тотчас отвели гостя в уранхай и хорошенько расспросили обо всем. Азимбай был достаточно хитер, к тому же, не беден, а значит – вполне независим. Оразбай то нетерпеливо теребил его за рукав, то наседал, жадно поедая джигита своим единственным глазом, стараясь поймать каждое слово из его уст. Надменный внук Кунанбая отвечал скупой, в общих словах и поведал лишь о самом малом, незначительном.

Вот что удалось узнать... Абай крепко обидел не одного Такежана, но и Исхака. Хорошо зная, что все уважают его, и никто не пойдет против, Абай сумел удержать в своих руках наследство Оспана. Будучи старшим, Такежан пострадал только из-за своей робости. Пока не зная, как заполучить свою долю, он прекратил все разговоры.

Азимбай не сказал ни слова о том, какие разгорелись тяжбы между сородичами, однако он дал понять главное: Такежан достаточно обижен на Абая. Если вражда разгорится, то, в конце концов, Такежан сам найдет дорогу к Оразбаю. Именно это было благой вестью, что принес Азимбай, да и приезд его в аул также был хорошим знаком.

Поняв, что на большее расколоть джигита не удастся, да и самое нужное уже было выведано, Оразбай оставил их вдвоем с Демеу и вышел из уранхая.

Солнце только что закатилось. В сумерках Оразбай поехал в свои табуны, один, никого не взяв с собой. Под ним был конь заячьего окраса, шея дугой, с широким крупом, накрытый белым чепраком. И сам Оразбай, сливаясь с конем, был сейчас одет во все светлое: на голове – легкий заячий борик, на плечах – широкий тонкий чапан из репса. Всадник двигался неспешным ходом, перейдя к концу пути на бодрый шаг, слился с селевым потоком своего светло-сивого табуна.

Тысячный табун Оразбая был почти всецело светло-сивой масти и носился по джайлау, словно единое, огромное, неприрученное животное. Лошади – жеребцы и кобылы, четы-



рехлетки, пятилетки, составлявшие ядро табуна – были не в меру строптивыми, пугливыми и дикими. На протяженном жели, в пору привязи дойных кобыл, хозяин велел держать не менее ста жеребят. Проезжающий мог залюбоваться светлой вереницей молодняка, – во славу и на радость самому Оразбаю, – который и делал столь длинный аркан, чтобы показать себя перед людьми.

Сейчас он был один среди своего тысячного табуна, почти в темноте, бесцельно дергая поводья, и мысли его метались, будто не коня он подхлестывал камчой, а самого себя. Вдруг спешивался, вел за собой коня в поводу и бродил по табуну, словно волк на охоте, затем снова вскакивал в седло...

Нечем порадоваться. Оразбай отер слепой глаз, успевший уже иссохнуть, провалиться, как у мертвеца. Сминая в руке борик, глубоко задумался... Вдруг перед ним в темноте всплыло так же одноглазое лицо Кунанбая, с которым Оразбай враждовал когда-то.

Конечно! Враждовать надо так, как это умел Кунанбай. Коварно и жестоко, мстительно и беспощадно. Вся злоба Оразбая будто жила в нем сама по себе, копилась с далеких времен. Будь Оспан сейчас жив, он стал бы его самым ненавистным врагом. А теперь его целью был Абай, и уже третий год Оразбай беспрестанно плел свои козни против него, пуская на это дело сотни голов лошадей, которыми он платил чиновникам, писарям и толмачам. Подумав об этом, Оразбай огляделся в темноте, осматривая свой тысячный табун, будто прикидывая, насколько он поредел за эти годы, пущенный на взятки в городе.

Всех опутал паутиной Оразбай! Ее нити тянулись до Усть-Каменогорского, Зайсанского уездов, откуда на чрезвычайный сход съедутся владельцы несметных стад и властители степных волостей, аткаминеры, би. Вдобавок к тому, силки Оразбая были расставлены и в Семипалатинске, чуть ли не в кабинете самого уездного главы, словом, все свитые им ве-



ревки смыкались, как сеть, теперь в одном месте – в Карамоле, где на днях начнется сход.

Имя Оразбая было на устах волостных и судей родов Керей и Матай, располагавшихся именно в Карамоле. Нашли с ним общий язык и баи, старшины родов Уак, Бура, Найман и Басентиин, кочующих по степным берегам Иртыша. Что касается городских денежных баев, то и с ними в последние годы завел Оразбай тесную дружбу, обмениваясь щедрыми дарами, словно со сватами. Здесь же, в степи, среди тобыктинцев, чуть ли не половина людей из пяти волостей были в кумовстве с ним.

Но только один аул Абая все эти хитроумные, столь широко расставленные сети небрежно обходил стороной. У Оразбая словно камень в глотке застревал, когда он принимался думать о том, как рассорить Абая с сородичами. Чтоб их бесы попутали! Пулей, которая смертельно ранит Абая, как раз и могла стать эта распря с Такежаном. И тогда Абай будет обречен на одиночество в родовом Большом доме, а после, может быть, даже изгнан из отцовского аула.

Вот почему Оразбай все это время говорил и думал о дележе наследства Оспана. А теперь, когда Такежан колеблется, надо действовать немедля, не жалея ничего!

Все это кружилось в его голове, когда он, в своем светлом чапане, белый, как призрак, носился по табу на светло-сером коне, пока лошадей после водопоя не погнали на выпас.

Возвращаясь скорым шагом в аул, Оразбай издали разглядел своим единственным, но зорким глазом, что у керме спешила группа всадников. Чтобы приехать в Карамолу с подобающим сопровождением, Оразбай позвал с собой многих владетельных баев. Вот они и начали собираться: те, что стояли у коновязи, были Абыралы, Молдабай, Жиренше и Байгулак. Когда Оразбай сошел с коня, они только что принялись за вечерний чай, расположившись в большом доме, и принимал их расторопный Ыспан.



Войдя, Оразбай сразу увидел этого безбородого смуглолицего джигита, который уже бежал к двери. Взяв из рук старшего брата камчу и борик, Ыспан усадил Оразбая повыше.

Оглядывая гостей, Оразбай начал разговор, который вынашивал последние дни:

– И когда только казахи перестанут талдычить: Ибрай справедливый, Ибрай мудрый? Глядите, что вытворяет этот «справедливый Абай». Даже Такежана и Исхака, своих братьев, рожденных от одной матери, заставляет выть от обиды. Обоих оставил с пустыми руками, без наследства, выгнал из главного очага Кунанбая, все взял себе! Разве это справедливо? Это ли назовем благородством? Наглость это и пакость, и творит он все это и с живыми, и с мертвыми потомками Кунанбая!

Все это Оразбай говорил, захлебываясь от злости, высоко поднимая палец, возвышаясь на торе и яростно сверкая глазом на каждого из гостей.

– Не я ли предупреждал? – вопрошал он. – Не я ли говорил: наследство Оспана, наконец, откроет истинное лицо Абая! Так и вышло. Кто сбивает людей с пути, сводит на нет все хорошее, что оставил Кунанбай? Кто разоряет мирную жизнь целого домашнего гнезда? Абай! Кому он только не вредит? Все, кто идет за ним, отрекаются от праведного пути отцов, становятся изгоями. Почему? Да потому что сам он давно отрекся от всего – от старинных обычаев, нравов, даже от родного языка!

Почти всю эту ночь Оразбай говорил нечто подобное, и его друзья с удивлением слушали его. Никто ничего такого не знал о наследстве Оспана, о распре Такежана и Абая. Ни Абыралы, ни Байгулак ничего не ведали, лишь до Жиренше доползли какие-то туманные слухи...

Молдабай, косо поглядывая на хозяина, думал: «Вот, нарядился в двуличные одежды... Да если бы в его словах была хоть капля правды, он бы не порицал Абая, а поддерживал его...»



– Неужто все это так, Оразеке? – вдруг перебил Оразбая Байгулак, как бы высказав вслух осторожные мысли Молдабая.

– О чем это вы тут говорите, Оразеке? – усомнился и Абыралы.

Оразбай сердито оглядел гостей.

– Е, зачем мне врать, бес, думаете, попутал меня? – искренним голосом произнес он. – Напротив, со мной, за моим дастарханом – сам Кудай всемогущий! Он все видит, и вы скоро тоже узрите... Клянусь жизнью, я говорю истину!

Некоторые гости удивленно переглянулись... Впрочем, после хорошего ужина, после мяса жеребенка, варившегося столь долго, что его уже не надо было жевать, после чая и обильных чаш кумыса, многие переменили свое суждение. Слово за слово, эти спесивые, задиристые баи рода Тобыкты принялись поддакивать Оразбаю и обвинять Абая во всех смертных грехах.

– Почему же имя Абая тогда у всех на устах? – начал Байгулак, славившийся своей рассудительностью. – Почему все ближние-дальние прямо-таки смотрят ему в рот?

Вопрос был обращен к Оразбаю, но тот лишь отвернулся, недовольно махнув рукой. За него ответил более проворный на язык Жиренше:

– Е, Байгулак! Абая величают великим мудрецом, славным оратором-шешеном. А нас кое-кто записал в неучи и невежды, что сгорают от зависти к его золотой короне.

Последние слова, произнесенные с обычной для Жиренше насмешкой, так задели Оразбая, что он задрожал от злости.

– Да на что нам его ученость, даже если кое-кто назовет его великим мудрецом? В чем его ученость? «Предки плохие, отцы плохие, праведный путь казахов плох», – продолжал он, уже якобы передразнивая Абая. – Или вот: «волостной – вор и обманщик», «бии да баи – грабители и насильники», «мулла – невежда и плут». Будто мы и сами об этом... – Оразбай



запнулся, но затем продолжал более уверенно: – Что это за мудрость, из-за которой ссорятся дети и отцы, народ сбивается с толку?

Жиренше заерзал, передернул плечами, будто намереваясь слегка ткнуть его в пах, чтобы тот еще пуще взбрыкнул.

– Е, Оразеке! – вскричал он. – Каждый, кто хоть маломальски научился читать, бегаёт с бумажкой за пазухой, всюду твердит «Слово Абая», поёт его песни, назубок знает его стихи... Что тут поделаешь, Оразеке! Его слова доходят до наших детей – не твои!

Жиренше огляделся с самой невинной улыбкой, еще пуще разозлив Оразбая. Абыралы перехватил мысль сотрапезника и, чуть пригубив кумысу, осторожно проговорил:

– Есть такое опасение. Нынче вся детвора, джигиты-домбристы читают Абая, поют Абая... «Песни Абая», «Слово Абая»... Думаю, тут расползается в народе некая новая зараза.

Абыралы поругивал Абая, хотя и глубокомысленно, но все же неуверенно, с тревогой оглядываясь по сторонам, поскольку все знали, что в народе звучит не только «Слово Абая», но и одно едкое, насмешливое стихотворение, написанное Абаем про самого Абыралы...

Тут Ыспан, тщась подтвердить только что прозвучавшие речи, сказал, обращаясь к своему старшему брату:

– Оу, Оразеке! Разве не те самые «песни» да «слова» этим летом вы нашли в своем же очаге, у собственных детей? В книге, по которой мулла учил их грамоте... Как вы расчихвостили тогда его! – Сказав, Ыспан засмеялся, что еще больше удручило Оразбая.

Помолчав, Оразбай заговорил, словно оправдываясь.

– Ну взял муллу беспортошного из здешних жуантаяков, думал, станет учить детей праведности, намазу да грамоте, а тот оказался чересчур умным. Оно бывает, что у людей, слишком грамотных, порой мозги прокисают... Вот сижу как-то



возле дома, прислушиваюсь, чему же он там учит, а этот недоумок заставил детей бляеть, заучивать наизусть словоблудие Абая. Высмеивает волостного главу. Кажется, это было про нашего Молдабая, – закончил Оразбай, ехидно смеясь.

Молдабай сидел молча, потемнев лицом: теперь и его задируют.

– Очернил, обдал грязью такого достойного человека! – продолжал Оразбай. – А у меня как раз в руке была камча. До того рассердился, что в кровь расписал этого муллу, и в тот же день выгнал пешком, как собаку, – пусть топают к своим жуантаякам!

Было видно, что он считает такое дело достойным всяческого подражания. Оразбай меж тем с гордостью оглядел гостей и, прибодрившись, продолжал:

– Нет, надо перекрыть это словоблудие! Кто тут славит Абая? Как можно положить конец такому разврату, если даже достойные люди поют ему хвалу? Сказано же: во все времена приходит свой искуситель. В наши дни, он – под личиной Абая. Идя против Абая, разве я не хочу уберечь казахов от гнусного совращения? О себе ли я пекусь? Неужто я желаю заполучить скот Абая или пожить у него чем-то? Вот мой дастархан, вон мой табун, у меня своего хватит!

Хозяин махнул рукой перед собою, очертив круг дастархана, ткнул пальцем в стену юрты, в том направлении, где паслись в ночном его светло-сизые лошади, и продолжал:

– Попомните мои слова! Завтра же они прозвучат из уст уездного главы, их повторят и казахи, в низине и в горах. Все вокруг в голос завопят то же самое! На этот раз Абая вызывают в уезд, мне передал один толмач, мой человек в городе. Так и говорит: «Как я замечаю, гнева на него припасено достаточно и у акима уезда, и у чиновников повыше. На этот раз, пожалуй, Абай покатится, как перекасти-поле, в ссылку». Для того мы и едем в Карамолу, чтобы своими глазами увидеть, как скрутят Абая, и крикнуть ему вслед слова проклятья!



Закончив свою речь, Оразбай оглядел гостей, будто высматривая несогласных. Все молча кивали под его шарящим взором, и лишь Жиренше улыбался: как оказалось, у него было свое особое соображение.

– Дело не только в том, – вдруг сказал он, – что достойные люди края и чиновники из города, наконец, договорились и вместе хотят покончить с Абаем. Но вот что я вам скажу – на этот раз Абай не уйдет и от проклятия святых аруахов!

Оразбай и Абыралы, с разных сторон дастархана, изумленно глянули на Жиренше. Улыбка уже сошла с его лица. Он заговорил сердито, даже злобно:

– Вчера, собираясь сюда, услышал еще кое-что. О новой, прямо-таки ужасной выходке Абая поведал мне Шубар. Он-то, хоть и часто хаживает к Абаю, но вовсе не его человек, вы не подумайте! И вот, рассказал, почему он так поспешно уехал из аула Абая. Весь этот аул – точно становище бесов. Вечно там крутятся темные люди: ссыльные, изгои всякие, мелочь какая-то, певцы-музыканты...

Перечисляя «темных людей», Жиренше все больше распалялся, словно каждый возбуждал в нем особую личную ненависть:

– Вот, к примеру, есть там такой Дармен, сородич Абая. И тоже якобы акын, сочинил легкомысленную песенку. И в этой пустопорожней чуши прямо-таки опозорил Кабеке, моего святого предка Кенгирбая; мол «взяточник, кабан, волк, поедавший своих щенков!» Шубар как услышал этого Дармена, так сразу и уехал, а домой вернулся, хватаясь за грудь, так как сердце ему прихватило... Сказал: Абай и сам одержим бесами, и других успел затянуть в бесовщину. Вот видите!

– Вижу! – воскликнул Оразбай, вскочив с места. – Он и есть тот самый темный человек, Абай, тот, кто отбивает сына от отца, дочь – от матери, народ – от святых предков, от нашего праведного пути! Что с ним еще делать, как не проклясть и прогнать навеки?



Так, за ужином, за чаем-кумысом, гости Оразбая незаметно для себя перешли в его веру: теперь и они, прежде сомневавшиеся, были твердо убеждены в том, что Абая надлежит «проклясть и прогнать навеки». С этой мыслью они и отправились в дальний путь, при самых первых проблесках утренней зари...

В свите Оразбая было до сорока человек – видные баи да сопровождающие их джигиты. Возглавляя группу всадников, сразу за окраиной, Оразбай перешел на ходкую дорожную рысь. У него был свой расчет: несмотря на задержку, он должен был прийти в Карамолу хотя бы на день раньше Абая, переночевав в пути лишь один раз. Пусть даже на полдня опередить бы Абая, – удастся потолковать с нужными людьми, привлечь их на свою сторону.

Просторную белую юрту привезли в Карамолу заранее. Едва спешившись, предусмотрительный Оразбай распорядился зарезать жеребенка-стригунка, также и валуха, и пару упитанных ягнят раннего окота. Вскоре его временное жилище было полно гостей. Все приглашенные, прибывшие с горных волостей Семипалатинского уезда, уже были полностью на его стороне. С ними Оразбай давно нашел общий язык, откровенничая о деле Абая: он знал, что они такие же хитрецы, как и он сам. На следующий день его имя уже стало часто звучать на устах волостных, биев, баев и богатеев, собравшихся в Карамолу, его называли не иначе как «бай Оразбай из тобыктинцев».

В полдень того же дня джигиты Оразбая привели на длинном чембуре упитанную светло-сивую кобылу, только что пойманную в походном табуне. Оразбай велел поставить светло-сивую перед толпой и громко попросил дать благословление на жертву. Старшим из владельцев Тобыкты был Байгулак. Оразбай и попросил его благословить, чтобы зарезали лошадь.

К тому времени Оразбай натянул еще две белоснежные юрты, взятые в ауле Рақыша – волостного главы Аршалы. Не



забыл, конечно, и о кумысе: проворные юные джигиты бегали с чашами туда-сюда.

Кроме вчерашних гостей, сегодня были приглашены новые: люди из Семипалатинского уезда – ближних к городу волостей, а также волостей, протяженных вдоль Иртыша. Были здесь и богатые баи из Усть-Каменогорского, Зайсанского уездов, прибывшие на ярмарку. Из рода Семиз-Найманов с холмов был бай по имени Курбан. Из отдаленных мест Иртыша, Алтая, от рода Каратай был приглашен Ережеп. Здесь хватало и мырз – торе из родов Керей, Матай, Мурын и Сыбан. И всех их щедро принимал именно он – «бай Оразбай из тобыктинцев».

Одет он был по обыкновению скромно: все тот же неизменный чапан из светлого репса, на голове – белый заячий борик. Однако едва он заговорил, как всем стало ясно, что за этой показной скромностью скрывается значительная сила и власть. Сев посреди тора, разгладив жесткую бороду с проседью, он сам повел разговор, четко и весомо произнося каждое слово.

Никто из приехавших ни вчера, ни сегодня не затрагивал разговора о главной заботе схода в Карамоле: о спорах, раздорах, долгах, о возмещении ущерба пострадавшим, людям огромного края...

Почему? Все дело в том, что чрезвычайный сход был созван как ответ на поток жалоб и прошений от простого люда. Все эти заявления подавались по поводу бесчисленных насилий, барымты и даже человеческих смертей, а творилось все это именно теми самыми богатыми баями и властителями, что сидели сейчас в доме Оразбая. Но нет – никакое наказание даже и не коснулось их!

Все знали: если на сходе восторжествует справедливость, будут выслушаны прошения, то многие из тех, кто пил тут кумыс Оразбая, ел сурпу из его светло-сивой жертвенной кобылы, могут изрядно пострадать...



Назавтра придут начальники трех уездов. Ожидается сам «жандарал» из Семипалатинска. Что принесет в Карамолу этот чиновничий поход? Истинная же цель сегодняшнего сборища для степных властителей, баев и биев, – не договориться о чем-то определенном, а просто обнюхаться, ведь каждый мог подставить другого под разящую пулю. А как уберечь свои головы, если не держаться вместе? Разве может гнев «жандарала» пасть сразу на всех?

Так всегда узнают друг друга записные плуты – по глазам, по лицам, еще издали... Вот эти люди и пришли к дастархану Оразбая, каждый своим путем, но все вместе – с одним замыслом: уберечь свою шкуру, сбившись в плотную стаю.

Вот почему и не говорили они о делах схода, а просто ели сурпу с одного котла, шутили за кумысом, и в итоге всем стало ясно: на этом сходе они не будут бодаться друг с другом. А если начальство лягнет одного, то остальные встанут за него горой. То же самое и с чаяниями людей, жалобами, что копились годами: их жалобы опять попадут под сукно...

За дастарханом Оразбая шел малозначительный разговор о чиновниках, приезжающих назавтра, о судье-казахе и толмачах, что будут вместе с ними... Улучив минутку, Оразбай, никогда не забывающий о своих кознях, умело и как бы невзначай перевел разговор на Абая.

И тут оказалось, что об Ибрагиме, сыне Кунанбая, о его стихах и назиданиях наслышан весь Семипалатинский уезд.

Впервые произнеся за дастарханом его имя, Оразбай краем глаза заметил, как одобрительно заулыбался какой-то аксакал, сидевший пониже, затем, во время своей речи зловеще вращая глазом, он увидел, как молодой джигит, разносивший кумыс, вытянул шею, прислушиваясь к словам об Абее. Нет, хватит! – решил Оразбай. Несмотря на то что часть собравшихся, преимущественно владетельные баи, скривили рты, будто даже имя Абая им слышать противно, он не сразу нашелся, как повернуть разговор в иное русло. В середине его



длинной речи никому уже не было ясно, любит ли он Абая или нет, хвалит его или честит...

– Вот и Семипалатинский глава был достаточно разгневан, послал повестку, распорядился, чтобы он непременно был здесь, – говорил Оразбай ровным голосом, точно сообщая какие-то скучные новости. – Кажется, суд намерен допросить его по многим делам. Как бы конец не пришел Абаю на этот раз... По всему видно, что завтра его будут допрашивать перед всем честным народом. Вот такую весть послали нам толмачи жандарала...

Поведя ухом, пошарив глазом, Оразбай решил не продолжать в том же духе, и вдруг нашел новый, неожиданный ход: не стал, как обычно, обвинять Абая в подстрекательстве людей и страшных кознях против белого царя, а поведал всем, как сам был недавно удивлен невероятной жадностью Абая.

– Наследство отобрал у кровных родичей! Эх, да что там наследство... – горестно махнул рукой Оразбай. – Он даже отцу своему Кунанбаю не справил тризну!

Все разом загалдели, замахали руками, даже тот аксакал, что улыбался, услышав имя Абая, изобразил гневное удивление на лице... Впрочем, от зоркого глаза Оразбая не ускользнули и другие два-три удивленных взгляда...

Теперь разговор вроде бы повернулся в нужное русло, но на тебе! Вдруг один разгоряченный кумысом торе из сыбанов схватил домбру и забренчал на струнах, бараньим голосом пропев четверостишие:

*Ибраю, братишке, стыд и позор
За то, что отцу, Кунке, не справил он ас.
Неужто от непомерных затрат он бы помёр,
Коль мясом благословенным накормил бы нас?¹*

Услышав подобное, гости от души расхохотались...

¹ Перевод А. Кима.



Этот чванливый торе был, как и Абай, жиен Бошана из рода Каракесек. Одну строку, пропетую так чудно лишь из-за неумения попасть в такт и рифму, он представил как свою поэтическую находку, с тем и хлопнул ладонью по инструменту, помедлил и даже подмигнул на слове «помёр». Сам прежде всех и захохотал...

Гости еще продолжали смеяться, когда со стороны тора донесся грубый голос, громко и четко выговоривший такие слова:

– Где это слыхано, чтобы сына чтили выше, нежели отца?

Это был Рақыш из рода Керей, богатый бай, вполне уяснивший, что истинно хотел сказать Оразбай в своей непомерно длинной речи. Высказавшись, Рақыш посмотрел вокруг, как бы ожидая немедленного ответа.

В юрте и вправду поднялся ропот: большинство, скорее, склонялись к мнению, что нет – не бывает сына, который бы поставил себя выше своего отца. Недолго послушав одобрительные возгласы, Рақыш, так же громко и внушительно заговорил:

– Как он мог отказать отцу в последней почести, не устроив ас? Может быть, выступая с высокомерием, он хотел принизить славу своего отца? Кунанбая любили и почитали казахи, он возвышался над миром, словно минарет. Так что же – этот Абай считает, будто родился кем-то более благородным, чем отец? Спорил с ним даже при его жизни, всячески пререкался с ним, и еще до схода родителя в могилу совершил гнусный поступок, поднял руку на отца, за что и был проклят им! И вот теперь он еще и хочет завладеть имуществом отца, не дав ничего своим родичам. Если так портятся отношения детей с родителями, то это значит, что в наши времена нравы прогнили насквозь!

– Барекельди! – вскричал Оразбай, подхватывая слова Рақыша на лету. – Молодец! Истину говоришь! Что мы делаем с плохим человеком, когда он совершает плохой поступок?



Правильно! Мы собираемся на сходку и сообща пресекаем его деяния. А если этот человек, мало того, что делает дурное, но еще называет себя хорошим? Это значит, что он плюет на всех нас! Выйдя из-под крыла хорошего человека, истинно хорошего, этот Абай презирает нравы-устои, давно живущие в народе. Так не лучше ли нам вовсе изгнать его от себя?

Последние слова были произнесены так четко и ясно, что все баи, бии, аткаминеры, приглашенные сюда отведать мяса серой кобылы, поняли, что это и есть главная цель Оразбая, его просьба, если угодно, его заветное желание... Какое-то время все молчали, уясняя каждый для себя сказанное, а Оразбай довольно откинулся на подушку: наконец-то, после всяческих уходов в сторону, песенок каких-то, удалось донести до собрания свою мысль. Теперь дело за малым: оставалось лишь договориться с каждым по отдельности, встретившись с ним лично или посылая посредников. Постепенно стало ясно, что аткаминеры из четырех дуанов-округов вовсе не намерены даже слово вымолвить в защиту Абая.

Вторым итогом этого весьма успешного пиршества будет их завтрашняя встреча с начальством. Когда эти люди представят свои многочисленные ябедные бумаги, то они же, при отдельном допросе, несомненно, выскажутся в пользу Оразбая.

Третье неоспоримое благо, приобретенное Оразбаем сегодня, было в том, что ему удалось показать себя, – словно блеснув в сумраке копьем. Теперь о нем будут говорить, что именно Оразбай – самый крепкий бай среди тобыктинцев, именно от него исходит главное слово рода Тобыкты. Это он, владелец Оразбай, сумел показать себя ловким, влиятельным человеком, знающим все входы и выходы из коридоров-закоулков власти... Словом, Оразбай не сомневался, что завтра же передаст высокому сановнику Абая, связанного по рукам и ногам.

Проводив гостей, он долго сидел у своей белой юрты, наслаждаясь прохладным вечером, благодушно попивая кумыс



перед отходом ко сну – сытый, умиротворенный и спокойный, крепко уверенный в успехе завтрашнего дня.

4

В тот же день в Карамолу с небольшой группой всадников, незаметно спешившись у коновязи, приехал Абай.

Весь вечер прошел на удивление спокойно. Обычно на сходах немало людей целыми толпами приходили отдать ему салем. Сегодня же все было не так, как раньше. В юрте Абая сидели только несколько близких его друзей. Из простого люда пришли лишь самые отчаявшиеся жалобщики. Из власть имущих – никто.

Последнее время многие просто сторонились Абая, побаиваясь его насмешек, жестких нареканий, беспощадной прямоты... Старшины из других родов прежде не упускали случая поговорить с ним, напомнить о себе: ведь он мог стать бием, если на то будет воля народа, и тогда, возможно, придется зависеть от него...

Теперь над Абаем сгустились тучи, и этот вечер был как затишье перед грозой. Оразбаю, разумеется, донесли и о том, когда и с кем приехал Абай, и о том, как встретила его Карамола...

На другое утро площадь Карамолинской ярмарки наполнилась гулом: слышался конский топот, звон колокольчиков и скрип колес. Народу все прибывало, вереница больших повозок, запряженных тройками лошадей, тянулась нескончаемо, их обгоняли сотни верховых, поднимая на дороге пыль. Прибывали многочисленные чиновничьи караваны из уездов.

В толпе встречающих прошел восторженный ропот: никогда прежде не приходилось видеть столько дорожной пыли, каковую мог поднять только значительный, протяженный караван. На сей раз на сход пожаловало грозное чиновничье представительство, люди, сидевшие в повозках, были далеко



не из простых. Обычно даже по приезду двух-трех крестьянских начальников или уездного главы в степи случался немалый переполох, а тут едут сразу три уездных главы. У каждого при себе было по пять-шесть крестьянских начальников, а уж сколько приставов да урядников должно сопровождать такое шествие, вообще не счесть...

В окружении больших и малых чиновников трех уездов прибыл сам «жандарал». Этот слишком тщеславный человек очень любил всяческие почести, умел обставить свой выход с особой торжественностью и пышностью. Желая угодить этой его слабости, уездная власть помимо простого пристава, урядника, стражников щедро пополнила его свиту несколькими жандармскими офицерами и специальными полицейскими чинами, отчего в целом и вышла столь внушительная армия.

Значительную группу в караване «жандарала» представляли толмачи, секретари и советники различного толка, да еще тайные советники. Пестрая орда власти нагрязнула на маленькую Карамолу, словно сель, все скрыв в потоке пыльной завесы, которая шла по всей длине каравана.

Волостные и аткаминеры, служаки в форменных одеяниях, обвешанные медными бляхами, значками и регалиями, всякие чинуши из числа пожилых-молодых, встречавшие чиновничий караван на базарной площади Карамолы, значились далеко не последними людьми. Каждый из них был также наделен своей небольшой силой и властью, более того, почти каждый имел свои тайные связи с разного рода чиновниками, а то и с самим «жандаралом»... Но, несмотря на собственную значимость, а может быть, и благодаря ей, еще издали заслышав приближение грозного каравана, все они искренно залюбовались величественной картиной, иные даже пришли в настоящий восторг...

Люди стекались на базарную площадь, все чаще поглядывая в сторону белых юрт, где остановились чиновники из города. Ближе к полудню собралась значительная толпа: во-



лостные и старшины четырех дуанов стояли, неотрывно и безмолвно глядя на глухо закрытые чиновничьи юрты.

Волостных глав можно было узнать по тускло блестящим на солнце медным цепочкам и бляхам. Иные из тех, кто носил форменные чапаны, потели в каких-то странных шубах с позументами старого образца: эти шубы были пожалованы в дар еще их дедам и накинута нараспашку, поверх чапанов. Новая поросль, не накопившая собственных заслуг, вынуждена была довольствоваться прежними почестями, и намерено выставляла их напоказ.

Люди стояли живым серпом, образовав перед собою просторную площадку, куда из белых юрт вот-вот выйдут именитые гости... Обычно казахи вели разговоры, сидя, но сейчас, ожидая, когда пожалуют чиновники, они стояли на ногах, безропотно храня терпение, словно при чтке намаза.

Прошел уже битый час ожидания на ногах, однако среди атшабаров, стражников в фуражках с красным околышем, лениво ходивших вокруг белых юрт, всякой мелкоты из местных биев, что стояла поодаль, все еще не замечалось никакого оживления. Те, что были внутри белых юрт, не торопились выходить – чиновники никогда не торопятся...

Абай выдвинулся в толпе на самую середину живого серпа, готового уже принять торжественный выход чиновников, вышел немного вперед и остановился в ожидании предстоящего. Ни тени от всеобщего ликования не было видно на его спокойном лице...

С час назад, желая узнать обстоятельства своего дела, он через одного толмача передал весточку только что прибывшему Лосовскому: «Будет ли возможность поговорить с вами накоротке?» Лосовский, сразу выскочив из юрты, где остановился, подошел к Абаю и холодно приветствовал его. Это был уже не тот Лосовский, которого Абай знал прежде. Став тайным советником в канцелярии губернского корпуса, он, разумеется, принял сторону уездного главы, к которому



поступило немало жалоб на Абая. Теперь Лосовский намеревался обойтись с ним куда как более жестко, чем раньше, однако не мог полностью раскрыть свои намерения, ибо не знал, как к этому делу относится сам губернатор. Не отвечая на вопрос Абая, не удосужившись до конца выслушать его, он проговорил строгим тоном:

– Господин Кунанбаев, на этот раз ваши дела неважны. Очень плохи. Я не стану разъяснять, почему они плохи. Ибо вы человек образованный, много знающий, опытный. Весьма образованный человек! В соответствии с просвещенностью и вина ваша может быть весомей. Более мне нечего вам сказать. До свидания!

Абай даже ничего не успел возразить: юркий Лосовский повернулся и ушел – по-прежнему с холодным, хмурым лицом.

Дело принимало довольно опасный оборот. Абай разыскал в толпе Кокпая и Дармена и рассказал им об этой встрече, добавив:

– Лосовский увиливает, поджав хвост. А я ведь считал его чиновником, не лишенным справедливости. Да и ко мне он был прежде куда как более приветлив. Стало быть, начал портиться, попав в губернский дуан.

После встречи с Лосовским в душе Абая стала медленно вскипать досада. Сейчас, оказавшись в толпе, выстроившейся на площади, он с неудовольствием оглядывал лица рядом стоявших. Вот группа людей, они говорят что-то друг другу, поглядывая на него издали... Оказывается, он пришел сюда позже других, которые что-то коварное устраивают против него.

Многие сделали вид, что не заметили Абая. Иные, узнав, сдержанно поприветствовали его неопределенным движением головы.

Всюду стоял многоголосый ропот, нарастая по мере того, как приближалось явление чиновников. В этом неразборчивом гомоне можно было различить отдельные слова, произносимые с особым подобострастием: «сановник», «жандарал», «аким», «тот самый начальник»...



Вдруг на лицах застыло какое-то общее счастливое выражение. Все внезапно замолчали. В стороне белых юрт началось какое-то движение, быстро пробежал и скрылся за войлочным пологом белой казенной юрты стражник в фуражке... И тут перед глазами волостных, выстроившихся полукругом на площади, – словно в блеске пламени, засверкали ножны сабель, медные пуговицы, золотые погоны...

Казахские волостные тотчас вытянулись в один ровный ряд, зашумели, загалдели, перебрасываясь накоротке...

– Идут!

– Уездные! Акимы! Уа!

– Сам жандарал!

– Пай-пай! До чего же величав!

– Глаза слепит!

– Аж страх нагоняет! Мурашки бегут по спине!

– Не зря говорят: «властитель подавляет своим величием»!

Так, суетливо и беспокойно, не стесняясь ни чиновников, ни друг друга, загалдели стоявшие в ряду – бии, аткаминеры, привыкшие вечно заискивать, угождать всякому начальству.

Неизвестно откуда взявшись, на площадь высыпали есаулы, урядники, жандармы и, быстро разделившись на две шеренги, замерли на караул. Этим живым коридором и зашагали долгожданные чиновные гости. Они ступали широким, уверенным шагом, сверкая и звеня своими крестами и медалями...

Впереди всех выступал главный судья – рослый, лысый, широкогрудый и статный, с кругло стриженной рыжеватой бородой. Он весь так и блистал на солнце – и новыми эполетами на плечах, и золотым аксельбантом на груди, и сияющей лысиной. Роскошный пояс с позументами перетягивал довольно вместительный живот. Изящная сабля с рукоятью из черненого серебра свисала на перевязи через плечо.



За судьей шли уездные главы в чине полковников. Далее двигались советники, письмоводители, облаченные в черные штатские фраки и сюртуки.

Вдруг по рядам волостных прошелся суетливый шепот: «Жандарал! Омай, жандарал!» Волна короткого шепота, словно шелест камыша, тотчас пронеслась над всей толпой, обойдя стоявших казахов, будто меж ними пронесся ветер.

– Жандарал!

– Что ни на есть – настоящий жандарал!

– Да он и лицом, смотри-ка, весь белый, представительный! Е, таким и должен быть белый жандарал!

Встречающие все галдели и никак не могли успокоиться...

Тем временем генерал подошел к ряду волостных и, двигаясь справа налево, заранее определив для себя значимость того или иного человека, принялся довольно бодро протягивать волостным свою руку. Рядом с генералом мелко семенил невзрачный курносый человечек, и на его маленьком сморщенном лице ясно читались угодливые желания: «если что, может быть, я того... пригожусь?» Это был, конечно, толмач – низкорослый, кругленький казах...

Волостной Рақыш из кереев оказался в ряду первым – первым и протянул руку жандаралу. Рақыш походил на человека, отжившего свое, хотя и был далеко не старым. Он стоял, крепко прижав к груди остроконечный каракулевый черный тымак. Волостной будто был переломлен пополам – в своем застывшем поклоне. От рукопожатия «жандарала» ноги Рақыша затряслись в мелкой дрожи, будто и впрямь ему перебили хребет. Было видно, что этот человек совершенно не в силах совладать с подобострастной трясучкой, его язык заплетался, и Рақыш сумел промямлить только лишь одно: «Здрясити, ваше высокородие!»

Тем временем жандарал уже перешел к следующему волостному, протягивая ему руку, и тот в точности повторил все движения и слова Рақыша, будто бы Рақыш и задал некий



должный тон. И третий, и последующие – каждый переминался с ноги на ногу, сучил коленями, не переставая прижимать к груди свой тымак или борик. Никто из них так и не собрался с мыслями, не пришел толком в себя. Переломанные в поясе, скрюченные, они смахивали на каких-то издыхающих существ, корчащихся от боли, взывающих к Аллаху в свой смертный час. Все они повторяли одно и то же, те же жалкие слова, что и Ракыш: «Здрясити, ваше высокородие! Здрясити, ваше высокородие! Здрясити...»

Казалось, никто и не знал других русских слов. Никто не осмелился даже назвать себя, представиться перед сановником. Уездные начальники, идущие вслед за генералом, брезгливо кривили губы... Так продолжалось до самой середины ряда, пока генерал не подошел вплотную к Абаю.

Увидев этого казаха, столь отличного от толпы других, «жандарал» удивленно вскинул брови. Это был какой-то иной казах, нежели все те, которых он уже отметил своей десницей. На этом человеке был длинный бешмет, скромный, но хорошо, на городской манер пошитый, и чапан его был тонкий и серый, а не как у других – грубый форменный. Да и цепочки с большой медной бляхой, тускло блещущим знаком власти, при нем вообще не было.

Перед ним стоял человек весьма представительного вида, и стоял он свободно, с достоинством. Протянув руку, он учтиво склонил голову, как это делают хорошо воспитанные люди, и внятно, звучным голосом произнес по-русски:

– Здравствуйте, ваше превосходительство!

И следом же, пожимая генералу руку, представился:

– Ибрагим Кунанбаев!

Губернатор, до сих пор шедший без остановок, теперь отступил на полшага назад. Сказал, оглядев Абая с головы до ног:

– Кунанбаев! Тот самый смутьян?

Несколько мгновений они молча смотрели в глаза друг другу, затем продолжили говорить на русском языке.



– Да, ваше превосходительство, это я, – чуть заметно улыбувшись, ответил Абай.

– И отчего же вы сделались таковым?

– Есть на то причины... Я против действий некоторых людей. Если угодно, даже борюсь с ними.

– Вам-то что до них? И зачем непременно бороться?

– Борьба – это закон жизни. Разве не все живое и неживое существует в борьбе? Все мы как-то боремся – и я, и вы, ваше превосходительство...

Щеки и лысина «жандарала» вдруг налились кровью. Да что это такое? Как смеет какой-то степной киргиз дерзить ему! При таком торжественном выходе, да перед уймой народа – так беззастенчиво, безбоязненно вступает с ним в разговоры... Вот арестовать его сейчас же – ведь жалоб на него достаточно, и они дают основание...

Впрочем, гнев тут же отпустил жандарала. Вот так, сейчас арестовать, – а что скажет эта степная публика? Скажут, что арестовал вместо ответа на слова... Будто бы ответить не смог... Нет, надо по-другому действовать... Спросил холодно:

– С кем же вы боретесь и с какой стати?

– Меня вообще тревожит зло, в любом его проявлении.

– А если кто-то считает злом лично вас? Многие так и отзываются, и бумаги на вас приходят.

– Это известно... Чего в жизни больше – зла или добра? По моему разумению, зла и злодеев больше. Потому и закономерно, что их голос преобладает.

Окружающие притихли, было слышно, как поодаль, где стоял Оразбай, кто-то шепчется на казахском языке. Это были Молдабай, Абыралы и Жиренше, они тихо переговаривались меж собой: «Заговорил с жандаралом!» – «А ведь жандарал и не сердит!» – «Может, и общий язык нашли?»

Сгорая от нетерпения, Оразбай подступил к Жиренше, такому же глухому на русский язык, как и он сам: «Он, что – ру-



гает? Допрашивает?» и, озираясь, словно тугой на ухо, замер в ожидании ответа.

«Жандарал» все еще продолжал стоять возле Абая, похоже, не собираясь двигаться дальше.

– Вы так утверждаете?

– Да, именно так, ваше превосходительство!

– Можете доказать ваши слова?

– Вполне уверен.

– Ну... посмотрим! Следуйте за мной! – вдруг сказал «жандарал» и, не оглянувшись на Абая, продолжил свой путь. Абай, выйдя из толпы казахов, спокойно последовал за ним.

Ни сам Абай, ни стоявшие рядом казахи, ни даже толмачи, так или иначе владевшие русским языком, – никто не понял внезапной перемены в поведении «жандарала». Ясным было лишь то, что Абаю предлагается какое-то испытание... Не совсем понимая его сути, он двинулся за «жандаралом».

Абай шел с твердой решимостью отстаивать свое, чего бы это ни стоило. На миг ему показалось, будто он понял, что так насторожило «жандарала» в их скорой словесной перепалке... Нет, не отступит он перед этим человеком, какое бы жестокое испытание ни ожидало его!

Эти мысли приободрили Абая: он шел с высоко поднятой головой, отчего даже казался выше ростом. Его взгляд, одухотворенный новой решимостью, можно было принять за высокомерный, особенно это чувствовалось рядом с общим настроением угодливо согнувшихся волостных. Словом, Абай, идущий сразу же за «жандаралом», теперь тоже выглядел как сановник. То, что происходило, было для окружающих совершенно непостижимым, ввергающим в сильнейшую растерянность, – и могло бы вызвать у Абая искренний смех, если бы он сам имел возможность и время понаблюдать.

Несмотря на то что до сих пор еще никто не понял, с каким намерением «жандарал» взял с собой Абая, все волостные и бии принялись выказывать почет и ему. Вот они кланяются



«жандаралу», со своим неизменным «Здрясити, ваше высоко-родие!» Затем, протянув обе руки Абаю, и ему оказывают достойный сановника почет, льстиво лопоча: «Удачи вам, мырза!»

Абай молчит, едва сдерживая улыбку. «Жандарал» оглядывается через плечо, косится, видит, что волостные явно оказывают уважение, как достойному из достойных – кому? Человеку, которого он взял с собой от злости!

Выделив из толпы Абая, чтобы припугнуть его для острастки, «жандарал» даже и не думал, что этим самым он сейчас устрашает не его, а всех остальных казахских толстосумов и власть имущих...

Остаток пути вдоль ряда волостных губернатор прошел быстро, повернул назад и возвратился вдоль ряда, не задерживаясь. На обратном пути он оглянулся и, как видели все, завел разговор с Абаем.

По мере того, как «жандарал» и его свита удалялись по базарной площади, Оразбай, Жиренше и другие немо пожирали глазами спину Абая, широкие ладони рук «жандарала», которыми он размахивал, явно увлеченный беседой. Все ждали, чем она закончится: зайдет ли Абай в дом «жандарала» или же нет? Может быть, сановник передаст его у порога кому-то из подчиненных, то есть, сейчас же арестует...

Смысл такого странного поведения сановника должен был выясниться в самый последний момент... Вдруг Жиренше, увидев наконец развязку, в сердцах хлопнул себя по бедру камчой, надвое сжатой в руке. «Жандарал» и Абай вместе вошли в белую восьмиканатную юрту, поставленную для сановника. Никто из свиты вслед за ними не вошел: лишь замелькали спины уездных глав и советников, расходившихся по соседним юртам.

Оразбай был потрясен всем, только что увиденным, пытается найти в этом хоть какой-то смысл. Они с Жиренше так и остались стоять, словно два истукана, молча глядя на дверь белой юрты...



Меж тем прошло немало времени... Кто-то подошел и встал справа, двое-трое весело и громко беседующих казахов. Оразбай и Жиренше обернулись и увидели смеющихся людей, причем смеялись они, похоже, именно над ними, Оразбаем и Жиренше, и были это не кто иные, как друзья Абая – Дармен, Баймагамбет и Серкеш, молодой джигит из жатаков.

Этот последний, прищулив маленькие глазки, широко открыв рот, веселился в полное свое удовольствие:

– Вон, гляди, теперь враги сдохнут от зависти! – говорил Серкеш, показывая Баймагамбету на дом «жандарала», явно подразумевая, что там происходит что-то радостное для них.

Стоявший рядом Баймагамбет тоже увидел это, обрадовался и теперь уже тыкал кулаком в бок Дармена, указывая в сторону белой юрты:

– Дармен, видишь вон того урядника? Не два ли стакана чая несет он на подносе?

Оразбай и Жиренше вытянули шеи, также заметив, как блеснул поднос в руках урядника, который как раз в эту минуту входил в белую юрту. Жиренше с досадой махнул рукой. Ничего не сказав друг другу, они повернулись и отошли.

Им было невдомек, что трое джигитов намеренно встали столь близко и вели свои разговоры столь шумно, чтобы только позлить враждебных баев. Теперь, когда они удалялись, Дармен громко провозгласил новую, смерти подобную весть, словно бы стреляя им в спину:

– Говорили, что жандарал на каторгу сошлет Абая, а он ему вот какой прием оказывает! Одного Абая к себе и пустил, даже полковникам не позволил зайти. Пусть всегда светит удача нашему Абаю-ага! Да сгинет завистливый враг!

Он говорил нараспев, словно читая стихи или же оглашая приговор-проклятье. Оразбай и Жиренше делали вид, что не слышат его, продолжая пристально следить за юртой «жандарала». Рядом остановились несколько волостных, со столь



рьяной лестью встречавших недавно сановника. Среди них был Рагыш, известный лицемер и словоблуд. Он потерялся недалеко возле Оразбая, затем подошел к Дармену и его друзьям, принялся выспрашивать:

– Е, ну как? Это куда же забрали Абая?

Дармен и Баймагамбет перемигнулись. Чтобы сговориться о дальнейшем, им не надо было слов: достаточно одного незаметного кивка. Тут же для ушей окружающей публики, которую составляли Рагыш, стоящий рядом, а также Оразбай и Жиренше, остановившиеся чуть поодаль, в кругу волостных, был с ходу сочинен следующий разговор.

Начал Дармен:

– Е, на этот раз жандарал непременно найдет общий язык с Абаем!

– Да и сам советник сказал давеча: «Абай будет чиновником всех волостей!» – подхватил Баймагамбет.

– А еще советник сказал: «Достаточно одного разговора с жандаралом, и Абай даже может стать главным судьей»!

– Это точно! Вот увидишь, Абай сегодня же выйдет из этого дома главным судьей!

Дармен с Баймагамбетом все болтали, изображая людей всезнающих, но чересчур словоохотливых, тех, кому доставляет радость сама болтовня. Не удержавшись, к ним почти вплотную подошел Жиренше. Он глубоко засунул свой подбородок в ворот, словно козел, пригибающий голову при виде собаки. Слушал, выпучив глаза от удивления.

– Разве могут быть ложными новости, что идут прямо из конторы? – говорил Баймагамбет. – Сам же видишь! В доме жандарала один только Абай!

– Жандаралу словно невдомек, что есть и остальные волостные. Для него их медные цепочки – все равно, что собачьи ошейники!..



Сказав так, Дармен обернулся. Сделав вид, что только сейчас заметил Рагыша и остальных, с блестящими на груди значками, он, будто бы смутившись, замолчал.

Рагыш и еще один волостной помоложе, безбородый, подойдя к джигитам, принялись расспрашивать:

– Уа, голубчики, что вы сказали! – воскликнул безбородый.
– Неужели, на самом деле, жандарал так добр к Абаю?!

– Выходит, такого же мнения и сам советник... – задумчиво проговорил Рагыш. – А ведь есть же и те, кто завидует Абаю, замышляют, собаки, всякое зло против него!

Последние слова Рагыш произнес заискивающе, пытаясь искренне угодить Дармену и Баймагамбету.

Дармен прыснул со смеху. Только вчера в юрте Оразбая Рагыш честил Абая на чем свет стоит. А теперь, как ни в чем не бывало, виляет, словно пытаясь уловить носом переменявшийся ветер. Зная Дармена как одного из единомышленников Абая, Рагыш намеренно пускает пыль в глаза, с расчетом, чтобы тот выгодно донес о нем Абаю.

Это поняли не только Дармен, но и Оразбай с Жиренше. В досаде махнув руками, оба отвернулись и ушли.

Тем временем между Абаем и «жандаралом» шел упорный разговор, который будто бы и не кончался, продолжаясь в том же духе, что и на площади, при большом скоплении людей. «Жандарал», внимательно глядя на Абая, спросил, с какой целью и с какими людьми он враждует. Вспомнив о своем недавнем гневе, «жандарал» нагнал на себя суровый вид и вдруг начал громко кричать:

– Вы самый первосортный смутьян! Вам не место в степи! Такого, как вы, нужно изгнать отсюда! Против вас написали жалобы почтенные, уважаемые люди со всего края, люди, которым власти доверяют, – известно ли вам это? Говорите правду, что вам нужно в степи? Почему вы вечно ссоритесь, враждуете с теми, кого поставила власть?



Абай молчал, ожидая, пока «жандарал» успокоится. Тот и вправду несколько понизил голос.

– Бороться буду, бороться!.. – ехидно повторил он слова Абая, будто передразнивая его. – У меня в руках имеются вполне веские доказательства, которых достаточно, чтобы сейчас же, с этого места, в течение двенадцати часов – отправить вас в Семипалатинскую тюрьму, а затем сослать на самую дальнюю каторгу Сибири, чтобы впредь в казахской степи не было и слышно вашего имени.

С первых минут встречи Абай не видел на лице «жандарала» хоть сколько-нибудь обнадеживающего выражения. Теперь в его словах звучала уже явная угроза. Но Абай не боялся: напротив, сейчас он чувствовал себя намного выше, благороднее «жандарала». Сильнее... Разгневанный сановник выглядел глупым, его суждения – поверхностными.

– Ваше превосходительство! – начал Абай. – Я вражду с этими людьми вовсе не потому, что вы их выдвинули во власть. Я же ведь сказал: борюсь с ними, потому что они злодеи!

– Какое вы имеете право называть злодеями людей, избранных в акимы?

– Если бы вы узнали всю правду, то и сами не только называли бы их злодеями, но и многих подвергли справедливому наказанию.

– Приведите же доказательства! Либо вы убедительно перечислите преступления этих людей, либо, если ваши слова окажутся клеветой, наветом на наших акимов... В таком случае, сразу при выходе из этого дома я к вам приставлю жандармов, чтобы прямиком сопроводить вас в тюрьму.

Говоря, жандарал звучно постукивал пальцами по столу. Абай все еще не терял самообладания. Спокойно глядя на генерала, сказал:

– Хорошо, ваше превосходительство! Я принимаю ваше условие и со своей стороны посчитаю за гуманность, прояв-



ленную ко мне, тот факт, что вы сами пожелали разобраться, а не поручили это какому-то недалекому чиновнику, неспособному вникнуть в суть дела. Только прошу вас позволить мне высказаться, выслушайте меня до конца!

«Жандарал» резко повернулся к Абаю, застыл без движения в глубоком раздумье... Затем принялся безмолвно расхаживать, слушая, что говорил Абай.

Его речь была долгой: он перечислил все крупные споры, раздоры, набеги, непрерывные случаи барымты, по поводу которых и был созван чрезвычайный сход в Карамоле...

– Если прямо назвать преступления, – говорил Абай, – то вот они: воровство, ложное свидетельство, разбазаривание казны, набеги на соседей, угон чужого скота, создание преступных шаяк и, наконец, убийство людей. Со стороны власть имущих все это прикрывается ложными «приговорами», выгораживанием преступника и обвинением невинного – все эти дела творятся благодаря взяткам, беззаконию со стороны властей, угнетению многочисленных смиренных и кротких людей, разорению их. Если собрать сотворенные здесь дела, то это и будет настоящее злодейство. Одним словом – напасть, беда народная.

Абай был чрезвычайно рад, что ему выдался такой случай: впервые столкнуться лицом к лицу с большим чиновником, и не задумывался, чем все это может обернуться... Решил от имени простого народа поведать «жандаралу» обо всех тягостях и нуждах степного люда.

Если бы губернатор сумел понять все нарекания, дойти до сути людских заявлений, его горестных слов, то он бы прекрасно представил себе, с кем враждует Абай, который говорил все начистоту, не стремясь обелить себя, тем более, открыто называть чьи-либо имена...

– Вы спросите, и кто же творит все это? – продолжал Абай.
– Зачастую это делают известные акимы, сидящие в каждой



волости, которые владеют многочисленными стадами скота, имеют при себе немало джигитов, в их распоряжении и казенная печать, контора. Ну а страдающим, ограбленным, ищущим, но не находящим справедливости, после всех таких преступлений, беспредельного злодейства остается простой, смиренный народ. Многочисленный люд вынужден терпеть постоянное насилие и притеснение со стороны этих самых злодеев, у которых развязаны руки, и все им дозволено.

«Жандарал» был уже достаточно хорошо осведомлен об Абае, знал его не только по заявлениям Оразбая и его окружения, но и по многим другим бумагам... Перед самым отъездом сюда ему принесли большой ворох «приговоров», которые привез в контору Алмагамбет. «Приговоры» с многочисленными подписями свидетельствовали об общих пожеланиях не одного, а многих аульных старшин. Во всех этих бумагах постоянно назывался Ибрагим Кунанбаев.

Чиновник поначалу думал отпихнуть их, решив, что это привычные степные челобитные. Однако написанные прекрасным русским языком, столь ясно и прилежно, строки заявлений невольно приковали взгляд. Здесь, наряду с поддержкой Абая казахами, был и акт, составленный русскими крестьянами-переселенцами, и последние действия Абая в защиту жатаков. Именно эти обстоятельства крепко обескуражили «жандарала» перед самым отъездом сюда, заставили его сильно призадуматься относительно Ибрагима Кунанбаева.

– Бумажное разбирательство требует большого труда, – продолжал Абай. – Уездные главы не в состоянии пресечь многочисленные преступления, соответственно, и судьи не могут наказать настоящих злодеев. А теперь вот, раздоры, стычки – столкновения между волостями трех-четырёх дуанов дошли и до конторы губернии... Вы сами и приехали сюда, обратив свое внимание на жалобы, именно – чтобы бороться со злом.



«Жандарал» уже давно заметил, что перед ним не рядовой склочник, размахивающий ябедами в свою личную выгоду. В этом киргизе, который явно был не тем человеком, которого он ожидал встретить в степи, проявлялась твердая воля, стремление быть заступником народа – «защитником, глашатаем, борцом». Чем больше он замечал это, тем сильнее вскипал неприязнью к Абаю.

В конце концов он сделал такой предварительный вывод: перед ним некий степной оригинал, превратно воспринимающий окружающие явления и делающий из них весьма вредные заключения. Кроме того, этот несуразный степной адвокатика с наивностью, присущей многим неопытным людям, не ведает, кому, что и как говорить... Ему захотелось узнать об Абае больше: о его целях и помыслах, разговорить, выведать всю подноготную, вызвать его на откровенность. Он спросил:

– Кунанбаев, но почему же те, о ком вы говорите, все как один представляются уважаемыми и достойными людьми? Вы понимаете, против кого делаете свои выпады? Мы выбираем людей для выдвижения в волостные управители киргизской степи. Всех их вы называете злодеями. Если я правильно понял, то ваши убеждения сильно отличны от наших, разве не так?

Говоря, он наблюдал за Абаем холодным, испытующим взглядом. За его словами чувствовалось намерение обвинить самого Абая: мол, если так уж никудашны акимы степи, выдвинутые нами, то мы тоже должны быть плохими! Вы это хотели сказать?

Истекающая минута представлялась Абаю крайней гранью противостояния, его опасной чертой. Все свои доводы Абай высказал, дальнейшие выводы – воля самого чиновника. С этим эгоистичным, самолюбивым человеком было бесполезно продолжать разговор. Абай рассмеялся, будто генерал только произнес какую-то шутку, и сказал:



– Ваше превосходительство! Обо всех этих грустных обстоятельствах вам может поведать любой человек в степи, конечно, если вы его спросите. Я же говорю об этом только потому, что впервые в своей жизни встретился с таким большим сановником и посчитал своим долгом рассказать обо всех бедах степи, которой вы правите. В ваших руках огромная власть. Если решитесь искоренить вражду, отсюда беды и напасти, то это вам под силу. Я же отнюдь не горю желанием стать акимом. От встречи с вами мне ничего не нужно, кроме справедливости.

«Жандаралу» не понравились эти слова, да и сам казах вызывал у него все большее раздражение. Своими светскими манерами, глубокими мыслями и ладным языком он опровергал устоявшееся понятие «жандарала» о казахах: он считал их тупыми, темными людьми, способными лишь покорно подчиняться властям. А этот, мало того, что в бешмете из дорогого сукна, но и держит себя независимо, на равных с ним и по манерам поведения, и по уму.

– Я думаю, что вы не посвящены в истинное положение дел, – добавил Абай. – Я намеренно рассказал вам о многом, творящемся в степи, чтобы вы знали об этом.

Еще не договорив, Абай заметил, что холодный взгляд «жандарала» вдруг ушел в сторону, стал еще более жестким. Абай, сидевший лицом к тору, обернулся. В дверях, вытянувшись у порога, стояли двое, похоже, они только что вошли. Первый был средних лет русский – скромно одетый, с опрятной бородой, второй – с зажатым под мышкой тымаком – Базаралы. Вот уж кого Абай не ожидал здесь увидеть!

Русского он узнал не сразу: это был семипалатинский часовщик Савельев, весьма поднаторевший в казахском языке. Казахи всегда просили его пособить с заявлениями, поскольку он не только писал гладко, но и знал имена всех высших и низших чиновников в уездных конторах. Помогало делу и



то, что Савельев был на коротке со стражниками, урядниками, секретарями и толмачами из этих контор. Говорили, мол, у Савельева легкая рука, под стать настоящему адвокату. Приглашая в защитники, простые степные казахи доверяли только ему.

«Жандарал» с удивлением посмотрел на вошедших. Это были явные жалобщики: у обоих под мышками белели кипы бумаг. Казах выглядел весьма представительно – высокий, стройный, с красивой полуседой бородою и открытым, приветливым лицом.

За ними, за порогом еще мелькали головы: не менее десятка жалобщиков в скромном одеянии, со смиренным видом, то и дело заглядывали в открытую дверь.

– Что это тут творится? – строго вскричал «жандарал». – Кто вы такие? Кто пустил?

– Ваше превосходительство, – тотчас заговорил Савельев, – эти люди – казахи из разных волостей Семипалатинского уезда. Все они пришли к вам с одной просьбой, принесли заявления. Вот эти бумаги... Меня же попросили поведать вам об их содержании, поскольку сами не знают по-русски...

– И чего же они просят?

– Ничего для себя, ваше превосходительство! Они просят вас за казахского акына, уважаемого человека, Ибрагима Кунанбаева.

«Жандарал» молча взмахнул ладонью. Савельев и Базаралы тотчас, торопливо ступая, положили бумаги на стол.

«Жандарал» кинул косою взгляд на Абая: что за уловку приготовил ему этот загадочный казах? Но на лице Абая было написано лишь крайнее, искреннее удивление... Да и Базаралы, проходя мимо, окинул его равнодушным взглядом, как человека совершенно незнакомого, и сразу начал излагать «жандаралу» суть принесенных заявлений. Язык и движения Базаралы показались чиновнику весьма необычными, да и



сам Абай в который раз был удивлен его особенной трактовкой русского языка.

– Кыргыз степ слепой, таксыр!¹– сказав это, Базаралы затем длинными смуглыми пальцами прикрыл один глаз. – Токмо один глаз ес, он Кунанбаев! Кыргыз степ глухой, таксыр! – он опять теми же пальцами зажал одно ухо, и «жандарал» невольно улыбнулся, подивившись своеобразному остроумию казаха. Базаралы заговорил более уверенно. Приложив пальцы ко второму уху, сказал:

– Токмо один ух ес, он Кунанбаев! Он не будит – степ томнай, глухой будит! – говоря, он, по-прежнему как бы не замечая Абая, опять покачал головой и твердо выпалил: – Не можно!

Савельев, едва сдерживая улыбку, попытался было перевести «жандаралу» слова Базаралы, но тот остановил его, выставив, легким движением холеной руки, свою белую ладонь, и продолжая с любопытством смотреть на Базаралы, который все говорил:

– Таксыр жандарал, нобай шалабек! Наш пригуар много... много степ послал... Много-много степ просит. Наш пригуар пускай пойдот санат, министры, белый сарь. Степ просит пустить нас к министры, Петербур... сарь... все пойдом! Туда пойдом!

Разобрав последние слова, «жандарал» нахмурился и подал обоим жалобщикам, Базаралы и Савельеву, знак, чтоб уходили. Поняв, что «жандарал» больше не желает привечать их, оба, пятась до самого порога, молча удалились.

Улыбка мигом слетела с губ «жандарала». Его отношение к Абаяу, которое не единожды менялось за последний час, вдруг выстроилось совершенно новым образом. Каковы могут быть последствия, если он накажет такого особенного казаха? Ведь Абай был единственным образованным человеком во всей этой невежественной степи. Судя по столбцам подписей в «пригуа-

¹ *Таксыр* – господин.



рах», людей, сочувствующих ему, было много. Видимо, у него и авторитета поболее, чем у многих волостных глав. Кто его знает, накажешь его, а жалобы и в самом деле, как говорил этот чудаковатый казах, могут дойти и до сената, до кабинета самого царя. Если в первый же год службы из его губернии поступит так много заявлений-жалоб, то это непременно отрицательно скажется на его карьере. Вот почему последние слова Базаралы заставили «жандарала» задуматься...

В эту минуту, испросив разрешения войти, на пороге возник советник Лосовский с большой кипой каких-то бумаг под мышкой. Войдя, он учтиво, с заметным поклоном, поздоровался с Абаем. Тот лишь слегка кивнул в ответ.

Бумаги, принесенные Лосовским, тоже напрямую касались Абая. Это были жалобы, обвиняющие письма, поступившие в контору корпуса в Омске. Пока «жандарал» с глазу на глаз разговаривал с Абаем, Лосовский сходил к себе и собрал все заявления в одну папку под названием «Дело Ибрагима Кунанбаева». О том, что сходные документы лежат и в конторе самого «жандарала», Лосовский не знал.

«Жандарал» намеренно не взял Лосовского в помощь по делу Абая, поскольку этот последний был тайным советником, а привлечения такого чиновника к своим делам он бы не потерпел.

Только сейчас сообразив, с чем именно пришел Лосовский, генерал слегка усмехнулся. Едва приподняв голову от бумаг, он кивком дал понять Абаю, что прием окончен.

– Господин советник! – обратился он к Лосовскому сразу же, как только Абай ушел. – Сейчас нет никакой необходимости в этих документах. Забирайте-ка их обратно.

Вскоре губернатор уехал из Карамолы, поручив Лосовскому и троим уездным главам провести чрезвычайный сход, который открывался назавтра. Относительно Абая также было дано особое распоряжение...



Хотя в душе «жандарал» был и зол на Абая, однако решил в дальнейшем как-то использовать его влияние в разрешении споров-раздоров степи, для чего намеревался в скором времени вызвать Абая в Семипалатинск, чтобы приватно побеседовать с ним.

В этот же вечер Лосовский, уединившись с тремя уездными главами, провел короткое совещание по поводу завтрашнего схода. Чрезвычайный сход должен был, кроме всего прочего, избрать влиятельных в народе людей в качестве биев. На этих последних будут возложены обязанности по проверке работы местных властей. Беседуя с уездными, Лосовский дал им понять, что одним из биев должен быть избран Ибрагим Кунанбаев. Это и было то самое особое поручение, которое дал ему генерал.

Весть о высокой чести, оказанной Абаю «жандаралом», сегодня же облетела всех. На базарной площади только и говорили об этом, причем многие высказывали желание избрать во власть «таких уважаемых, надежных людей, как Абай».

Люди, собравшиеся в Карамоле с самого утра, подали уездному главе Казанцеву свои заявления, в надежде возместить ущерб, получить мзду, вернуть угнанный скот. В тот же вечер стало известно, что одним из биев, проверяющих заявления, как раз и будет Абай. Новость эта исходила от волостных, узнававших заранее всякие слухи-толки благодаря толмачам, которые давно были куплены.

Сам Абай довольно долго оставался в неведении по поводу собственного выдвижения. Лишь после того как его друзья, Ербол и Баймагамбет, побывали на ярмарке и послушали разговоры, ему стало ясно, что он станет бием. Последние новости принес Дармен: оказывается, в эти самые минуты весь съезд радуется и веселится, праздную победу Абая.

Люди сами начали гулянье, причем никто им не возвещал о начале праздника, не направлял, не организовывал... В толпе



Дармен столкнулся с Базаралы и Байкокше, те сразу наказали ему сейчас же привести на ярмарку Абая: «Пусть порадуются вместе с простыми людьми!»

Абай и вправду был по-настоящему обрадован – и тем, что собрались именно простые люди, и тем, что никто не понукал их к этому. Не долго думая, он вскочил в седло и поехал, взяв с собой Дармена, Баймагамбета и Ербола.

Четверо всадников поднялись на желтый холм с западной стороны Карамолы. Отсюда было хорошо видно всю массу людей, которые веселились внизу, словно гуляя на большом тое. Абай узнал многих: это были самые простые жители разных мест и волостей, приехавшие на чрезвычайный сход в поисках правды.

Было ясно, что это люди самого тяжелого труда, о чем с первого взгляда можно судить по виду их коней – худых, изнуренных, будто выцветших под палящим солнцем... Упряжь была старая, седла с рваными подушками, с медными, а то и деревянными стременами на скрученных ремнях, сыромятные поводья выглядели иссохшими, поизносившимися... Ни бархатной попоны, ни серебряных узд, ни одной подпруги, украшенной черненым серебром, здесь не увидишь. Более того, среди старых чепраков не было ни одного, обшитого сыромятиной, покрытого сукном.

Одеты все эти люди были в серого покроя чекмени да обветшавшие чапаны. Тымаки на их головах были сплошь из старых, облезлых шкур, из длинной мерлушки, а с изнанки и вовсе изорваны, истерты или залатаны самым дешевым ситцем. Бесцветные, выгоревшие нити торчали во все стороны из этих, скроенных по древним родовым традициям, тымаков...

Эти бедные, обнищавшие люди, те, кого презрительно называют голодранцами, ждали Абая с радостью и ликованием, как своего кумира. Они приветствовали его со всей искренностью, громко и шумно, сопровождали по пути на желтый холм,



окружая полукольцом, двигаясь рядом с ним, они весело подстегивали своих вылинявших коней...

На вершине холма Абай сошел с коня. Здесь его уже ждали Базаралы и Байкокше. Крепко обняв Базаралы, Абай сказал ему:

– Базеке, твои сегодняшние слова перед жандаралом были звучнее речей любых адвокатов! Ты вытащил меня из бездонной пропасти. Мои собственные уловки меня уже не спасали, и я, наоборот, запутался бы еще крепче. Ты сказал лучше любого шешена. Я аж до самых небес вознесся!

Обрадованный Базаралы тотчас обратился к людям с призывом начать праздник:

– Гуляйте, веселитесь! Все видят, что Абай среди нас, на радость всем. Да будет наш той посвящен его счастливому избавлению от беды.

Не успел Базаралы закончить свои речи, как люди разделились на две группы, выпустили на середину здоровенных палванов и устроили борцовские схватки, как это обычно и бывает на тоях. Кто-то уже готовился к кокпару, решив испытать своих коней, начался отбор джигитов, желавших помериться силами в седле, посоревноваться в подхвате монеты – тенге на полном скаку...

Абай меж тем спросил у Базаралы:

– Как ты там оказался, как добился разрешения? Кто пустил тебя к жандаралу?

– Ойбай! – отозвался Базаралы. – Довольно всяких порогов обили с Сабелием в семипалатинском дуане!

Отшутившись, Базаралы все же рассказал о своих приключениях, поскольку Абаю было интересно расспросить его подробно.

Оказывается, у Базаралы поначалу и в мыслях не было попасть в дом к «жандаралу», куда не то что степной казах, но даже не всякий чиновник может запросто зайти. Однако мно-



гие дороги, в том числе и дорога в дом «жандарала», открываются при помощи денег. Как честно признался Базаралы, Савельев битый час говорил с начальником охраны. Ему-то они и вложили в руку столько денег, что на них можно купить двух лошадей.

Все заявления-жалобы от имени казахов написал сам Савельев, затем он стал посылать целые толпы к Казанцеву и другим уездным главам. Получалось, что эти отчаянные бедняки, сейчас гуляющие на вершине холма, и высказали предложение включить Абая в работу по расследованию их жалоб...

Но все это будет завтра, а сейчас Абай и его товарищи с интересом смотрели за поединками борцов. Всех радовал и восхищал джигит по имени Абди, владеющий огромной силой и незаурядными борцовскими способностями. Опрокинув оземь троих соперников подряд, он взял призовые деньги в свертке и, улыбаясь во весь рот, подошел к Абаю.

– Абай-ага! – сказал он. – Я все свои силы посвятил вам, чтобы и вы также одолели врагов. Радость за вас ободряла меня, и эту добычу я преподношу вам!

Абди протянул сверток Абаю, тот взял подарок и сказал:

– Благодарю тебя, Абди! Вижу, что люди, обладающие силой, не лишены и ума. Я, пожалуй, впредь буду учиться у тебя, как побеждать недругов.

Все вокруг одобрительно засмеялись. Затем джигиты многочисленных родов, подхватившие тенге на скаку, одержавшие верх в аударыспак¹ победившие в кокпаре, получившие в джигитовке призы, как и Абди, – все преподнесли свои награды Абаю, и сам этот праздник стал триумфом Абая, его всеобщим признанием, которое можно выразить в словах Абди и в других словах, с которым джигиты вручили ему свои подарки:

– Я все свои силы посвятил вам...

¹ Аударыспак – борьба всадников.



В конце праздника Байкокше, стоявший среди старших по возрасту, рядом с Абаем и Базаралы, обратился к народу со своим искренним словом:

– Уа, люди, хороший праздник вышел у нас, просто радость для всех! С одной стороны, мы чествуем Абая, с другой – и себя не забываем. Надеюсь, что теперь мы оставим раздоры и распри, и жить будем дружнее. Пусть этот путь и станет истинным путем всех и каждого. Аминь!

– Аминь, аминь! – отозвалось со всех сторон. По всему было видно, что люди довольны и праздником, и речью Байкокше. Как бы благословляя слова старого акына, многие провели руками по лицу, и долго еще не смолкали радостные возгласы, смех, шум и всеобщее веселье...

Во время вечернего чаепития на пороге юрты, где остановился Абай, стали появляться люди, которых здесь никто не ждал. Для Абая и его друзей это были весьма странные гости – волостные с цепочками на шее, те самые, что угодливо суетились на базарной площади в ожидании «жандарала».

– Вот, приехал выказать вам свое почтение! – говорил один.

– Пришел пожелать вам удачи! – вторил другой.

– Вчера никак не мог найти время, – оправдывался третий, – встречал сановника, ждал удобного случая...

Волостные Семипалатинского уезда с Рагышем во главе, волостные и торе из Усть-Каменогорска, Зайсана... Все они еще вчера, сидя в доме Оразбая, всячески насмеялись над Абаем, теперь же, когда положение его дел изменилось, они пришли отдать Абаю сале́м.

– Очень большая честь...

– Поприветствовать, пообщаться с таким уважаемым человеком...

– Потрапезничать за одним дастарханом...

Выраженные разными устами, по форме разные, все слова этих людей были одного окраса, двуличной лестью, плохо скрываемым, а то и вовсе не скрываемым угодничеством.



Это были взяточники и властолюбцы, снедаемые черной завистью. До сих пор они не могли объяснить себе то, что собственными глазами увидели днем: «жандарал» говорил с Абаем и пригласил его в свою юрту. Будучи сами отъявленными плутами, они всерьез полагали, что между Абаем и «жандаралом» налажена крепкая, корыстная дружба. И теперь советник – не советник, и уездный – не уездный, а всем в округе негласно заправляет Абай, как некий полуцарь: он может любого облагодетельствовать своей милостью, а может в землю по уши загнать и даже огласить проклятье...

Ни с кем из них Абай не стал заводить личных бесед. Когда гостям был подан кумыс, он, словно бы в глубоком раздумье, ни на кого не глядя, высоко подняв свое задумчивое лицо, заговорил:

– Не счесть нужд и горестей, бед и несчастий казахскому народу! Разве не толстосумы были одной из главных бед его? Разве не аткаминеры, волостные, беки и бии, ханы и судьи? В городе его унижает чиновник, со стороны притесняет аким, здесь, в своей среде, не дают покоя взяточники, словно собаки, лающие на дворе. Найдется ли кто-нибудь, способный подумать о нуждах, тяготах собственного народа? Не о своей шкуре, богатстве и власти?..

Все это Абай говорил с горячим гневом, с явным укором для своих слушателей, прямо задевая их честолюбие. Кажется, он был на самой вершине душевного волнения, какого-то даже особо гневного вдохновения... Эти жаркие искры не могли не породить настоящего, чистого пламени – и глубину мысли, и особенные, поэтические слова, которые рождаются только в душе настоящего акына:

– Благие деяния возвышают человека, как бы высоко он ни взлетел прежде! Не всякое высокое положение достигается несправедливым путем. Если ты человек изначально – не станешь пробивать себе путь собачьим унижением, облизывать



пятки хозяину. Достойная должность сама найдет тебя, если ты добьешься уважения людей.

Сказав это, Абай обвел волостных, рассевшихся в круг, острым, горящим взглядом. Дальше он продолжал уже стихами, поскольку именно язык акына мог выразить столь бурно кипящую мысль:

*Высокое стремление – высокая скала.
И сокол, и змея взобраться на вершину,
Решившись, смогут оба:
Один – крылом взмахнув, другая же – ползком.
Но кем же станешь ты, вершину покорив?
Змеей ли, соколом народ тебя запомнит?¹*

Сказав так, Абай надолго умолк. Молчали и акимы: хитрые, коварные, обычно охочие до всяких наговоров, не жадные на хулу, теперь они не знали, что и ответить перед таким строгим судьей. Все без исключения ощутили одно: его слова были, как удар камчи, удар наотмашь, удар по голове. Нечего им было сказать в ответ – они могли только сидеть с мрачным, кичливым видом, надутые, всем своим существом выражая обиду.

Абай был далек от мысли вступить с ними в препирательства, равно как и оказывать им дальнейшее гостеприимство. Накинув чапан, он поманил ладонью Баймагамбета. Тот встал, и вскоре оба они вышли наружу. Посидев еще недолго в молчании, разошлись и остальные.

На следующий день по Карамоле поползли слухи: мол, волостные приехали проведать Абая, а тот опозорил их, надерзил, наговорил всяческих обидных речений им прямо в лицо! Несколько человек, среди них вездесущий Рақыш, зашли к Оразбаю, чтоб пожаловаться ему. Тот немедленно дал им свой ответ:

¹ Перевод А. Кима.



– Нечего было вам унижаться перед ним! Так вам и надо, все получили по заслугам. Это вам в награду за то, что преклонялись перед Абаем. Попомните мои слова: еще немало страдаете от него. Только не говорите потом, что Оразбай не предостерегал вас.

Говоря все это, Оразбай не скрывал язвительной улыбки, впрочем, к концу своей речи он, будто бы тяготясь собственными словами, опустил голову и замолчал.

Было о чем подумать... Одним ударом Абай разрубил все сети, столь тщательно сплетенные, все оковы, возведенные хитроумными уловками, коварными наговорами и нападками, в пух и в прах единым взмахом разнес... Вот о чем сожалел, чем терзался Оразбай! Но все ли потеряно? Не может быть! Должен найтись какой-то иной способ свалить Абая.

Размышляя про себя, мало-помалу Оразбай ясно представил себе, как он это сделает: ведь не даром он якшался со всеми, кому Абай был ненавистен, – волостными и богатыми старшинами, воротилами края, выстроил с ними самое теплое, самое доверительное приятельство... Тем самым Оразбай будто бы уже выкопал глубокий ров, куда в конце концов он и свалит Абая – пусть это и не вышло здесь и теперь, в Карамоле.

Утешив себя такой мыслью, он ждал окончания чрезвычайного схода уже без волнения и суеты.

5

Нынешняя зима, похоже, выдалась теплой, что радовало и людей, и скот. В середине декабря еще стояли ясные, безоблачные дни. Лишь рыхлые сугробы, редкими пятнами наметенные на джайлау, да легкий мороз указывали на то, что пора приступать к согыму.

Дело это аул Абая в Акшоки начал неспешно, без суеты. За последние три-четыре дня забили лошадей, яловых коров, ба-



ранов – все сплошь недоуный, нестельный скот. Айгерим распорядилась засыпать зимним кормом клетки, навесы, заездные постройки, что аульные и делали с утра до вечера. Кое-что тревожило ее, и Айгерим сказала об этом Злихе и Баймагамбету.

– Только бы гостей Бог не послал! – говорила она, смеясь.
– Разве наш Абай-ага посмотрит, что всюду такой бедлам? Пусть даже сорок человек приедет, без дастархана не отпустит. А где мясо хранится, где его варят, – поди сейчас разбери!

Айгерим не в укор Абаю говорила, не просто тревожилась о гостях, которых, впрочем, пока и не было, а всего лишь хотела напомнить аульным о будущих днях, полных забот. Чтобы все ее помощники, джигиты да молодые келин, работали хорошо и споро.

Но, как чувствовала, будто как раз и накликала гостей на свою беду. Именно сегодня они и нагрянули – с низины, с гор, со всех сторон!

Приехал Акылбай из Байгабыла, захватив с собой еще и целую ватагу товарищей. Словно сговорившись с ними, приехали Уайс из кереев и Бейсембай из топаев, уже несколько лет как названные Абаем акынами. Все группы спешились почти в одно и то же время, около полудня, тотчас вкусили обеденной трапезы, попили дневного чая. На ночлег их определили в гостевых и соседских юртах и даже в одном очаге молодых.

– И зачем я только сказала, чтобы не было гостей! Вот и вышло все наоборот... – призналась Айгерим Злихе, все же радуясь тому, что в дом, хоть и неожиданно, пришло большое веселье. – Теперь уж принимайте, как полагается! Скажите соседям, невесткам, да и тем, кто возле казана стоит, – пусть побольше кладут туда мяса. И обязательно напомните, чтоб хорошенько проваривали!

Айгерим хотела получше накормить гостей, ведь сегодня в Акшоки приехало немало джигитов, каждый со своими песнями, а что за песни на голодный желудок?



Она не знала, и Абай не сказал ей, что сегодняшняя встреча вынашивалась достаточно давно... Вернувшись из Карамолы, Абай передал всем своим молодым друзьям-акынам, чтоб помнили советы Павлова, призывы Абиша, прозвучавшие нынешним летом. Собрав их вместе, Абай предложил всем выступить в большом поэтическом состязании. Поговорив с каждым, узнав его планы и увлечения, поставил задачи, достичь каковых можно было только упорным, ежедневным трудом. Тогда и срок наметил, именно эти дни: «Завершайте свои поэмы к нынешнему согыму и все приезжайте ко мне в Акшоки».

Весь день Абай не переставал беседовать с молодыми акынами. Удачно потрудившись, все они привезли с собой стихи и песни. Так, Магаш работал всю долгую осень и сочинил поэму, события которой разворачивались на берегах Нила. В этих искусно сплетенных строфах юный раб проучил могущественного фараона, и всем было ясно, что тут имеется в виду обыкновенный джигит, который попросту наказал богатого бая. Вот почему поэма эта заучивалась и пелась во всех окрестных аулах – Акшоки и Корык, Киндикти и Шолпан. Поэма Магаша, названная им «Медгат – Касым», была созвучна поэме «Енлик – Кебек» Дармена, родившейся раньше нее в Акшоки. Была у Дармена и еще одна поэма, никому не читанная. Он собирался представить ее в самом конце, когда Абай выслушает всех.

К вечеру гости должны были собраться у Абая и Айгерим. Кое-кто из акынов еще не приехал. Разбредясь по аулу, джигиты весь день читали друг другу свои стихи, затем выступали с ними перед Абаем. Иные поэмы, как «Енлик – Кебек», «Медгат – Касым», «Козы – Корпеш», Абай послушал во второй раз, но никому еще не высказал своего суждения.

В час вечерней трапезы прибыли новые гости – Базаралы и Кокпай. Приехали они по отдельности, но пришли вместе:



неожиданно встретились у коновязи на окраине аула. Абай не смог скрыть свою радость от встречи с Базаралы...

На сей раз он приехал без приглашения друга, но вовсе не по каким-то важным делам: просто хотел побыть возле Абая. Узнал от Ербола, что Абай собирает акынов, и приехал послушать их.

Базаралы будто принес с собой некий веселый дух: дом сразу наполнился смехом и возбужденными голосами. Абай усадил его по правую сторону, повыше себя. Рядом стояла кровать, отделанная костью, на ней – горка подушек. Абай взял две верхних и собственноручно положил Базаралы, и еще распорядился, чтобы постелили ему толстое корпе. Все видели, какой почет оказывает ему Абай, к тому же Базаралы был самым старшим среди присутствующих... Все замолчали, приготовившись слушать, что он скажет с дороги.

– Устал, как я погляжу, Базеке! Отдохни, будь как дома, – говорил Абай, подкладывая под локоть Базаралы белоснежную подушку.

Гость сощурился, точно вспомнив о чем-то, улыбнулся и сказал:

– И мог бы устать, да случай один не позволил! То, что я видел сегодня утром, заставило позабыть об усталости, и всю дорогу служило пищей для раздумий...

Все в доме, джигиты и Айгерим, затаив дыхание, уставились на Базаралы. Абай, тоже исполненный внимания, оперся локтем о большой круглый стол, стоявший перед ним, всем своим дородным телом повернулся к гостю и сказал:

– Базым, ну чего же ты медлишь, рассказывай! – и, посмотрев по сторонам, добавил: – Вон и молодежь сгорает от нетерпения.

Базаралы поднял голову. В юрте был уютный полумрак, желтое пламя единственной лампы, стоявшей на столе, озаряло лицо гостя – с мороза румяное, по природе же своей



матово-светлое. Он не стал долго тянуть с рассказом, и начал вскорости со смиренным лукавым видом:

– Хочется мне рассказать об одном событии, но вижу, что сход этот всецело отдан акынам... Я же приехал, чтобы только послушать вас, да посидеть рядом со старым другом.

Магаш пододвинулся ближе, проговорил с веселым воодушевлением.

– Оу, Базеке, акыны не будут роптать, если вы первым заведете речь!

– Ну, так и быть, слушайте... – начал Базаралы. – Сегодня я выехал со склона Чингиза. Дорога предстояла дальняя, и собрался я спозаранок. Ближе к обеду подъезжаю к Колькайнару, еду среди холмов возле аула Жумана. И... Такое даже во сне не приснится! Спросите, и что же? Стоят четыре козла и Жуман. Привязав всех козлов накоротке к кусту караганника, размахивая палкой, сам Жуман сидит прямо перед ними на камне, словно их мулла...

Все уже начали смеяться, не дожидаясь конца рассказа, предвкушая, что дальше будет еще интереснее. Так и вышло: Базаралы продолжал говорить, каждое слово оживляя взмахом руки:

– Я ехал с подветренной стороны, меж тем, как день сегодня был ветреный. Поэтому Жуман и не услышал, как я приблизился. Тут он махнул палкой и вдруг заговорил с этими козлами. Е! – думаю, похоже, здесь идет некий важный совет рода Иргизбай...

Взрыв хохота перебил рассказчика, заставив его замолчать. Базаралы, торжествуя, обвел слушателей довольным взглядом. Абай хохотал неудержимо, сотрясаясь всем телом. Смеялась и Айгерим, правда, сама устыдилась своего слишком звонкого, переливистого смеха и густо покраснела... Сам же Базаралы был весьма серьезен, продолжая свой рассказ:

– Нет, подумал я, негоже оставлять его здесь, обойти своим вниманием, мне, Базаралы, грешно будет... Он же ведь тоже



из старших Иргизбаев! Вот стреножил я коня, тихо подкрался поближе и сел позади Жумана...

Вот что произошло на самом деле, о чем и поведал Базаралы своим слушателям, которые уже еле разбирали за собственным смехом его слова...

Утром сын Жумана Мескара возится со скотом, тут к нему и подходит Жуман. Мескара говорит: «Отец, посмотри на этих бесстыжих теке!» Тут Жуман и видит: козлы покоя не дают овцам, явно надеясь на случку. Поймал Жуман четырех козлов, привязал их к караганнику. Козлы стоят, низко опустив головы, наставив на Жумана рога, глядя ему в бороду, как бы говоря: «Боднуть бы тебя!» В глазах у них нет и тени вины. Раздосадованный Жуман сидит перед ними, выговаривая, стыдя козлов: каждого по отдельности и всех вместе. Тут подкрадывается Базаралы и видит: длинная палка Жумана как раз обходит подряд всех четырех козлов. Жуман бьет прямо по рогам, бьет и приговаривает: «Уа, теке, скажете, что не гоняли невинных овец? Говорю вам, бросайте это срамное дело, а вы разве слушаете? И не стыдно вам перед Богом, перед святыми?..» – сказав так, Жуман начинает распалтаться, словно при большом скандале. Звучно ударив палкой по рогам молодого черного козла, говорит: «Кара теке! Ты самый злостный нарушитель спокойствия из всех молодых джигитов!» Но черный козел, помахивая бородкой, встает на дыбы, перебирает копытцами, якобы намереваясь ринуться на Жумана. Это еще больше задевает хозяина: «Только поглядите на него, да он же задира, упрямец, ишь ты! Молодой, а борода уже до колен, как у Азимбая!» – произнеся это имя, Жуман смеется над собственной шуткой, весьма довольный своим остроумием. И тут ему на ум приходит новая мысль: стоило сказать об Азимбае, как козлы в его глазах уже превращаются в людей. Если черный козел – Азимбай, то отец его, рыжий козел – кто? Конечно же – Такежан! Серого козла, стоящего за ним, Жуман, стало



быть, нарекает Жиренше, а последнего крупного козла с толстой шеей и внушительными рогами – Оразбаем.

Базаралы сидит позади Жумана, тот его не видит и все продолжает беседовать с козлами. Названные Азимбаем, Такежаном, Жиренше, Оразбаем – все козлы обвиняются в несдержанности, алчности и похоти. «Вы зачем задираете кротких коз и невинных овец? Покоя им не даете, с утра до ночи страх нагоняете!» Тут Жуман так увлекается воспитанием оборотившихся в людей козлов, что начинает отчитывать их уже и за то, что они всю округу возмутили, всех натаскивают против Абая, эти несносные Такежан и Азимбай, Оразбай и Жиренше! Дальше – больше, Жуман уже и себя самого представляет Абаем и, подражая его голосу, принимается обвинять всех четырех козлов: «На вас проклятье людей... Не измывайтесь над бедным, смирным народом, не пакостите. Но придет время, и все получите по заслугам, отзовутся вам слезы людские!»

Базаралы рассказал выразительно, артистично, столь искусно подражая различным голосам, что все без исключения смеялись от души, безудержно хохотали, не в силах остановиться....

Одни смеялись беззвучно, всем телом трясясь, другие падали набок, третьи посинели, застыв в смеховой судороге... Абай смеялся до слез и, вытирая их рукавом, едва сумел переглянуться с Айгерим, и ее восхищение рассказчиком снова возвратилось к нему – новыми слезами безудержного смеха.

Базаралы меж тем сказал, в завершение своего рассказа:

– Вот так мне и пришлось повидать сегодня Жумана, который до своих семидесяти пяти лет все молот языком, пока не пришел к достаточно умным рассуждениям! Скажите, ради Аллаха, кто из иргизбаев способен на такое?..

Акылбай спросил, решив, что рассказ еще не окончен:

– А Жуман-то вас видел?



– Не уверен, – сказал Базаралы. – То есть, когда я кашлянул, чтобы обнаружить себя, он поначалу смутился, но потом... Сначала сказал: «Е-е, хитрый сын Каумена, а тебя кто звал?.. Ты откуда?» Апырай, глядит на меня, словно я ему примерещился. А потом вдруг опять переменялся к старому и начал свою обычную болтовню. Вдруг взял да и ляпнул: «Уай! Ты много видел, о многом размышлял! Скажи-ка мне, мудрый человек, сколько пудов, по-твоему, весит вон та каменная вершина горы Догалан?» Я говорю: «Ой, Жумеке, на это моего ума не хватает! Не знаю... Разве что сами вы скажете». А он и говорит: «Глаза же – весы, а душа – судья, если бы по мне, то эта самая скала потянет где-то на пять тысяч пудов». На том мы с ним и расстались...

Конец рассказа Базаралы был столь же потешным, как и его начало: молодежь не переставала хохотать – ведь кому ж это могла прийти такая мысль, взвесить вершину горы Догалан и непременно определить, что тянет она именно на пять тысяч пудов!

Гостей сегодня было так много, что все они не смогли уместиться за столом. Абай велел вынести стол и расстелить длинный дастархан прямо на ковре. В юрте стало гораздо просторнее, Айгерим и Злиха приготовили чай, и гости свободно расселись вокруг большого дастархана.

Чаепитие прошло на удивление быстро: дастархан еще не был свернут, а с разных его концов уже доносились призывы поскорее начать петь. Базаралы взял домбру и, по известной традиции, протянул ее Кокпаю, поскольку тот покончил с чаепитием раньше всех.

Не долго думая, Кокпай запел свою песню. Как раз под первые звуки домбры уносили большой самовар, чтобы снова согреть его, и слушатели, один за другим отставляя пустые чашки на дастархан, приготовились внимать новой песне Кокпая. Не песне даже, а большой эпической поэме-дастан, в которой Кокпай зычно восхвалял великие походы хана Аблая.



Поэма обещала быть длинной: отдав должные почести самому Аблаю, неутомимый акын перешел на его потомков, посвящая им хвалебные строки, всем и каждому по отдельности... Вдруг Базаралы хлопнул Кокпая по колену, подав ему знак остановиться. Подняв голову, Кокпай заметил, что и Абай, по-видимому, желает того же, поскольку в его лице не было никакой заинтересованности этим дастаном, скорее – прямое безразличие...

Кокпай тотчас умолк, опустив домбру. В наступившей тишине раздался голос Базаралы:

– Не вините, что держу речь первым, но, как говаривал Ходжа Насреддин: «На стольких куриц нужен хоть один петух!» Я это к тому, что все вы здесь акыны, а настоящий слушатель среди вас – только я. Вот и хочу высказать свое суждение...

Базаралы окинул Кокпая холодным взглядом. Абай кивнул, предлагая ему продолжать.

– Что-то, Кокпай, ты все распинаешься, угодничаешь, да и непонятно, перед кем? Судя по всему, ты не прочь пропеть хвалу не только Аблаю, но даже и его потомкам! «О, мой бесценный хан! Айналайын, преклоняюсь перед духом твоим святым!» – передразнил Базаралы. – Прямо говорю, не по душе мне такое. Скажи, Абай, разве мы не сыты по горло бляньем разных придворных акынов былых времен, что били поклоны перед разными ханами-султанами? Разве после твоих песен можно возвращаться к этой холопской манере? Впрочем, не мне об этом судить... – закончил Базаралы, посмотрев в сторону Абая. Тот задумчиво кивнул, соглашаясь со словами друга, затем сам заговорил:

– Я бы и сам сказал то же самое. Мысли, что ты вложил в свою поэму, Кокпай, противоречат тому, о чем сам я думал всю жизнь. Я тоже не могу промолчать об этом, как и Базаралы. Пусть все, кто еще только собирается здесь говорить, помнят о его словах.



Абай замолчал, сидя в задумчивости, с холодной грустью глядя на Кокпая. Затем снова заговорил, не о его поэме, о другом...

– Потомки хана Аблая, и в их числе Наурызбай, вели жестокие войны, приведшие к страданиям обездоленных людей... Ну а ты, Кокпай, неужто мечтаешь еще об одном Азиретали?..

Те, кто при наших обстоятельствах натравливают казахов на русских и говорят, что это и есть благо для казахов, как раз творят зло. Какое ж это благо, если в результате только кровь и вражда?

Никто не притронулся к вновь принесенному чаю, никто даже не шелохнулся. Все ждали от Абая продолжения его речей, и он, сам понимая это, тихо и внятно заговорил. В его бледном лице читалось хорошо скрываемое волнение, глубоко запрятанная страсть.

– Много сегодня я выслушал и прочитал ваших дастанов, – начал он. – Почти в каждом есть и джигит-батыр, и девица-краса. В ваших стихах слышится и безудержная страсть, и сокровенные мысли, и дерзкие мечтания. Но всего этого недостаточно. Мало!

Последнее слово Абай произнес громко, резко.

– Все это лишь ваши юношеские сны и слова об этих снах... О сладких, замечу, снах. Но в жизни ведь нас окружает не только сладость, но и нестерпимая горечь. И печаль. Горечь и печаль, не написанная ни вами, ни мной. Мы не борцы, не глашатаи. Мы живем в сытости, находим отдохновение в бесконечных разговорах, меж тем как люди вокруг ждут от нас совсем иного слова... Ищите его, это заветное слово, все свои силы на то отдайте!

Джигиты застыли, пораженные безжалостной мыслью учителя. Лишь Кокпай, буркнув что-то про головную боль, встал и вышел из юрты. Абай смотрел, как скрылась за дверью его



массивная сутулая спина, и от того, что пришлось обидеть этого человека, ему самому стало тяжело на сердце...

До сих пор он не услышал ни одной песни, ни одной поэмы, которая прилась бы ему по душе. Акыны видели это и изрядно приуныли. Лишь только Дармен все рвался в бой, ерзая на месте, – так хотелось ему прочитать свою новую поэму! Пусть все глядят на него с опаской, думая, что и его опус сейчас отвергнет Абай... Дармен решительно встал и обратился к учителю:

– У меня есть еще стихи, Абай-ага, новая поэма! Возможно, она и не безупречна, но, может быть, вы все же послушаете ее, скажете о ней два-три слова? Еще ни одна живая душа не слышала этих стихов!

В глазах Абая промелькнула острая искра надежды: может быть, честолюбивый, смелый душою Дармен, наконец, порадует его?

– Давай, сынок, читай! – согласился Абай.

И Дармен начал – так выразительно и страстно, что все невольно залюбовались им, смуглолицым джигитом с темными густыми усами, с пламенным орлиным взором.

Начинаясь в хорошо знакомых местах, в стойбищах и зимовьях, поэма уводила слушателей в сторону Шуйгинсу и Азбергена.

Черная буря воеет в осенней степи, суровый день неумолимо идет к закату, вечер грозит еще большей бедой... Холодно. Быстро летят по небу клочья облаков. Кажется, что сегодня с кем-то случится несчастье...

В богатом ауле, за толстыми войлочными стенами сидят хозяева, им нипочем непогода! А на окраине, в рваной лачуге, дрожащие от холода малыши, Асан и Усен, жмутся к иссохшей груди больной матери. Рядом сидит и с печалью смотрит на своих внуков старая бабушка Ийс.

Вот возвращается в юрту джигит Иса, отец этих голодных детей, он дрожит от холода: весь день ходил за байским ско-



том... Хозяин послал его с отарой в самую бурю, овцы, напуганные ветром и дождем, разбежались... Иса бежит за ними, ловит их, но буря, словно нарочно, бросает на джайлау еще и тучи мокрого снега...

Вдруг появляется волк, затем – и целая стая. Иса выходит на кроважанных зверей с голыми руками... Смертельная схватка!

Когда акын дошел до этого места, все в доме притихли, затаив дыхание. Был слышен лишь испуганный вздох Айгерим и шепот ее причитаний...

Все чувствовали себя так, будто бы люди из поэмы склонились над ними, обращая к ним свои горести и печали. И стихи, звучавшие здесь, тяжело сдавили их сердца... Меж тем Дармен продолжал чтение, бросая огненные слова, сильные чувства, из которых выстраивалась незаурядная, просто великолепная поэма...

Зачем, ради кого сражался с волками бесстрашный Иса? Ради злодея-хозяина, ради волка из людского племени! Иса болен, он умирает... Мать и жена у его постели, тут же – испуганные дети, им суждено стать сиротами. В холодном, голодном доме бедность и нищета. И не среди людей остаются они в этом жестоком ауле, а словно перед самой пастью кроважного волка...

Чтение прервал тихий плач: то не смогла сдержаться Айгерим. Впрочем, Дармен и сам уже не мог продолжать чтение, слезы душили его, он достал платок... Был растроган и Абай, поскольку образы поэмы были столь яркие, столь глубоко прочувствованны – и рыдающие сироты, Асан и Усен, и отходящий больной в предсмертном бреду на своем бедном ложе, и эти тупые, безжалостные волки... Нет, не волк увел в могилу несчастного Ису, а человек, и имя этому человеку – Азимбай.

Лица гостей были скорбны, казалось, что они прощаются с только что умершим Исой. Неизбывная горечь разлилась в



сердцах людей. Ушел достойный джигит. Остались, рыдая, двое сирот. Они глядят умоляющими глазами, в надежде, что встретят взгляд человека, а не зверя... Но призрачна и слаба их надежда.

В юрте установилась мертвая тишина. Абай сидел, тяжело вздыхая, низко опустив голову, чтобы никто не видел его слез. Вдруг, словно содрогнувшись от ужаса, он затрясся всем телом, чувствуя, что где-то в глубине так же трясется и вся его душа... Проведя в таком странном состоянии долгую минуту, он все-таки взял себя в руки, собравшись с мыслями, и проговорил:

– Удачи тебе, Дармен, родной мой! Ты обрел удивительный голос. Я давно мечтал, чтобы среди нас появился поэт, который, подобно Некрасову у русских, смог передать истинную печаль человеческой души.

О Некрасове Абай заговорил неспроста: последнее время его стихи не выходили у него из головы – не только потому, что с перекочевкой аула на зимовье Абай с особой страстью читал его книгу... Это был поэт, который истинно передавал и самую тяжелую правду жизни, и самый ярый протест на эту тяжесть ее. Так и сказал Абай Дармену в один из нынешних осенних дней, когда у них случилась долгая беседа с глазу на глаз, и Абай прочитал молодому акыну несколько стихов русского поэта.

Именно тогда Дармен и загорелся желанием написать об Исе – это, после разговоров с Абаем, стало его страстной мечтой. И вот теперь он ее осуществил, и не только свою мечту, но и мечту Абая, который понял, что к нему вновь возвращается чувство отцовства... Отец-акын.

Есть в народе легенда об орлице-матери, которая свила свое гнездо в расселине, на вершине отвесной скалы. Снесла она яйца в лютую стужу, в феврале. И вот, лопается от мороза одно яйцо, лопается второе, третье... Целым остается



одно-единственное. Его орлица-мать начинает насиживать с первых дней мая и, наконец, выводит птенца.

Вспомнил эту легенду Абай и подумал: а не то же самое происходит вокруг? Разве мало здесь трескающихся яиц? Первое яйцо – Шубар, он не только лопнул, но и гниль источил из себя, грязный воздух и мертвечину. Не Кокпай ли стал вторым лопнувшим яйцом, оттого, что ушел в обиде, даже не соизволив выслушать поэму Дармена? Увы, не уцелеют, видимо, и многие оставшиеся, сейчас сидящие здесь.

О чем мечтала орлица-мать? Выходить хотя бы одного! И теперь, похоже, этим одним и будет Дармен. Ты добьешься того, чего не добился я, устремись к мечте моей, долетишь дальше, чем я, познаешь – больше. В светлом и добром мире, где уже не будет меня, в мире, который освоят дети наши и внуки. Лети туда, Дармен, лети, словно молодой орел! Разведай, познай это дивное грядущее, чистую крупицу которого ты бережно положил на весы своей благородной души!



СОДЕРЖАНИЕ

АБАЙ-АГА	3
МЕСТЬ	88
ЧЕРНЫЕ ПОБОРЫ	184
ГОРЕЧЬ	238
СХВАТКА.....	301
В ОКРУЖЕНИИ	395

Мухтар Омарханович Ауэзов

ПУТЬ АБАЯ

Роман-эпопея

КНИГА ТРЕТЬЯ

Под общей редакцией Б.М. Канапьянова

Подстрочный перевод –
К. Жорабеков, М. Тнимов

Редактор – *А. Шаихова*
Консультанты – *Г. Бельгер, Б. Хабдина*
Художественное оформление – *Ж. Алимбаев*
Верстка – *И. Селиванова*

ISBN 978-601-294-110-4



Подписано в печать 31.05.2012.

Формат 60x84 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 29,2.

Гарнитура «Arial».

Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 2000 экз.

Заказ №7227.

Издательский дом «Жибек жолы».

050000, г. Алматы, ул. Казыбек би, 50, ком. 55,

тел. 8 (327) 261-11-09, факс 8 (327) 272-65-01.